

БОРИС ПОЛЕВОЙ

2



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ВТОРОЙ

•

МЫ–СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
П49

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление
А. РЕМЕННИКА

П $\frac{70302\text{-}217}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200

МЫ—СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

РАССКАЗЫ

I

АРИЯ ЛЕНСКОГО

Рукоплескания, как буйный ливень под ударами ветра, то на мгновение стихали, то припускали с новой силой, грохотали весело, настойчиво, упорно.

Стоя за кулисой, Сергей Лапшин вытирал вспотевший лоб и, возбужденно улыбаясь, прислушивался к тому, что происходило в зале. Овации были ему не в диковинку. Он давно привык к ним, воспринимал их как нечто само собой разумеющееся, и они обычно не трогали его.

Но сегодня он пел в родном городе, где не бывал уже много лет, в старинном зале, где когда-то в юности дебютировал как солист хора военных курсантов, где впервые познал силу своего голоса и ощутил обаяние успеха. И, выходя в этот вечер на эстраду, певец волновался, волновался так, что принужден был спрятать в карман книжечку в сафьяновом переплете, которую привык держать в руках во время концертов и которая сегодня, предательски дрожа, выдавала его душевное состояние.

Земляки встретили Лапшина тепло и, стоя, долго приветствовали его. А певец вглядывался в публику, ища друзей юности.

В зале он не увидел ни одного знакомого лица. Но ему все время казалось, что слушают его и земляки из его родного села, славившегося когда-то своими ямщиками, и рыбаки, которым он мальчишкой помогал прочесывать бреднем прибрежные водоросли здешних рек, и друзья-комсомольцы, шумевшие некогда под сенью вот этих массивных аляповатых колонн на общегородских собраниях и слетах. Певец чувствовал, как его волнение передается в зал. Это радовало и волновало еще больше.

В этот день Лапшин был необыкновенно щедр. Снова и снова выходил он на вызовы и вместо своих обычных «гвоздевых» номеров, приберегаемых им «для бисов», исполнял старинные народные песни, которыми когда-то пленял в этом зале сердца голосистый эскадронный запевала.

Концерт затянулся больше чем на час, но аплодисменты, вызовы звучали по-прежнему настойчиво. И хотя Лапшин был действительно утомлен, а его аккомпаниатор Иван Арнольдович сердился и требовал, чтобы он поберег голос, певец все же вышел еще раз и спел арию Ленского, которая, как почему-то ему казалось, особенно отвечала его сегодняшнему настроению.

Наконец его отпустили.

Разгоряченный, чувствуя одновременно приятную усталость и легкость во всем теле, он, по-мальчишески перепрыгивая через две ступеньки, сбегал в артистическую. Аккомпаниатор едва поспевал за ним.

В конце лестницы у двери дорогу им преградил невысокий человек, такой коренастый, что фигура его издали могла даже показаться квадратной. Он был в пальто, кепку держал под мышкой.

— Не узнаешь? — тихо произнес незнакомец, вопросительно посматривая на певца.

И вдруг Лапшин вспомнил.

— Гошка! — воскликнул он, и в голосе его прозвучали и радость и удивление.

Они долго мяли друг друга в объятиях, стройный седеющий блондин в отутюженной фрачной паре и этот квадратный человек в реглане из жесткого бобрика, с простецкой кепкой в руках. Затем коренастый окинул певца с головы до ног восхищенным взглядом.

— Серега! Да ты ж ни черта не изменился. Такой же красавец парень — смерть ткачихам.

— А ты...— Певец запнулся.

По правде говоря, в этом человеке с медвежьей развальцей в походке, с грубоватым лицом, исчерченным тонкими морщинами, он едва узнал самого боевого курсанта кавалерийской школы, Егора Куприянова, весельчака, плясуна, общего любимца, одинаково отличавшегося когда-то и на рубке лозы, и на политзанятиях. Да, это был уже не прежний лихой Гошка, который когда-то, уже в последние дни гражданской войны, заменив в сабельной атаке убитого командира эскадрона, повел курсантов в бой и сам был тяжело ранен. Только глаза, светло-карие, зоркие, по-мальчишески озорные, и остались, пожалуй, прежними.

— А я что? — Куприянов, посмеиваясь и по старой своей привычке смотря прямо в лицо смущенному собеседнику, спросил: — Постарел, да?

— Ну что ты, что ты... Ты чудно выглядишь. Просто я...

— Серега, врешь,— сказал Куприянов с прямотой, какой он и раньше отличался во всех своих делах.— Ну, правильно, постарел. Знаю. И ничего в этом обидного нет. Я, брат, уж дедушка, да, да. А ты что думаешь? — Вдруг он спохватился: — Нашли о чем толковать. Ты ведь совсем тут освободился? Ну, вот. А сейчас давай одевайся, город тебе покажу. Глянешь, чего мы тут без тебя отгрохали. А потом ко мне, как говорится, на рюмку чая... Нет, нет, не отказывайся, не выйдет... Я ведь тебя, чертушка ты этакий, все время в сердце держу. Все пластинки, что ты напел, у меня есть. Полное собрание песнопений. Портрет твой на стене висит. Как кто придет: вот, глядите, любуйтесь, старый дружок, наш эскадронный соловей. Куда вознесся: народный артист!

Их уже обступили. Какие-то незнакомые люди, должно быть просочившиеся сюда из раздевалки, улыбаясь, слушали разговор. Аккомпаниатор Иван Арнольдович, уже успевший переодеться, с чемоданчиком в руке стоял поодаль, нетерпеливо переминался с ноги на ногу и сердито показывал глазами на часы.

Волнение, вызванное неожиданной встречей, уже схлынуло. Лапшину становилось неловко. То, что так неузнаваемо изменившийся Куприянов держался с ним по-прежнему, будто оба они были курсантами и встретились после каникул, что он не желал замечать, что разговор их слушают, ухмыляясь, какие-то незнакомые люди, вероятно пошучивающие в их адрес,— все это неприятно поразило Лапшина. Ему захотелось поскорее попасть в гостиницу и тут, наедине с самим собой, посмаковать впечатления от встречи с земляками.

Аккомпаниатор понял его.

— Сергей Игнатьевич, голуба моя, мы же должны торопиться,— сказал он, неприязненно косясь на коренастого человека, большие руки которого все еще держали руки Лапшина.

Певец сейчас же ухватился за этот брошенный ему спасательный круг.

— Да, да, Гоша, увы... В гостинице заказан ужин. В двенадцать отходит мой поезд.

— Ну, ну, будет... Ужинаешь ты у меня... Сегодня женка там вовсю развернулась. А поезд... что поезд! Мы завтра утром тебя со «стрелой» отправим...

— А ты где живешь-то?

— В Красной Слободке. Помнишь?

— Та-а-к! И кто же ты теперь есть?

— Я? — В голосе приятеля прозвучала вдруг нотка удивления, и он почему-то вопросительно взглянул на певца.— Мастером работаю на Первомайке. Не забыл Первомайку? Ну, которая еще над Кавшколой-то нашей шефствовала. Ну, вот там... Сегодня ко мне кое-кто из заводских придет... Поклонники твоего таланта. Да какие. Споешь нам. А?.. Ну, пошли.

Тащиться поздним вечером после концерта на далекую окраину, встречаться с какими-то незнакомыми людьми, петь им... Поклонники таланта!.. Нет, бесцеремонность старого друга уже определенно раздражала певца.

— Не могу,— решительно сказал он, подпустив в голос холодку.— И билеты на поезд уже вот тут.

Для убедительности он хлопнул себя по карману фрака, в кармашке которого девственно белел уголочек батистового платка.

— Э, что билеты... Ерунда... Говорю, утром со «стрелой» поедешь.

— Утром, милый Гоша, я должен быть дома. Днем в Большом репетиция. У нас, родной мой, на этот счет строго.

Никакой репетиции ни завтра, ни в ближайшие дни не предполагалось. Лапшин соврал, чтобы не обижать друга, и, к его радости, аргумент был принят. Куприянов отпустил руки артиста, и на немолодом лице его, так странно сохранявшем юношескую живость, отразилось такое огорчение, что певцу стало его жаль: ведь какие надежды подавал. А вот застрял человек в этом городе, живет в своей Красной Слободке, в кругу мелких людей и мелких интересов, и, когда по радио долетает до него из столицы пение друга, можно представить себе, как он гордится, вспоминая юные годы... Пластинки собрал... Портрет вон повесил... И, наверное, перед концертом нахвастал всем: придет закадычный приятель. Поди, всю получку на угощения потратил... Вон он какой убитый стоит.

— Гоша, ужин в гостинице, бог с ним, пусть пропадает. Но ведь репетиция, понимаешь,— сказал Лапшин как можно ласковее.— А до поезда, верно, давай, пожалуй, по городу прошвырнемся, старину повспоминаем... Да, да, Иван Арнольдович, вы не беспокойтесь, к поезду

поспеем. А ты, Гоша, погоди, я переоденусь моментально: аллюр три креста.

Когда в плаще, в шляпе с полями, чуть приспущенными на левую бровь, моложавый, элегантный Лапшин вышел из артистической, друг его стоял у двери и лицо у него было все такое же, не то чтобы обиженное, но очень опечаленное.

— Женке звонил. Знал бы ты, как она огорчилась. Но мы понимаем, репетиция...— Куприянов вздохнул.— Ну, чего там, двинулись, хоть город покажу. Эх, днем бы...

Теперь Лапшину было жаль Куприянова. Душа всех комсомольских сборищ, гордость эскадрона. Какое будущее ему все прочили! И вот... Певцу даже почему-то было совестно перед старым приятелем за сегодняшние овации, которые все еще звучали у него в ушах, за свой моложавый вид. И хотя перспектива бродить по городу мало его привлекала и куда заманчивей было бы сейчас попасть в ресторан новой гостиницы, где, как Лапшин уже успел убедиться, была неплохая кухня, он все же испытывал удовлетворение: этот вечер он великодушно жертвовал юношеской дружбе.

Пройдя какие-то коридоры, они вышли в общий вестибюль. Последние зрители разбирали с вешалки пальто. Когда приятели проходили мимо, все лица повернулись к ним. Для Лапшина это было привычно, но он сразу насторожился, когда его чуткое ухо уловило за спиной:

— ...Какой, какой? Этот, в бобриковом реглане? Что с Лапшиным идет?

— Ну, да. Они же, говорят, старые друзья...

И юный девичий голосок громко перебил:

— Где, где? Покажите, пожалуйста, Куприянова...

Друзья вышли на улицу. Огромные тополя старого городского сада дохнули на них ароматной прохладой. Вершины деревьев темнели, как грозовые тучи, сливаясь с ночным небом, а листья нижних ветвей, просвечиваемые сильными электрическими огнями, нежно зеленели и трепетали, отбрасывая под ноги идущим живые, зыбкие тени. Из сада доносилась музыка. Духовой оркестр играл старинный вальс. За кустами двигались тени гуляющих. Все было очень знакомо. И юность, забытая юность, вдруг ожила и нахлынула на певца. В это мгновенье он, может быть впервые, понял, как это здорово было когда-то, в ладной курсантской гимнастерке, в шлеме-буденовке, который он носил «под Алешу

Поповича», чуть набекрень, в скрипучих ремнях, позванивая шпорами, идти в зеленом светящемся полумраке аллей, идти и думать, что вот-вот, может быть за этим поворотом, мелькнет тоненькая фигурка, которую отличишь в любой толпе.

Маша!.. И вспомнилась маленькая стройная девушка с тонким бледным лицом, на которое длинные ресницы точно бы отбрасывали синеватые тени, ее льняные кудри, такие пышные, что, если она не повязывала их красной косынкой, они разлетались в разные стороны и головка ее казалась объятой белым трепетным пламенем. Маша — хохотушка, певунья, насмешница, по которой вздыхал весь второй взвод первого эскадрона и которая, увы, безжалостно предпочла стройному Лапшину коренастого медвежеватого Куприянова. Все: слава, известность, общее внимание, привычные артистические радости и досады — все это как-то растаяло в звуках старинного вальса и терпком запахе тополей... Под купами старых деревьев снова шел, позвякивая шпорами, стройный курсантик, шел, взволнованно ожидая, не появится ли в полутьме боковой дорожки головка в красном платочке или в белой кипени льняных кудряшек...

Певец вздохнул.

— Где-то сейчас наша Маша? Помнишь ее?.. Ткачиха...

— Маша? — удивленно, как давеча, переспросил Куприянов и вдруг засмеялся.— Ах да, откуда тебе знать. Маша здесь. Только уж не ткачиха — врач. Да еще какой врач-то! И, между прочим, моя жена. Ну да, чего ты так на меня уставился? А как она тебя видеть хотела. Она и концертом-то пожертвовала, чтоб Сережку-певуна как следует дома встретить... Ну чего ж, садись, что ли?

Оказывается, они стояли возле новенькой автомашины, притулившейся к тротуару. Куприянов открыл дверцу и показал другу на сидение.

— Замечтался!.. Хорошо тогда, Серега, было. А? Юность, брат, чудесная штука... Ну, лезь, лезь в машину. Время-то у нас мало.

Сам Куприянов сел за руль. Машину он вел привычно, уверенно, но, как казалось Лапшину, злоупотреблял скоростью.

— Поедем потише...

— Не бойся, не расшибу, у меня права первого класса.

— Любительские? — Певец вопросительно посмотрел на друга.

— Любительские... Да ты не на меня, ты на город гляди, не зевай... Видишь, что мы тут понастроили-то!

Действительно, какие-то новые, совсем незнакомые улицы бежали за стеклом. Вершин домов Лапшину не было видно, но, судя по нижним этажам, на месте пузатых и нескладных купеческих особняков, какие привык видеть здесь его глаз, поднимались большие строения. От прежнего остались только тополи вдоль тротуара. Когда-то он сам, в дни комсомольских субботников, сажал их здесь. То были тоненькие беззащитные прутики, которые приходилось мочалом привязывать к кольям, чтобы ветер не раскачивал их. Теперь вдоль тротуаров поднимались деревья и кроны их почти смыкались над проезжей частью.

— А старые мы с тобой, Гошка, становимся,— сказал Лапшин, глядя на эти неузнаваемо разросшиеся деревья.

— Не замечаю,— ответил собеседник.— Да гляди ты, гляди. Опусти стекло, виднее будет.

Машина выехала на набережную. Здесь у песчаных пляжиков городского откоса курсанты когда-то купали по вечерам своих коней. Теперь берега реки были забраны в гранит. Чугунная вязь массивной решетки обрамляла их. И река была другая, незнакомая, широкая, неторопливая, какой раньше бывала разве только в половодье. У противоположного берега шел большой пароход. Огни его золотыми змейками извивались в медлительной и как бы густой воде, и от этого она казалась черной, как деготь. Набережная была красива, но Лапшину, много ездившему по стране, видевшему много хороших городов, было даже жалко тех прежних, поросших травой откосов и пляжиков, с которых так приятно было, раздевшись, заезжать в холодную воду на храпящем танцующем коне. Певец зябко передернул плечами.

— Ты мою кобылу Антапку помнишь? — спросил он.

— Ну, как же, выдающееся существо. Об одном ухе. А другое ухо, помнится, ей один мой знакомый на рубке ухитрился шашкой отхватить,—отозвался Куприянов. Впрочем, воспоминания, должно быть, мало интересовали его.— Ты знаешь, сколько мы за эту набережную отва-

лили? Двадцать один миллион! Вот мы какие теперь богачи стали. Э, да что набережная, поедем дальше, вот я тебя сейчас удивлю.

И опять он вез друга по неузнаваемо преображенному городу. Куприянов показывал его с той ревнивой настойчивостью, с какой хорошая хозяйка показывает гостю свою новую квартиру. Он называл цифры, отпущенные по бюджету на ту или другую стройку, говорил о планах, о том, что где строится и что будет заложено в ближайшее время. А Лапшин думал о своем, о пролетевшей молодости, о юных днях, вспоминал давнишние происшествия.

Куприянов явно гордился, откровенно хвастался, а певец все с нарастающим интересом косился на приятеля. Нет, он даже не очень и постарел, этот Гошка, черт его подери! И глаза, и задорные морщинки у носа, и этот его вихор — единственная, как шутили когда-то курсанты, «кудря» — по-прежнему озорно торчит из-под кепки.

Все больше тянуло увидеть Машу. У Лапшина было с тех пор немало увлечений, коротких и продолжительных, легких и мучительных. А вот настоящей большой любви не случилось. Он так и остался холост. О девушке по имени Маша час назад он даже и не думал. Но юношеская любовь, должно быть, бережно хранилась в его памяти под спудом впечатлений, накопившихся с годами. И вот теперь Маша возникла перед ним такой же, как прежде, юной. Он увидел каждую черточку ее лица, до крохотной родинки в уголке глаза. И хотя он знал, что не может быть уже ни легкой девичьей фигурки, ни красной косынки, ни русых кудрей, подобных белому пламени, ему хотелось хотя бы взглянуть на жену друга, какой бы она теперь ни стала...

— Ну, вылезай. Зажмурься, а то упадешь,— сказал Куприянов, открывая дверцу и явно стараясь замаскировать шуткой свое волнение.

Машина стояла на высокой дамбе, которая вела к большому мосту, висевшему над рекой двумя гирляндами причудливого стального кружева. Как знаком был этот мост Лапшину! Когда-то отец-рыбак на попутной подводе вез сына в город, и мост этот, бывший в те поры крыльцом города, совершенно подавил маленького Сережу своей грандиозностью и красотой. Теперь он ка-

зался совсем небольшим и вовсе не поражал воображения. Да и не на мост показывал Куприянов.

Отсюда, с дамбы, широко открывалась панорама всего Заречья. В дни юности Лапшина это был трущобный район, куда курсантам небезопасно было провожать девушек. Теперь зыбкая панорама электрических огней светлым пунктиром обозначала во тьме новые улицы. А дальше, на горизонте, подсвечивая его красным, колеблющимся заревом, виднелся огромный завод.

— Первомайка... Наша Первомайка — не узнаешь?— спросил Куприянов. Лицо его сияло, лукавинки выглядывали не только из плутовских его глаз, но, казалось, и из каждой морщинки.— Видал?

— А это?

— Да это же и есть Красная Слободка.— Куприянов гордо показал на асфальтированный проспект, начинавшийся прямо за дамбой. Ряды чугунных светильников, выстроившихся вдоль тротуара, освещали дома.— До моей хаты рукой подать. Да,— он взглянул на часы и вздохнул,— времени мало... Еще опоздаешь... Эх, кабы не эта чертова репетиция.

Лапшин уже колебался. Может быть, признаться, что давеча он наврал, что уезжать ему сейчас не хочется, что он с радостью остался бы назавтра погостить у друга, повидался бы с Машей, посмотрел бы родной город днем. Он даже собрался с духом, чтобы все это сказать, но к ним подошел милиционер. Сердито откозыряв, он сказал:

— Граждане, здесь стоять с машиной нельзя.

— Прости, брат, сейчас уедем... Город вот наш старому другу показываю. Лет двадцать здесь человек не был,— общительно пояснил Куприянов.

— Это, никак, Егор Григорьевич? Виноват, товарищ Куприянов, не узнал.— Милиционер снова откозырял, на этот раз даже старательно пристукнув каблуками.— Простите, что мешаю беседе, но не положено. Большое движение.

— Правильно, правильно, товарищ старшина. Мы сейчас трогаемся,— ответил Куприянов и, когда машина уже неслась на максимально возможной скорости, вздохнул.— Эх, Серега, будь время, я б тебя повозил...

— Да ты что, начальство здесь, что ли, какое?

— Начальство невелико — мастер.

— Ой ли? Перед тобой вон милиционеры тянутся. Все тебя знают.

— Ну и что ж такого. Давно здесь живу — вот и знают. Можно сказать, старожил. Знаешь, что старожилы существуют для того, чтобы чего-нибудь да не припомнить...

— И ты действительно только мастер?

— Что значит «только»? Мастер — фигура на производстве не маленькая. А у нас на заводе «Первое мая»... Чего ты на меня уставился?

Лапшин теперь действительно глядел на старого друга, будто заново видел его. «Мастер с завода имени Первого мая Егор Куприянов!» «Почин мастера Куприянова!» «Методы мастера Куприянова!» «Последователи мастера Куприянова!»... Все это столько раз мелькало в газетных заголовках.

— Так это ты и есть мастер Куприянов?

— В пятый раз спрашиваешь, Сергей. Я даже считаю,— уже не скрывая досады, ответил тот.

И вдруг певцу стало стыдно, так стыдно, что уши сделались горячими. Он еще не совсем понимал, откуда и почему появилось это чувство, но стыд был таким жгучим, что он даже не посмел поднять на приятеля глаза...

— Кажется, вовремя приехали,— сказал Лапшин только для того, чтобы нарушить неловкое молчание.

Машина остановилась у перехода, ведущего через пути к вокзалу.

— Через две минуты — поезд. Мы, механики, привыкли к точности.— Куприянов легко взбежал на виадук, Лапшин едва успевал за ним. Навстречу, размахивая руками, как крыльями, бежал представитель областной филармонии, а за ним аккомпаниатор Иван Арнольдович с расстроенным, обиженным лицом.

— Товарищ Лапшин, мы уже совсем отчаялись...

— Сережа, голуба, можно ли так тянуть за нервы. Вот поезд...

И действительно, в эту минуту из-за здания вокзала, тяжело дыша и притормаживая, как бегун, уже оборвавший финишную ленту, появился паровоз.

Когда, прощаясь у высокой подножки, приятели целовались, Куприянов сказал:

— А ты не забывай нас, приезжай. С концертом или так, в гости. Отдохнешь, рыбу половим. Или уж забыл, как и червяка на крючок насаживают?.. Да лезь, лезь, трогается.

Лапшин вскочил на подножку, которая уже пришла

в движение. Иван Арнольдович заботливо поддерживал его за плечи.

— Сумасшедший, под колеса попадешь! Перебрали вы там, что ли, с дружком-то?

Лапшин не слыхал его воркотни. Ему вдруг ясно представился этот же вот старый вокзал, теплушки, острый запах ременной кожи, конского пота и креозота. Толкотня посадки. Тягучие звонки. Скрип разбитых теплушек. И в серой толпе провожающих воинский эшелон... Маленькая, тоненькая девушка в синей кургузой жакетке, бледное лицо, на котором тени длинных густых ресниц. Вот она замахала рукой, вот побежала, расталкивая толпу, вот сорвала с головы косынку, размахивает ею. Белые кудри, рассыпавшись, мечутся над ее головкой, как языки пламени. А она все бежит и что-то кричит, и кажется Лапшину, что кричит она: «Ребята, возвращайтесь с победой!» И он, высунувшись за дверь поскрипывающей теплушки, кричит в ответ: «Вернемся, обязательно вернемся. Помни нас, Маша...» Уже не видно ни девушки, ни вокзала, промелькнула водокачка, уличка железнодорожного поселка, прогрохотал и остался позади виадук. Все быстрей бегут мимо какие-то склады, вот и их уже нет, горизонт расступается, и уже медленнее плывут перед глазами поля, леса, перелески. Родина, которую надо защищать...

...Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни...

— Поет на ветру! Безумие. Так надраться!.. Горло, горло же, Сережа,— кричит в ухо не на шутку испуганный аккомпаниатор.

— Голос-то вам, Сергей Игнатьевич, беречь надо. Сокровище — голос. Пройдите в вагончик,—назидательно говорит незнакомая пожилая женщина в одежде проводницы.

Лапшин смотрит на них, не понимая, чего они оба от него хотят, однако покорно поднимается и ставит воротник.

— ...Весны моей златые дни,— повторяет он, грустно улыбаясь.

Искры из паровозной трубы торопливыми золотыми штрихами перечеркивают мрак, вздрагивающий и качающийся за дверью вагона.

1938

ПОД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ

— Картину Левитана «Над вечным покоем» видели? Ну, конечно, кто же ее не знает. Помните, там эти грузные облака, похожие на далекие горы, тихое озеро, островок вдали, а над всем этим высоко на мысу ветхая церквушка... Этакой сладкой грустью от всего веет... Вот как приедете на Озероуголь, ступайте в наш шахтерский парк культуры и отдыха, отыщите там городошную площадку, а за ней скамейку, что над обрывом, над самой кручей. Сядьте на эту скамейку, и перед вами картина «Над вечным покоем». Так сказать, в натуре. Нет, правда: и озерная гладь, и зеленые берега, и, если повезет, облака, похожие на горы, и даже строеньице на мысу. Правда, не церковь, а лодочная станция. Ну, да это ведь пейзаж не меняет.

Я почему про эту картину начал? Показать, что бассейн наш особенный. Донбасцы из самых земных недр уголь таскают. Есть рудники, где прямо экскаватором из открытого разреза гребут и на платформы наваливают. А мы вот уголек свой берем из-под самого из-под озера. Ну да. Вы что думаете? Над озером облака плывут, над водой рыбачий парус, чайки летают, весной в кустах соловьи поют. Тишь, гладь. А под водной гладью: штольни, штреки, электропоезда бегут, и в забоях круглосуточная работа. Техника, между прочим, самая современная.

Однако я отвлекся. Не о бассейне хочу я вам рассказать, а о двух наших людях, о том, как они насмерть поссорились, как возненавидели друг друга и к чему все это в конце концов привело. Да-а!.. История эта у нас на шахтах в свое время, можно сказать, прогремела. Много о ней в нарядных посудачили. Но, не хвастаясь, скажу, никто, кроме меня, по-настоящему всего этого происшествия не знает, потому что довелось мне с начала и до конца быть, как любите вы выражаться в газетах, «в самом горниле событий».

А началось вот с чего. Как-то после партийного собрания зашел ко мне домой маркшейдер наш Тараканов, Федор Григорьевич, по пустому делу зашел — партию в шашки сгонять. Маркшейдер наш в шашках дока. В два счета загнал две моих в угол, запер и смеется в бороду. А я сижу перед ним и ломаю голову, как выйти из это-

го плачевного, можно сказать, положения. Вдруг стук в дверь. И не то чтобы кто-нибудь вежливенько пальцем постучал: дескать, можно войти? Барабанят кулаком что есть мочи, так что у нас шашки на доске запрыгали.

Отпер я — что такое! Стоит передо мной лучший наш забойщик Петро, то есть Петр Николаевич Стороженко, стоит, за косяк держится, а у самого губы прыгают. Что такое?

Тараканов вскочил так, что шашки на пол посыпались.

— Авария?.. Вода? Обвал?

Таких шахт, как наша, нигде в мире еще нет. Геология сложнейшая, опыт эксплуатации еще только накапливается. Все время надо быть настороже. Ну и подумали, что на шахте беда случилась.

Но Стороженко головой мотает.

— Нет,— говорит,— обвал — тут.— Стукнул себя кулачищем по груди, зубами скрипнул. Потом присел прямо на пороге да как заплачет.

Мне даже не по себе стало. Ну женщина плачет — это, так сказать, в порядке вещей. А тут Стороженко, парень без малого центнер весу, огромных физических сил. И винишком от него шибает так, что спичку зажечь рядом опасно. Никогда я его таким не видел.

Стоим мы с маркшейдером Федором Григорьевичем и не знаем, что делать. Утешать вроде бы неудобно, уж больно велик. С каким утешением к такому приступишься? Не воду ж ему предлагать... Ну, потом кое-как он сам успокоился, вытерся ладонью и рассказал, в чем дело...

А дело получилось вовсе неожиданное: оказывается, наш главный инженер, Вадим Семенович Кульков, у Петра невесту отбил. Ни больше ни меньше... Ситуация!

Ну, прослушали мы его, маркшейдер Федор Григорьевич и спрашивает:

— Как же ты это, Стороженко, девушку проворонил? Ты вона какой — ростом с копер, с лица неплох и работаешь — дай бог всякому. В Москве тебя знают. А ведь Вадим-то — глядеть не на что, тьфу, да и хромой вдобавок.

И уж лучше б ему, Федору-то Григорьевичу, молчать. Петро как затрясет своими кулачищами, а они у него в добрую кувалду, как закричит:

— Вот и пойми ее!.. Оскорбила она меня, обидела. Дураком выставила перед всем поселком!.. Я ей и это простил. Я по-хорошему к ней — забудем все, Варя, давай чтобы было по-старому. В новом доме первая квартира моя, давай в загс сходим, вместе заживем. Нет, говорит, Петро, разошлись наши дороги. Хороший ты, говорит, парень, любая за тобой счастлива будет, и спасибо, говорит, тебе за любовь, а только, прощай... И надеждами, говорит, себя не мучь. По-старому не будет.

Замолчал, зубами скрипнул, и такая тощища у него в глазах, что в комнате зябко стало.

— И чего ей надо? Заработок? Так я не меньше этого колченогого инженера зашибаю. Диплом? Так и я учиться могу, годы наши не вышли. Чего, ну скажите, чего?..— А потом как брякнет шляпу об пол.— Все... Конец. Не могу я тут больше жить, дядя Саша, не могу на них глядеть, уеду отсюда к чертовой матери. Давай,— говорит,— открепляй меня с партучета.

Ситуация! И что сделаешь? Отпустить? Как его отпустишь — лучший забойщик, герой, гордость молодого нашего бассейна. Вокруг него целая школа из молодых ребят. Учатся у него, с него пример берут. И бассейн наш, как вы знаете, особенный, каких нет. Кадры позарез нужны. Как тут поступить? С инженером с тем поговорить: отдайте, дескать, чужую невесту? Вовсе глупо.

Ну, как мог вразумил его: дескать, парень ты молодой, хороших девушек много, а Озероуголь наш не только в стране, но и во всем мире пока один такой. Большая это честь из-под озера уголек добывать, новые пути в технике прокладывать... Ну, и на партийную совесть поднажал — дескать, тебе, как молодому кандидату партии, не годится из-за личных дел бросать большое, общественное. Ну, а в заключение все-таки пообещал: «Ладно,— говорю,— с этой злодейкой Варварой сам потолкую, но об уходе с бассейна забудь и думать. Из головы выброси. А то,— говорю,— всем партсобранием за тебя так возьмемся — перья полетят...»

Ничего он мне не ответил. Повернулся и ушел. Даже шляпу свою на полу оставил.

А девицу-злодейку эту мы хорошо знали — Варюшка Гречишкина. Из местных она, из колхоза, что за озером, из коренной рыбачьей семьи. Пришла к нам сама, без зова, когда мы еще тут на местности колышками план

первой шахты намечали. Ничего особенного, так, голубоглазая девчонка с косичками. Но смышленая. Сначала посуду в столовке мыла, стряпухе нашей помогала, палатки прибирала, потом землю рыла, а когда первую шахту в эксплуатацию сдали, она уже обучилась на курсах, стала машинистом на подъемке... Наша воспитанница, любимица всех, так сказать, основоположников нашей шахты.

Вызвал ее и говорю:

— Что ж ты это, дурешка, такого золотого парня бросила? Герой. По секрету скажу — к большому ордену его представили, а ты?

— Знаю,— отвечает,— все знаю. Только,— говорит,— Александр Ильич, сердцу не прикажешь. Полюбила,— говорит,— Вадима, и все.

Сказала, а у самой глаза засверкали, как вода в нашем озере, когда ее солнце осветит. И глаза эти ее мне больше слов сказали.

— А у него-то,— спрашиваю,— это серьезно? Он-то тебя хоть любит, твой инженер?

— Не знаю,— говорит,— Александр Ильич, мы с ним об этом и не говорили, робкий он человек, молчаливый. А вот я его люблю — это знаю. Это серьезное. Отцу с матерью еще не говорила, а вам скажу — вот не вижу его, уедет он куда или заболеет, мне и солнышко не так ясно светит. Я раньше и не знала, что вообще такое на свете бывает...

Что ей на это ответишь? Ситуация!

Теперь расскажу я вам насчет этого самого главного инженера Кулькова, Вадима Семеновича. Парень он молодой, недавно, как говорится, со студенческой скамьи, но уже успел отличиться в сложных условиях Сибири. К нам приехал, когда работы по строительству шахты уже были в разгаре, и, скажу прямо, коллективу не понравился: сухарь какой-то. Слова лишнего не скажет, не улыбнется.

Спокойный. Но уж если кто иной раз в работе промахнется, он с ним, не поднимая голоса, так поговорит, что тот вспотеет от обиды: лучше бы уж как следует изругал. И из себя не видный: сутулый, угловатый, губы в ниточку и к тому же несколько хром: ногу ему повредило в Сибири во время обвала.

За что такого любить — непонятно.

А Варюшка наша втюрилась в него без памяти. Он в рудоуправлении, бывало, поздно засиживался, а она ночь-полночь возле ходит, ждет. Сидят они вместе в столовке — глаз с него не спускает. И если кто при ней о нем худо скажет или даже просто пошутит — съесть готова живьем.

Ну, а Петро — тот видеть его не мог. Инженер в комнату, он вон. Заметит их вдвоем — в первый переулок свернет. Ведь что с парнем стало? Бывало, раньше кто на вечерах песню заводит? — Петр Стороженко. Чей смех на весь поселок гремит?— Его. Вокруг кого девчата табуном? — Опять же вокруг Петра.

А тут вроде даже и характер у парня сломался. Работал, правда, по-прежнему, красиво работал. Но как поднимется на-гора — в баню, из бани — на озеро. И до самой смены никто его больше и не увидит. Удочки завел, лодку в деревне купил, так целые дни и занимался этим самым апостольским промыслом, точно старик какой. Наловит, бывало, рыбы, а потом ходит с пудовой насадкой по поселку, собак кормит. И тут уж его и случайно не задень. Чуть что — зубы скалит, из-за каждого кривого слова готов в ссору. И чего только мы не предпринимали! И душеспасительные разговоры с ним вели, и дела всякие общественные ему поручать пробовали, и на бюро вызывали — не помогает. Я его все время из поля зрения не выпускаю, а ребятам говорю: вы уж лучше его оставьте, не трогайте. Время — лучший лекарь: любую рану заживит.

Ладно! А у Варюшки с инженером дела вроде идут на лад: не разлей вода; на работу вместе, с работы вместе, в кино или там в клуб — рядом. Ну, наши поселковые бабешки, женщины, извиняюсь, уже совсем их было поженили. Вдруг — бах! Новость!

Прибегает ко мне профорг первой шахты, весь, фигурально выражаясь, в мыле.

— Варьку Гречишкину уволили!

— Уволили? Кто? За что?

— Кульков уволил. Она на минутку вышла из кабинки — объявление физкультружка повесить. А ему в шахту спускаться надо. «Где подъемщица?» — «Нету».— «Куда ушла?» — «Не знаем». Он, ни с кем не посоветовавшись,— раз приказ: «За самовольное оставление ответственного поста!»

Час от часу не легче! А тут врывается Стороженко. Как был из шахты, в робе, в шахтерке, в резиновых сапогах, весь черный, неумытый, белки глаз сверкают. Хлоп кулаком по столу.

— Что, не говорил я! Сердце мое эту пакость чуяло!.. Инженер! Побаловался с девкой — и с шахты вон, чтобы глаза не мозолила! Так! А ты,— кричит,— что, покрывать его будешь, секретарь парткома? Ничего, мы найдем ходы! В райком и в обком напишем!..

Я его урезонивать: утихни, разберемся, выясним... Какое!

— Нет,— кричит,— теперь мне вашего разбора не требуется, теперь я сам разберусь! Пусть моя голова летит, а и ему не поздоровится. Нам,— говорит,— с ним на одном земном шаре двоим тесно. Либо я, либо он!

Я было ему:

— Остынь, прежде чем такие слова говорить...

Не дослушал, повернулся, ушел.

Ситуация!

И верно, думаю, как бы парень в сердцах глупость какую не сделал. Захожу к этому самому инженеру Кулькову. Как же это, мол, так, товарищ главный инженер, ни с кем не посоветовавшись, никому даже не сказав, лучшую нашу воспитанницу, первую нашу шахтерку и сразу вон со двора?

А он стоит передо мной бледный, неподвижный, точно весь замороженный. Холодом от него так и несет.

— Мне,— говорит,— Александр Ильич, самому не меньше вашего Варвару Гречишкину жаль. Но сделать ничего не могу. Покинула самовольно ответственный пост. Представьте,— говорит,— в эту минуту авария. Обвал, вода — а подъемка не работает! Возле нее и нет никого!..

— Однако,— говорю,— ни обвала, ни воды в данную минуту не было.

— Это ее не оправдывает. У нас шахта экспериментальная, все и всё время обязаны быть настороже...— И тихо спрашивает: — У вас, Александр Ильич, дело какое-нибудь ко мне есть?

Вы понимаете, что это за вопрос? И что ответишь? Формально он прав. Дисциплина. Единоначалие. Ничего не возразишь. А по существу? Есть, есть такие вопросы которые и для себя-то решить трудно. Ситуация...

Да, так и ушла наша Варюшка, наша воспитанница, с шахты обратно в родной колхоз. Заходила она с вещичками и ко мне в партком прощаться. Плакала. Как же! Вместе с нами здесь на поле лопатами дерн подымала, там, где сейчас вон какие махины стоят. Сердцем к шахте приросла. Разве легко от этого всего оторвешься? И любовь ее первая тут оставалась. Легко ли? Но что поразило меня тогда: не сказала она об инженере и слова худого.

— Он,— говорит,— хороший, вы его просто не знаете... И во всем я сама виновата...

Лицо руками закрыла и от меня вон...

Вот она, какая любовь-то бывает. И исчезла она от нас вовсе — ни слуху ни духу.

Молодежь из их колхоза в наш клуб через озеро на концерты и на всякие там мероприятия наши на баркасе плавает. А она нет, ни разу. Говорили их ребята, будто отказалась в избе-читальне работать, в ловецкую бригаду будто пошла. Еще говорили, будто в вуз поступает, готовиться стала... Но в общем никто ничего толком не знал.

А у нас, между прочим, было так. Петр Стороженко вовсе от людей отбился. Как на-гора подымется, сразу пропадает на своей лодке. Встретит инженера, зубы сцепит, кулаки сожмет и прочь. А инженер после этой истории с Варей тоже вроде переменился. Ни в клуб, ни в кино, ни в библиотеку — никуда. Целые дни на шахте. То, видишь, по двору ковыляет, то у подъемки. Вниз спустишься — он там. К тому времени разглядели мы его получше — ничего не скажешь: деловой, зоркий, взыскательный. Как-то вижу, идет по двору, на дворе лужа. Остановился он перед ней, ищет глазом, где через нее перемахнуть лучше. Ну, десятник взял тесину из штабеля, перебросил ему: «Давай-те руку, Вадим Семеныч». А тот лужу по воде перешел, десятнику на доску показывает:

— Дома,— говорит,— у себя, наверное, найдете какую-нибудь паршивую планку с гвоздем, так гвоздик клещами вынете, распрямите да положите в ящичек, а планку в другое место. А тут мерный материал, ценность, а вы его в грязь! Государственное. Чужое. Так?

И бах десятнику замечание в приказе.

Никому спуску не давал. Словом, видим, работать умеет, по этой линии про него худого не скажешь. Но только, я вам честно признаюсь, не лежало у меня к нему сердце после истории с Варей. А тут еще

все время опасаюсь, как бы Петро чего не отчубучил. Мало ли что может такой парень вгорячах выкинуть.

А инженер будто ничего не замечает — ломит напролом во всех своих делах.

Я вам уже говорил тут, что берем мы уголек из-под самого озера. Тонкая это штука — путь к нему лежит через плывуны, и сам-то он, уголек, под водой. Зато какой! И толщина слоя — богатейшая. Но каждый метр штрека бетонировать надо. За каждой каплей воды, как за диким зверем, следить: просочится, ходок пробьет да в шахту хлынет, а сверху-то ее — вон оно — целое озеро, поди удержи!..

Как-то к нам на Озероуголь ученый один приезжал из Москвы, учитель нашего Кулькова, большой знаток горного дела. «Ваш бассейн,— говорит,— уникум, единственный в мире. Перед такими,— говорит,— почвенными условиями отступали инженера всего света. А мы нет, не отступаем, мы путь к нему нашли». Это все так. Но дело-то небывалое. Эксперимент. Тут Кульков прав: осторожность, осторожность и еще раз осторожность!..

Так вот, начал я вам о том, что главный наш инженер Кульков вместо того, чтобы Стороженки остерегаться, точно нарочно на рожон лез.

Работает раз Стороженко в забое, хвать — главный-то к нему и нагрянул.

— В центральный,— говорит,— ствол на втором горизонте плывун ударил. Поручаю вам, товарищ Стороженко, заделать. Только тихо, шума не подымать.— И говорит он это спокойно, будто спрашивает, как поживаешь.

А ведь у нас любому откатчику известно, что такое плывун. Плывун — это в наших условиях самое страшное слово. Как он только пробьет себе ход побольше, тут уж его ничем не угомонишь. Шахту поминай как звали, успевай только людей спасать. Так вот, как только Стороженко услышал это слово «плывун» — сейчас же к аварийному сигналу. А инженер его за руку:

— Не сметь! Не поднимать паники.

Он, видишь ли, высчитал, что можно без шума течь заделать, работу не срывать и людей попусту не баламутить.

Ну, а у Стороженко, понятное дело, внутри все кипит-клокочет. Ему ясно — вредитель шахту затопить хочет. «Ладно, мы тебя расшифруем». Решил сигнала все-таки не давать, идти с инженером, а когда его вредительство ясно станет, тут его за руку и поймать, поднять тревогу.

Влезли они на крышу клети, кольев, пеньки с собой взяли. Поднимаются. А плывун струей уже течет — бурый, густой, будто шахта ранена и кровью исходит. Поднялись до прорыва. Клеть остановили.

— Затыкайте,— говорит инженер.

А Стороженко про себя думает: «Если он вредитель — может, здесь заткнешь, в другом месте сильнее прорвет». В нашем горном деле это бывает, если неправильно рассчитать. Колеблется Стороженко, медлит, а Кульков презрительно усмехается:

— Струсили?

Схватил инженер кол, намотал на конец ком пеньки и в промой. А сила-то у него цыплячья. Плывун затычку вытолкнул, да колом-то инженера прямо в грудь. Тот отпрянул, оступился на хромую ногу да мимо клети прямо в колодец. Высота метров тридцать. Бетон. Но успел он за железную планку, которой крыша клети обшита, ухватиться. И повис. Висит над пропастью, а подтянуться сил нет, в лицо ему плывун хлещет, смывает его с клети...

Уж много времени спустя Стороженко рассказывал мне про это самое происшествие: «Висит, думаю, висит, ну и пусть. Не подняться ему самому: оборвется, полетит вниз, и все тут. Сам себя и за мою обиду, и за Варьку, и за все наказал». А сам бросился к краю крыши, лег на живот, ногами кое-как за канат зацепился, подбородком уперся в железную обшивку, а руками схватил инженера под мышки.

— Виси,— говорит,— черт тебя подери, смирно. Не болтай ногами.

И, вы понимаете, перегнувшись над пропастью, подбородок калеча об острое железо, потихоньку, очень медленно, стал отползать и инженера выволакивать. Минуты три тянул. Физиономию всю себе искромсал. Вытянул-таки. Поставил на ноги.

— Держись за канат! Храбрец!

Сорвал с себя резиновую робу, шапку, с инженера пиджак стащил, всем этим кол обмотал, нацелился, да со всего размаху и загнал в промыв. Силища, я вам скажу, у него, у этого Стороженки! Заткнул-таки. Потом они вместе все это закрепили кольями, зашпаклевали. И, представьте, так там управились, что на шахте узнали о промое, только когда строительный отряд получил аварийный наряд — пробетонировать пораженное место.

Да еще работница, дежурившая у клети в тот день, рассказывала потом, как Стороженко и Кульков поднялись на-гора по пояс голые, оба грязные, обляпанные плывуном. И инженер будто протянул забойщику руку, а забойщик будто руки не принял, повернулся и, ничего не сказав, пошел прочь в банно-прачечный комбинат мыться...

Ну, хорошо. Казалось бы, после такого происшествия должны были эти люди если и не подружиться, то хотя бы человеческие отношения наладить. Куда там! Попрежнему скалятся друг на друга, и особенно Стороженко. Рассказывали мне, будто не раз в колхоз он к рыбакам ездил, будто еще и еще с Варей беседу имел, и опять у него из этого ничего не вышло.

Попробовали Стороженку с Кульковым мирить. Маркшейдер Федор Григорьевич, он у нас самый старший годами и к тому же всеми уважаемый герой, уголь-то он тут отыскал вместе с геологами, уговорить их взялся. Однако и у него провалилась эта затея. Инженер только плечами пожал, а Петро даже выругал старика. Тем дело и кончилось. Как у Гоголя — не помирились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем...

Ну, махнули на них рукой. Благо хоть на работе не отражается. Стороженко этот что ни день выработку вверх тянет. Кульков новый способ бетонирования штреков предложил. Очень интересный способ. Новый, смелый. Словом, работают ребята.

Кстати, об этом способе. Я уж говорил, что грунт здесь особый, и мы каждый сантиметр бетонируем, забираем его, как бы сказать, в трубу. Кульков и предложил трубу эту делать в разрезе не круглой, а эллипсовидной и за счет этого вдвое толщину стенок уменьшить. Миллионная экономия! Ускорение работ. Но и риск. Над головой озеро. Инженерно-техническая мысль, обсуждая этот новый способ, вся перессорилась. Одни говорят — можно, другие — нельзя. Кульков твердит — у меня расчет, а ему: у нас практика, опыт. Вызвали консультанта из главка. Все обследовал, долго по штольням лазил.

— Заманчивое,— говорит,— дело, очень заманчивое. Но разрешить не могу, гарантий нет, риск. Если уверены — попробуйте на свою ответственность. Но помните, я не разрешил. Я только принцип одобрил.

И что же думаете? Кульков, этот тщедушный, хромой паренек, серьезно отвечает:

— Хорошо, я прикажу начать работы. Под мою ответственность.

Отвел он опытный участок. И, понимаете, назначает на него, кого бы вы думали? Стороженку. Тот прямо винтом вверх пошел. Прибежал ко мне в партком:

— Не желаю, не буду... Он же, черт колченогий, знает, как я его люблю. А тут такое дело — кирпич положил не туда, бетону кило не донес, и все к чертям. И затея и авторитет его насмарку. Он же, дядя Саша, себя мне в руки отдает. Нарочно отдает.

Ну, я вижу, парень через край перехватывает.

— Ты,— говорю,— Петро, со мной московское метро строил?

— Строил.

— Ты, говорю, вместе со мной по заданию партии приехал новый небывалый бассейн создавать? Приехал или нет, говори?

— Ну, приехал.

— Ты,— говорю,— на моих глазах вырос. Знаменитым человеком стал. Так или не так?

— Ну, в чем дело?

— А в том,— говорю ему,— Петро, дело, что слов этих я твоих не слыхал. А если,— говорю,— что-нибудь подобное услышу — знай, не быть тебе на шахте, не видать тебе партийного билета. Я тебя в партию рекомендовал, и я в таком случае партии покаюсь: ошибся.

Молчал, долго молчал, потом отвечает:

— Чего он ко мне лезет? Знает, что я видеть его рожу не могу. Так чего же меня возле себя держит? Что же я, железный? Сырое дерево и то загорается, если его день и ночь огнем палить.

Накричал я на парня, накричал и вскоре горько о том пожалел. И не потому только, что секретарю партбюро кричать не положено, а потому, что вскоре случилась вот какая история. Страшная, можно сказать, история.

Однажды, когда Стороженко со своей бригадой бетонировал по новому способу штрек, один его паренек заметил, что железная балка, поддерживавшая бетонное кольцо, вроде как бы прогнулась внутрь... Мерещится, что ли? Пригляделся — верно, балка толщиной рельсов в пять гнется. Страшная это сила — вода. Ну, понятно, дали тревогу. Людей подняли на-гора. Кульков сам вниз спустился и разрешил под землей остаться только десяткам двум лучших забойщиков со Стороженкой, маркшей-

деру Федору Григорьевичу, ну и мне, как партийному начальству. И велел он нам попытаться построить в устьях северного штрека перемычку, то есть, проще говоря, стеной перехватить воду, изолировать, так сказать, пораженный участок.

Да-а. А где тут изолируешь! Вода уж хлещет, шахту заливает. До поверхности нам метров двести, а над нами озеро. Жуткое дело. Однако шахтеры народ такой — в опасности все страхи забывают. Возимся по колено в воде. Таскаем мешки с цементом, камень, кирпичи. Огоньки шахтерок в темноте мечутся. Видно только пену на поверхности воды да лица наши. И Кульков с нами, работает, как все.

Тут-то мы его в первый раз по-настоящему разглядели. Ведь на опытном участке прорвало. Он знал — головой за это отвечает. Стороженко, тот вовсе убитый. Боится, подумают, что это из-за его плохой кладки несчастный случай произошел. Уж на что маркшейдер наш, Федор Григорьевич, бывалый горняк, десятки подземных аварий на своем веку видел — и тот растерялся. А этот чэрт Кульков ковыляет между нами по воде и распоряжается, и мешки таскает, и бетон мешает, и все торопит:

— Скорей, еще не поздно!

Однако скоро поняли мы, что стараемся напрасно... Вода поднялась и перемычку нашу слизнула. Где ж незастывшим бетоном такую силу удержать! Тогда Кульков скомандовал:

— Все на-гора!

Стали нас наверх вытаскивать. А клеть восемь человек поднимает. Вода мне уже по пояс, а Кулькову — он росточка-то маленького — по грудь. Наконец шлепнулась в воду последняя клеть. А нас девять человек. Кому-то, выходит, одному оставаться надо. Ну, мы — Стороженко и я — отошли прочь.

— Забойщик Стороженко и секретарь парткома Ильин, в клеть! — командует Кульков, именно командует.

Мы даже растерялись.

— А вы останетесь, да? Не сяду! — кричит Стороженко.

— Вы знаете, что значит аварийный приказ. Немедленно в клеть! — отвечает инженер, спокойно так отвечает, обычным голосом.

О том, что значит аварийный приказ, мы знали. Пришлось подчиниться. Клеть пошла вверх. Вот вообразите себе, внизу булькает вода. И где-то там один в этой воде остался человек. Понимаете наше состояние? Пока клеть опускали за инженером, Стороженко бегал вокруг ствола, как кошка у крысиной норы, а когда клеть поднялась, бросился прочь, пробился сквозь толпу, и до вечера его не видали.

А инженера, когда его подняли, я не узнал. Из клети его вывели под руки. Мокрый, зубы клацкают. Постоял некоторое время над колодцем ствола, послушал, как внизу вода, прибывая, клокочет. Потом сел на землю, закрыл руками лицо, да так и сидел неподвижно до самой ночи.

Да-а. Тут сиди не сиди, а шахта-то затоплена. Первая шахта! Экспериментальная. Ну, работы остановили. Понаехали комиссии. Одни обвиняют инженера, дескать, рассчитал неправильно, другие — Стороженку, говорят, плохо бетонировал. А самое скверное — все сходятся на том, что эксперимент с добычей угля из-под озера не удался и шахту придется закрыть. В разговорах без протокола уж и довод появился — нигде в мире таких шахт не строят, стало быть невозможно. Ну, а под протокол, разумеется, другие доводы — расчеты, формулы, геология, физика, ссылки на разные заграничные авторитеты.

Потом приехал тот самый ученый-профессор, что был уже у нас. Мы его лучшим другом нашего новорожденного бассейна считали и очень на его заключение надеялись. Кулькова он знал по институту как своего ученика и к бассейну добро относился. Он долго в делах копался. А потом и он развел руками — откачивать бесполезно. Шахта и озеро сейчас — два сообщающихся сосуда. Ну-ка, осуши озеро. Словом, и он высказался если и не за полную ликвидацию дел, то за временную консервацию.

Ох, никогда не забыть мне этой самой консервации! Шахта заколочена. Каждый день под окном скрипят возы — наши горняки на станцию барахлишко отвозят. Из разных областных организаций люди к нам ездят, осматривают здания, дома, спорят, подо что их лучше приспособить, чтобы не пустовали. Нас и не спрашивают, будто мы уже покойники. Каково все это нам, которые пришли сюда, когда тут еще голое поле было, которые тут все до последнего винтика своими руками сделали?

Столько волнений, надежд, мечтаний — и все под откос. Ситуация!

А меня еще и сомнение мучает: кто виноват —Кульков со своими новыми конструкциями или Стороженко с негодной кладкой? Природа ли матушка, не захотев нам свои сокровища отдавать, ударила под девятое ребро, сами ли мы чего прохлопали, или, быть может, протянулась сюда злая вражья рука, а мы ее не разглядели? Кульков утверждает, что расчет его верен. Стороженко говорит — бетон, как сталь, за бетон головой ручается. Однако поди проверь в затопленной шахте.

И не выходит у меня из головы последняя моя с Петром беседа, когда он отказываться от проходки опытного участка приходил, вспоминаются эти слова его — он себя сам мне в руки отдает. Неужели, думаю, пошел парень из-за ревности на такое дело?.. Скверно! И — что ни день — уезжают люди, и каждый ко мне в партком прощаться заходит. Ах, думаю, будь вам неладно с этими вашими прощаниями! Сердце вы у меня по пять раз на день вынимаете. Ехали бы уж так.

Потом говорят мне: Стороженко запил. Ходит будто по поселку опухший, небритый, мятый и песни поет. А Кульков — тот еще больше ссутулился, ссохся, в чем душа держится. Идет с утра, как лунатик, не разбирая дороги, прямо по целине на берег, садится на эту самую скамейку, что за городошной площадкой, засунет руки в рукава, уставится в одну точку, да так и сидит, шевеля губами. Ему-то особенно лихо. Прямых обвинений никто не предъявляет. Однако говорят — доэкспериментировался. А те, кому из этих мест, от полюбившегося дела уезжать больно,— те на него особенно злы, в нем виновника всего несчастья видят...

Да-а-а, досталось нам в те дни! Я вот в гражданскую в нашей контрразведке работал, потом в ЧК служил — и все был черен, как жук. А тут — видите — сивая голова. Это все консервация меня посеребрила. Да разве меня одного?

Как-то раз мы с маркшейдером Федором Григорьевичем с горя за шашки сели, чтобы маленько рассеяться на сон грядущий. Только разыгрались, вдруг дверь тихо открылась, и входит Кульков. Ни слова не говоря, наши шашки со стола смахнул и на доске раскладывает чертеж.

— Есть,— говорит,— выход. Нашел.

А глаза у него красные, как у кролика. Так и бегают. Мне даже не по себе стало: в уме ли парень. Однако слушаю.

И вы знаете, растолковывает он нам чертеж свой, и мы оживаем. Ведь что он, чертушко этакий, надумал. По маркшейдерским планам точно определить по поверхности земли точку прорыва. Пробурить к ней скважину и с помощью специального насоса, а у нас такие были, под давлением гнать под землю сначала битум, а потом бетонный раствор. Вроде бы там на глубине заткнуть прорыв пробкой.

Не знаю, понятен ли вам этот проект, но мы с маркшейдером, старые горняки, сразу доброе дело учуяли. Простая штука: пломба, как зуб запломбировать. Однако найти по поверхности земли с помощью одной только карты и вычислений, где это самое проклятое дупло образовалось... Ох, тонкое это дело. Да и бурение тоже: по земле на сотую долю сантиметра отклонился — под землей на десяток метров в сторону забрел.

Все это мы прекрасно знали. Однако смотрим на чертеж, как малый ребенок фокуснику в шляпу: неужели спасение?

— Не взялись бы вы, Федор Григорьевич, по земле отыскать точку прорыва? — спрашивает инженер и смотрит на маркшейдера.

— Боязно,— отвечает тот.— На сантиметр просчитался — все прахом... Сотни тысяч, может быть, и весь миллион.

— Ну, боязно, так и говорить не о чем.— Схватил чертеж, свернул.— Играйте в шашки, это для вас самое подходящее занятие, и простите, что помешал!

И хочет уйти. Тут вскакивает маркшейдер Федор Григорьевич, у него даже борода от обиды как веник растопырилась.

— Ладно,— говорит,— постараюсь отыскать этот проклятый прорыв. В лепешку расшибусь, а отыщу. А вам,— говорит,— весьма стыдно, молодой человек, этак-то вот с седыми горняками разговаривать.

Вот тут-то все и началось. Маркшейдер наш со своими приборами лазит, и целая толпа за ним ходит. Отъезды сразу прекратились. Даже те, кто на другие бассейны завербовался и уж договоры в кармане имел, и те не едут. Мы никому ничего не говорим. Выйдет ли

дело — неизвестно. Уж очень проект-то сам необычен. Но люди видят — Федор Григорьевич со своими приборами тут ползает. У них надежда. А надежда — могучая вещь. Да и то — легко ли человеку от своей шахты отрываться, коли он к ней сердцем прикипел. И Варюшка наша в те дни на шахте опять вдруг появилась. Баульчик свой у какой-то тетушки оставила, пристроилась к маркшейдеру приборы его таскать. Раньше бы об этом все поселковые кумы засудачили, а тут никто и не заметил. У всех на уме одно — жить или умереть шахте.

И вот через неделю является ко мне наш маркшейдер Федор Григорьевич, измученный, еле ноги волочит.

— Отыскал,— говорит,— точку. Как раз на угол электростанции нашей временной пришлось.

— Стало быть, если план Кулькова осуществить, надо еще и электростанцию сносить?

— Стало быть,— отвечает,— так. Сносить не сносить, а демонтировать придется.

Час от часу не легче. Ситуация!

А инженер жмет. Ему не терпится. От телефона день и ночь не отходит. Все ищет сторонников и в тресте, и в главке, и в наркомате.

Однако затопление шахты сильно ему авторитет подмочило. Одни говорят решительно «нет», другие — ни да, ни нет. «Да» только этот самый учитель его сказал, да и то с оговоркой, дескать, очень уж смело, практика подобного не знала и ручаться ни за что нельзя.

Кульков не унимается. Дозвонился до самого наркома. Из парткома он от меня с народным комиссаром разговаривал и я тут сидел, слушал разговор по второй трубке. Нарком наш говорит, что с материалом Кулькова ознакомился, что проект смелый. Спрашивает Кулькова:

— А что говорят авторитеты?

— Авторитеты против. Трусят авторитеты, вот что. А у меня все рассчитано. Я за успех головой ручаюсь.

— Ручаетесь?

— Ручаюсь. Разрешите только.

Настала пауза. Нарком, должно быть, думал. И в трубке дыхание его было слышно. Мы затаились. Маркшейдер, тот от волнения свою бородку в кулак сгреб и в рот засунул. А Кульков, этот тщедушный хромой парнишка, судьба которого решалась в эту минуту, стоял и смотрел в окно, за которым в ту пору как раз подвода со скар-

бом проезжала. И лицо у него было спокойное. Но я заметил, как в эти, может быть, несколько секунд весь он вспотел, точно из ведра его окатили.

— Ладно, действуйте,— сказал наконец нарком,— но только помните, товарищ Кульков, вы поручились, и я вам верю.

— Да, я ручаюсь,— подтвердил Кульков, положил трубку и улыбнулся нам. И тут только увидели мы, что рот у него полон белых зубов, а глаза у него голубые и даже, можно сказать, веселые.

Вот, оказывается, ты какой! Вот каким тебя Варюшка-то знает. Стоим мы этак-то, глядим друг на друга и улыбаемся.

И надо же так случиться, что в эту минуту вваливается в партком Стороженко — чисто выбритый, в велюровой своей шляпе, в романовской шубе и с сундучком в руках.

— Прощайте,— говорит,— Александр Ильич, уезжаю до дому, в родной Донбасс. Прощайте,— говорит,— и вы, Федор Григорьевич. Прощайте и не поминайте лихом.

А на инженера не поглядел, будто того и в комнате нет.

— Так,— говорю ему,— а куда именно едешь? По какому адресу тебя назад звать, если мы шахту откачаем?

Усмехнулся он.

— Где ж ее откачаешь? У меня по физике в вечерней школе всегда отлично. «В сообщающихся сосудах однородная жидкость устанавливается на одном уровне». Что, может быть, не так? Может быть, в физике ошибка?

— Ну, а адрес-то, адрес-то все-таки какой?

— А адрес, дядя Саша, ищи в газетах. Я в эти дни по работе наголодался. На новом месте такой темп дам, что обо мне обязательно во всех газетах напишут. Ну, бывайте здоровеньки.

Пошел он к двери. Потом обернулся, брякнул об пол тяжелый свой сундучок.

— Ну, прощай, коли, и ты, товарищ Кульков. В душу ты мне плюнул... Ну ладно, прощай.

— А мне бы с вами не хотелось сейчас прощаться, товарищ Стороженко. Нарком вот только что разрешил осуществить мой проект ликвидации аварии,— сказал инженер, и мне показалось, что смотрит он на Петра даже просительно.

А тот схватил свой сундучок и к двери пятится, точно боится, что его насильно оставят. Потом уже с улицы подошел к окну и сквозь стекло кричит:

— Нет уж, инженер! Проститься я с тобой простился, а здороваться не буду! Хватит с меня твоих проектов, сыт по горло! Через тебя,— кричит,— покидаю родную шахту не как герой и уважаемый человек, а как сезонник с сундучком под мышкой.

И тут качнуло его, и понял я, что опять выпивши парень, и еще раз в душе шевельнулось нехорошее подозрение, и грустно мне стало: неужели так ошибался в человеке...

Так и ушел Стороженко. А мы в этот день собрали сколько было народу, а остались все старожилы, те, что первыми в эти места пришли, и принялись, так сказать, сквозь электростанцию бурение налаживать. Содрали крышу, разворотили полы, фундамент толом даже рвануть пришлось. Установили инструмент. Работаем, а в голове: «Вдруг впустую, вдруг и электростанцию зря загубили?»

Ну, ладно. Работали в три смены, день и ночь, круглые сутки. И хоть от шахты до поселка рукой подать, тут же, на электростанции, многие и спали, и жены им обед сюда в судках носили.

Работали без различия квалификаций. Бухгалтер за бурильщика, врач за канатчика, и даже известный наш аристократ и белоручка, управленческий шофер Володька, не признававший ничего кроме своего «газика», беспрекословно землю копал.

На третий день вдруг появился Стороженко со своим сундучком. С дороги ли он воротился или вовсе не уезжал, а путался где-нибудь в станционном поселке, это мне и теперь неизвестно, только бросил он свой сундучок, скинул свою знаменитую романовскую шубу и, ни слова не говоря, встал к буру. И все были так захвачены делом, что никто этому и не удивился, никто у него ничего и не спросил. Все личное, всякие там недовольства, неприязни, обиды, досады — все это в те дни за скобки было вынесено.

Ох, и работа была! За двенадцать дней кончили скважину, вбухали в землю бочек двести битума да сто двадцать кубиков бетона. Люди облик свой потеряли. У Стороженки вдруг закурчавилась этакая могучая мужицкая бородища рыжего цвета. У Кулькова завязались тонень-

кие усики, как у поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Все мы в те дни походили на робинзонов, а точнее говоря, на каторжников из какой-то старой кинокартины.

В последние дни подломил меня ревматизм. Я эту прелесть еще в восемнадцатом году на северном фронте завел, и каждый год она мне порой сюрпризы преподносит. А тут вовсе сшибла с ног. Да так, что и идти не могу. Свалился. Ну и отнес меня Стороженко на кошлах до дому. Сижу я целый день у окна да, кроме высокого забора шахты да верхушек копров, ничего не вижу. А душа у меня там, с народом, и беспокойно этой моей душе.

Ну, понятно, люди ко мне захаживают. Передо мной всегда полная картина. Пломбу загнали, насосы установили. Откачку начали. Но каково мне-то? Все там, а я дома. Все в деле кипят, а я в стороне.

Раз так у окна своего задремал и проснулся от крика. Гляжу — от шахты в поселок во весь опор несется косматый какой-то человек в грязном ватнике, в резиновых сапогах, размахивает шахтеркой и кричит, а за ним целый табун мальчишек, и они, мальчишки, тоже что-то такое кричат.

Подбежали поближе: батюшки мои, маркшейдер Федор Григорьевич! Борода у него развевается, и орет он что есть мочи. А что — не слыхать.

Я до форточки дотянулся, открыл. Слышно стало.

— Убывает, убывает, убывает! — кричит.

А мне сил нет в форточку высунуться, позвать его. Барабаню ему в стекло. Услышал, повернул к моей квартире да так и ввалился вместе с мальчишечьей оравой.

— Ты что? — спрашиваю я и стараюсь скорее понять по его лицу, горе или радость.

— Да убывает,— говорит.

— Что убывает?

— Да как ты не поймешь? Вода, вода убывает в шахте.

И понял я: удалось! Запломбировали. Спасли шахту. Бассейн спасли.

Вы, случайно, детей не имеете? Жаль. Мне вот кажется, только с радостью папаши, узнавшего о появлении первого сынка, и сравнишь то, что я тогда почувствовал. Забыл я про свой ревматизм и про годы свои, ноги в валенки да на шахту. Федор Григорьевич меня почитай на руках несет, а с нами бегут женщины, ребятишки.

Приковылял я на место — стоит народ вокруг ствольного колодца и смотрит вниз, будто что-нибудь там, в этой темной дыре, и в самом деле разглядеть можно. Насосы сипят. Вода из труб хлещет.

— Как дела?

— Убывает,— отвечают.

И все тут. Все, кто душу и сердце в это дело вкладывал. Все, а инженера Кулькова, Вадима Семеновича, нет. И от этого мне чего-то не по себе стало.

— Где Кульков?

Кто-то показал мне на электростанцию. Вхожу и вижу — лежит наш главный инженер в углу, скорчившись в комочек: как кутенок какой спит. Даже сладко этак всхрапывает. А сверху покрыт он знаменитой романовской шубой Стороженки. И сам Петро тут расхаживает, и Варя, да, и Варя...

Ну, как входя-то шумнули мы в дверях, Петро вдруг двинулся нам навстречу на цыпочках, выставив вперед руки.

— Ш-ш! — шипит.— Тихо! Не будите... Этот человек четверо суток глаз не смыкал...

Да-а-а! Вот какие дела бывали у нас тут когда-то...

А как доведется вам теперь приехать на наш бассейн, не поленитесь из нового города на седьмом автобусе доехать до рощи, что сохранили мы за первой шахтой и называем ее теперь Парк культуры и отдыха. Отыщите там скамеечку за городошной площадкой над кручей, присядьте на ней, полюбуйтесь на классический, так сказать, пейзаж. Он, этот пейзаж, сверху-то и сейчас левитановское «Над вечным покоем» напоминает. Полюбуйтесь и вспомните, что произошло там, под озером, под этим вечным, так сказать, покоем, когда мы к тамошнему, знаменитому теперь антрациту еще только руки протягивали.

1939

КОНФУЗНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В конце концов Семен Федотович все-таки не выдержал. Приподнявшись на локте, он осторожно, чтобы не разбудить жену, пошарил рукой на комоде и дотянулся до будильника.

Стрелки показывали всего только час.

«О-ох!» — горестно вздохнул кузнец, ставя будильник на место.

— Все не спишь? Ну скажи хоть, чего ты? Что с тобой? — встревоженно прошептала Пелагея Викентьевна.

Семен Федотович натянул одеяло и притих. Не хотелось вступать в разговор. Старался дышать глубоко, ровно, даже попробовал всхрапывать, но, должно быть, переборщил.

— Кого обманываешь? Что я, тебя не знаю? За тридцать-то пять лет узнала, слава те господи. Ну говори, опять ревматизм, что ли? Может, малинки заварить? Медку? Или поясницу скипидарчиком потереть?

Пелагея Викентьевна вздохнула и сухой своей ручкой пощупала лоб мужа. В такие минуты она всегда относилась к нему как к маленькому и огромный Семен Федотович, о физической силе которого в кузнице завода рассказывали всяческие невероятные истории, безропотно давал натирать себе поясницу скипидаром, пил чай с малиной или медом, а то и липовый отвар.

Но сегодня он взбеленился:

— Поди ты со своим скипидарчиком! Скипидарчик!.. Спи! Ну, спи сейчас же!

Он ткнул тяжелым кулаком в подушку, в знак того, что считает всякие разговоры лишними.

— Ну чуди, чуди,— покорно вздохнула жена и стихла.

Семен Федотович знал, что она лежит не смыкая глаз, слушает его дыхание, караулит каждое движение, и от этого ему становилось еще хуже, еще тоскливей:

«Хоть бы утро скорее, что ли, господи боже мой, как ночь проклятая тянется».

Стараясь уснуть, он добросовестно считал в обратном порядке от сотни до единицы, припомнил всех знакомых, фамилии которых начинались на букву «а», восстановил в памяти фамилии начальников кузницы, с которыми доводилось работать — от англичанина Уальца, тридцать лет назад ударившего Семена Федотовича, тогда еще молотобойца, по лицу, до Ильи Васильевича Сундукова, руководившего кузницей теперь. Не только фамилии вспомнил, но каждого из них мысленно представил. Но все эти многократно испытанные средства самоусыпления не помогали.

Порой казалось, что желанный сон вот-вот наступит. Мускулы распускались, сознание начинал обволакивать

туман, проступавшие в полумраке знакомые очертания комнаты вздрагивали, плыли по кругу. Но в памяти мелькали вагонные оси, сложенные штабелем, возникала лисья веснушчатая мордочка сотрудника заводской многотиражки — сон мгновенно отлетал, и вся эта скверная история, мучившая кузнеца, снова и снова вспоминалась во всех подробностях.

Подушка жгла щеку, усталое тело раздражала каждая складка простыни, как это бывает при нездоровье.

И самое скверное было в том, что Семен Федотович был совершенно здоров и знал, что ни малиновый взвар, ни настой липового цвета, ни даже добрая стопка перцовки, предложенная в конце концов ему женой, как самое радикальное средство, не могут облегчить его состояния.

Вот уже третий год знаменитый кузнец Кулебакского завода Семен Федотович Золин соревновался с таким же знаменитым кузнецом Ильей Лузгиным с завода имени Орджоникидзе. Силы были равные, и когда кому-нибудь из них, усовершенствовав приемы работы, удавалось повысить выработку, соперник быстро догонял его и сообщал о новом достижении. Это соревнование, длившееся уже несколько лет, не дававшее им успокоиться, заставлявшее их все время совершенствоваться, изощряло их изобретательность, сделало их виртуозами, прославленными героями труда, за ростом мастерства которых следили по газетам машиностроители и металлурги.

Месяца три назад лузгинцы поразили оба завода новым достижением, отковав за смену восемьдесят две оси. Золин застрял на семидесяти пяти. И как ни бился Семен Федотович, как ни старалась вся его бригада — ничего не выходило. И вот когда люди уже устали от безрезультатных поисков, машинист его бригады, за веселый нрав и бойкий язык прозванный в цеху Чижиком, предложил переделать молот:. утяжелить ударную его часть — «бабу».

Смелое это было предложение. И не дешево это стоило. Но Семен Федотович нашел поддержку среди инженеров, перетянул в конце концов на свою сторону главного механика, и молот был переделан. Вчера, когда усовершенствование еще только начали опробовать, Семен Федотович сразу почувствовал: это то, чего он так старательно и тщетно искал последнее время.

Давно ему не работалось с таким подъемом, и это еще больше увлекало и подстегивало его. Он забыл обо всем: о минувших неудачах, о соревновании, о Лузгине. Он видел только раскаленный, мерцающий искрами брус заготовки, форма которого все время менялась, и новый, еще хранивший на себе следы фрезерного резца стальной монолит «бабы», двигавшийся так, что за ним трудно было уследить глазом.

Казалось, ничего особенного не произошло, только время будто убыстрило свой бег. Когда Золину сказали, что откoвано восемьдесят пять осей и последнее достижение Лузгина превзойдено, он стоял улыбаясь и с удовольствием ощущал, как ноет от усталости все тело: даже большую усталость приятно чувствовать, сознавая, что столько сделано! Как раз в этот момент герой дня Чижик отвел кузнеца в сторону и с необычайной для него серьезностью горестно сообщил:

— Девять штучек запороли.

Кузнеца словно ударили по голове.

— Брешешь?

— Засечки.

Золин бросился к осям. В самом деле, утяжеленный молот оставил на некоторых из них едва заметные опытному глазу вмятины.

Брак! Брак в его бригаде! Кузнец почувствовал, будто раскаленный воздух, дрожавший над остывшими осями, ожег его лицо. Но Семену Федотовичу не дали даже как следует разглядеть этот брак. На кузнеца налетел сотрудник заводской многотиражки — быстрый паренек с веснушчатой лисьей мордочкой, подсунул подписать какую-то бумагу и, торжественно встряхнув ею, объявил:

— В «Правду». Передам по телеграфу... Вот это новость! Держись, Лузгин!

Кузнец хотел было его удержать, но к нему уже подошли начальник цеха, секретарь профсоюзного комитета и еще какие-то знакомые и незнакомые люди. Все поздравляли, жали ему руку, хвалили Чижика, бригаду.

В этой радостной суетне Семен Федотович как-то совсем позабыл о девяти «запоротых» осях, которые все как-то не заметили. Зато, когда он вечером возвращался домой и на пути на поселок трезво обдумал сегодняшний день, радость померкла, появилось беспокойство, которое стало расти. Он огрызнулся на Пелагею Викентьевну,

вздумавшую было его поздравлять. Суп ему показался пересоленным, котлеты недожаренными, особо любимый им клюквенный кисель, который приятно было после горячей работы пить прямо из кружки, отдавал столярным клеем. Он с маху отодвинул кружку и, не отвечая на вопросы жены, молча разделся и улегся в кровать.

И вот уже сколько часов он не может заснуть, ворочается, вздыхает, снова ворочается, сердито кряхтя и охая!

За окном ветер раскачивает фонарь. Бледные блики ползают по потолку, напоминая о вьюжной холодной ночи. Вот за воем ветра послышался гудок. Стих, и немного погодя за окном заскрипел снег. Возвращалась уже ночная смена. Потом послышалось хлопанье «парадной» двери, шаги и голоса на лестнице, щелканье замка, мягкое хлопанье. Это сын и невестка вернулись из города, из оперы, и стряхивают, должно быть, снег с пальто.

— Вань, а Вань,— нерешительно окликает кузнец сына.— Ваня!

Но сын не слышит. Долго журчит вода в ванной. Потом в комнате сына слышится приглушенный разговор, стукают о ковер ботинки, зудит заводимый будильник.

— Вань, а Вань,— еще раз окликает кузнец.

В комнате сына уже все стихло. Блики от фонаря тревожно бегают по потолку. Где-то на улице бестолково поет пьяный.

Семену Федотовичу обидно, что сын не услышал его, заснул, а что жена вот, наоборот, лежит с открытыми глазами.

— Спи, говорят тебе! — кричит он, сползая с кровати, и, шлепая босыми ногами по линолеуму, проходит в столовую. Он достает из буфета графинчик, рюмку, подумав, ставит рюмку на место, берет стакан и до краев наливает его. Выпив, кузнец брезгливо передергивает плечами, вертит в руках подвернувшегося фланелевого слона и говорит, адресуясь к спящему внуку:

— Н-да, брат Санька, подмарал твой дед. Ох, как подмарал!

В зеркале буфета маячит широкое лицо, большой нос, обтянутый сеткой морщин, массивные седеющие усы, лоб, на который спускается клинышек коротко остриженных жестких волос. На лице этом растерянное, виноватое выражение.

Семен Федотович грозит своему изображению кулаком и отворачивается.

Хмель его не берет. Наоборот, сознание как бы еще более прояснилось, и он с ужасом постигает всю непоправимость случившегося: телеграмма-то наверное уже в Москве.

Сейчас половина второго ночи. Скоро утро. Выйдет газета, и в ней, может быть, будет заметка о его новом достижении, кузнеца Золина. Ее будут читать. Прочтет и Лузгин. О, о! Семен Федотович хорошо знает этого человека. Он легко представляет себе, как тот, читая эту заметку, покачивает головой (есть у него такая привычка!), как он, упрямо наморщив лоб, будет писать поздравительную телеграмму. Обязательно напишет. Так у них заведено. И вот курьерша заводоуправления принесет эту телеграмму в цех, с любопытством склоняется над ней вся бригада. Читают, смотрят на него, на своего бригадира. Но как смотрят!..

— О, черт! — стонет кузнец и, сморщившись, с отвращением сплевывает на пол.

И вдруг в голову приходит мысль. Спасительная, как кажется ему, мысль. Он быстро одевается, накидывает ватный бушлат, сует ноги в валенки, нахлобучивает на глаза мохнатую папаху.

— Куда? Ну куда ты, старый, на ночь глядя? Ну скажи хоть, куда идешь. Скажи, а то Ивана кликну. Слышишь! Ну шарф хоть надень,— суетится Пелагея Викентьевна.

Но Семен Федотович уже подобрел. Он подхватывает жену медвежьими лапами, крутит ее по комнате, целует и, вдруг смутившись, отворачивается и бормочет:

— После, хозяйка, после. Все отрапортую, как и что. Ну, давай твой шарф, что ли, кутай, как маленького, все одно.

Большим, тяжелым шагом двигается он по завьюженному поселку. Ветер бросает в лицо облака колючего снега. Дороги заметены пушистыми, мягкими сугробами, и, когда метель на мгновение стихает, они сверкают острыми фиолетовыми искрами.

Прямо через высокий сумет лезет кузнец к небольшому деревянному особнячку, где живет начальник цеха Сундуков. Нетерпеливо барабанит в дверь. Некоторое время его удары лишь глухо отдаются в пустых сенях. Шуршит снег, под порывами ветра бьется, скребется

о стену дома ветла, и где-то уже совсем далеко еле слышно распевает пьяный.

Но вот за одним из промерзших окон загорается свет, хлопает дверь. В сенях слышатся шаги. Отпирают замок, еще замок, отодвигают засов. Приоткрыв дверь, придерживаемую цепочкой, кто-то осторожно спрашивает:

— Кто там? Чего надо?

— Я, Илья Васильевич. Да не бойся ты, не Соловей-разбойник, а кузнец Золин, не признаешь, что ли? Открывай, по важному делу...

Лицо у начальника цеха заспанное. На плечах у него хорьковая шуба, в распахе ее видно белье.

Торопливо поясняет кузнец начальнику цеха, в чем дело. Пусть тот сходит сейчас с ним на почту и даст телеграмму в «Правду»: сообщение, посланное с завода, ошибочно, печатать не надо. Ну пусть напишет только, он сам отнесет. Говоря, Семен Федотович следит за лицом Сундукова и не видит на нем ничего, кроме недоумения и досады:

— Так, стало быть, из-за этих девяти несчастных осей вы меня и подняли? Ай-яй-яй, и не совестно? Усталого человека ночью беспокоить. Да знаю, знаю я, что есть брачок, знаю. Я все в цехе знаю... Приемщик сразу сказал. Ну и не беспокойтесь, я велел в рапорт не заносить — и все. Чего тут шуметь, подумаешь мировое событие!

— Не заносить... Я разве за тем. Ведь новое-то достижение, его, стало быть, и нет. Был пузырь и лопнул. Вот в чем штука...

Семен Федотович ждал, что начальник цеха изумится, рассердится, будет озадачен, по крайней мере хоть поругает его, что ли.

— Чудак, разве в таком деле девять паршивых осей счет? Да и кто о нем знает, о браке? Я, браковщик да вы. Так? Зато заводу честь: увели у лузгинцев рекорд. Прогремим на всю страну. Девять осей. Подумаешь! Мы за них из завтрашней выработки доложим.

Начальник цеха зевнул и потянулся так, что захрустели суставы. Взялся за ручку двери, показывая, что разговор окончен. Но кузнец не уходил.

— Выходит, я теперь обманщик. Завод надул, Лузгина надул, партию надул. Что это значит, а?

— Выпили вы лишку, товарищ Золин, вот что это значит. Ступайте-ка вы домой да проспитесь. «Партию

надул!» Эк хватил! Оси-то скованы? Скованы. Налицо? Налицо. Приходите, считайте. Так в чем дело? А брак — с кем грех да беда не случаются?.. И помните: честь завода — ее беречь надо.

Семен Федотович смотрит в лицо Сундукова с интересом, точно видит его в первый раз.

— Так, стало быть, насчет телеграммы помощи от вас не будет?

— Идите, идите спать.

— И это последнее ваше слово, товарищ Сундуков?

— Нет, это уж слишком: напился, поднял среди ночи человека... Проспитесь и завтра приходите ко мне в кабинет. Все,— говорит начальник цеха уже строго и тянет на себя дверь.

Кузнец поставил между дверью и косяком ногу.

— Придется директора и парткомщиков подымать. Эх, и их ведь я подвел, весь завод подвел,— говорит Золин.

— Да бросьте вы, черт побери. К чему народ баламутить... Кстати, можете не трудиться, весь треугольник вчера вечером в город на партконференцию уехал. Не знали? Ну, вот знайте. Покойной ночи! Пустите дверь.

Старик слышит, как за спиной у него щелкают замки и бренчит цепочка, задвигается засов, как в глубине дома гавкает несколько раз собака. Но все это не доходит до его сознания. Он долго стоит задумавшись.

Перед ним опять возникает газета, много газет. Люди читают их. Кто-то говорит: «Ай да Золин!» Кто-то добавляет: «Жмет старик, молодчина».

И вот заметку читает Лузгин, и вот он с бригадой, да что там он, тысячи кузнецов на всех советских заводах говорят о нем. Вот завтра выступает на партконференции секретарь заводского парткома. Он тоже поминает о новом достижении коммуниста Золина, и делегаты аплодируют ему...

«О-о-ох!» — стонет Семен Федотович, стонет так, будто у него болит зуб.

И вдруг, повернувшись к двери, за которой давно стихли шаги начальника цеха, он с ненавистью хрипло говорит:

— Честь завода... Эх ты, с-с-услик!

Он медленно бредет по занесенным снегом пустынным улицам. Метель угомонилась, стало тихо. Но тро-

туары преграждают белые сугробы, и ему приходится прокладывать себе путь.

Возле трехоконного домика с резными наличниками Золин на мгновение задерживается и смотрит в темные стекла. Здесь живет его ученик, его любимец, машинист, по прозвищу Чижик, который теперь стал его соучастником в нехорошем деле.

«Спит! Спит, и горя мало!» — угрюмо думает Семен Федотович про своего помощника, и еще тоскливее, еще горше становится у него на душе, еще пустыннее кажется ему улица.

«Что же делать, что?» Он стоит, тупо уставившись взглядом в ворота, на которых белеет старый, обтрепанный ветром предвыборный плакат. С плаката смотрит на него длинное, худое лицо депутата Зубова. Оно давно выгорело, это изображение, но Семен Федотович видит его четко, со всеми морщинами, с черной родинкой на переносице, которая на портрете заретуширована. И кажется ему, что лицо это, лицо старого приятеля, прессовщика Зубова, презрительно усмехается.

— Смеешься? — горько говорит кузнец и вдруг звучно хлопает себя ладонью по лбу.

Потом срывается с места и с быстротой, на какую он только способен, застревая в сугробах, спешит обратно через весь поселок.

...Через полчаса в столицу, в редакцию, идет телеграмма с грифом «правительственная». Депутат Зубов просит снять ошибочное сообщение о новом достижении кузнецов, посланное с Кулебакского завода. А еще через полчаса Семен Федотович, притихший, успокоенный, возвращается от депутата домой, ощущая приятную усталость во всем теле.

На душе у него легко. Снег весело скрипит под ногами, хочется, как в детстве, лепить из него комки и бросаться. И кузнец действительно лепит комок, кидает в телеграфный столб и сердито говорит при этом: «С-су-слик».

Единственное, что омрачает светлое чувство,— это мысль о Чижике. Ведь тот же знает о браке, знает и спокойно спит, как будто ничего не случилось.

Снова, проходя мимо домика с резными наличниками, кузнец долго смотрит в темные окна.

— Спишь? Ну и спи. Я тебя, как сына, а ты... тоже — суслик. От таких вот сусликов, которые все только в свою нору тащат, все наши беды.

Старик махнул рукой, быстро пошел к своему дому. Он почти вбежал к себе на третий этаж — и вдруг застыл. Темная фигура поднялась со ступенек лестницы и двинулась к нему.

Кузнец отпрянул, инстинктивно сжал кулаки, но мгновение спустя разжал их и широко расставил руки для объятий.

— Чижик, Чижичек. Ты?

— Я, Семен Федотович. Вы извините... ночь. Я насчет этих девяти запоротых...— бормочет взволнованный парень, задыхаясь в медвежьих объятиях кузнеца.

— Знаю.

— Так вот я насчет...

— Молчи и уж извини меня, старого дурака...

А в дверях, кутаясь в шаль, стоит Пелагея Викентьевна. Она не знает, в чем дело, но понимает, что в жизни мужа случилось что-то важное, важное и, должно быть, хорошее.

И она стоит в сторонке, поодаль от обнимающихся, и во взгляде ее, успокоенном и ласковом, легко прочесть — дети, совсем дети эти мужики.

1940

II

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Матвей Кузьмин, слыл среди односельчан нелюдимом. Жил он на отшибе от деревни в ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, был угрюм, неразговорчив и любил — с собакой, со старым ружьишком за плечами — бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который в колхоз войти отказался, чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне, считается блажью, баловством. Впрочем, зимой он по найму исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и колхоз «Рассвет» оказался в тылу врага, в деревне расположился на постой лыжный батальон немецкой горно-стрелковой дивизии. Командир батальона, которому кто-то доложил о мрачном, нелюдимом старике, отказавшемся вступить в колхоз, решил, что лучшего кандидата в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили стать старостой. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое было сдано по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвигалась из резерва к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», была поставлена задача без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую охотничью приметку?

Старика привели к командиру, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное, мечту охотника — двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца», на которую, как было замечено, старик поглядывал с завистью.

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо,— сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — А деньжонок, может быть, прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер.— Переведите ему: он деловой человек. Приятно иметь дело с деловыми людьми. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему честно служит.

Офицер торжествовал. Найден надежный проводник. Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пень мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома и, бросив все, бегут неведомо куда, даже у них деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему, в случае удачи операции, сто, нет, тысячу рублей.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым, испытующим взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи!

— Половину вперед, ваше благородие. На риск иду, надо же что-то внуку Ваське оставить...

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Коли так, поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. Укажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие...

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему, молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя. На брань, посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда бывший колхозный счетовод догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул не оборачиваясь:

— Не лезь не в свое дело, чернильная душа.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как спустя полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А егеря тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли,—писал он,— вот уже месяц, как я начал это письмо и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат, это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. ... Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике, с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт докладывает, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Уже стемнело, горно-стрелковый батальон на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники видели только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине, а они старались не выходить из его следа.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по карте и компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем,— и напоминал об обещанном ружье.

Теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились стрелки вековым лесом, которому не было ни конца ни краю. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную, растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает,— сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока уставшие офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы криками выгоняли на поляну последних, отставших стрелков в изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, неторопливо поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими полянами. Не скрывая усмешки, косился на немцев.

Утро завязалось морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудные снегири, деловито лущившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает,— повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишину утра распорол сухой треск пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, неприятели кинулись было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Егеря побросав лыжи, панически крича, метались по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, командир отряда все понял. Он бросился к старику, вырывая из кобуры пистолет.

Матвей стоял у всех на виду, с обнаженной головой. Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как бросались из стороны в сторону неприятельские солдаты, даже не пытаясь обороняться.

У командира волосы шевельнулись под трикотажным подшлемником. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел в лицо этого лесного человека, стоящего со спокойным торжеством среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом навел пистолет в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и бросил их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него оружия. Он заметил, что наши пулеметчики, боясь зацепить его, не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул, что было мочи, во весь голос:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не докричав, он охнул и стал медленно оседать на снег, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и шага, он упал, подрубленный пулеметной очередью, уткнувшись лицом в валенки старика.

А в овраге уже возникло и, нарастая, раскатывалось «ура». Через отполированную ветрами снежную кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя противников, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес, по следам, оставленным на насте.

Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого дед послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг собака застыла, подняв уши. Шарик увидел мертвого хозяина. И грохот боя, гулко доносившийся уже из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, последний единоличник района, работавший сторожем по найму в сельхозартели «Рассвет», что вблизи от Великих Лук.

Его похоронили на высоком берегу реки Ловать, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями холмиком мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы, найденные у убитых в этом коротком

бою егерей, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил его брат инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

1942

ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

Майор — человек, по всей видимости, бывалый, собранный и, как все настоящие воины, немногословный — рассказывал о нем с нескрываемым удовольствием:

— ...И еще есть у него странность. И не странность, пожалуй, а особенность, что ли. Не может видеть живого фашиста. Я не преувеличиваю... Ну, конечно, каждый из нас имеет с Гитлером, помимо общественных, и личные счеты. Всех нас он от мирных дел оторвал, тому семью разбил, того крова лишил, у того брат или отец убиты, ну а кто, как мы с вами, побывали на освобожденной территории и своими глазами видали, что они над нашими людьми творили, то, конечно, особо... Однако тут дело иное. Он ну просто физически не переносит их вида. Мне раз докладывали: стоит он в очереди за супом у взводной кухни, а мимо пленных ведут. Ну, знаете, у нас народ не злопамятный, кричат им, дескать, отвоевались, голубчики! Ну, насмешки там разные, шуточки. Кто-то им хлеба дал. А он как побледнеет, как затрясется. Бойцы: «Что с тобой, чего ты?» А он с кулаками: «Не смейте им наш хлеб давать, не смейте!» Зубы стиснул, губы кривятся, вот-вот на пленных бросится. И потом, как провели их, все успокоиться не мог. Ушел и обеда не взял... А в другой раз целая история вышла. Назначили его в наряд — этих самых пленных караулить. Кто уж это сообразил, так я и не дознался. Он к старшине, чуть не плачет: «Освобождай, не могу!» Тот, понятно: «Что за «не могу», встать как надо! Повторить приказание...» А он свое: «Освободите, не стерплю, хоть они и пленные». Старшина в раж: «Я тебе покажу «не стерплю». Под арест». Пошел он под арест, и, как ремень да гвардейский знак с него снимать стали, он как зальется в три ручья... Ну, тут мой комиссар подоспел, вмешался, приказ старшины отменил, знак ему сам привинтил, кое-как успокоили...

Послышался стук в дверь. Тонкий голос спросил:

— Товарищ гвардии майор, разрешите войти?

— Да, да,— ответил майор, и его хрипловатый, простуженный баритон как-то сразу потеплел.

Кто-то невидимый в ворвавшемся со двора облаке морозного пара вошел в дверь и, звучно стукнув каблуками, взял под козырек:

— Товарищ майор, по вашему приказанию, гвардии красноармеец Синицкий прибыл.

В полумраке темной пустой избы, куда свет проникал через единственное уцелевшее, да и то на две трети заткнутое соломой, окно, стоял щуплый подросток в полной военной форме. Лицо у него было круглое, курносое, совсем еще детское, с пухлыми губами и нежным пушком на румяных щеках.

Но всё: и то, как ловко и складно сидела на нем форма, как туго перехвачен ремнем армейский полушубок, как лихо заломлена на голове ушанка, и то, как твердо держал он приставленный к ноге короткий кавалерийский карабин,— отличало в нем бойца, прочно вросшего в суровый быт войны.

С виду можно было ему дать лет тринадцать—четырнадцать. Но две тоненькие, словно вычерченные иголкой, возле губ морщинки да какой-то слишком уж спокойный для его возраста взгляд больших и чистых глаз говорили о том, что пережил он за свою жизнь уже немало, и придавали его лицу взрослое, умудренное выражение.

Майор с нескрываемым удовольствием и теплотой смотрел на этого бравого маленького солдатика, стоявшего перед ним навытяжку. Но отрекомендовал он подчеркнуто официально:

— Познакомьтесь, гвардии красноармеец Синицкий, Михаил Николаевич,— минометчик и снайпер. Сын нашего полка... Вольно. Садись, Михаил, за стол, гостем будешь.

Мальчик сел и без особого повода, подняв меховой обшлаг рукава, взглянул на золотые часы-секундомер, словно он куда-то торопится.

Сын полка! С кем ни пришлось мне тогда говорить в полку гвардейской части, которой командовал майор Куракин, все произносили имя Михаила Синицкого любовно, без шутливого снисхождения, с которым обычно взрослые

говорят между собой о подростках, волею случая попавших в их среду. И все охотно рассказывали различные случаи из его жизни.

Вот она, история Миши Синицкого, воспроизведенная по рассказам его однополчан, после того как я снял с нее некоторые явные прикрасы и преувеличения — наивный дар бескорыстного солдатского уважения.

До войны Миша жил в деревне Ивановке Андреевского района Смоленской области обычной жизнью колхозных ребят. Зимой бегал в школу, гонял на коньках по пруду, катался с гор на ледянке — старом, набитом соломой, залитом водой и замороженном решете. Летом помогал родителям в поле, даже зарабатывал трудодни на прополке, на сушке и перевозке сена, но больше времени, конечно, проводил на речке: ловил раков петлей на тухлое мясо и колол вилкой пятнистых пескарей на речной быстринке у парома.

Была у него детская, но вполне определившаяся страсть — любил механизмы и готов был целые дни простаивать под драночным шатром эмтээсовского сарая, благоговейно следя за тем, как чумазые слесари под руководством своего бригадира, веселого, хромоногого Никитина, возятся с машинами. А когда Никитин в знак особого расположения позволял мальчонке обтирать масло с какой-нибудь старой шестеренки с изгрызанными зубьями или доверял закрепить ключом гайки, Миша преисполнялся гордостью.

Стать механиком было его мечтой. Страсть эта зашла довольно далеко. Однажды, когда все были в поле, Миша решил даже починить остановившиеся ходики, смело разобрал их, а потом выяснилось, что большинство гаечек почему-то перестало подходить к болтикам и колесиков у него оказался излишек... В результате этого исследования по мягким местам будущего механика прогулялся отцовский ремень.

Ну, а в общем все шло хорошо, и механиком бы Миша, конечно, стал, но помешало непредвиденное обстоятельство — началась война. В первый же день отец Миши отправился в военкомат.

— Смотри, Михаил, один мужик в доме остаешься. Береги баб-то,— полушутя, полусерьезно говорил он сыну, вскакивая на одну из телег, в которых колхоз отправлял в район мобилизованных.

И в самом деле, остался Миша за старшего при хворой матери да двух маленьких сестренках. Издали война не очень пугала. Не тронула она на первых порах и колхозных достатков, накопленных за последние годы. Ребята, по-прежнему не слишком загруженные делами, бегали по окрестности, играя в красноармейцев и фашистов, причем фашистом, понятно, никто быть не хотел, ими становились по жребию, и красноармейцы в два счета разбивали их в пух и прах.

Миша Синицкий издали следил за этими играми, тщательно скрывая свой к ним интерес.

— Недосуг мне: хозяйство мужского глаза требует. Женщины, они что, на них какая надежда! — говорил он солидно одногодкам, звавшим его «воевать Гитлера».

Но вот — и это случилось неожиданно скоро — война придвинулась к Ивановке. Это была уже не игра. Сначала по большаку тянулись бесконечные колонны беженцев, машины, подводы, груженные скарбом, гурты пыльного голодного скота. Этот печальный поток нес с запада вести одна другой удивительнее — о каких-то особых танках, не знающих преград, о ревущих самолетах, уничтожающих все и вся. Вскоре появились и самые эти самолеты. Они скользили вдоль большака, обстреливая беженцев. Колхозникам пришлось потом хоронить беженцев, убитых с воздуха.

Вдали нестрашно, точно летний гром, загромыхала артиллерия. Прошумел слух о прорыве немцев где-то у Витебска, потом потянулись войска. Шли они не в ногу, без строя, рассыпанными усталыми колоннами. На солдатах просоленные гимнастерки. Лица черны от пыли. Бойцы торопливо шли деревней, сердитые, неприветливые, ни на кого не глядя, не отвечая на расспросы. В этот день из колхоза на восток погнали стадо. Миша вызвался было в поводыри, да столько оказалось добровольцев уходить в тыл, что его и слушать не захотели. И мать все еще хворала, сестренки были мелки. Словом, Миша остался. На следующий день по шоссе уже ползла колонна чужих танков и машин, окрашенных в цвет щучьей чешуи, и цвет этот всем казался зловещим.

В этот день в Ивановке ничего особенного не случилось. Залетело ненадолго несколько мотоциклистов в рогатых касках, в коротеньких куртках и нескладных каких-то сапогах с куцыми широченными голенищами. Солдаты попили у колодца, о чем-то полопотали между

собой, потом принялись с хохотом носиться по деревне за курами и гусями, причем били они их каким-то новым, неизвестным способом: тонкими хлыстиками по голове: да так ловко, что курица или гусь с одного удара валились на спину. Побросав битую птицу в прицепные колясочки, все так же перемигиваясь и похохатывая, они с треском умчались, и по деревне пошел говор, что не так страшен черт, как его малюют. Появилась надежда, что удастся как-нибудь потихоньку перебедовать, пока Красная Армия соберется с силами.

Старики вспоминали ту германскую войну, говорили, что, верно, и тогда немец был охотник до птицы, однако хлыстиков таких у него не было, и что действительно, должно быть, в фашистской армии техника куроедства куда выше, чем в кайзеровской. Мальчишки же, которые поменьше, изучив за этот первый вражеский визит и начатки новой немецкой речи, твердили на все лады: «Матка, курка! Матка, яйка».

Дней десять ползли по шоссе машинки, машины и машинищи. Потом фронт ушел на восток, канонада перестала быть слышной. И тут деревня узнала по-настоящему, что такое фашизм и что такое неволя.

Вместо немцев в униформах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черных мундирах, и Миша Синицкий за несколько дней увидел столько и такого горя, какого, не случись войны, не увидел бы никогда. Он видел, как при народе, специально согнанном за околицу, расстреляли фашисты трех человек: неизвестную девушку, Миколаича, безобиднейшего старика, выполнявшего в полевой бригаде обязанности инспектора по качеству, и любимца Миши — хромоногого эмтээсовского слесаря Никитина. Никитин стоял у сарая связанный и не переставал сулить палачам страшные кары и разносить в пух и прах и фашизм и Гитлера, пока не упал на траву, подрезанный автоматной очередью.

Потом солдаты зарезали быка-производителя Ваську, за которого колхоз получил золотую медаль на сельскохозяйственной выставке. С крестьянских дворов были под метлу изъяты все найденные запасы, а заодно из сундуков исчезла и вся сколько-нибудь годная к носке одежда, какую люди не успели позакопать. А когда началась зима и снег покрыл печальные неубранные поля с космами побуревшей несжатой ржи и с черной побитой моро-

зом картофельной ботвой, солдаты выселили крестьян из их изб.

Мать Миши не хотела покидать жилье. Поселившийся у них очкастый немец схватил ее и вытолкал из сеней, да так, что она, поскользнувшись на ступеньках крыльца, упала лицом в сугроб.

Миша перевел ее и сестренок на огород в просторную щель, предусмотрительно вырытую еще отцом в первые дни войны, на случай бомбежек.

Устроив своих в земляной норе, утеплив ее сверху соломой, дерюжками, старым тряпьем, выдолбив в земле очаг и натаскав хворосту, Миша, ничего никому не сказав, исчез из деревни. Он пошел искать партизан, которые появились в ближайших лесах и о которых много и со страхом говорили между собой стоявшие в деревне немцы. Страх перед ними у оккупантов был так велик, что они стали на ночь заставлять двери изб телегами, санями, а окна заваливали всяческим домашним скарбом. Не зная ни явок, ни базы, Миша Синицкий несколько дней проскитался в лесу и натолкнулся-таки на партизанский пост. В отряде, куда его привели, оказались знакомые люди: агроном, два учителя и слесарь из МТС.

Попав к своим, обессиленный, полузамерзший Миша, едва придя в себя, принялся рассказывать о бесчинствах немцев в черной форме, о малочисленности гарнизона и о паническом их страхе перед партизанской местью. И вскоре, ночью, он сам привел отряд в Ивановку. Налет был внезапен, и несколько незваных постояльцев были убиты в коротком бою. Отряд вернулся в лес, увезя трофейное оружие и боеприпасы.

Был уже студеный декабрь. Трещали морозы. Разгромленные под Москвой неприятельские дивизии отступали по глубоким снегам. По шоссе мимо деревни, по широким прокопанным в снегу траншеям дни и ночи непрерывно двигались на запад колонны госпитальных автофур. Отступающим было не до партизан, и случай в Ивановке сошел для них безнаказанно.

Но вскоре в деревне стала на постой большая саперная часть, начавшая строить у шоссе укрепленную полосу. Опять население выгнали из изб в бункеры, опять начались поборы. Это были опытные оккупанты. С помощью собак отыскивали они на задворках и на огородах ямы с закопанным добром, раскапывали их, отнимали у жителей последнее, что оставалось. Теперь они утратили бы-

лой лоск и бродили по деревне в валенках, шубах, бабьих шушунах, напяливали на себя без разбора все, что могло греть. Окрыленный первым успехом, Миша решил снова привести партизан. Но все не было случая. Оккупантов теперь стояло в деревне много, да и бдительнее они стали: выставили посты, караулы, секреты, а темными ночами непрерывно жгли ракеты, и трепетные, мертвые, белесые огни до самого утра метались над полями.

Но вот подвернулся и случай. Подошло немецкое рождество. Незваные гости с утра побрились, приоделись. Из тыла приехала машина. На ней привезли в бумажных мешках тюки с подарками и какие-то сделанные из картона складные елки, украшенные блестками и ватой. Солдатам выдали дополнительные порции рома, и они, выгнав женщин с детьми на лютый мороз в обледенелые земляные ямы, уселись за столы, на которых стояли эти эрзац-деревья, пристроили под елки фотографии своих жен и детей, запели рождественские песни.

Вот в этот-то момент партизаны и ударили по деревне. И опять оккупанты бежали, впопыхах оставив незаводящиеся на морозе машины и богатый саперный инвентарь. Партизаны машины эти сожгли, а инвентарь унесли. Рождественские же подарки командир отряда, коммунист-учитель, преподававший когда-то Мише историю, велел раздать тем из женщин, у кого были маленькие дети. Темной морозной ночью Миша ходил по дворам с большим мешком, распределяя подарки немецкого рождественского деда.

Вот тут-то мальчик и сплоховал, выдав свою связь с отрядом. Когда наутро нагрянули каратели, уже знакомые ему немцы в черном, называвшие себя эсэсманами, и опять похватали людей, кто-то, должно быть, рассказал им про Мишу Синицкого. Мальчик успел ускользнуть, но эсэсманы схватили его мать, сестренок, всех его близких и дальних родичей и заперли в погребе, где в колхозные времена хранился слив молока с молочно-товарной фермы.

Должно быть, маленький колхозник сильно заинтересовал карателей. Может быть, через него хотели они отыскать тайные тропы к партизанскому лагерю или их первничающее начальство грозно требовало из Смоленска обязательно выловить заводил мятежной деревни, но только на перекрестках дорог, на дощечках с дорожными знаками были расклеены объявления. В них командир особого «подвижного отряда» извещал, что если к

такому-то числу и такому-то часу «отрок» Михаил Синицкий не явится в здание бывшей школы-семилетки, то его мать, сестры, родственники, арестованные по его делу, будут расстреляны, «буде же оный отрок явится», всех их выпустят, а его самого только вышлют в Германию «для прохождения трудового воспитания».

И Миша решил явиться. Как ни убеждали его партизаны, говоря, что этим он никого не спасет и только себя погубит, как ни доказывал ему командир-учитель, что все понятия о воинской чести, долге, о которых когда-то рассказывал он школьникам, фашизм растоптал и оплевал, в мозгу у мальчика упрямо вертелась мысль: «Ну, меня расстреляют — и пусть, я партизан, а мать, сестренок, сродственников за что? Лучше одному каюк, чем всему роду».

Словом, кончилось тем, что, устав убеждать, командир запер его в землянке, припёрев колом дверь. Но ночью мальчишка прокопал ходок, ушел из лагеря и сам явился в помещение семилетки к эсэсовскому начальнику. Даже потом, годы спустя, он не мог спокойно рассказывать, как хохотал ему в лицо рыжий, раскормленный штабист, хохотал, раскачиваясь на стуле, обнажая металлические зубы. Время от времени он переводил дух, отирал пот, опять взглядывал на пораженного мальчика, на объявление, которое тот держал, и снова принимался смеяться, точно его щекотали. Потом, вдруг оборвав смех, он махнул рукой и что-то сказал стоявшему у двери солдату. Солдат схватил Мишу под руки и вынес из комнаты плачущего, бешено отбивающегося.

Миша не помнил, как очутился в погребе. Он очнулся, ощутив на лице прикосновение чьих-то рук, грубых, нежных, знакомых рук. Он сразу понял: мать. Невидимая в темноте, она наклонилась над ним и охлаждала ему виски чем-то холодным и мокрым. Стены и потолок погреба были затянуты инеем, точно белым мехом. Но помещение было так тесно набито людьми, ожидавшими смерти, что иней таял и с потолка капало. Рядом с матерью разглядел Миша сестренок и нескольких знакомых. И тут он понял все. Припадок бессильного бешенства охватил его. Он бросился на кирпичный осклизлый пол, колотя его кулаками, обливаясь злыми слезами, никому не отвечая, не слушая ничьих увещеваний. Потом стих, смолк, забился в угол, как затравленный зверек. Мать баюкала младшую сестренку, грея ее своим телом. Ровно и гулко раздавались шаги часового, ходившего по

погребице из угла в угол. Кто-то надсадно кашлял, надрывая отбитые легкие.

«Дурак!.. Какой дурак!.. Поверил! Кому поверил!..» — неотвязно думал Миша.

Людей сломил тяжелый сон. Знакомо всхрапывая, спала мать, привалившись к стене, почмокивала губами спавшая у нее на коленях младшая сестренка. Хрупал снег под сапогом часового. Где-то наверху выли, звенели цепями псы. А Миша не спал, кляня себя, мучаясь своим бессилием, и, вспоминая начальника со стальными зубами, стонал от бессильного гнева и тоски. Может быть, в эти часы и легли навсегда две горестные морщинки на его лицо, покрытое ребяческим пушком.

И вдруг под утро совсем рядом послышалась ружейная стрельба. Подвал мгновенно ожил. Все сбились в кучу, прижались друг к другу. Над головой грохнула автоматная очередь. Ахнул взрыв гранаты. Что-то упало, и вдруг стало тихо. Потом по погребице кто-то прошелся, мягко ступая, глухо стукнуло чье-то отброшенное тело, открылся люк, и глаза Миши резанул острый голубой свет зимнего утра.

— Эй, там, живые-то еще есть? — спросил взволнованный, задыхающийся голос...

Произошло все это в дни первого зимнего наступления Советской Армии, в бурные боевые дни, когда бывало, что за ночь фронт отодвигался на запад на десятки километров. Гвардейский полк, наступавший по шоссе, ворвался в Ивановку и освободил Мишу и его родственников. Когда в деревню вернулась Советская власть и мальчик мог уже не беспокоиться о судьбе матери, он пристал к гвардейской лыжной части, освободившей его деревню. Его не хотели брать, убеждали вернуться домой, гнали прочь. Он дошел до командира батальона — майора, и тот, узнав от солдат его биографию, разрешил зачислить его на довольствие.

И стал Михаил Синицкий гвардии красноармейцем, участником всех боевых дел своего лыжного батальона, несущим наряду со всеми походные тяготы. Его определили в минометный взвод. Наблюдательный, усидчивый, толковый, питавший издавна страсть к механизмам, он быстро усвоил несложную технику минометного дела и вскоре получил значок «Отличный минометчик».

Но отличному минометчику на войне не каждый день доводится действовать, а все, что пережил красноармеец

Синицкий, ожидая смерти вместе с матерью и сестренками в подвале сливного пункта, так запомнилось, так жгло душу, что он занялся снайперским делом, научившись ему у старого сибирского охотника — бойца их батальона.

Он обзавелся белым маскхалатом. Сам обшил его ветками. С утра, еще до полного рассвета устраивался где-нибудь на кромке передовой поближе к неприятельским позициям. Маскировался в снегу. И ждал. Ждал в неподвижности, иногда целыми часами до рези в глазах всматриваясь в снежные просторы. Ждал, пока на той стороне ничейной полосы не показывалась фигура неприятеля. Тогда он, весь подобравшись, ловил ее на прицел, замирал, задерживая дыхание и как бы срастаясь со своим коротким, кавалерийским карабином.

Выстрел. И, точно бы споткнувшись, цель падает. В такой день Синицкий являлся в роту напевая. Его озорной мальчишеский смех раскатывался и звенел, такой чуждый и странный в суровой боевой обстановке.

Но случались неудачи. Однажды Миша пришел с «охоты» мрачный, удрученный и молча бросился на свои нары. Стали расспрашивать, что с ним, чего заскучал. Оказывается, выследил он офицера в высоковерхой фуражке, в ловко сшитой шинели с коричневым меховым воротником. Он напомнил ему того, с металлическими челюстями, что смеялся над ним в школе, когда пришел он сдаваться.

Миша прицелился особенно тщательно. Он весь окаменел. Но в момент выстрела наст просел у него под локтем, и он промахнулся. Офицер оглянулся и, уронив впопыхах фуражку, спрыгнул в окоп. Забывшись от злости, снайпер выстрелил в фуражку. Второй выстрел обнаружил его. По нему открыли огонь. Миша слушал свист пуль над головой и, не думая об опасности, бранил себя всеми известными ему ругательствами. Такая цель! Прозевать такую цель!

Однажды в деревню, где разместились отведенные на отдых лыжники, заехал командующий фронтом, прославленный советский полководец, направлявшийся на свой наблюдательный пункт. Шофер притормозил у колодца, чтобы залить в машину воды. Генерал вышел размяться и тут увидел гвардии красноармейца Михаила Синицкого, направляющегося с котелком в кашеварку, расположенную через улицу.

Командующий окликнул его. Синицкий не оробел, представился ему по форме — да так весело и лихо, что

сразу завоевал сердце старого воина. Командующий спросил Мишу, кто он и что здесь делает, и, получив толковый и обстоятельный ответ, приказал порученцу записать Мишину фамилию и часть. Радиатор залили водой, генерал уехал. Отдохнувшие лыжники снова пошли в бой, и Миша забыл встречу в деревне. Но вдруг приходит из дивизии шифровка. Гвардии красноармейца Синицкого Михаила с вещами и аттестатом под ответственность командира батальона требовали направить в штаб фронта. Разъяснялось, что по приказу командующего его откомандировывают в тыл учиться...

Но на этом не закончилась военная история гвардии красноармейца Синицкого. Некоторое время спустя командующий фронтом вечером, сопровождаемый охраной, возвращался к себе после разговора по прямому проводу. В темных сенях, вывернувшись прямо из-под ног бойца охраны, вдруг возникла перед ним маленькая фигурка в складном военном полушубке. Она вытянулась, щелкнула каблуками и звонким голоском четко отрапортовала:

— Гвардии красноармеец Михаил Синицкий. Разрешите обратиться, товарищ генерал-полковник.

Командующий был доволен результатом только что окончившихся переговоров со Ставкой. Удивленно взглянув на маленького красноармейца, он благодушно разрешил:

— Ну, обращайтесь. Но прежде всего доложите, откуда вы здесь взялись? Как сюда попали?

Маленький солдат только свистнул по-мальчишечьи и махнул рукой, показывая этим, что для него попасть в штаб фронта да прямо под ноги командующему — дело не слишком трудное. Генерал расхохотался и приказал бойцу Синицкому следовать за ним. В избе между ними произошел разговор, который я воспроизвожу с возможной точностью с собственных слов командующего:

— Почему до сих пор не в училище?

— Разрешите доложить, товарищ генерал-полковник, хочу воевать.

— Вот выучишься, станешь офицером и пойдешь воевать.

— Да-а... тогда и война-то кончится, без меня фашиста побьют, товарищ генерал-полковник.

Командующий помолчал. На его суровом и неулыбчивом солдатском лице появилось какое-то совершенно не свойственное ему растроганное выражение, а голубые гла-

за, взгляд которых заставлял трепетать иной раз и генералов, сузились и залучились теплым смешком:

— Стало быть, боитесь, что без вашего участия Гитлера побьем...

— Так точно. А после войны можно и доучиться, я молодой, мои годы не вышли, товарищ генерал-полковник, а то, пока они по нашей земле ползают, мне и учеба в голову не пойдет.— И, позабывшись, превращаясь из солдата в мальчугана, он добавил: — Вы-то их не знаете, откуда вам их знать, а я-то нагляделся на них досыта.

Генерал улыбнулся, что случалось с ним нечасто.

— Ну, будь по-твоему. Воюй,— сказал он, подумал, отстегнул с руки часы и протянул их мальчику.— А это тебе от меня на память... чудо-богатырь. Давай руку, сам пристегну, чтоб не потерялись...

И, оглянувшись на дверь, он вдруг обнял круглую стриженую голову гвардии красноармейца и поцеловал его в лоб, как отец, благословляющий сына на подвиг.

— Ну, ступай... Воюй,— повторил он и отвернулся к карте, с несколько преувеличенной старательностью рассматривая на ней какой-то пункт.

И гвардии красноармеец Михаил Синицкий вернулся в батальон и опять стал воевать.

1942

НОМЕР «ПРАВДЫ»

Эту историю, похожую на сказку, но правдивую с начала и до конца, слышал я в лесах Холм-Жарковского района Смоленской области, когда были они еще партизанским краем. Рассказали ее мне партизан-подрывник Николай Федорович Сомов и сынишка его, бывший ученик ремесленного училища, а в те дни партизанский разведчик, Юра, прозванный в отряде Солнышком за круглую, сияющую физиономию и огненный цвет кудрей.

— ...Когда фриц взял Вязьму и пер уже на Москву, родные наши места, то есть именно колхоз «Красная Ореховка», очутились сразу в глубоком немецком тылу,— начал рассказ Николай Федорович.

— Километрах в трехстах от фронта,— уточнил Юрка — паренек, как я уже заметил, деловитый, любивший во всем конкретность.

— Правильно. И не мешай отцу говорить... Моду взял во взрослый разговор лезть!— Отец покосился на него.— Ну, а мы, значит, не растерялись, и скоро недалеко от нашей «Красной Ореховки», в самой вот этой лесной глуши, появился партизанский отряд товарища М. Фамилии пока называть не буду, не положено, да вы его и сами знаете. Начали мы, можно сказать, ни с чем: одна осоавиахимовская винтовка на пятерых, и та без патронов. Да ящик гранат, да бутылка с горючим, с этим самым с ка-эсом, хорошим, между прочим, и очень вредным для ихних танков оружием. Однако помаленьку оперились и оружием и добришком военным разжились. Все в бою добыли. Даже немецкую рацию захватили.

Был у нас в отряде партизан Санька, до войны в районе кино крутил, умеющий парень. Он эту чужую рацию, значит, быстро раскусил, поковырялся в ней, что-то там исправил. «Мы,— говорит,— теперь, ребята, с вами не глухие и не слепые. Москву,— говорит,— будем слушать...» Только кто в лесах, как мы вот, повоевал, знает, что такое значит для партизан своя рация. Великое это дело! Ну, надел он наушники, а ребята стали вокруг и шеи, как гуси, вытянули. Не терпится узнать, что там на Большой земле, где Красная Армия сражается, как Москва живет. А было это, как сейчас помню, в октябре. По утрам-то уж поля от инея седели, заморозок болотца прихватывал.

— И не в октябре, а в конце октября,— поправляет Юрка.

— Ну что ты с ним сделаешь, совсем распустился парень. Долбишь тебе долбишь: не суйся, когда отец говорит, не лезь во взрослую беседу. Ступай отсюда! — рассердился Николай Федорович и, дождавшись, когда сын уйдет, продолжал: — Ну верно, в конце, а какая разница. Словом, стоим мы вокруг приемника всей гурьбой, сколько нас было, окромя часовых, конечно. Вдруг Санька поднимается белый, губы дрожат, точно его по голове прикладом тяпнули. «Москва,— говорит,— ребята...» и не докончил, сел на кочку, руками лицо закрыл да как заплачет! А детина здоровенный, аж страшно, когда такой-то плачет. Ну, все стоят и молчат. Командир трясет Саньку за плечи: «Врешь!.. Может, ослышался?.. Ну, отвечай, отвечай народу!» «Нет,— отвечает,— точно. Передача,— говорит,— идет из Куйбышева. Сказали, оставили Мос-

кву и Ленинград и Горький, говорят, на ниточке держится и что Красная Армия с боем планомерно отходит на рубеж Урала». Командир говорит: «Врешь, я сам слышать хочу». Садится к рации, и тут, как всегда с этим радивом бывает: в самый нужный момент треск, шум, не разбери-поймешь, и передача кончилась.

Что мы пережили в этот день — и сказать нельзя. Ходим, и каждый будто мать похоронил. Шутка сказать — эдакие вести!

Вечером, когда по часам-то вечерние известия полагались, командир говорит Саньке: «Настрой свою машину и катись к черту». Сам за наушники сел. Слушал, слушал, потом встал, ничего не сказал, ни на кого не глянул, и все мы поняли: худо...

А немцы к тому времени по деревням развесили листы свои к партизанам: дескать, напрасно воюете: Москва и Ленинград пали, Горький и Иваново в наших руках, остатки Красной Армии отходят за Урал; дескать, дело ваше пропало, складывайте оружие, выходите из лесов — и вам ничего не будет... Верить им, понятно, никто не хотел. Как же это, скажите на милость, поверить, что Красная Армия разбита! А тут это радиво из Куйбышева, куда будто все московские переехали.

— Да не из Куйбышева, а из Кенигсберга,— нетерпеливо врывается в разговор Юрка, незаметно опять подошедший к нам и вставший за спиной отца.

— Это верно, но это-то мы потом узнали, а тогда и невдомек, что это Гитлер нам голову морочит: вроде и часы те же, и голоса у читальщиков знакомые. Да-а-а... Ну, ладно, от таких, значит, вестей живем мы все точно под топором. И вот тогда-то как раз вышла одна наша бабешка-колхозница, вдова Катерина Васильевна Жаринова, к себе в огород белье повесить. Вышла и смотрит: лежит что-то на снегу. Подняла. Развернула. Вроде знакомая газета — «Правда». И фотография на первой странице подходящая: Мавзолей, на Мавзолее, как полагается, все политбюро рядком, а народ перед Мавзолеем и войска маршируют... Когда же такое? Да сейчас вот, седьмого ноября... Газета, выходит, свежая. Что такое? Откуда она взялась?

Схватила вдова Жаринова эту газету и прямо без памяти — в избу, сует дочери: «Читай, читай, дочка, скорее: что тут пишут?» Дочь читает, глазам не верит: верно, парад в Москве.

Сталин речь с Мавзолея говорил. Захватчикам, сказал, жить осталось недолго. Тут соседка к Жариновым сунулась за сковородкой или еще за каким женским делом. Снова все перечитали. Вечером в избу к вдове повалил народ.

Газета по рукам ходит, рассматривают ее, как диковинку какую, руками щупают. Ей-богу. Настоящая, самая обыкновенная, можно сказать, родная, привычная. И такая тут радость в людях поднялась — и сказать невозможно! Вечером из деревни к нам в отряд связной прибежал. Пот с него градом, мокрый, как суслик в дождь, кричит: «Ребята, радость, бабешки свежую газету «Правду» нашли! Парад,— говорит,— на Красной площади был. Оккупантов всех бить к чертовой матери!» — и все такое.

Ну, всех словно живой водой сбрызнули. Послали людей за этой самой газетой, притащили ее в отряд, разожгли громадный костерище, собрали возле него весь народ и всю-то ночь газету ту вслух читали, от передовой статьи до самого последнего объяснения московского коменданта. Только одним прочтешь, хвать — новые подошли, читай сначала. И новые слушают, и старые не отходят. Ведь у нас тогда от немецкого радива все уши завяли. По настоящему, по правдивому слову стосковались.

Те, кто помоложе, у кого память посвежей, в эту ночь и передовую и речь Сталина назубок вытвердили. Он вон, Юрка, и сейчас вам еще, поди, слово в слово перескажет, только спроси... Да ладно, не надо, так поверят, уже и рад!..

Ну так и пошла эта весть о найденной газете от одного к другому на много верст. И стали дальние-то деревни тайком от немцев ходоков выделять, и ходоки эти иной раз по сто верст шагали к нам в «Красную Ореховку», чтобы газету почитать. На немецких плакатах со всякой там брехней углем стали выводить: «Враньe».

Посветлело у людей на душе. Нет, нашу Советскую власть не свалишь! Ну, и наши партизанские дела пошли веселей. Народ к нам косяками пошел. Только со своим оружием, да и то с большим разбором, принимать стали.

Немцы обеспокоились. В чем дело? Что такое? Нашлась у нас одна сволочь — Павлов Петр, первейший на весь район был ворюга, сидел не раз... Так вот он и до-

нес на Жаринову. Дескать, газета такая у ней завелась, что людям головы мутит. Ну, эсэсманы на грузовике прикатили — человек пять при пулемете. Вломились к Жариновой в избу. Где газета? Подавай газету. Стоит Катерина перед ними белее савана: «И о чем вы спрашиваете, не знаю, ни о какой газете не ведаю». Стали спрашивать: «А зачем к тебе люди со всей округи ходят?» И тут Катерина не растерялась. «А я,— говорит,— лекарственные травы собираю. Врачей-то,— говорит,— вы всех угнали, вот,— говорит,— и лечу людей хворых, они и ходят».

Складно соврала, да ей не поверили. Должно быть, этот Павлов Петр им все данные выложил. Да и, видать, очень уж немцев газета эта допекла. Да-а-а... Допрашивали Катерину долго. Волосы даже по прядке дергали,— словом, фашисты. Плачет она, а не говорит. «Хоть убейте, ничего не знаю». Вывели ее на огород. «Говори, где газета, а то хату спалим». Запирается Катерина Васильевна: «Жгите, ничего мне неизвестно».

Голос у Николая Федоровича дрогнул, сорвался. Партизан отвернулся, сделал вид, что поперхнулся табаком, стал тереть ладонью глаза.

— Чертова махорка, горлодер проклятый, не табак, а сущий уксус!.. Так вот, сожгли они избу, а напоследок и в нее, во вдову Катерину Жаринову, пульнули. Ранили. А газета-то была у баб спрятана на огороде, под приметным камнем возле ветлы. Дочка вдовы — тоже Катя по имени, теперь она у нас в отряде сестрой милосердной: если хотите, мы ее сейчас покличем,— так вот она ночью пробралась на тот огород, газету из-под камня достала и принесла ее к нам.

И опять пошла «Правда» ходить по людям. Обветшала вся, обтрепалась. Мы ее по сгибам да по уголкам промасленной бумагой оклеили и продолжали по колхозам читать.

Ну, а силы у нас партизанские росли, это само собой. Немец к тем дням всех своих солдат под Москву оттянул, потому что ему там лихо стало, а по деревням в гарнизонах так, старичье разное осталось, самый последний разбор. И вот в одночасье ударили мы на его гарнизон, всех их там переколотили, округу нашу очистили, и организовался у нас этот самый наш партизанский край, куда сейчас фриц без танка и носа сунуть не смеет. Ну, это

вы все сами знаете, об этом вам уже рассказывали. Повторять не стану...

Я о газете. А газету ту командир наш спрятал. Сохранять, говорит, буду, потому, говорит, исторический документ. Фашистов, говорит, расколотим и газету эту в самый что ни на есть важный музей повесим. Пусть, говорит, потомки дивуются, какие у нас во время войны газеты были.

— Ну, и где же она?

— Вот где — это сейчас вопрос. Хранил ее наш командир, можно сказать, как зеницу ока, газету эту с праздничным парадом и с речью, потому он, командир-то наш, был до войны партийным секретарем и в таких делах, что к чему, понимал. Однако раз прислал к нему из соседнего района командир отряда своего разведчика. Давай, пишет, газету нам. Для тебя это исторический документ, поскольку вы, значит, уже освободились, а мы, пишет, еще под немцем, она нам еще как оружие боевое. Ну, делать нечего, отдали им эту газету под расписку, и пошла она опять гулять по людям.

— Ну, а теперь где она?

Николай Федорович разводит большими, оплетенными веревками вен руками, трудовыми руками колхозного кузнеца, с которых даже тут, в лесу, не отмылись копоть и металлическая гарь.

— Вот уж это и не могу сказать. Потеряли мы ее след. Теперь уж и район, где действует тот командир, что у нас газету выпросил, тоже освободился, тоже партизанский край. Меня туда по делам посылали, трофейную пушчонку лечить, ну, заодно командир наказывает: «Газету у них забери, я,— говорит,— ее обязан на Большую землю отослать». Спрашиваю: «Где газета? Гоните назад!» А товарищ Н. ихний говорит: «Спохватились! Да еще в декабре приходили ко мне ребята из-под самого аж из-под Бобруйска, мы им и отдали».

Николай Федорович ухмыляется. Зубы у него белые, крепкие. Лицо, освещенное улыбкой, молодеет.

— У нас по деревням про ту газету сказки говорить начали. Ей-бо!.. Будто бросили эту газету немцы в огонь — не горит, ножом ее резали — не разрезали. Осерчали они, скомкали ее, заложили в орудийную гильзу и — бах! И, говорят, будто она, газета-то, от этого не только не пропала, а стало их целый миллиён.

— Брехня,— солидно обрывает Юрка.— Бабьи сказки!

Николай Федорович смотрит на сына, маленького, крепкого, задористого.

— А вот и не брехня. Скажешь, плохо мы сейчас с Большой землей связаны? Мы, дорогой товарищ, теперь и «Правду», и «Известия», и вон ихнюю «Комсомолку», и всякие иные, даже почту, получаем. И хоть читаем мы газеты с опозданием недели на две, однако все знаем — и как вы там живете, и что делаете, и как союзнички за Ламаншей себе затылок чешут, и как Красная Армия наступает и бьет неприятеля по всем фронтам.

Партизан крепко и ласково хлопает по плечу сына. Тот пошатывается от этих ударов, но упрямо стоит.

— Что, скажешь не так?.. А то — «бабьи сказки»... Их тоже понимать надо, сказки-то, Ерш Ершович. Сказка-то, она что патрон, а в нем заряд спрятан.

1942

ЕЕ СЕМЬЯ

В дощатую комнатушку одного из немногих уцелевших в поселке зданий, где сразу же после изгнания неприятеля разместил свой кабинет председатель Нелидовского райсовета, мелкими шаркающими шажками вошла маленькая, сутуловатая, не по возрасту подвижная женщина лет шестидесяти. Ее пушистые кудри, выбившиеся из-под надвинутого на уши берета, были снежно белы, но глаза, черные, большие, еще красивые, глядели молодо, и живость их как бы подчеркивалась серебром волос.

На мгновение она изучающе остановила взгляд на усталом лице председателя и потом, точно решив про себя, что это человек стоящий и говорить с ним можно по душам, спросила:

— Вы не бывали в Торопце? Нет? Очень жалко. Если бы вы бывали в Торопце до войны, вы бы, наверное, знали моего мужа. Меня зовут Сара Марковна, Сара Марковна Файнштейн.. Я жена Гершеля Файнштейна, лучшего в Торопце мужского портного, и мать трех сыновей, которые все сейчас в Красной Армии и все воюют с немцами. Дай бог всем хорошим людям иметь таких сыновей!

Она села бочком на краешек предложенного ей роскошного кресла, неведомо как попавшего в эту неуютную

каморку с темными бревенчатыми стенами и, теребя сухими, точно обтянутыми пергаментом, пальцами бахрому черной шали, продолжала:

— Нет, вы, пожалуйста, только не подумайте, что я пришла к вам о чем-нибудь попросить как красноармейская мать. Нет, нет, как можно! Я приехала к вам издалека по делу, по очень важному делу. Вы меня слышите? Я ехала к вам из Торопца трое суток на трясучих грузовиках по этим самым ужасным дорогам, чтобы самому Гитлеру по ним до самой смерти кататься! Вы это слышите? Я приехала рассказать вам, какие люди живут в вашем районе... Нет, нет, не беспокойтесь, я вас не задержу... Это касается не только меня. Боже упаси, разве я направилась бы в такой путь, если бы это касалось только меня! Но вы же глава района, вы должны знать, какими достойными людьми вы руководите. Вы знаете колхоз «Буденный», тот самый, что на Торопецком тракте? Слышали? Знаете? Ну, чего вы молчите, скажите «да» или скажите «нет».

— Знаю,— произнес наконец, с трудом подавляя улыбку, председатель странным, приглушенным голосом.

Около года, пока район был оккупирован немцами, он партизанил со своим отрядом в здешних лесах, именно в лесах, так как оккупанты, превращая этот край в «мертвую зону», сожгли здесь почти все деревни, кроме тех, что стояли у большаков. За год, проведенный в лесных чащах, в землянках, у костров, председатель отвык от нормального жилья и теперь никак не мог соразмерить свой звучный бас с крохотными размерами кабинета и поэтому, боясь оглушить человека, стеснялся говорить в присутствии посторонних.

— Ну вот, вы знаете, и очень хорошо. Теперь слушайте меня, слушайте внимательно, я расскажу вам что-то такое, что вас как главу района обязательно поразит в самое сердце.

Торопясь, волнуясь, старушка принялась рассказывать о том, что пережила и перевидала она в этих краях в лихую пору оккупации.

В первый день войны Сара Марковна проводила в военкомат младшего сына. Вскоре ушел на фронт старший сын, оставив на попечение старикам свою жену Хану. Средний был кадровым военным и уже воевал где-то в Белоруссии.

Когда дивизии врага прорвались к Неману и Торопец

был объявлен на осадном положении, старый Гершель отыскал в сарае ржавый заступ и, захватив с собой смену белья, ушел в один из рабочих батальонов, строивших под городом оборонительные рубежи.

— Не беспокойся, Сара, главное — без паники. Дальше старой границы их не пустят,— наставительно говорил он, прощаясь.— Ну, а если какие-нибудь шальные прорвутся, их задержат на окопах, которые мы роем. К городу их не пустят. Ты знаешь, какие это будут окопы? Ого!— И он торжественно потряс ржавой лопатой перед заплаканным лицом жены.

Но немцы прорвались сквозь старую границу. Не удержали их в этих краях и новые оборонительные рубежи. И вот однажды поток беженцев, двигавшихся на восток по Торопецкому тракту, поток молчаливых, подавленных людей, груженных скарбом грузовиков, подвод, гуртов пыльного, усталого скота, поток, несущий с запада, с оккупированных земель, глухие слухи о бесчисленности сил наступающего врага, о его свирепости, смыл и семью торопецкого мужского портного.

Бросив все добро, даже не заперев квартиры, Сара Марковна вышла ранним утром из родного города с дочерью Раей и невесткой Ханой. Они поддерживали старушку под руки и несли ее узелок.

Это было в те дни, когда фашизм упивался своими победами. Берлинское радио непрерывно играло марши и каждый час передавало сводки о взятых деревнях и городах. Вражеские летчики развлекались тем, что пикировали с поднебесья на реки людей, лившиеся по большим и малым дорогам на восток, в глубь страны. Они тренировались в бомбометании, целясь в беженцев. Истребители с черными крестами на крыльях проносились на бреющем полете над головами беззащитных толп, поливая их огнем из пулеметов и пушек.

При выходе из Торопца на мосту была убита Хана. Ее труп вместе с другими отнесли в сторонку и положили у реки в тени прибрежной ивы.

Через день от бомбы пикировщика погибла Рая. На месте, где стояла девушка, осталась только глубокая дымящаяся воронка.

А Сара Марковна все шла и шла, шла механически, окаменев от горя, шла, ни о чем не думая, ничего не помня, кроме того, что нельзя отставать от людского потока, нужно двигаться на восток во что бы то ни стало.

Чьи-то руки поднимали ее, когда она без сил падала в горячую пыль дороги. Кто-то давал ей кусок хлеба или картофелину, и она, даже не поблагодарив, съедала это, не чувствуя ни голода, ни вкуса пищи. По ночам незнакомые голоса подзывали ее к кострам, и она подходила, грелась у чужого огня — мать большой семьи, оставшаяся вдруг совершенно одинокой.

На четвертые сутки она занемогла. Сойдя с дороги, она легла в пыльную, затоптанную траву, пахнущую дегтем, бензином и конским потом. Она решила, что тут и умрет, так как не в силах больше двигаться. Мимо нее, стуча колесами, тянулись телеги. Тоскливые, недоумевающие детские глаза смотрели из-за пыльных узлов. Роняли желтую пену усталые кони, скрипели колеса, печально мычал изнывающий от жары, задыхающийся в пыли скот.

У людей, шагавших за телегами, тащивших на плечах, кативших на велосипедах, в ручных тележках, в детских колясках узлы с остатками добра, были сухие, воспаленные, ничего не видящие глаза. Черные от зноя и пыли губы были плотно сжаты. Сара Марковна отвернулась. Она понимала, что у каждого из них — с избытком своего горя, чтобы думать еще и о чужом. Она и не просила о помощи. И все-таки нашлись люди, которые на руках донесли ее, больную, изнемогшую, до ближайшей деревни, до первой избы.

— ...Своего горя полон дом, а тут чужое несут,— услышала она неприветливый женский голос.— Своих полна изба, а тут на, пожалуйста... Да кладите, кладите, чего уж тут! Ох-хо-хо!

Кто сказал эти слова, Сара Марковна не видела. У нее не было силы поднять тяжелые, точно сросшиеся, воспаленные веки.

Очнулась она только на другие сутки и с удивлением огляделась кругом, не понимая, где она, что с ней.

Лежала она на лавке в просторной крестьянской избе. Яркие лучи полуденного солнца врывались сквозь сероватую зелень стоявших на окнах гераней. Потрескивая, топилась печь. Мушиный рой надрывно гудел над столом, на котором лежали ложки, хлеб и дымила, остывая, миска со щами,— к ней, должно быть, никто не притронулся.

Пожилая высокая костистая женщина, к подолу которой прижались трое ребят, со страхом выглядывала из-за

косяка на улицу: оттуда непрерывно неслись грохот и лязг, вой моторов и звуки чужой, непонятной речи.

— Детушки вы мои, что же с нами будет-то, что ж будет-то? Как же мы теперь?..— твердила женщина, глядя на улицу.

Еще не отдавая себе отчета в том, что же, собственно, случилось, Сара Марковна поняла: произошло что-то ужасное,— и жалобно вскрикнула. Женщина посмотрела на нее теми же сухими, скорбными глазами, какими смотрели и беженцы.

— Ай очнулась? Эх, милая, лучше бы тебе...—Женщина не договорила и опять уставилась в окно, откуда волнами, то напрягаясь до того, что дрожали стены и звенели стекла, то удаляясь и утихая, выплескивался напряженный вой и лязг.

Сара Марковна сбросила лоскутное одеяло, которым ее кто-то укрыл, вскочила на ноги, но зашаталась и оперлась о стену.

— Я пойду, мне нельзя здесь... я пойду,— сказала она.

Хозяйка посмотрела на нее своими суровыми, жесткими глазами и только махнула рукой:

— Пойду... Куда тебе!.. Лежи... Чему быть, того не миновать.

Мгновенно в памяти Сары Марковны всплыли страшные рассказы беженцев о расправах гитлеровцев над евреями. О том, как в маленьком городке Себеже евреев созвали в местную синагогу якобы на регистрацию, приперли двери синагоги бревнами и зажгли старое деревянное здание. О том, как в городе Невеле семьи евреев загнали на узкую песчаную косу, глубоко вдававшуюся в озеро, и по косе той пустили танки, и как в тот день вода в озере, всегда славившаяся своей прозрачностью, стала бурой.

Нет, она не имеет права навлекать беду на эту случайно приютившую ее семью, не может, не должна здесь оставаться.

— Я пойду, Пустите, я пойду,— сказал она, вставая.— Мне смерть не страшна, я свое прожила, я своих вырастила, а у вас вон трое, я не хочу, чтобы из-за меня гибли другие...

— ...И вы знаете, что она мне на это сказала, эта колхозница, Екатерина Федоровна Евстигнеева? Евстигнеева — запомнили? — рассказывала старушка

председателю райсовета, вытирая концом шали слезы, скатывавшиеся по ее морщинистым щекам.— Я прошу вас записать к себе в книжечку ее фамилию: Екатерина Федоровна Евстигнеева из колхоза «Буденный». Нет, вы только послушайте, что она мне на это сказала. Она сказала, что я старая дура, да, да, да, старая дура, ни больше ни меньше, что я выжила из ума, если думаю, что она живого человека на растерзание зверюгам выбросит, чтобы самой шкуру спасти... Она сказала, что плохо, должно быть, меня Советская власть воспитала, если я смею о ней так думать. И велела лежать и молчать и не соваться со своими глупостями. Вот она что сказала, Екатерина Федоровна! А ведь у нее не было мужа, и было трое детей, и фашисты были не где-нибудь в Германии: они ехали на своих танках по улице за окном, и мы с ней слышали, как они хохочут, обливая друг друга водой у колодца, где они поили свои проклятые машины. Но то — еще не все. Вы голова района, вы должны знать своих людей, и вы имейте терпение, послушайте до конца, что было дальше...

...По настоянию хозяйки дома, куда занесли ее беженцы, Сара Марковна осталась в колхозе «Буденный», который приказом фельдкоменданта, в чьем ведении находились села, лежавшие на тракте, был объявлен распущенным...

Хозяйка дала неожиданной своей гостье старое крестьянское платье, уложила ее на печке, а потом, посоветовавшись с соседками, придумала такую хитрость: немецким солдатам из комендатуры, которые порой наезжали рыскать по хатам в поисках продовольствия, разъяснялось, что на печке лежит больная сыпным тифом. Мнительные оккупанты, боявшиеся заразы, не только оставили старушку в покое, но и вообще стали обходить избу Евстигнеевой.

Так прожила, не выходя из избы, Сара Марковна до зимы. Когда в дни метелей оккупанты выгоняли все население на расчистку дорог, колхозницы сносили в хату Евстигнеевой своих малышей, а Сара Марковна присматривала за ними до возвращения родителей. Женщины понемногу привыкли, даже привязались к ней и вместе с детьми, чтобы не упоминать ее имени, точно по уговору, стали называть ее «мамаша».

Но вот на воротах пожарного сарая появилось стандартное объявление комендатуры о том, что все евреи должны немедленно пройти регистрацию в ближайшем комендантском пункте. Тем, у кого евреи проживали, а также тем, кто знал, где они живут, приказывалось в суточный срок донести об этом туда же. В случае невыполнения этого приказа тем и другим угрожала кара в соответствии с законами военного времени.

Узнав о приказе, Сара Марковна решила идти на регистрацию. Не сказавшись на этот раз хозяйке, она оделась, собрала свои вещички, но у порога наткнулась на колхозниц, с лопатами и мотыгами возвращавшихся с расчистки дороги.

— Это куда же? — спросила Екатерина Федоровна, осматривая свою гостью с ног до головы.

Сара Марковна молча опустила глаза. Тогда кто-то из женщин догадался:

— Неужто на регистрацию? Дак, бабоньки, это ж она сама голову в петлю сует? Нешто ты, мамаша, не знаешь, как они с вашим людом в Торопце-то обошлись?

— Знаю, все знаю! — вскричала Сара Марковна.— Пустите меня, я не хочу, чтобы из-за меня пропадали добрые люди...

— ...И вы знаете, что они мне ответили, эти женщины?— спросила старушка, вставая с кресла и взволнованно глядя в усталые глаза председателя, в которых теплились теперь веселые искорки.— Они сказали мне, что я сумасшедшая, они сказали мне, что я хочу осрамить их колхоз, они сказали, что, ежели они со страху дадут этим живодерам надо мной надругаться, им нельзя будет в глаза глядеть мужьям, когда те вернутся с войны. И тут подошел к ним еще один крестьянин, они называли его дядя Миша, он тогда в деревне не жил, а был партизаном из отряда Чурилина, о котором даже в Совинформбюро сообщали— отряд товарища Ч. Он подошел, этот дядя Миша, фамилии его, извините, не знаю, подошел и спросил: «Чего вы, бабы, галдите?» И они ему ответили: «Вот эта сумасшедшая хочет идти в комендатуру, боится нас подвести». И знаете, что им сказал этот самый дядя Миша? Нет, вы не знаете этого, вам даже не догадаться. Вы лучше послушайте меня, что он сказал. Он сказал мне: «Не трепыхайтесь, мамаша, и наплюйте на это их

объявление. Либо,— сказал,— мы вместе перебедуем, либо вместе помрем». Вот что он мне сказал тогда, дядя Миша. Вы запишите, пожалуйста, себе в книжечку и его имя, этого дяди Миши, фамилию его узнаете потом. И думаете, что это все, товарищ председатель? Нет, это не все, и уж вы имейте минуточку терпения меня дослушать...

...Забота о старой женщине стала делом всего этого формально распущенного, а на деле еще больше спаянного общей бедой колхоза. По-прежнему жила Сара Марковна у Евстигнеевой. И хотя оккупанты повыкачали почти все имевшиеся у жителей продовольственные запасы, хотя все уже жили впроголодь, женщины считали долгом выделить и для нее хотя бы и небольшой кусок.

Хату Евстигнеевой, про которую говорили, что там лежит больная тифом, комендантские по-прежнему обходили. Все, казалось, было спокойно, и Сара Марковна стала было уже верить, что с помощью новых друзей доживет она как-нибудь до счастливых времен, но тут-то и грянула беда.

В деревню приехал автомобиль с красным крестом. Переводчик спросил: где больная тифом? Растерявшиеся жители не знали, что сказать, и кто-то послал докторов к Евстигнеевой. Но доктора в избу не пошли. Старый офицер в халате отдал приехавшим с ним санитарам распоряжение, те принялись обливать избу бензином. Евстигнеева, думая, что это дезинфекция, молча стояла у палисадника со своими детишками. Даже когда один из приезжих зажег пук соломы и бросил его на черные бензиновые подтеки, она лишь недоуменно смотрела на него.

Пламя с ревом ударило по стенам, по драночной крыше, разом покрыв избу рыжей огненной овчиной. Приезжие сели в свою санитарную машину и укатили. Тогда женщина с криком кинулась в дом, и через коровник, задами вывела «мамашу» из ревущего костра...

— ...И вы знаете, что сказала эта женщина, потерявшая из-за меня свой дом и свое имущество, оставшаяся на улице вместе с тремя маленькими детьми?— спросила старушка у председателя.— Она сказала: человек дороже избы. Она сказала: были бы кости, а мясо нарастет. Она сказала: была бы Советская власть, будет и изба. А бу-

цет гитлеровская власть — не надо ей ни избы, ни самой жизни, пропадай все пропадом. Вот что она мне сказала, эта самая колхозница Екатерина Евстигнеева. Прошу вас это запомнить, вы должны знать своих людей.

— Я запомню,— пробасил председатель и, нагнувшись, что-то долго искал в ящике письменного стола, а когда он выпрямился, лицо его было немножко красным, точно вдруг он заболел насморком...

...С того дня, как сожгли хату, Екатерина Евстигнеева поселилась с детьми у сестры, а Сара Марковна кочевала из избы в избу, живя по очереди в каждой семье, как пастух в летнюю пору.

В январе каким-то образом фельдкомендатура пронюхала, что крестьяне скрывают еврейку. Приехали на машинах гестаповцы из самого Нелидова. На въездах в деревню поставили заслоны. Начался повальный обыск. Но пока ходили солдаты по избам, два подростка, Вася и Петя Чурилины, дети того самого товарища Чурилина, который был командиром партизанского отряда, вывели Сару Марковну задворками за околицу, отвели в соседнюю деревню и спрятали у своей тетки, у которой жили и сами, пока отец их партизанил в лесах.

Здесь без особых приключений прожила Сара Марковна до самого того момента, когда однажды послышалась над лесами канонада близкого танкового боя, когда неожиданно в избу Чурилиных, где ее приютили, ввалились потные лыжники в сбитых на затылок ушанках, в заиндевелых и грязных маскхалатах и хриплыми веселыми голосами на чистейшем русском языке попросили напиться...

В этот день Сара Марковна вернулась в колхоз «Буденный», вернулась, как к родным, прожила здесь, присматривая за детишками, до самого освобождения родного города, а тогда с попутной санитарной машиной ее отправили в Торопец.

Провожали ее, как родную, тепло одели, на дорогу напекли картошки и все наказывали «мамаше» не забывать их.

— ...Но разве их можно забыть, товарищ председатель? Разве можно забыть таких людей? Разве все это уйдет из памяти, даже если, не дай бог, проживешь сто

лет? Они звали меня «мамашей», и, что вы думаете, я сейчас чувствую, что у меня не только три сына, которые сражаются на фронте, пошли бог каждому хорошему человеку таких сыновей! У меня сейчас много сыновей и дочерей там, в колхозе «Буденный», где мне говорили «мамаша». И знаете, что? Знаете, зачем я тряслась три дня по этим ужасным деревянным клавишам? — чтоб самому Гитлеру до самой смерти ездить по таким дорогам! Я вам скажу, зачем я приехала: их надо обязательно наградить. Нет, вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Вы думаете, они не заслужили ордена? Они заслужили орден таки, да! Что вы на это скажете?

Председатель молчал. На его обветренном, бронзовом от еще не сошедшего партизанского загара лице с белой кожей на тех местах, с каких он сбрил усы и бороду, было несвойственное этому грубоватому человеку растроганно-смущенное выражение.

— Заслуживают, мамаша,— сказал он наконец,— очень заслуживают, и не этого они еще заслуживают... Только беда-то вот в чем: ничего особенного они не сделали, нельзя же награждать людей только за то, что они советские люди...

За дощатой стенкой кабинета пронзительно зазвенел телефон. Кто-то взял трубку и женский голос спросил:

— Вам кого? Председателя? Он занят... У него люди... Ах, из области? — И женский голос сказал громче: — Товарищ Чурилин, возьмите трубочку, вас область спрашивает.

И председатель прервал беседу и поднял трубку телефона.

1942

НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ

Когда в такой битве, как Сталинградская, выпадала вдруг тихая минута, переставала дрожать от разрывов земля и становился слышен взвизг отдельной пули, даже самым закаленным бойцам делалось как-то не по себе.

Именно в такую минуту он и подполз ко мне по сухой истертой соломе, тронул рукой за шинель и спросил:

— Не спишь? Дай огоньку. Закурим.

Мы сидели втроем — пожилой усатый сапер с моторного парома, девушка, санитарный инструктор из медсанбата, раненная в плечо, и я — в тесной земляной норе, выдолбленной в крутом глинистом берегу над переправой, ожидая, пока на той стороне Волги починят поврежденный снарядом моторный паром.

Сапер нервничал и поминутно выбегал наружу. Ему было досадно, что он здесь, на правом берегу, и не может участвовать в починке. Чтобы убить время, он в третий раз принялся разбирать и чистить свою винтовку, аккуратно раскладывая на собственной портянке и без того уже сверкавшие части.

— Так закурим, что ли? Не куришь? Вот это правильно: и здорово, и карману легче. Я тоже вот сорок семь лет не курил, на сорок восьмом не вытерпел. Здесь, в Сталинграде, и закурил... Тут закуришь! Я за эти два месяца тут на переправе такого насмотрелся, чего вы оба, даром что военные, и за всю жизнь, наверное, не видели... Право...

Он закурил большую, ловко свернутую в виде трубочки цигарку и, следя за тем, как расползается дымок в тенистом полумраке землянки, даже не рассказывая, а скорее думая вслух, продолжал:

— Я человек тихий. И работа у меня тоже была тихая. Золотишник. Старатель... Сам-то я с Урала. Ну, там, в наших местах, я, значит, золотишко в артели и мыл. Дело ничего, хлебное, если его знаешь. У нас там все охотники. Так я, бывало, даже на охоту ходить не любил, честное слово. Хотите верьте, хотите нет, на кровь звериную там или птичью просто смотреть не мог спокойно. И если уж охотиться и приходилось, когда с едой иной раз в тайге припирало, то ловил зверя или там птицу, бил наповал, чтобы не видеть, как они там в крови трепыхаются.

Когда призвали на войну, очень я обрадовался, что получил назначение в понтонную часть. Потому — понтонерам стрелять мало приходится. Я и в ум себе забрать не мог, как это я вдруг в человека выстрелю... Вот, выходит, какой я был. Сейчас и самому не верится!

В августе прибыл наш батальон сюда на самый этот берег, наводить запасные переправы. Я, конечно, обрадовался. О Сталинграде кто у нас не слыхал! Уж на что мы, старатели, живем, можно сказать, в самой глухой тайге, и дразнят нас за это медведями, а и то, спроси

любого, каждый скажет: есть-де такой город на Волге, где в восемнадцатом году наши в пух и прах беляков расколошматили.

И насчет тракторного завода здешнего, это мы тоже все знали, потому хоть мы, старатели, среди дерев да камней обитаем и поля в наших краях не бог весть какие, однако здешние тракторы и по нашим землям ходят, добрую славу имеют.

...Так вот, навели мы свою переправу, освободились, значит, и командир дозволил нам посмотреть город. Ну, мы умылись, сапоги начистили, новые подворотнички подшили, все честь честью, и пошли смотреть. Расчудесный город, сердце радуется, чистый, просторный. А дома, а магазины, а улицы? Ну, все, как есть, все для трудящегося человека. Отработал — и гуляй себе по бульварам, кружечку пива за столиком в саду выпей иль там, пожалуйста, в театр. Театр тут такой был, наверх взглянуть — шапка свалится. Нашли мы дом, где штаб в дни гражданской войны стоял. Доска на нем каменная прибита. И хоть музей-то был закрыт, постояли мы и перед этим домом. И хотя мы саперы и стрелять нам, как я уже докладывал, приходится редко, лестно все же, что мы такой исторический город защищать будем.

А день был воскресный, ясный. Ребятишки на бульварах в песке копаются. Девчата, женщины там в ярких платьях по улицам разгуливают, на углу мороженое продают. И вот в этот самый тихий, расчудесный воскресный день вдруг как налетят немецкие бомбардировщики — штук сто, а то и больше! И ну город утюжить, прямо по улицам, по домам, квартал за кварталом. Одни опорожнятся, другие летят, эти разгрузятся, а уж слышно — третьи на подходе. Дома горят. Пламя трещит и воет. Жаркий воздух винтами вверх поднимается. Посреди улицы идешь — и то дышать нечем. И город этот, что так трудящегося человека радовал, мирный, покойный, праздничный, как вспыхнет вдруг, точно сухой сноп!

Самолеты наши на фрицев налетают, сбить стараются. Да где же: тех впятеро больше, их и сила; и бомбят, и бомбят.

Видел я однажды мальчишкой, как в сухой год тайга горела. Жуткое это дело, братцы, когда тайга горит. Уж на что звери, а и те с того пожара ума лишились, хотите верьте, хотите нет. И думалось мне, что ничего страшнее тех лесных пожаров и видеть не придется.

А вот, выходит, привелось. Не город, а гора огня. И бегут по этим самым огненным улицам, через самое пекло, к Волге женщины с ребятишками мелкими, какие-то старики ковыляют, ну, там и прочее, как говорится, мирное население. Волос на них трещит, одежда дымится, ну ад, кромешный ад.

Мы, понтонеры, в ту ночь крепко поработали. О себе забыли думать. Где там! Под бомбами, под пулеметами всю ночь за Волгу беженцев перевозили. Да разве такую силу народа сразу переправишь. Куда тут! Волга-то, она здесь вон какая! А немец все бомбит — да по переправам, по переправам! «Мессер» евонный выберет, где народ скопился погуще, как коршун с-под облаков падет да из пулеметов, из пулеметов по этому мирному, как говорится, народу!..

Многое я на войне уже повидал, многое, должно быть, и еще повидать придется, но такое навряд. И сердце у меня стало тяжелеть от злости: что же это вы делаете, сволочи? Нешто это война? Нешто можно так вот, по мирным-то жителям, по женщинам да по ребятишкам малым? По какому закону такое разрешено?

Прыгнул ко мне на паром старик лысый, весь в крови. На руках у него двое малышей — один мертвенький, убитый, другой еще дышит, ножонка оторвана. Старик-то, дед, значит, их, совсем обезумел, кричит туда самолетам: «Ироды! Как же вы смеете по младенцам, ведь есть у вас там какой-никакой немецкий бог?»

Потом как рухнет на палубу, как зальется: «Внучки мои, внучки!» А потом опять летчикам: «Ироды! Будьте прокляты отныне и до века!»

А то женщину принесли на паром раненую. Чтобы не затоптали ее в давке, положили мы ее на корме у мотора, возле самых моих ног. Умирала она, ребенка к себе прижимала. Уж вот вовсе, вовсе отходит, побелела вся, а все норовит телом его своим прикрыть, потому — сверху-то стреляют. Так на пароме и померла. А ребенок-то махонький, не понимает, теребит ее: «Мама, мамочка...»

Голос у сапера дрогнул, сорвался. Он сделал вид, что прислушивается к возобновившейся канонаде и, отвернувшись, украдкой смахнул рукавом слезу.

Раненая девушка, затаившись в своем углу, словно окаменела от напряжения. И, честное слово, казалось, что ее большие глаза сверкают в полутьме — такой в них неистовый гнев.

— А то вот помню,— продолжал сапер изменившимся голосом,— в самый полдень зажгли с воздуха пароход, что раненых вез. «Композитор Бородин» назывался. Огромный пароходище, четырехпалубный, а вспыхнул, как береста. А раненые все тяжелые, лежачие. Горит пароход, а они ползают по палубе, из окон высовываются, на помощь зовут, стонут, гитлеровцев клянут. Тут со всех сторон рыбачки к ним на лодках кинулись, окружили пароход, стали раненых перетаскивать на свои лодки. Ваши-то вот,— он кивнул в сторону медицинской сестры,— ох, и молодцы девчата! Пароход — костер; волосы, юбки у них загораются, а они знай себе раненых носят и в лодки опускают. Спасибо, тут наши самолеты налетели, разогнали этих «мессеров». Один из них вон и сейчас из воды торчит против памятника Хользунову. Это еще тогда его подбили. Так он до сих пор и торчит... Да, насмотрелись мы в эти дни.

А однажды фрицы бомбу влепили в огромный дебаркадер. Этот с детишками по течению вниз шел, пароходишко его носом подталкивал. Из детских домов на нем ребят вывозили. Бомбу прямо на него бросили. Деревянный, неуклюжий, он быстро тонуть стал. Страшное дело! С берега, с двух пароходов, мы — саперы, матросы, рыбаки на лодках — все кинулись спасать, а «мессеришки» эти над пароходом кругами ходят да из пушек, из пулеметов по лодкам, по лодкам: ненавистно им, вишь, что детишки живые будут!.. Ох, и страсть. Ребятишки тонут, ручонки к нам тянутся!.. Нет, лучше не вспоминать! Помню еще: женщина одна молодая, когда дебаркадер уж на бок кренило, прыгнула с борта в воду с маленьким на руках. Должно, волгарка, хорошо плавала. Легла на спину и ногами, ногами работает. А ребенка над водой подняла.

Гребу я к ней изо всех сил, а сам кричу: «Подержись, подержись, милая, сейчас, сейчас!» Уж руку было к ней протянул, чтобы маленького взять. А тут один «мессер» над самой головой как черканет! Р-р-р! Камнем сердешная ко дну пошла вместе с ребеночком своим, только вода в этом месте покраснела.

Сапер вдруг сорвался с повествовательного тона и яростно закричал:

— Разве это люди, разве человек так может?! Разве фашист — человек?! Вот говорим мы: «фашистский зверь». Зверь и есть, лютый зверь! В дремучей тайге и то

такого не встретишь!.. Так вот, товарищ майор, хочешь верь, хочешь нет, я до войны белку — и ту бить жалел, а как поглядел я на все это, сердце у меня что корой покрылось, задубенело. Ведь я сапер, и дело у меня тут, сами видите, не легкое, переправу поддерживаю под миной, под пулей, тут у него любая волна на мушке, сами знаете, прямой наводкой по нас шпарят. А вот, ей-богу, завидую бойцам, которые там, в городе бьются. И как скажу я себе: «Милый, фашист-то вон он, рядом с тобой, на самой Волге»,— нет мне покою ни днем, ни ночью. Места не нахожу, вконец ожесточился, даже сам себе удивляюсь.

Тут как-то целый гурт пленных провели. Некоторых на нашем пароме на ту сторону переправляли. Небритые, грязные, рвань рванью, некоторые раненые трусят, как овцы, друг к другу жмутся. А я гляжу на них и душа горит: может, который-нибудь из них по той женщине с ребенком очередь-то и пустил. Не могу я спокойно на них смотреть. Чувствую, всего трясет. Отвернулся, снял от греха с себя винтовку и отдал ее своему напарнику, бойцу Сене Куликову: «Возьми, пожалуйста, опасаюсь: не стерпит сердце».

Перевез я тогда их и прямо пошел к своему командиру, инженеру-капитану. Докладываю по форме, так, мол, и так, прошу откомандировать меня в стрелковую часть. Тот мне: «Это что за новости, почему?» А я: «Потому — нет и не будет мне теперь покоя, покуда я с ними не поквитаюсь». А инженер-капитан говорит: «Не могу я тебя отпустить, ты тут нужен». А я долблю, как дятел: «Отпустите на передовые, сил моих нет». Он слушал, слушал. «Ладно,— говорит,— если уж тебе очень невтерпеж на передовой воевать, буду увольнять тебя в свободную смену в город. Фронт-то — вон он, полчаса ходу, постреляй — и к своей вахте назад».

Так я вот теперь и делаю: ночью отдежурю на переправе, а потом иду на курган к матросикам. Тут у них километрах в трех имеется славная позицийка. С ними вместе воюю вот этой вот винтовочкой, русской, трехлинейной, образца тысяча восемьсот девяносто первого. Хорошее оружие! Вот я вам говорил, что крови видеть не мог, дичь жалел бить, а сейчас вот уже сколько я с матросиками в окопах пересидел, сколько фашистов на мушку ни брал, ни разу рука не дрогнула.

Немало уже подшиб. А понимаешь, товарищ майор, душе нет покоя, все мне та женщина с ребенком в воде мерещится, и во сне ее вижу, и руки зудят — не могу... Не успокоюсь, должно быть, пока хоть один поганец фашистский по нашей земле-матушке ходит или пока меня самого пуля не найдет. Вот они, дела-то какие.

Сапер замолчал. Немолодой, коренастый, усатый, с глубокими морщинами на лице и на шее, типичный русский солдат. И лицо у него было в эту минуту суровое, торжественное и непреклонное, как у человека, который только что присягу принял.

Я спросил его имя.

— Фоминых Исидор Николаевич, боец отдельного понтонного батальона. А сами-то мы с Урала, оттуда, из тех краев, где дед Павел, то есть Бажов, сказки свои собирал...

1943

РЕДУТ ТАРАКУЛЯ

Мы долго шли по северной окраине Сталинграда, то и дело отвечая тихо возникавшим на нашем пути часовым заветным словечком пароля. Пробирались изрытыми задворками, поломанными садами, карабкались через кирпичные баррикады, пролезали сквозь закоптелые развалины домов, в которых для безопасности передвижения были пробиты в стенах ходы, подвернув полы шинелей, стремглав пробегали улицы и открытые места.

Наконец лейтенант Шохенко зашел под прикрытие стены, перекинул ремень автомата с плеча на плечо и, переведя дух, сказал:

— Вот и дошлы. Туточка. От-то у нас в дивизии хлопцы и клычут редут Таракуля.

Он показал бесформенную груду битого кирпича и балок, возвышавшуюся на месте, где когда-то, судя по ее очертаниям, стоял небольшой приземистый особняк прочной купеческой стройки.

Происходило это в глухой час беспокойной фронтовой ночи, в ту минуту перед рассветом, когда даже тут, в Сталинграде, наставала тишина и холодный осколок луны, вонзавшийся в темное небо, серебрил седые облака низко осевшего тумана и выступавшие из него пустые

коробки когда-то больших и красивых домов. Все кругом — и подрубленные снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, и чудом уцелевшая на углу кокетливая нарзанная будка, вкривь и вкось прошитая пулями, и камни руин — все солонисто сверкало, покрытое крупным седым инеем.

Мостовая была сплошь исковеркана и вспахана разрывами снарядов и мин. Россыпи стреляных гильз звенели под ногами то тут, то там. Просторные воронки авиабомб, заиндевевшие по краям, напоминали лунные кратеры. На ветвях израненного тополька чернели клочья чьей-то шинели. Все говорило о том, что место это совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки и центром ее был этот совершенно разрушенный дом.

— Редут Таракуля,— повторил лейтенант Шохенко, которому, видимо, очень нравилось звучное название, и, нагнувшись, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, пояснил: — А то амбразуры. Подывиться, який вэлыкий сэктор обстрила на обе улицы. От скриз них и держали воны наступ целого нимэцького батальона. Вдвоем — батальон. Вдво-о-о-ем!

В голосе лейтенанта, человека бывалого и, по-видимому, отнюдь не склонного к восторженности, слышалось настоящее восхищение, восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышанная мной в те дни в Сталинграде от разных людей, удивительная история, в которой, как солнце в капле воды, отразились величие и трагизм битвы.

Бойцы-пулеметчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин, оба переплывшие со своим пулеметным взводом Волгу уже полтора месяца назад и, стало быть, имевшие право считать себя здешними ветеранами, получили приказ организовать пулеметные точки в этом особнячке, на перекрестках двух окраинных улиц. Особняк несколько выдавался перед нашими позициями и мог послужить хорошим, прочным авангардным дотом. Центр боя в те дни перекинулся западнее, к Тракторному заводу. Удара здесь не ждали, и сооружение пулеметных точек было лишь одной из мер военной предосторожности.

Получив приказ, Начинкин, спокойный, неторопливый, как и все металлисты по профессии, и маленький, подвижной, постоянно что-нибудь насвистывавший, напевав-

ший, а то и приплясывавший при этом молдаванин Таракуль добрались до дома и обстоятельно его осмотрели. Им, давно оторванным от мирной жизни, позабывшим запах жилья, было радостно-грустно ходить по пустым, хорошо обставленным комнатам, слушая эхо своих шагов, рассматривая уже забывавшиеся предметы мирного быта, по которым в свободную минуту всегда так тоскуется на войне. И хотя дом этот, очутившийся на передовой, был обречен на пожар или разрушение, они почему-то аккуратно вытерли о половичок ноги, перед тем как войти в квартиру, и двигались осторожно, точно боясь запачкать полы, покрытые мохнатыми коврами пыли.

Для пулеметных гнезд облюбовали угловые комнаты: отсюда из окон можно было следить за всем, что происходило на скрещивающихся улицах, ведущих к неприятельским позициям. Одна из этих комнат была столовой. Они вытащили из нее обеденный стол, диван, стулья, осторожно отодвинули в сторону звенящий посудой тяжелый буфет и принялись разбирать печь, чтобы кирпичом ее заложить окна и сделать в них амбразуры. На пути к Сталинграду они немало уже повоевали. Организация пулеметных гнезд была для них делом не новым.

Силач Начинкин, работавший до войны токарем на Минском машиностроительном заводе, старался не очень следить на паркетных полах и потому ходил на цыпочках, выламывая и огромными охапками поднося кирпич. Его напарник, насвистывая песенку, ловко укладывал в окне кирпичи «елочкой», чтобы прочнее держались.

Бой гремел поодаль. Хрустальная люстра, отзываясь на каждый выстрел, мелодично звенела подвесками. Звенела от глухих выстрелов посуда в буфете, да дверь слегка открывалась и закрывалась, когда где-то бомбардировщики опорожняли свои кассеты. Но все это не беспокоило бойцов, как не беспокоит горожанина лязг и скрежет трамвая под его окном, а сельского жителя — мычанье коровы или верещанье кузнечиков в траве его усадьбы.

Они делали свое дело, лишь изредка, по военной привычке, высовываясь из окон и осматриваясь. Мало разрушенные улицы были пустынны, точно вымерли.

Первая амбразура была уже готова. Установив в ней пулемет и подтащив ящики с патронами, солдаты принялись за вторую, в соседней комнате. Но, притащив очередную охапку кирпича, Начинкин вдруг увидел, что Тара-

куль не работает, а прильнул к пулеметному прицелу и, весь напрягшись, смотрит через него на улицу. «Немцы!» — догадался Начинкин. Он осторожно положил кирпич на пол и выглянул из-за незаконченной кладки во втором окне.

Пятеро чужих солдат с автоматами, озираясь и прижимаясь к стене, крались вдоль улицы по направлению к особняку. Начинкин схватил было стоявшую в углу винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Не спугивай — разведка. За ними еще будут. Подпустим, а потом сразу...— шепотом сказал он и приник к пулемету.

Начинкин, стараясь ступать как можно неслышней и даже сдерживая участившееся дыхание, быстро установил свой пулемет в незаконченной амбразуре соседней комнаты и стопкой положил заряженные диски.

Наверное, в любой другой точке гигантского фронта, очутившись в такой обстановке, двое солдат, оторванных от своей части, немедленно отошли бы на свои позиции, тем более, что никто не приказывал им защищать этот дом. Но дело было в Сталинграде, в разгар великой битвы, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить. Они легли у пулеметов, подщелкнули диски и стали наблюдать.

Не дойдя до угла, немцы посовещались, осмотрели перекресток. Один из них тихонько свистнул и махнул рукой. На улице показались автоматчики — человек тридцать. Так же крадучись, они подошли к перекрестку и распластались вдоль стены. Со стороны дома они представляли удобную мишень. Пулеметчики слышали, как шуршит битая штукатурка под ногами неприятелей, как раздаются чужие, звучащие почему-то зловеще, слова непонятной речи. Вот немцы снова выслали вперед разведчиков, и те вперебежку бросились к дому.

Две короткие очереди распороли воздух. Потом еще две. Несколько немцев упало, остальные побежали, не понимая, откуда стреляют. Отбежав, они остановились и точно растаяли в развалинах.

— Есть! — победно крикнул Таракуль, сверкая желтыми белками горячих цыганских глаз.

В припадке радости он даже вскочил и отбил по паркету лихую чечетку. Начинкин только покачал головой и молча показал ему на остов большого каменного дома напротив, отлично видимый сквозь амбразуру. Не трудно

было различить в темных провалах окон осторожно суетившиеся фигуры. Вскоре, одновременно с двух улиц, к перекрестку мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням, к воронкам, скрываясь за телеграфными столбами, хлынули чужие солдаты. Они подходили к дому сразу с двух сторон.

Таракуль оторопел. Их было много и, что особенно ему показалось тогда жутким, они были не только перед ним, как он привык их видеть тут, в боях в городе. Они были с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать бойцу,— это бежать, бежать как можно скорее, бежать к своим. Пока еще не поздно, вырваться из этого суживающегося полукольца, спастись и спасти свое оружие. Но он увидел, что его напарник деловито переносит пулемет в соседнюю комнату, и понял, что тот хочет прикрыть фланг. Спокойный поступок товарища сразу привел его в себя.

Преодолевая этот охвативший его инстинктивный страх, Таракуль припал к пулеметному прицелу и стал короткими очередями стрелять по тем, что пытались перебегать дорогу. Те, что засели в развалинах напротив, открыли стрельбу. Но за кирпичной кладкой Таракуль чувствовал себя почти неуязвимым. И оттого, что пули, поднимая известковые облачка, отлетали, рикошетя со злым визгом, не принося ему вреда, страх его прошел и, как это бывает в острые моменты на фронте, сменился чувством уверенности, даже спокойствия. Когда немцы — много немцев там, на улицах,— побежали назад, перепрыгивая через убитых, обходя своих раненых, побежали, подгоняемые паникой, преследуемые огнем его пулемета, он испытал даже радость: ага, не нравится! Теперь Таракуль уже хладнокровно и расчетливо бил им вслед. И всякий раз, когда серая фигурка, точно споткнувшись, падала на землю, он выкрикивал:

— Есть! Гутен морген!

А в соседней комнате работал, именно работал, пулемет Начинкина. Бывший токарь, верный своему непоколебимому хладнокровию, умел даже в острое боевое дело вносить элемент расчета. Он стрелял экономно, очередями патрона по три, по пять и то только тогда, когда в прицеле мельтешило несколько фигурок. Он первым отбил атаку на улице, на которую была обращена его амбразу́ра. С винтовкой пришел он на помощь товарищу и, устроившись рядом с ним, так же тщательно прицели-

ваясь, начал стрелять по тем, кто сидел в доме напротив. Оттуда отвечали из автоматов. Пули клевали штукатурку. Комната наполнилась известковой пылью. Пулеметчики прилегли на пол. Потом стрельба стихла.

— Ну, действуй тут,— сказал Начинкин и пополз к своему пулемету.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль, в свою очередь, навестил приятеля. Теперь он осознал свою силу и от избытка этой силы, желая чем-то выразить радость, распиравшую его грудь, звонко хлопнул Начинкина по спине. Тот сердито отбросил его руку. Он свертывал цигарку, и Таракуль заметил, что человек этот, который еще недавно подбодрил его своей деловитостью, хладнокровием, сейчас бледен, и пальцы у него дрожат, табак сыплется на колени.

— Видал! Видал, как они!.. Как мы их!

— Чего ты радуешься, думаешь, отошли и все... Еще придут...— И вдруг спросил: — А ты женатый? Дети есть?

— Холостой,— отвечал Таракуль, не расслышав даже как следует вопроса.— Как они драпанули!

— А я женатый... четверо у меня ребятишек-то... Ну, чего здесь сидишь? Давай, давай к пулемету!

И они снова расползлись по комнатам, каждый к своей амбразуре.

Слова Начинкина сбылись. Действительно, бой только начинался. Через час неприятель предпринял еще одну вылазку, потом две короткие, напористые — одну за другой. Пулеметчики вылазки отбили. Они действовали все сноровистее, и мечта продержаться вдвоем до того, пока на завязавшуюся перестрелку подоспеют подкрепления, не покидала их. Позиция была удобная, с положением своим они освоились, если вообще человек может освоиться с таким положением. Все больше и больше серых фигур, похожих на брошенные кем-то узлы старой одежды, оставались лежать в нейтральной полосе, на пустынной мостовой, поросшей травкой, уже пожухлой от утренних морозов.

Убедившись, что атакой дом не взять, немцы подтянули минометы. Из сада, что был напротив, они стали бросать мины по дому. С десяток их разорвалось в верхнем этаже. Все там было разрушено, переворочено, расщеплено, перемешано с обломками штукатурки. Но когда снова бросились в атаку, опять заработали два пулемета, и

две смертоносные завесы преградили атакующим путь. Пулеметчики переждали обстрел в узенькой ванной комнате и, как только разрывы смолкли, через развалины подползли к своим амбразурам.

Трудно сказать, что думал о них неприятель. Померещилось ли ему, что они имеют дело с целым гарнизоном, или что наткнулись на замаскированный дот, или просто упорство его защитников сломило наступательный дух,— трудно сказать. Но они отказались от попыток прорваться к дому атакой. Подвезли три орудия и стали обстреливать дом прямой наводкой.

После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю в соседнюю комнату:

— Я жив, а ты?

И тот спокойно и брюзгливо, словно отмахиваясь от комара, отвечал:

— А мне что сделается!

Но после одного, особенно гулкого разрыва, встряхнувшего весь дом и наполнившего его душным облаком известковой пыли, Начинкин не ответил товарищу. Таракуль бросился к нему. Среди обломков мебели, штукатурки, кирпича, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулеметчик. Он пытался подняться, но не мог и все падал назад, широко раскрыв рот, точно давясь воздухом.

— Ранен,— сквозь зубы процедил он.

«Что же делать?» — пронеслось в мозгу Таракуля. Выходит, остался один. Бежать? А тот, раненный? А пулеметы? Да и как убежишь с этаким верзилой на плечах?! Мозг работал быстро, точно, как всегда в минуты надвинувшейся смертельной опасности. В следующее мгновение Таракуль уже волочил друга вниз, в подвал, куда они еще вначале снесли ящики с патронами, как выразился хозяйственный Начинкин, «на всякий случай». Сюда же перетащил Таракуль пулеметы, диски. Он установил пулеметы в том же порядке, как и наверху, высунув стволы в прямоугольники узких, продолговатых отдушин.

Сектор обстрела теперь стал меньше, но зато массивные своды старинного купеческого подвала надежнее прикрывали. Когда все было сделано, Таракуль почувствовал страшную усталость. Он лег на пол и некоторое время лежал неподвижно, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному камню.

В это время раздался нарастающий вой самолета, глухие взрывы, от которых все здание подпрыгнуло, и страшный треск над головой. Это рванула серия авиабомб. Немцы вызвали на помощь пикировщики, и взрывная волна обрушила дом. Груды кирпича, щебня завалили подполье, но массивные своды подвала выдержали.

Таракуль и его раненый товарищ остались живы, оглушенные, контуженные, погребенные под обломками, отрезанные от мира. Придя в себя, Таракуль осмотрелся и обошел подвал.

— Могила,— сказал он глухо, обращаясь к товарищу, который с закрытыми глазами лежал прислоненный спиной к стене.

Начинкин открыл глаза.

— Дот,— ответил он, посмотрел на одну амбразуру, на другую и добавил: — Да еще какой дот-то, только вот гарнизон маловат, полтора бойца.

При всей безвыходности положения, в котором они очутились, у них теперь было одно преимущество: они могли не опасаться нападения с тыла. Груда развалин надежно закрывала их от снарядов. Разве только прямое попадание авиабомбы грозило им. А кто из бывалых солдат боится прямого попадания!

Юрко Таракуля обуяла жажда деятельности. Он получше установил пулеметы в амбразурах, поставил под ним ящики, чтобы можно было сидеть. Ящик с патронами волоком подтащил к раненому товарищу, который вызвался заряжать диски. Сам же Таракуль, бегая от одной амбразуры к другой, следил за тем, что делается на улице.

Должно быть, сильно поразили они немцев своим упорством. Еще долго после того, как дом был разбит авиацией, не решались они к нему приблизиться. Когда же наконец снова поднялись в атаку, их встретил огонь все тех же пулеметов, упрямо бивших теперь откуда-то из-под развалин...

Стреляли Таракуль и его раненый товарищ. Но раненый, хотя и слыл в роте человеком железным, быстро слабел и, лишаясь сознания, бессильно оседал у амбразуры. Тогда Таракуль бегал от одного пулемета к другому и простреливал обе улицы, то одну, то другую. В сыром и холодном подвале ему было жарко. Он сбросил шинель, потом гимнастерку, потом рубашку и, по пояс голый, с черным от пороховой гари и пыли, изможденным

лицом, на котором по-негритянски сверкали глаза и зубы, с мокрыми свалявшимися кудрями, отстреливался бешено и самозабвенно, пока Начинкин приходил в себя и, держась за стену, поднимался к пулемету.

Два дня мерялись силами два советских бойца, похороненные под развалинами, и целое немецкое подразделение, снова и снова пытавшееся наступать на бесформенную груду кирпича и штукатурки, превращенную солдатской волей в крепостной бастион. Разрушенный дом костью в горле врезался в немецкую позицию. А может быть, обладание этими развалинами стало для противника делом престижа.

Все труднее и труднее было гарнизону дома. Уже больше суток прошло с тех пор, как по-братски разделен последний сухарь, отыскавшийся в вещевом мешке запасливого Начинкина, доели заплесневелые булки, найденные ранее в буфете и захваченные на всякий случай с собой в подвал. Не было воды. По ночам они слизывали языком иней, оседавшей на камнях подвала. Давно было докурена последняя щепотка табаку, вытряхнутая из уголков карманов. И, что всего хуже, на исходе были патроны.

— Вызовут танки, вот тогда плохо будет,— сказал Начинкин, когда они, вскрыв цинку с патронами, снова набили опустевшие диски.

Начинкин был совсем слаб. Тугая пружина дискового механизма все время выскальзывала из его рук.

— Что ж, пропадать — так с музыкой! — ответил Таракуль, сверкая своими желтыми белками.

Он тоже слабел от голода и недосыпания, но еще держался и только иногда, чтобы сэкономить энергию, на целые часы замирал, точно каменел, у амбразур так, что в эти минуты казалось: живут у него только глаза и уши.

— У тебя в голове все музыка. Не с музыкой, а с толком. Что без толку-то шуметь, кому она нужна, такая музыка! Жизнь-то человеку, чай, одна отпущена!

Начинкин не переставал трудиться над зарядкой дисков. Иногда, в горячую минуту, он даже ухитрялся с помощью друга подниматься к пулемету, садиться на ящик в нужную минуту и стрелять. Но мысль о смерти все чаще приходила ему на ум. И ему хотелось сказать товарищу, этому молодому молдавскому виноградарю, с которым судьба свела его, что-то большое, значительное,

мудрое, что созревало в такие минуты в его душе и что никак, ну никак не хотело складываться в слова.

— Человек не должен умереть, пока он не сделал все, понимаешь? Все, что мог... Как есть все,— сказал он наконец, мучаясь нехваткой слов и опасаясь, что друг не поймет его.

Он заставил Юрко затвердить адрес его семьи и фамилию доброго знакомого, директора того завода, на котором он работал перед войной. Он взял с него слово, что, ежели тот вернется с войны, обязательно разыщет его семью и расскажет жене об этих вот часах, что найдет он и директора и поведает ему о том, как погиб в Сталинграде минский токарь.

С этим директором у Начинкина были какие-то сложные отношения. Они были когда-то чуть ли не друзьями, но в первые дни войны, когда завод эвакуировался на восток, токарь отказался ехать с заводом. Он заявил, что останется и будет защищать город. Вот тут-то директор и сказал ему что-то такое обидное, чего Начинкин никак не мог ни забыть, ни простить. Повесть очевидца о том, как сражался солдат Начинкин, должна была посрамить директора и опровергнуть его обидные слова.

Но — как истые бойцы — о смерти они между собой не говорили, даже слова этого избегали, и все больше гадали о том, когда и откуда ждать им выручки.

А в выручку они верили, несмотря ни на что.

И действительно, теперь, когда из-за нехватки патронов слабели во время атак голоса их пулеметов, сзади дружно бухали минометы, и черный густой забор частых разрывов вырастал перед домом, как бы преграждая врагу путь к нему.

Голодные, изнывающие от жажды, измотанные бессонницей, они слушали этот близкий и грубый гром, как голос друзей, обещавший поддержку. Он, этот грохот, точно связывал их со своими, от которых их отделяла гора навалившегося щебня и десятки метров смертоносного пространства ничейной земли.

На третью ночь под самое утро случилось диковинное. Таракулю, дремавшему с открытыми глазами у амбразуры, послышался вдруг странный человеческий голос. Подумав, что бредит, он приложил лоб к холодному, заиндевевшему камню, слизнул иней, отдававший плесенью. Нет, это не обман слуха: голос действительно звучал.

Юрко взглянул на товарища. Начинкин спал, держа в одной руке диск, в другой — горстку патронов.

Нет, говорят, действительно говорят... Картонный, какой-то нечеловеческий голос упрямо долдонил знакомые русские и вместе с тем малопонятные, чужие слова: что-то о хлебе, мясе, масле. Таракулю стало страшно. Он растолкал спящего товарища. Начинкин прислушался. Тень улыбки коснулась его почерневших, запавших губ.

— Фрицы! Это они нам с тобой кричат, нас агитируют.

— Стафайтесь... Фам путет карошо опрощенье... фам путет отшень карошо кушайт! — выкрикивал картонный голос из предрассветной тьмы.

— Куском хлеба купить хотят. И где? В этом городе... Дубье! — тихо сказал Начинкин.— Гляди, что фашизм с человеком сделал. Выше своего брюха уже и подняться не могут. А ведь разумными людьми были, вон дизель они изобрели.

Когда отхлынул страх непонятного, Таракуль почувствовал прилив неудержимого бешенства. Он прилег к пулемету и пустил на голос длиннейшую очередь. Он стрелял, пока не выскочил на каменный пол и не прозвенел в наступившей тишине последний патрон.

Вспоминая потом о днях этого невиданного поединка, Юрко Таракуль никак не мог точно сказать, сколько времени они обороняли дом. О последнем дне он вообще ничего не мог вспомнить, кроме того, что стреляли из обоих пулеметов на шум и на шорох, ни видя перед собой ничего, кроме перекрещивающихся улиц, не думая ни о чем, кроме того, что нужно во что бы то ни стало удержаться. Только эта мысль отчетливо и жила в его затуманенном сознании.

Они держались до тех пор, пока где-то вдали не услышали сквозь частую стрельбу «ура», которое приближалось и нарастало, пока по обломкам тротуара не застучали тяжелые шаги наступавшей пехоты и в амбразурах отдушин не замелькали неуклюжие милые кирзовые сапоги.

Тогда он бросил пулемет, стал трясти совсем ослабевшего друга, и кричал только одно слово:

— Наши, наши!

Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу, отжал немцев, очистил перекресток и смежную улицу. Бойцы из взвода лейтенанта Шохенко подбежали к разрушенному дому. Из амбразур

до них донеслись слабые голоса. Пришлось вызвать саперов, долго разгребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь Начинкина и Таракуля. Кто-то, кажется саперный начальник, руководивший этими раскопками, шутя назвал развалины особняка «редутом Таракуля». С легкой руки название это так и прижилось, было перенесено на военный план.

...И вот наконец собственными глазами удалось мне осмотреть это необыкновенное место. Мы засветили фонарики и сквозь пробитую саперами брешь спустились в подвал. Синеватый свет луны сверкающими косыми брусками просачивался в амбразуры и белыми пятнами расплывался по полу среди густой россыпи стреляных, уже позеленевших гильз. В углу валялись окровавленные бинты. Тут, должно быть, лежал Михаил Начинкин. Сквозь амбразуры отчетливо виднелись на аспидно-черном фоне неба посеребренные инеем обломки стен, напоминавшие театральные декорации. Над ними остро и холодно сверкали звезды. Тяжело покачивалось над землей зарево пожара.

Когда глаз привык к полутьме подвала, стала различима надпись, сделанная на серой, покрытой крупитчатым инеем стене. Лейтенант осветил ее фонариком. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть».

— Це наш комиссар написав,— сказал лейтенант; он прочел вслух: — «Выстояв, они победили смерть».

— Страшно им, наверное, было в такую вот ночь вдвоем перед лицом врага.

— Страшно? Не тэ слово. Такэ слово тут мы забулы... От одиноко — да,— сказал Шохенко,— одиноко — то погано, дужэ погано на вийни. А що до страху, такого слова в циим мисти нэмае.

И мне захотелось для тех, кто много поколений спустя будет изучать эпопею обороны города, где было позабыто слово «страх», как можно подробнее записать историю этого обычного сталинградского дома, записать такой, какой слышал ее от лейтенанта Шохенко, от Таракуля, от Михаила Начинкина, которого я разыскал за рекой в палатке медсанбата, и от их боевых друзей.

1943

БРАТЬЯ ВОЛКОВЫ

После целого дня безуспешных поисков я нашел их наконец под вечер в полотняной палатке одного из медсанбатов. Капитан медицинской службы, пожилой человек с длинным лицом землистого цвета, с сизыми, шелушащимися руками, изъеденными бесконечными дезинфекциями, человек, настолько уставший, что, казалось, ничто уже на свете не может его взволновать,— поражался.

— Нет, вы удивитесь, ведь совсем, ну совсем мальчуганы! Мы в их годы пескарей ловили, варенье у матери таскали... И такая силища воли!.. Как медик я-то знаю, что это значит. Какое тут нужно самообладание!.. Черт знает!

Он распахнул жесткую, намокшую полость, и в полумгле прозрачной от дождя палатки мы увидели ряды пустых, помятых походных коек, а в углу — группу военных, в центре которой сидели два худеньких подростка: один — чернявый, остролицый, с большими черными, глубоко запавшими глазами, другой — веснушчатый, с льняными волосенками, с конопатым лицом и задорным носом-пуговкой.

Чернявый, должно быть, рассказывал что-то и замолк, когда мы вошли, а конопатый держал в левой руке трофейную губную гармошку и пытался выдуть из нее какой-то мотивчик. Правые руки у обоих были забинтованы по самый локоть и висели на коричневых связанных на шее платках.

— Ну, как, товарищи Волковы, дела?— спросил врач.

— Лучше всех,— бойко ответил конопатый и пискнул в гармошку.

— Ничего, товарищ доктор. Теперь вот, как смазали, не так дергает, только горит очень,— деловито отозвался чернявый, испытующе поглядывая на нас.

— Вот тут рассказывают нам, как им под немцем жилось,— пояснил кто-то из раненых.

— Крепкие. Мучаются очень, а виду не подают,— добавил другой.

— Охо-хо, до чего фашист людей доводит, ведь это ж подумать только! — сказал третий, ковыляя к себе на койку.

И, сидя на краешке походной кровати, под аккомпане-

мент далекой канонады, доносившейся из-под Орла, и гулкий, успокаивающий шелест дождя о натянутое полотнище госпитальной палатки, «товарищи Волковы» повторили уже для нас свою историю. Она прочно запала мне в память, эта история двух обыкновенных советских мальчуганов. До сих пор в ушах звучат их такие разные детские голоса, и я постараюсь воспроизвести их рассказ как можно точнее —таким, каким я его услышал тогда, в дни победного завершения битвы на Курской дуге.

— Мы из Орла,— начал младший, конопатенький, которого звали Сережа.

— Мы коренные орловские,— перебил его старший, Владимир, решительно отбирая у него нить беседы.— Железнодорожники мы. И отец, и отцов отец, и отцов дед—все у нас машинистами работали в депо Орел-второй. А жили мы в поселке возле самой станции. Может, бывали в Орле? Так на улице Спартака. Домик у нас там был. Еще дед строил... Когда фриц-то в Орел ввалился, папа в рейсе был, а мама болела, она у нас хворая была, часто болела. Мы с Серегой, вот с этим самым почтенным, хотели было унести ее на руках и спрятать. Я-то ничего, поднял бы, а у него, у Сережки почтенного, заслабило, силенки не хватило,— словом, не унесли, только растревожили. Очень ей худо стало. Говорит: «Оставьте меня в родном доме, а сами уходите, отца там отыщите»... Но больную мать как бросишь? Ведь не бросишь, верно? Вот мы и остались: мать, сестра старшая Нюша, да я, да он вот, Серега почтенный, да сестренка Женечка. Та совсем маленькая была... Остались и сначала вроде ничего, фрицу-то не до нас было, он наступал, бои тут, то, другое. Он нас не трогал.

— Да-а-а «не трогал»! А корову сразу увели, забыл? — вмешивается в разговор «почтенный» Сережа.

— Ну, это, конечно. Сначала корову, потом боровка тоже, а потом уж и курей половили, это уж как у них положено: «матка, курка, матка, яйка»... но на это наплюнуть. На то он и оккупант, фриц-то. Но когда фронт от города отошел и пожаловали к нам эти эсэсманы, ну, что в черных тужурках с орлами, вот тогда и началось... И обыски, и облавы! Людей на улицах, как беспризорных собак, ловили. Даю слово. Едет ихняя машина, видит: идет человек — стоп! Схватят в машину, да и увезут. Говорили, все в тыл возят, окопы там, что ли, строить. А хороши «окопы»! Потом, когда ихние солдаты

стали на базаре одежду да барахло разное на сало да на мед менять, все и открылось, какие это «окопы». Увидели на вещах кровь, кое-кто и одежу признал... Ведь что тогда делали-то! Хочет гражданка какая узнать, куда там муж или сын делся, идет на рынок и смотрит. Хвать — знакомую одежду продают, ну, значит, конец, нет человека.

— Тысяч десять, говорят, порасстреляли,— вздыхает Сережа.

Но брат с досадой перебивает его:

— Ну, зачем болтать? Десять тысяч! Ты их считал? Сколько расстреляли, точно мы не знаем. Но только уйму порасстреляли, а иных на работы какие-то увезли. Потом стали и из домов брать. Эсэсманы говорят, что коммунистов и партизан арестовывают. А какие там коммунисты! Вон у нас, на улице Спартака, все семейство Горохов увезли, Гороховых то есть. А какие Горохи коммунисты? Увезли, потому что сам-то старый Горох вместе с депо эвакуировался и паровоз у них из-под носа увел, ну, фрицам кто-то и сказал. Были у нас такие продажные шкуры, своих выдавали! Потом вроде попритихло, не во всем городе, а у нас в слободке. Но кто-то ночью сжег у них автоцистерну с бензином, и опять пошло-поехало. Ту улицу, где цистерна сгорела, всю, как есть, дочиста, до последней сараюшки спалили. Из домов рубахи сменной вынести никому не дали.

А в городе-то начался голод. Все, что было у людей, съели, а фриц ничего не дает. Кормись, как хошь. На рынок никто не едет. Какой дурак поедет, когда фриц все, что получше, даром берет! Они все посылки, сало да масло, домой посылали!.. И стала голодная болезнь людей косить, особливо по окраинам, по рабочим слободкам. Целыми семьями. А хоронить некому, кому дело до чужих покойников, когда и живые-то еле ноги таскают! Вот и лежали покойники в домах, кого где смерть застала. Идешь по улице, видишь, к дому тропку снегом замело, окна замерзли, стало быть, конец, все померли.

У нас через улицу жена сцепщика Васильева жила с двумя малышами. Он-то известный был человек, может, слыхали: Евгений Васильевич. Трудовое Знамя имел. Так вот в середине зимы они померли да так до весны и лежали у себя в доме на кроватях. Ну, конечно, когда весна,— потеплело в домах-то, оттуда и понесло — сил нет. Болезни пошли. Их солдаты тоже не каменные, их

тоже прихватывать стало. Видит фриц, плохое дело, ничего не попишешь, взялся за похороны.

— Уж и взялся!.. Станет он тебе руки пачкать! Они пленных наших откуда-то пригнали и заставили их по домам мертвых собирать. А то — «фриц взялся»,— солидно поправляет Сережа.— Он сам этой голодной болезни боялся.

— Это правильно, у них порядок такой: как что потяжелее да поопаснее, так сейчас русских пленных под конвоем ведут. Они, говорят, дорогу на Брянск так разминировали: впереди гонят пленных, а сзади грузовик с песком идет. Пленного-то им не жалко, а грузовик жалко.

— Свое-то они жалели.. Один ночевал у нас — мундштук потерял, так уж он искал, искал — все перерыл. А мы потом нашли мундштук-то его — дрянь, деревянный...— вставляет Сережа.

— Эту зиму мы кое-как перебедовали, живы остались. Весна пришла — легче. Огород-то не засадили, где возьмешь семена, да и кому охота на фрицев садить — все равно слопают, но весной травка пошла: кислица, лебеда, жагала — словом, жить можно. Но тут еще напасть — приходит к нам квартальный и приносит Нюше нашей повестку: явиться с бельем и вещами на вербовочный пункт. До этого многих из города в Германию угоняли. Мимо нас на вокзал-то водили. Под конвоем. Идут, бывало, и плачут, кричат: «Прощай, Орел!» А раз провезли ребят и девушек связанными, целый грузовик, навалом. Их трясет, а они Гитлера ругают. «Все равно, кричат, сбежим...» Мама говорила потом, что так, связанными, в вагон и побросали, будто дрова.

Ну, это все мимо ходило, а тут дошла беда и до нас: Нюшке повестка. Мама и Нюша весь день ревели. Сидят в обнимку и плачут! А ночью мать нас уложила и, вижу я, собирает узелок, потом прекрестила Нюшу в дорогу,— отсталая она у нас была, мама, в бога верила, а что бог? Много он ей помог? Так вот, перекрестила и говорит: «Беги, дочка, может, спасешься. А судьба помереть — лучше от пули, чем в неволе!» И Нюша ушла.

Мы с Серегой даже удивились. Прямо она нас с ним обрадовала. Ведь тихоня была растихоня, все возле мамы да возле мамы. Громко говорить боялась, а тут на — убежала! Наутро заходит соседка, молчит, а заплаканная. Мама к ней: «Ай знаешь что? Говори, говори, не томи». Та финтила, финтила и бряк: «Нюшку вашу патруль

схватил, видели люди, как в комендатуру ее вели». Мама туда, мама сюда, в комендатуру побежала, серьги свои кому-то сунула, но разве чего узнаешь! Нихферштею, и все. А через несколько дней является квартальный: «Давай десять марок на похороны».— «На какие похороны?» — «Да вот,— говорит,—ваша дочка с жизнью покончила». Может, он соврал из-за этих десяти марок, а только больше Нюши нашей мы не видели. А хорошая была, в маму, тихая, и все, бывало, что-нибудь да делает.

Голос у Володи сорвался, зазвенел, подбородок съежился, нижняя губа задрожала, он быстро прикусил ее и отвернулся. Наступило молчание, подчеркнутое шелестом усилившегося дождя, звучно падавшего на мокрое полотно палатки.

— Эх, только б до них добраться!— сказал раненый с забинтованной головой.— Ведь это подумать только, ребята, сколько под ними теперь земли! Вся Европа!

— Европа... Черт с ней, с Европой, сама Гитлеру голову в рот сунула, вот теперь и казнись!.. Наших сколько под ним — вот что! Их бы в пору выручить,— сказал другой, с ногой, зажатой в лубок.— А Европа, пусть ее сама о себе думает!

— Ну, не скажи,— отозвался первый,— архивные у тебя, друг, понятия. Своя рубашка ближе к телу? А кто ж их из-под Гитлера выручит-то, как не мы, где же еще такая сила найдется? Англичане с американцами, что ли? Как же, держи карман шире! Эти все больше насчет купить-продать. Вон они как воюют!..

— Да будет вам, опять за свое. Дайте послушать. Давай, давай, парень, продолжай.

— Да что продолжать-то? — сказал Володя.— И верно, разве мало от фрица народу погибло! Ну, ладно, так вот в конце зимы заболела мама с Женечкой — обе вместе заболели, трясет их обеих, а лечить нечем. Да и что там лечить: по правде сказать, и кормить нечем. Лежат обе рядом, мечет их, и бормочут невесть что: мама все Нюшу кличет, а Женечка — та кричит: «Неец, неец»,— так она фрицев звала. Ну, мы с Серегой туда-сюда, ходили на базар, думали из отцовой одежонки что продать, да не берут. Пошли по куски. Ну и собирали кое-что, кормили их. А им все хуже.

Тут квартальный, немцами назначенный, узнал, что в доме больные и говорит мне: «Есть,— говорит,— приказ больных регистрировать. Сходите,— говорит,— в район-

ную комендатуру, пришлют врача. У них это дело быстрое». Я бы ни за что не пошел, будто сердце у меня чуяло. А Серега, этот вот почтенный, ходит за мной и скулит, и скулит: «Сходи да сходи, помрет мама без врача». Ну и выскулил, донял меня. Пошел я. И верно, приняли меня там, адресок записали. Иду, дивлюсь: неужели помогут? И врач приехал, немецкий, военный. Привезли его на мотоцикле. На машине красный крест, все чин чином. Осмотрел. Сыпной тиф. Качает головой — шлехт. Дал какие-то капли, пусть примут на ночь. И сам с виду добрый, в очках. У нас учитель такой в ФЗО был, его Колобок звали, толстый, румяный, ну, как и этот, только очков не носил. Я еще подумал: значит, и среди фрицев ничего попадаются.

Вечером дал я маме и Женечке эти самые его капли, своей рукой накапал, своей рукой поднес... Ох, дурак! Никогда я себе этого не прощу! Сначала, верно, смотрим с Серегой: мать с Женечкой от этих капель утихли, потом заснули. Вот, думаю, и хорошо. Может, поправятся. А утром проснулся — обе холодные. Отравил их, выходит, этот «доктор», моей рукой отравил. Вы, может, думаете, случайно померли, лишнее накапал или что? Нет, эти эсэсманы, должно быть, уже знали, что они помрут. Знали. Утром еле рассвело, уж от них без всякого зова крытый грузовик приехал, мертвых забрали. Потом какие-то в масках вошли, стали чем-то вонючим стены поливать... Вот оно, лекарство-то у них какое!

Володя смолкает, ему тяжело дышать, он весь напрягся, лицо его горит. Настает тишина, особенно полная оттого, что дождь уже перестал. Только редкие и тяжелые капли, стекая с полотна, звучно плюхают по мокрой земле, да слышно, как обожженный танкист скрипит зубами.

— Ух, мне бы только добраться до этой самой Германии, я бы там все как есть расшуровал, камня б на камне не оставил! Кого б ни встретил, всех р-р-р из автомата. Получай без сдачи! — говорит солдат с забинтованной головой.

— Будет звонить — «р-р-р»,— оборвал его тот, что недавно защищал Европу.— Никого бы ты не «р-р-р!» Нам фашизм разбить, Гитлера, этого самого, вот. А то «р-р-р»! С бабами, с детьми вот с такими мы не воюем...

— А кто мне запретит? Кто? Ты, что ли?.. Слыхал, как они наших лечат? А мы их не можем, да? Это почему же так?

— А потому, что он — кто? Фашист. А ты кто? Советской земли солдат. Советский!.. Понимать и помнить это надо.

— Ладно, кончай дискуссию. Ты говори, малец, говори, как дальше-то.

— А дальше так. Ревели мы с ним, с этим почтенным Серегой, ревели, а как стемнело, от вони от всей этой выбрались из дома в траншею, хорошая у нас была траншея, шпальником крытая, прочная, еще батя ее строил. Ну, в этой норе все лето и прожили. Ходили, куски собирали. Немцы-то, они, верно вот дяденька говорит, тоже разные бывают. Солдаты, особливо которые постарее, те лучше, жалели, ну, иной раз и подавали. Так и жили. Ну, а дальше что рассказывать, сами знаете, на фронте бои начались. Мы-то о них узнали вот почему. Вдруг стал фриц вагоны грузить на Брянском вокзале. И чего только в них не пихают: и мешки, и кульки, и мебель разную, и барахло. А наши самолеты по вокзалу как дадут, как дадут! Так угощали, что будь здоров. И фриц не тот стал. Пугливый. Ну, думаем, не иначе — наши идут. Повеселели мы. Дождались!

А тут хвать — напасть: стал фриц опять народ в Германию забирать. Летось-то угонял по выбору, кто помоложе да покрепче, а теперь без разбору, кто попадал, и таких вот шурупчиков, как Серега почтенный, и стариков старых — песок сыплется. Что только было! Пошли облавы, да какие! Ведь с собаками за людьми гонялись, слово даю! Оцепят солдатами улицу — и прочес: кого поймают, сейчас под конвой, на вокзал, в вагоны. Чтобы дать с родными проститься,— где там! Слово сказать не давали! Так, с ходу, и увозили людей, кто в чем был.

Мы с Серегой в яму свою засели, так целые дни из нее и не вылезали, разве за нуждой. Яма-то крапивой заросла, лопухом. Ну, думаем, черта с два ты нас здесь найдешь! А завтра ауфидерзейн—и уцелели братья Волковы. А ведь нашли! Должно быть, этот колченогий наш квартальный опять на след навел. Вот кого задавить-то надо, как только Орел возьмете! Верно. Утром мы еще спим в своей яме, а в нее фриц лезет. Толкает нас прикладом: ком, ком. Вот тебе и ауфидерзейн! Ну, пошли, что будешь делать! Притащил он нас в лагерь за проволоку. Человек пятьсот уж эшелона ждут. Обежали мы с Сергеем кругом вдоль проволоки — частая, в два ряда. Шагов через сто вышка с часовым, у часового пулемет.

Вот и убеги тут! Чуть к проволоке подойдешь — та-та-та, и готово. Вот мы с Серегой и завыли, и провыли мы с ним весь день. А что делать? Ну что?

Утром по лагерю слух: несколько девчат самоубились. Жилы бритвой себе порезали — кровью истекли. Народ пуще стал волноваться, дети ревут, мужики ругаются. Я было подумал: «Может быть, верно: этак вот бритвой чик, и все». А потом думаю: «Шалишь, фриц, наши-то, видать, совсем близко, может, удрать удастся!» И все думаю: «Как, как?» Тут вот у братишки моего, у Сереги распрекрасного, и мелькнуло... Костры нам днем разрешили палить: воду кипятить на чай. Мы тут к одним присоединились, у них кое-чего и поесть было, щепок им насбирали. Серега разводил, разводил костер да руку себе и обжег. Бежит ко мне, а я поодаль сидел, и говорит: инвалид я, немцам теперь не нужен. А ожог — сущий пустяк. Обругал я его и вдруг думаю: «А верно, если руку сжечь?»

Ладно! Мне это дело понравилось. Только, думаю, надо скорее, пока эшелон не подошел. Попросил я девчат вокруг костра сбиться потеснее, нас загородить да песню запеть, чтоб, если заору, фриц не услышал. И сунул руку в самые угли. Сунул — и сейчас же назад. Чуть не заорал. Ух, больно! Поглядел: только кожу и опалил. Думаю: «Неужели духу не хватит, неужели заслабит?» И вспомнил я тут все: и Нюшу, и фрицевы капли, и маму с Женечкой. И после всего этого к фрицу ехать! А это они видали? Ни в жисть. И опять руку в костер сунул — и держу, реву и держу. Паленым пахнуло — держу, а сам думаю: «Не поеду, не поеду, не поеду к вам, нате выкусите!» И держал, пока в глазах не позеленело. Вот, а этот Серега почтенный, тот, конечно, сдрейфил.

— Ничего я не сдрейфил,—налившись краской, говорил Сережа.

— Не сдрейфил, рассказывай! Даже «мама» закричал потом. Как заплачет: «Не могу,— говорит,— боюсь! Ты,— говорит,— меня силком, силком. Рот зажми, чтоб я не орал, и силком!» ...А как его силком, если у меня теперь одна рука? Говорю девчатам: «Пой давай веселей!» Те поют во все горло, а у самих слезы, слезы. Ну, навалился я на Серегу, рот ему зажал, руку его в костер, и подержал...

Так вот и стали мы, братья Волковы, инвалидами.

Перед погрузкой поглядели на нас какие-то их не то офицеры, не то полицаи, из эсэсманов тоже. Залопотали чего-то: «Хенд, хенд», потом дали нам по затылку: дескать, ступайте куда хотите, на кой вы нам — инвалиды. А мы только того и ждали. Ауфидерзейн!

Ну, и пошли мы как раз на этот пушечный гром. Слыхать его уже стало. Идем, и руки нам вроде пропуска. Нам немец «хальт», а мы ему руку в нос. Гутен морген, дескать, калеки, по миру идем, эсен себе собираем... Так ночью до вас и дошли. Вот и все наше дело. Которым не верится, могут руки наши посмотреть. Только вот забинтовали их нам. Не свернет ли кто, товарищи, покурить?..

Володя смолкает, прижимает обожженную руку к груди и раскачивает ее бережно, как хворого ребенка.

Оба брата по-взрослому жадно затягиваются свернутыми для них цигарками. Сизый дым пластами стелется в полутьме палатки.

Наступает молчание...

— В детстве учил я древнюю историю. Про Муция Сцеволу там было. Как сейчас помню: «Гай Муций был богат и знатен, природа щедро наградила его...» Руку он в жертвенник сунул, волю свою испытывал. И мы, гимназеры, бывало, поражались: вот это человек! А вот сейчас подумаешь: ну, что тот Сцевола — позер, мелочь по сравнению с этими вот братьями Волковыми,— говорит военврач, зябко потирая свои сизые, шелушащиеся руки.

И опять тихо.

Потрескивает табак в цигарках. Где-то далеко, как гром отдаленной грозы, перекатываются отзвуки канонады. Обожженный танкист мечется на носилках и бредит:

— По фашистской сволочи!.. Башенный, проворней! Давай осколочные!.. По фашистской сволочи!.. Не уйдешь, врешь, не уйдешь!..

1943

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

На вид этой девушке можно было дать лет девятнадцать. Тоненькая, легкая, смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза большие, ясные, опушен-

ные длинными ресницами, смотрели так удивленно, как будто спрашивали: нет в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это только кажется.

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были забраны густые темно-каштановые волосы, несколько портила ее светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

На ней было легкое цветастое платье, тонкая золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая головка.

Должно быть, поняв, что уж очень выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, темных от походного загара, она набросила на плечи чью-то шинель и, несмотря на жару душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке.

Ее глаза жадно следили за жизнью обычной, ничем не примечательной штабной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они на промасленных, ржавых комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в моторе опрокинутого вездехода, и на военном почтаре, что прошел мимо нее с тем торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, туго перетянутом походными ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный какой-то своей мыслью; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хатой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу, не могу наглядеться. Нет, вам этого чувства не понять! Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в чужой мир! — сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безымен-

ная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию своевременно разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на молодую, стройную, гибкую березку, из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости — этих необходимых качеств, присущих человеку ее военной профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало успех, сопутствовавший Березе при выполнении самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, научилась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она заканчивала университет. Увлеклась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина — работу полемическую, интересную, даже обратившую на себя внимание в научных кругах.

Вопреки воле родителей она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Решила ехать на фронт. Но окончить курсы не удалось: враг подошел к городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике.

Был дан приказ об эвакуации. Родители готовились к отъезду и настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается,— убеждал ее отец.— Помогать раненым может каждая девушка, а на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают

немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка понимала: отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дворца Советов, заложенный в Москве, переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Ну да! Она знает языки, наверное, может принести Родине на войне бо́льшую пользу, чем в медсанбате или на эвакопункте. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, досмерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, может быть, впервые проявился характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь соответственное военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — удивился секретарь райкома, с трудом отрываясь от горьких эвакуационных забот. Внимательно просмотрел ее документы. Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее: — Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигурку, лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона и назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— сказал он кому-то.— Да, немецкий, отлично... Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замеча-

тельные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю... Предупреждал и предупрежу еще.— Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием посмотрел ей прямо в глаза: — Будь по-вашему, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы... Но вы, может быть, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в родном городе, оккупированном немцами. В немецкую комендатуру донесли, что родители ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной оставленной в городе для подпольной работы, но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое неприятное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза по заданию подпольного комитета должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то чуждых ей идей с комфортом, бросить все и тащиться в неизвестность куда-то на восток. В квартире профессора, обставленной старинной мебелью, поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гете. Полковник ввел ее в круг своих друзей, крупных штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил со своим начальником-генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то древних украинских магнатов, она выгодно отличалась от крикливых, жирных и вздорных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапож-

ным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась самою собой — советской девушкой, гражданкой своего плененного, но не покорившегося города, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— ...Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, нет, не расстрелять,— повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, как мог, успокаивал ее. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она увидела и услышала. Пили чай из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую солдатскую песенку о разудалой Лили Марлен, сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить ей любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о боевой деятельности, о налетах на вражеские транспорты, поджогах складов, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные из тех, кто остался вместе с ней. Но в эти дни в городе обосновался штаб большой группы войск, ее сведения были нужнее, чем когда бы то ни было, и «сапожник» строго и твердо направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь в седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, обещали богатые поместья, и она будет его женой, хо-хо, женой немецкого помещика. И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле... Пьяный фашист оскорбил ее народ, и девушка не выдержала. Воля изменила ей. Она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло новоиспеченного генерала...

Вся городская военная полиция, вся полевая жандармерия и специально вызванное подразделение из войск СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для Родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта — последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одесщине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни бат-

раков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал своим детям образование. Потом за свои симпатии к новой Германии он был арестован. Человек прямой, он не умел и не хотел эти симпатии скрывать. Его расстреляли. Такова была ее новая легенда.

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старинные баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным штабным офицерам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда иной раз обнаруживалась пропажа важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрений не ложилась на Эрну Вейнер...

Но какой ценой девушка вырывала для Родины эти фашистские тайны! Она присутствовала на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к Родине, любовь — всеобъемлющая, безмерная, давала ей силы для этой работы. Но лишь связной, суровый воин, безвыходно сидевший со своей рацией в подвале разрушенного дома, человек, разбитый ревматизмом, которому она приносила свои сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот, как мог, утешал ее неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его терпеливое мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказывала сама, сидя на завалинке в погожий августовский вечер.

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска генерала Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные редкости, мебель — все, что награбили и натащили к себе. Все это посылалось в Германию на глазах у собственных солдат. А слухи! Это был уже не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого... Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин. Невиданные модели!.. Какое-то чудовищное вооружение. Офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно видеть, какой в трудную минуту оказалась малодушной, трусливой, мелкой эта штабная челядь с высокими званиями. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом: «Господин генерал, неужели так плохо?.. Этот генерал Конев, он, говорят, страшно жесток. Ведь они меня убьют!..» Я видела, как мой начальник бледнел. Но он еще петушился: «Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия...» Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею уехать в его автомобиле и не попаду в руки страшного генерала Конева...

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к начальнику в кабинет. Он взволнован, сияет, будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, державшие оккупантов в постоянном страхе и напряжении, в те дни особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из их руководителей. Мой начальник возбужденно носился из угла в угол. В кабинете тем временем шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

«Приехал какой-нибудь господин из группы войск?» — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

«А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф.— Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты».

Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем в комнату... внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он сам тоже летчик и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, одна из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке с тремя орденами Красного Знамени и еще какими-то знаками отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите, минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены. Она тяжело дышала, кусала губы, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Не обращайте внимания. Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

«Фрейлейн, переводите, пожалуйста, коллеге, что кодекс воинской чести у нас неукоснительно соблюдается, что безоружный противник — для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества высоко ценятся, переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э, нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина».

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения,

гадливости, что слезы обиды, против воли, чуть не выступили у меня на глазах.

«Ничего я ему не скажу. Впрочем... пусть даст папиросу». Летчик приподнялся на локте, взял сигарету и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь...

— Пусть меня унесут,— ответил летчик и отвернулся.

И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда... я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался, он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел начальник. Меня отпустили и отвезли домой.

В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчик, его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел за рулем.

— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда с Дальнего Востока. Фрейлейн, вы, именно вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите из него, что сумеете. В случае удачи, слово чести, вы заслужите Железный крест.

Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из ставки прилетел какой-то их авиационный генерал, которому эти сведения нужны до зарезу. У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было даже полезно для дела. Можно было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, привыкшей все время жить под угрозой смерти, было страшно,

именно страшно, войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я села на табурет возле его койки.

— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

— У них ничего не вышло, теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку,— недобро усмехнулся он.

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но продолжал так же твердо и жестоко:

— Чего же краснеешь, продажные шкуры не должны краснеть!.. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!

И он захохотал. Нет, не нервно, у него, должно быть, вовсе не было нервов, он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу.

И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:

— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях, прибывших с Дальнего Востока. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так,— сказал он и еще раз повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и

изучающе.— Та-ак, бывает...— Он усмехнулся, но усмехнулся уже не так зло и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спросил тихо:

— Так вы...

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы выбивали дробь, и я боялась, что лишусь сознания.

— Ну, успокойся,— сказал он, переходя на «ты».— И говори честно: мне конец?

— Если ничего не скажете — расстреляют,— сказала я, и мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

— Жаль, очень жаль, мало пожил, а как хочется жить!.. Ну, ступай, ступай отсюда.

— Не надо ли что передать туда? — спросила я, глазами указав на потолок.

— У тебя очень измученные глаза, я тебе почти верю,— ответил он.— Почти... И все-таки ничего я тебе не скажу, так лучше и тебе и мне, и прощай, девушка...— Он вздохнул и опять принялся громко ругать меня на всю тюрьму.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору. Он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не слышал, кроме этих ругательных слов. Я еле держалась на ногах. Майор, бледный от злости, играл скулами.

— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужен...— Он не договорил.

Я не помню, как вышла из тюрьмы...

...Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были совсем расшатаны. Ее бил озноб, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Или придумываете. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека.

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Призывала всю свою волю, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих, и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму. Мои слезы они поняли по-своему, принялись утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость, не словами, так взглядом расшифрую себя.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий, самоуверенный человек с румяным, какимто фарфоровым лицом и длинными бесцветными ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал свою довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу принять меры. Герой остается героем в любых обстоятельствах.

— Спросите, что ему нужно,— устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал начал терять терпение.

— Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-Вильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.

Я перевела.

Летчик даже захохотал:

— Скажите генералу, что он, по-видимому, достойный выкормыш своего фюрера.

Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и сказал: это так, лейтенант правильно заметил, он действительно старается подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два героя, два солдата. И он спросил: пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут свои дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя вынужденные репрессии и заслуженные кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна. Почему?

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на уступки. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

— Балда! — отчеканил он.— Потому что мы — советские люди, не им чета.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные от того, что они виднелись из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он

черной неблагодарностью платит за рыцарское обращение, за такой уход.

— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными,— ответил лейтенант.

— Соглашение! Ха-ха, станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик приподнялся на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.

— Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов! — кричал генерал.

И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажимая лицо,— лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.

Они все трое набросились на него и стали бить по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его...

Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как эти звери терзают этого гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь, и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой Родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступала, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день свой единственный подвиг. Я даже не вскрикнула, я сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить

все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот не знакомый мне человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но, как мне кажется, и я в этот страшный час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков...

Она вся тряслась, эта хрупкая девушка, с нежной внешностью, с нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.

— Я даже не знаю его имени, и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа ее рассыпалась, шпильки попадали на землю, каштановые волнистые волосы раскатились по грубому сукну шинели, и среди них стала видна широкая, совершенно седая прядь.

Потом как-то сразу успокоилась. Лицо, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким. Она вытерла глаза, собрала и заколола волосы, спрятав седую прядь.

— Извините — нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск. Съезжу к родителям в Ташкент. На целых две недели.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Тонкое лицо ее снова стало суровым, замкнутым и сразу как-то состарилось лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. И я запомнила. Наверное, на всю жизнь...

1943

РАЗВЕДЧИКИ

Однажды в самый разгар войны в известной на весь Калининский фронт роте разведчиков, которой, как сейчас помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошел любопытный спор между двумя любимцами роты — старым солдатом Николаем Ильичом Чередниковым и удачливым снайпером Валентином Уткиным, че-

ловеком, годами хотя и молодым, но немало уже повоевавшим.

Чередников, всегда относившийся к молодежи покровительственно и немножко насмешливо, однажды, расхваставшись в блиндаже, в присутствии всего отделения, заявил, будто сумеет так замаскироваться, что Уткин, подойдя к нему на десять метров и зная наверняка, что он где-то тут, рядом, не сумеет его заметить. Уткин же, парень бывалый, самоуверенный, да и не без основания самоуверенный, заявил, что все это «мура собачья», что он, подстреливший из засады бог знает сколько гитлеровцев, в пятнадцати метрах муху разглядит, а не то что человека, да еще такого дюжего и здоровенного, как дядя Чередников — так звали в роте Николая Ильича.

Поспорили на кисет с табаком.

Судьей просили стать «поителя и кормителя» роты старшину Зверева, человека справедливого, пользовавшегося у бойцов уважением.

В час, когда рота отдыхала, отведенная после горячих дел во второй эшелон полка, старшина торжественно вызвал Уткина и повел его за собой. Напутствуемые солеными шуточками, пожеланиями удачи, они вышли из расположения роты на задворки деревни, пересекли запущенное, непаханое, затянутое бурьяном поле, огороженное разрушенной изгородью, и остановились на повороте проселочной дороги, там, где она, некруто загибаясь, уходила в редкий молодой березнячок.

— Стой тут и гляди в оба,— сказал старшина, засекая на часах время и сам ища глазами, куда бы это мог спрятаться тут дядя Чередников.

Был серенький, промозглый, ветреный день. Над мокрым полем, над леском, трепетавшим бледной шелковистой зеленью весенней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака, почти цеплявшиеся за верхушки деревьев. Крупные тяжелые капли висели на глянцевитых ветках кустов. Холодная сырость пробирала до костей. Но где-то высоко, наперекор непогоде, жаворонки звенели над печальными забурьяненными полями о том, что не осень это, а ранняя весна стоит над миром.

Уткин внимательно огляделся. Местность кругом была ровная, прятаться было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего по опушке. К нему-то он и стал присматриваться. Терпеливым цепким взором разведчика он обшарил каждую березку, кочку, каждый

кустик. Порой ему казалось, что он заметил несколько примятых травинок, или шматок неестественно вздыбленного мха, или сломанный прут, вжатый ногой в болото и торчащий вверх обоими концами. Разведчик настораживался и хотел уже звать дядю Чередникова, но, вглядевшись повнимательнее, убеждался, что ошибся, и снова, с еще большим вниманием, начинал осматривать местность.

Старшина сидел возле на большой груде камней, что лежала на меже, покуривал и тоже с любопытством поглядывал кругом. От непрерывно сеявшегося мелкого дождя трава покрылась сероватым дымчатым налетом, похожим на росу. Каждый след выделялся бы на ней темным пятном. Но следов не было видно, и это больше всего смущало обоих.

Наконец, к исходу положенного на поиски времени, Уткина взяла досада. Ему начало казаться, что старый разведчик подшутил над ним, что сидит он сейчас, по обыкновению своему, где-нибудь у костра, подкладывает сухие ветки, мечтательно следит, как танцует и потрескивает огонь, посмеивается в усы над легковерами.

— Разыграл, старый черт! — не вытерпел наконец Уткин.— Все! Пошли!.. Чего тут пустырь разглядывать курам на смех!

И как только он это сказал, где-то совсем рядом, точно из земли, раздался знакомый хриплый голос:

— А ты гляди, гляди, внимательней... торопыга... Глаз-то не жалей, а то все «я, я, я»! Вот и вышла последняя буква в азбуке.

Заскрежетали, загремели камни, и из соседней, лежавшей рядом, в двух шагах, каменной кучи, находившейся так близко, что Уткин не обратил на нее даже внимания, отряхиваясь и поеживаясь от сырости, поднялась высокая сутуловатая фигура старого разведчика с мокрыми от дождя, обвисшими, прокуренными, изжелта-бурыми усами.

Он обдернул гимнастерку, ловким движением больших пальцев загнал складки за спину, поправил пилотку на голове, вскинул на плечо винтовку, подошел к Уткину, так и застывшему на полушаге с открытым ртом, и протянул руку:

— Давай кисет.

Уткин молча вынул синий шелковый кисет с вышитой гладью надписью. «На память герою Великой Отечественной войны», заветный кисет, полученный в перво-

майском подарке и служивший предметом зависти всей роты. С сожалением глянул он на него и протянул дядѐ Чередникову. Тот невозмутимо взял кисет, набил из него маленькую самодельную трубочку, выпустил несколько колец дыма, аккуратно завязал кисет бечевкой и положил в карман.

— Хоть знаю — жалеешь, а не отдам, чтоб больше со старым солдатом Чередниковым Николаем пустых споров не было. Чтоб яйцо курицу не учило. Понятно это вам, гвардии боец, дорогой товарищ Уткин?

А с кисетом этим была связана целая история, и историю эту все в роте знали. Получив кисет в подарок вместе с табачком, нашел в нем Валентин Уткин записочку: дескать, кури себе, боец, на здоровье да меня вспоминай или что-то такое в этом роде, и подпись, и адресок: город Калинин, ткацкая фабрика «Пролетарка». И из этого кисета к тому времени выросла не только мощная переписка, а, можно сказать, целая любовь. Поэтому все в роте удивились, как это дядя Чередников, человек душевный, справедливый, коммунист, готовый, если надо, для товарища половину своего солдатского мешка разгрузить, лишил общего любимца такой памяти.

Но, как бы там ни было, спор этот еще больше поднял авторитет дяди Чередникова, и что бы с тех пор старый разведчик бойцам по делу ни говорил, никто уж оспаривать его не решался. И даже сам капитан Кузьмин иной раз звал к себе дядю Чередникова на совет.

Разведчик! Вы, наверное, представляете его себе этаким молодцеватым парнем, подвижным, быстрым, с энергичным лицом, с острыми глазами и обязательно с автоматом на груди. А дядя Чередников, как вы знаете, был уже в годах, высок, сутул, медлителен и не то чтобы неразговорчив,— просто он предпочитал слушать, а не рассказывать. Слушая же, он не выпускал изо рта маленькой кривой трубочки, которую сам смастерил перочинным ножом из нароста березы.

Автомата он тоже не носил и предпочитал ему обычную русскую трехлинейную винтовку. Тем не менее разведчик и снайпер он был по нашему фронту непревзойденный, с настоящим талантом следопыта, со своей особой ухваткой, с лисьей хитростью и с неистощимой изобретательностью.

Колхозник-сибиряк, таежник, потомок многих поколений русских звероловов, он и к войне подходил со спо-

койным расчетом и деловитостью. Он и сам говаривал, что фашист, раз он к нам с оружием в дом влез, для него не человек, а зверь — и зверь лютый, кровожадней хорька, повреднее, чем волк. И он охотился за ним постоянно, неутомимо, заполняя этим не только многие боевые дни, но и редкие фронтовые досуги, когда роту отводили во второй эшелон на отдых.

Он не вел счета истребленным фашистам, как это делали в те дни другие бойцы, как не вел когда-то в тайге счета добытым им белкам. Но друзья его, разговорившись, давали честное гвардейское, что «нащелкал» дядя Чередников неприятеля близко к сотне. Сам он — и, думается мне, без рисовки — значения этому большого не придавал: дескать, эка радость подшибить фрица-ротозея!

Однако, как охотник помнит убитых медведей, он запомнил трех уничтоженных им врагов: двух офицеров, которых он подстерег, лежа в нейтральной полосе, и снял во время командирской рекогносцировки, и одного, как он говорил, «страсть вредного» снайпера, подкараулившего нескольких наших бойцов и ранившего любимца роты разведчиков — пса Адольфку, лохматую, голосистую дворнягу, бегавшую по переднему краю с трофейным Железным крестом на шее.

За этим снайпером дядя Чередников охотился недели две. Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за старым разведчиком. Как бы состязаясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, получивший задание капитана во что бы то ни стало снять «вредного снайпера» и решивший, как говорится, воевать до победного конца, появлялся в те дни в роте только затем, чтобы забрать у старшины сухарей, консервов, табаку и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от лихих январских морозов. Он приходил похудевший, обросший, злой, с воспаленными глазами, с обкусанными кончиками усов, на вопросы не отвечал и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил обратно на передовую.

Только к исходу второй недели удалось ему разглядеть снежную нору немецкого снайпера. Она была вырыта за трупом лошади, лежавшим тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошенным снегом.

Дядя Чередников попробовал вызвать противника на бой выстрелом. Тот не ответил. Но с передовой против-

ник открыл по нему такой огонь, что разведчик еле отлежался в своей норе.

Попробовал установить в леске чучело в каске и масхалате. Хитрость не новая, однако и на нее попадали. Но «вредный снайпер» не клюнул. День пропал зря.

Тогда однажды в туманную ночь, перед рассветом, дядя Чередников протоптал следы к сосенке, одиноко стоявшей как раз напротив палой лошади, отряхнул с веток иней, посорил на снегу корой и едва заметно разложил за ней свой маскировочный халат. Все это замаскировал. От дерева он протянул белую нитку к своему настоящему убежищу, выкопанному в снегу, и дал все это заволочь инеем оседавшего утреннего тумана.

Когда совсем рассвело и поднялось солнце, он начал дергать нитку. С ветвей сосенки стал тихо осыпаться снег. Подергает и замрет. Подождет полчаса, подергает и опять замрет. Наконец над бурым пузом лошади поднялось нечто более белое, чем снежный горизонт. Грянул выстрел. Он слился с выстрелом дяди Чередникова. И все стихло. Только снег осыпался с пробитой ветки сосны, возле которой ночью разведчик с такой тщательностью раскладывал и маскировал свой халат.

С тех пор «вредный снайпер» больше не досаждал нашим бойцам, и пес Адольфка, излеченный помаленьку заботами разведчиков, мог смело бегать по передовой, позвякивая своим Железным крестом, пренебрежительно поднимая ногу у пеньков и брустверов на самом виду у немцев.

Охотой за неприятелем дядя Чередников заполнял свои досуги, но настоящая-то военная специальность была у него — разведчик. Много наши разведчики придумали в Великую Отечественную войну разных хитростей, о них я рассказывать не стану. Дядя Чередников предпочитал разведку бесшумную, основанную на легкости, на знании повадок врага, на уменье маскироваться. Вдвоем со своим напарником, тем самым Валентином Уткиным, у которого он так безжалостно выспорил заветный кисет, они, как ящерицы, проползали в неприятельское расположение и высматривали, что нужно. Иногда, когда это требовалось, снимали с поста холодным оружием зазевавшегося часового и всегда так же тихо, без выстрелов, возвращались.

Для Чередникова разведка была даже не специаль-

ностью, а искусством. Он любил ее, как артист, и, как настоящий артист, охотно, терпеливо учил молодежь, прибывавшую из запасных полков. Но учил не словами. Он не любил слов. На местности показывал он молодым солдатам, как надо переползать, как войлоком обматывать сапоги, чтобы шаг был бесшумен, как по моховым наростам на дереве, по годовым кольцам на пнях определить, где юг, где север, как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны, как нюхательным табаком сбивать собак со следа, как в снегу уметь прятаться от холода, как по разнице между выстрелом и разрывом определить дальность вражеских позиций, а по тону выстрела — расположение стреляющей батареи, учил он и многому другому, необходимому в этом сложном военном ремесле. Он показывал молодым солдатам свой знаменитый в роте маскировочный плащ, который он сам обшил ветками и корой и в котором, как мы уже знаем, его действительно можно было не заметить даже в двух шагах.

— Фашист — зверь хитрый, пуганый, сторожкий, его надо с умом брать, а потому дело наше — самое из всех тихое,— говорил он молодым бойцам.

Сам он руководствовался этим же правилом и до того умело, что иной раз невольно и своих обманывал.

Раз по нем чуть не заплакала вся рота.

Приказал ему командир срочно взять «языка». Получены были агентурные данные, что противник здесь что-то затевает, и поступил сверху приказ для перекрытия этих данных добыть «языка» и как можно скорее. Дядя Чередников молча выслушал приказание. На вопрос: «Понял?» — рубанул по обычаю:

— Так точно, товарищ капитан.

Развернулся налево кругом, плаща своего знаменитого не забрал, а взял винтовку и пошел на передний край, никому не сказавшись и даже друга своего Валентина Уткина не предупредив.

Очень уж требовался «язык». Должно быть, поэтому, не дождавшись даже, пока стемнеет, дядя Чередников переполз рубеж обороны и, глубоко зарываясь в снег, стал двигаться к немецким окопам так ловко, что и свои, следившие за ним, скоро потеряли его из виду. Но шагах в двадцати от неприятеля что-то с ним случилось. Он вдруг привстал. Слышали бойцы в секретах, как у немцев рвануло несколько автоматных очередей. Видели,

как, широко вскинув руками, упал навзничь разведчик. И все стихло. В сгущавшихся сумерках на месте, где он упал, было видно неподвижное тело с нелепо поднятой рукой.

Немцы попробовали подползти к трупу, но наши сейчас же открыли огонь и отогнали их.

Весть о том, что убит дядя Чередников, быстро дошла до роты. Прибежал Уткин в маскхалате, белый, как халат, взглянул на неподвижное тело с поднятой рукой и тут же полез через бруствер. Едва его удержали, да и не удержали бы, уполз бы за другом, может быть, себе на беду, если бы сам капитан не приказал ему вернуться и дожидаться темноты.

Весь вечер Уткин сидел с бойцами боевого охранения, тянул из фляги спирт, не таясь, ладонью стирал со щек слезы и все твердил:

— Ох, человек! Вот человек! Где вам понять, что это за человек за такой был дядя Чередников!..

Когда сгустилась тьма и запуржило в полях, капитан разрешил ему наконец ползти за телом друга. Уткин перемахнул через бруствер и, миновав заграждение, двинулся вперед. Он полз долго, осторожно, локтями опираясь о скользкий наст... Вдруг сквозь шелест летящего снега услышал он тяжелое, приглушенное дыхание. Кто-то полз ему навстречу. Уткин притаился, замер, тихо вытащил нож, ждет. И вдруг слышит знакомый, хрипловатый шепот:

— Кто там? Не стреляй: свои. Пароль — «миномет». Чего притаился, думаешь, не слышу? Мелко плаваешь, сахарницу видно. Помогай тащить, ну!

Оказывается, дядя Чередников, понимая важность задания, решил на этот раз рискнуть. А расчет у него был такой: незаметно приблизиться к немецким окопам, нарочно дать себя обнаружить, упасть до выстрелов, притвориться мертвым и ждать, пока с темнотой кто-нибудь из немцев не направится за его телом. И вот на этого-то немца напасть и взять его.

— Я с ними третью войну дерусь. Повадки их мне известны. Нипочем им не стерпеть, чтоб труп не обшарить,— пояснил он потом товарищам...

После этого случая сам генерал, командир дивизии, которому Чередников очень угодил «языком», вручил ему сразу за прошлые дела медаль «За отвагу», а за это — орден Красной Звезды.

Ох и праздник же был в роте! Хватив в этот день сверх положенной фронтовой нормы, неразговорчивый Чередников расчувствовался, вернул Валентину Уткину заветный кисет с наказом не драть носа перед старым служивым, а потом принялся рассказывать товарищам, как совсем еще желторотым новобранцем участвовал он в брусиловском наступлении в 1916 году, как бежали под русскими ударами немцы по Галиции и как вызвался он, Чередников, с партией лазутчиков проникнуть во вражеский тыл. Собственноручно взял он тогда в плен, обезоружил и привел к своим австрийского капитана и получил за это свою первую боевую награду — Георгиевский крест. Рассказывал он еще, как бежали немцы от Красной армии на Украине в 1918 году и как гнали их красные полки, наступая на пятки. С группой разведчиков ходил тогда Чередников к неприятелю в тыл. Они отбили у него штабные повозки, полковую кассу и автомашину с рождественскими подарками, захватили важные документы. И за это сам командир дивизии подарил Чередникову серебряные часы.

Старый разведчик вытащил из кармана эти большие толстые часы, на крышке которых были выгравированы две скрещенные винтовки и надпись: «За отменную храбрость, отвагу и усердие». Часы ходили по рукам, и, когда они вернулись к хозяину, тот задумчиво посмотрел на циферблат.

— Ох и ходко сыпали они тогда от нас, ребята! Аллюром три креста, только глушители себе руками прикрывали... И теперь побегут, скоро побегут, уж вы верьте старому солдату. Потому — тогда мы были кто? Какие мы были? А теперь — кто? Какие мы теперь, я спрашиваю?.. Тогда-то до Берлина мы за ними не добежали, сил не хватило, а теперь, ребята, будьте ласковы, без того, чтобы трубку вот эту о какое-нибудь берлинское пожарище не раскурить, домой не вернусь. Может, думаете, хвастаю? Ну, попробуй скажи кто, что хвастаю?

И никто этого не сказал, хотя говорил это старый солдат, когда войска наши еще штурмовали Великие Луки и до Берлина было ох как далековато.

1943

РОЖДЕНИЕ ЭПОСА

В занесенном снегом прифронтовом овражке, огражденном от ветра и взоров неприятельских наблюдателей порослью невысокого лохматого сосначка, где наступавший батальон делал короткий привал, я стал свидетелем такой любопытной сцены. Три бойца-казаха, коренастые, широколицые парни в мешковато сидевших шинелях, примостившись поодаль от других у разлапистого корневища вывороченного снарядом дерева, варили на костре кашу из пшенных концентратов. Один внимательно следил за кипевшим котелком, помешивая кашу можжевеловым прутом, другой подкидывал в костер сухой валежник, а третий, уже немолодой, морщинистый, рябоватый, сидел на корневище, держа винтовку на коленях, и задумчиво смотрел в огонь, с сипением, треском и воем пожиравший сухие ветки.

И вдруг он начал тихонько покачиваться и завел резким фальцетом степную протяжную песню, звеневшую однообразно, как ветер в верхушках сосен. Он пел все громче и громче, мерно раскачиваясь, пристукивая в такт ногтями по прикладу винтовки, закрывая глаза на высоких нотах.

— Знаете, о ком он поет? О майоре Малике Габдуллине. Вы о нем слышали? Герой Советского Союза, он на днях побывал тут у нас в батальоне,— пояснил лейтенант Климов, сухощавый, жилистый человек, с обветренным, огрубевшим от зимнего загара, но все еще юношеским, живым лицом. Наклонив набок голову, он прислушивался к песне и начал переводить: — Он поет, что Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис, что у него глаз беркута и он видит врага, как бы тот ни прятался, что его рука не устает убивать фашистских шакалов, и такая это рука, что чем крепче их бьет, тем больше наливается она силой... Он поет, что от одного вида Малик-батыра противник обращается в бегство.

Песня журчала, как лесной ключ, тихая, чистая и, казалось, неиссякаемая. Как магнит, влекла она к себе бойцов и командиров — казахов. У костра уже стояла внимательная, задумчивая толпа, но солдат-джерши так увлекся своей песней, что никого не замечал. Круглое лицо его покрылось нервным румянцем. Порой он весь вытягивался, точно слушая что-то, что звучало в воздухе

для него одного, и пересказывал это для всех. Песня увлекла даже нас, не понимавших слов, а казахи слушали с таким вниманием и были так ею поглощены, что не замечали, как уходит из котелка закипевшая каша, как шипит она в угольях затухающего костра, распространяя кругом сытный запах пригоревшего пшена.

— Он поет о том, как любят Малика казахские степи, как все отцы завидуют его отцу, как все матери чтят мать, родившую такого сына, как девушки видят его во сне и поют о нем песни. Он поет, что Малик ходит сейчас по окопам, неся слово партии, и что речь его понимают бойцы всех народов, потому что она проникает в душу. Он поет, что сам он видел Малика и слышал Малика и что Малик сказал им: если они будут хорошо воевать, то в родных степях о них сложат вечные песни, как поют сейчас о богатырях прошлого — Кобланды и Махамбете.

Песня оборвалась вдруг на высокой ноте. Певец смолк, усталый, смущенный. Но еще не скоро рассеялось обаяние его импровизации, не сразу разошлась солдатская толпа, не сразу его товарищи, опомнившись, схватились за котелок спасать остатки выкипевшей каши.

— А вы знаете, мы ведь сейчас присутствовали при рождении нового эпоса,— сказал лейтенант Климов. Застенчиво улыбаясь, он признался, что песня эта напомнила ему совсем недавние дни, когда он преподавал литературу в одной из алма-атинских школ и во время каникул разъезжал по степи, записывая песни.— Вот так и возникает новый эпос Отечественной войны,— добавил он.— Вы майора Габдуллина не знаете?

Я знал Малика Габдуллина. Не раз приходилось встречаться с ним на фронтовых ночлегах, и от него самого и его товарищей мне была известна не содержащая, впрочем, ничего сказочного, но действительно интересная биография этого офицера.

Конечно, ни отец Малика, неграмотный колхозный скотовод Габдулла Элемесов, ни сам он, советский юноша, из пастуха выросший в доцента, в известного на своей родине фольклориста, опубликовавшего уже несколько работ, никогда и не думали, что сам он, Малик Габдуллин, при жизни станет героем казахской былины.

В момент объявления войны Малик был поглощен работой над кандидатской диссертацией. Она была уже готова. Его друзья по институту, литераторы и языковеды,

одобрили ее. Оставалось только стилистически отшлифовать. Но в Алма-Ате начала формироваться коммунистическая дивизия. Лучшие люди города шли в нее добровольцами. Малик отложил работу, в которую он вложил больше двух лет труда, явился в райком партии, попросил снять с него «бронь» и послать на фронт рядовым бойцом. Время было трудное, с ним не стали спорить. Молодой ученый получил форму, котелок, вещевой мешок и полуавтоматическую винтовку. Учили военному делу ускоренно: фронт требовал новых и новых резервов.

В разгар немецкого наступления на Москву Габдуллин в составе своей дивизии прямо с колес попал в бой, и глинистый мерзлый окоп, неумело и наспех отрытый на крутом берегу подмосковной речки Рузы, стал для него первым курсом военной школы. Рота, где Малик был политруком, растянулась повзводно по восточному берегу реки. Взвод, в котором ему пришлось заменить убитого командира, оборонял левый фланг. Приказ был получен категорический — не пускать немцев за речку, держаться любой ценой. Позади была Москва.

Первый бой, проведенный Маликом, был очень напряженным. Он продолжался весь день почти без перерыва. Рота противника, имевшая, по-видимому, столь же категорический приказ наступать, старалась перейти речку вброд на участке его взвода. Ее подпускали, давали солдатам втянуться в воду, потом поливали сверху пулеметным огнем, и черная, холодная, курившаяся парком осенняя река тихо уносила вместе с шелестящим «салом» тела врагов.

Так повторялось несколько раз. С каждой новой атакой Малик Габдуллин, до тех пор знавший войну только по книгам да кинофильмам, все уверенней чувствовал себя в необычной для него роли командира. Приказы его становились яснее, решительнее, тихий голос звучал требовательнее, жестче.

Вечером, уже в сумерках, отбив последние атаки и заставив остатки неприятельской роты убраться с гребня противоположного берега, он послал связного доложить командиру роты, что задание выполнено и он ждет приказа. Нервный подъем схлынул. Малик чувствовал усталость, настороженно и опасливо вглядывался в тьму. Не без удивления слышал он то, на что днем в сумятице не обращал внимания. Перестрелка, гулко раздававшаяся в тишине, шла почему-то у него за спиной. Он был еще

неопытен и так и не понял, что это значит. Связной же до рассвета не вернулся.

Тогда Малик вызвал сержанта Коваленко, человека огромного роста, недавнего председателя одного из передовых в Казахстане колхозов. С ним Малик подружился еще в эшелоне и полюбил его за спокойный, рассудительный оптимизм.

— Максим Данилович,— сказал он, обращаясь к нему еще по-штатски.— Сходи, друг, на КП. Что они там спят? Ни связи, ни приказа. И узнай еще, что это там за стрельба такая у нас за спиной.

— Схожу, товарищ Габдуллин,— так же по-штатски ответил сержант.— Только, сдается мне, неважнецкие у нас дела. Стрельба-то эта очень мне не нравится.

Часа через два Коваленко вернулся бледный, в изорванной шинели, с головы до ног перепачканный в глине, и молча протянул Малику окровавленный партийный билет. Тот с трудом раскрыл слипшиеся корки — это был билет командира роты. Немцы прорвались за реку и потеснили правофланговые взводы. Командир роты погиб, захваченный врасплох вражескими автоматчиками. Труп связного Коваленко видел по дороге. Чтобы вернуться на позиции, сержант с километр полз в тумане по мерзлой пашне, пробираясь межой уже мимо немцев.

— Как быть, командир? — спросил он, грея над костром посиневшие и исцарапанные руки.

Вчерашний ученый еще не потерял привычки все тщательно анализировать. «Чем я располагаю сейчас?» — спросил он себя. Во взводе осталось сорок три бойца. Продукты, выданные на сутки, на исходе. Люди докуривают последние крошки табаку, вытряхивая их из уголков карманов. Немцы зашли с тыла. Кто знает, далеко ли им удалось уже прорваться за речкой? Отходить? Но вчерашний бой против целой неприятельской роты, бой, в котором только что брошенный в войну взвод вышел победителем! Минувший день уже сделал Малика военным человеком. Последний приказ, полученный им тридцать шесть часов назад, требовал держаться до последнего. Приказ есть приказ.

— Строить круговую оборону, товарищ старший сержант,— ответил Малик другу тоном приказания.

И застучали ломы, заскрежетали лопатки о мерзлую глинистую землю.

Весь следующий день взвод сражался. Немцы подвели

к берегу три манжеты с пехотой. Сидевший на сосне наблюдатель своевременно доложил об этом. Бронебойщики, крепкие ребята из алма-атинских слесарей, пробравшись в тальник к самой воде, сумели поджечь машины на ходу, прежде чем те успели даже остановиться. Пулеметчики ударили по пехотинцам, прыгавшим из-под занимавшихся огнем брезентов. Это сошло гладко. Случай щадил пока необстрелянный взвод. Но скоро ему пришлось туго. Решив, очевидно, что они имеют дело не с горсткой людей, а с крупным подразделением, осевшим на приречных рубежах, противник изменил тактику. Он сковал взвод редким огнем и оставил его в покое. В то время как остатки немецкой роты перестреливались с людьми Малика, не давая им подняться из окопов, прижимая их к земле, другое подразделение перешло речку выше по течению.

Обнаружилось это внезапно. Послышался за спиной лязг гусениц, и Малик увидел танк. Танк незнакомых еще очертаний, с белым крестом, грузно колыхаясь, поплевывая на ходу снарядами, брел через поле, проламываясь сквозь кусты ольшаника и явно стремясь зайти в тыл позиций взвода. Его стальной тушей прикрывались автоматчики. Часть их сидела на броне, часть, ведя беглый огонь, бежала позади танка.

— Приготовить гранаты!.. По пехоте частый отсечный огонь! — едва успел скомандовать Малик, мучительно старавшийся вспомнить, что в таких случаях полагалось делать по боевому уставу пехоты.

Он взял винтовку из рук убитого красноармейца и сам по ходу сообщения, пригибаясь к земле, побежал туда, куда шел танк.

Но прежде чем слова команды были переданы по цепи, бойцы на правом фланге уже сами завязали перестрелку. Танк дошел до переднего окопа, остановился и неуклюже завертелся над ним, стараясь, очевидно, раздавить людей, сидевших в узкой земляной щели. Это был тяжелый танк. Бронебойщики ударили по нему, но снаряды их с пронзительным визгом отскакивали от стального панциря, высекая снопы искр. Немецкие автоматчики стремились проскочить в глубь позиций.

На мгновение Малику показалось, что дело безнадежно, что стальная махина неуязвима и что ничто уже не может спасти положение. Он даже расстегнул кобуру пистолета. Что же, он готов с честью умереть, сражаясь, как надлежит советскому человеку! Но в следующую ми-

нуту он убедился, что на войне не бывает безвыходных положений.

Из головного окопа, того самого, на котором, скрежеща гусеницами и чадя синим дымом, вертелся танк, на миг высунулся по пояс парторг роты Василий Кондратьевич Шашко.

Это было только мгновение, но Малик видел, как он, крича что-то, взмахнул рукой. Раздался взрыв. Тяжелая машина вскинулась в столбе огня и земли, остановилась, потом, поврежденная, но еще страшная своим огнем, дернулась вперед. Тогда из раздавленного окопа поднялась еще раз голова Шашко. Он снова взмахнул рукой. Откуда-то из-за танка рванулся в небо черный столб. Взрыв встряхнул землю, и вдруг стальная машина вспыхнула, вспыхнула буйно, клочковатым, чадным пламенем, точно отлита она была из целлулоида, а не из стали.

— За товарища нашего, за парторга нашего, за Василия Шашко! По пехоте огонь! — крикнул Малик, снова и снова нажимая спусковой крючок своей винтовки.

Он стрелял, меняя обоймы и обливаясь потом, до тех пор, пока вражеские автоматчики, зацепившиеся было за передние окопы, не побежали назад. Тогда Малик, позабыв об опасности, выскочил из окопа. Он не видел разрывов, не слышал злого чириканья пуль, ничего не слышал. Он поднял над головой винтовку, потрясая ею, и кричал:

— По отступающим! За Шашко! За Василия Кондратьевича! Огонь! Огонь! Огонь!

Его вдохновение передалось бойцам, они забыли усталость, страх и открыли такую стрельбу, как будто это были не остатки измученного, поредевшего взвода, а по крайней мере свежая рота.

Еще сутки продержался взвод Малика в окружении. Немцы, развивая успех, уходили от речки все дальше и дальше, выставив против горстки упорствующих людей небольшие заслоны. Солдаты доели сухари, курили древесный мох, достреливали последние обоймы. Во взводе осталось всего двадцать два бойца, а линия фронта отодвинулась на восток уже так, что звуки артиллерийской канонады едва доносились оттуда, как шум далеко идущего поезда. Держать позицию становилось бесцельным. Малик решил прорвать кольцо заслона и пробиваться к своей дивизии.

Ночью похоронили убитых, забрали их оружие и пар-

тийные билеты. Когда под утро морозный туман закутал неубранные, помятые войной поля, солдаты по одному выскользнули из вражеского кольца, точно растаяв в промозглом воздухе. Вошли в лес, построились, сделали перекличку. Малик, объявив, что будут пробиваться к своей дивизии, скомандовал: «Вперед!» — и люди пошли на звук далекой канонады.

Три дня лесами, болотами, без дорог, ориентируясь по компасу и грому далеких пушек, вел Малик свой взвод. Солдаты, у которых не было во рту и крошки, двигались, сохраняя боевой порядок, выбросив вперед разведку, выставив на фланги дозоры. Несли и катили пулеметы. На плащ-палатках, прикрепленных к палкам, по очереди несли раненых. И к этому маленькому отряду, в котором командир суровой рукой сохранял дисциплину, стягивались и приставали, как железные опилки к куску намагниченного железа, бойцы и командиры отступивших частей, в одиночку выходившие из окружения.

На третий день пути в отряде Малика было уже сто восемьдесят семь бойцов при двенадцати станковых и двадцати ручных пулеметах с достаточным количеством боеприпасов, но без куска хлеба и без крошки табаку.

Теперь главным врагом становился голод. Идти с каждым маршем было все труднее. Людей шатало, они еле плелись, и колонна растягивалась по лесу длинным, жидким хвостом. На привалах бойцы бросались на мерзлую землю, трудно было поднять их потом. Все громче и чаще стали раздаваться голоса, что всем вместе такой массой не выбраться, что лучше рассыпаться и выбираться поодиночке на свой страх и риск, что надо оставить раненых где-нибудь в деревне и избавиться хотя бы от пулеметов, предварительно их испортив. Кое-кто обессилев, стал потихоньку бросать оружие.

Малик скомандовал большой привал. В овраге созвал он коммунистов и комсомольцев. Он сообщил им свое решение любыми средствами, не останавливаясь ни перед чем, сохранить отряд и идти вперед. Сильные по очереди должны вести ослабевших, нести их оружие, раненых тащить на руках. Коммунисты и комсомольцы обязаны подавать пример. Паникеров и дезорганизаторов обещал расстреливать на месте. Штатский человек был еще силен в нем — свое решение он поставил на голосование. Все руки поднялись «за». Тогда Малик приказал коммунистам и комсомольцам к утру накипятить в котелках воды,

отмыть походную грязь и копоть костров, побриться, привести в порядок одежду, оружие.

На рассвете на лесной поляне, у стены сизых елей, был выстроен весь отряд. Малик скомандовал: «Смирно!» Солдаты вытянулись и застыли. Но что это были за солдаты! В шинелях, разорванных и прожженных, с заросшими, закопченными лицами, на которых из потемневших впадин лихорадочно сверкали глубоко запавшие глаза, они еле стояли на ногах. У некоторых подгибались колени, и они стояли пошатываясь, опираясь локтями о соседей. Но в этих измученных, усталых шеренгах своей энергией, своим подтянутым видом, умытыми, бритыми лицами выделялись сегодня коммунисты и комсомольцы, и среди них гигант Коваленко, ухитрившийся даже где-то разжиться ваксой и начистить свои кирзовые сапоги. Взгляд Малика на мгновенье задержался на его больших, обутых в матово сверкавшие сапоги ногах, твердо стоящих на снегу, и ему стало вдруг весело.

— Мне сказали, что некоторые из вас думают, что надо отряд распустить и выбираться поодиночке. Может быть, верно, разойдемся? — Малик спросил, обводя усталые лица взглядом черных узких красивых глаз.

Солдаты смотрели на него удивленно, недоуменно, настороженно. Но на нескольких лицах он увидел сочувственное выражение, кое-кто подтверждающе кивнул головой, а один из вновь приставших к отряду бойцов, совершенно заросший, в крестьянском треухе вместо пилотки, что-то радостно зашептал соседям.

— Говорите громче, ну? — приказал Малик.

— Я говорю: верно, лучше бы рассыпаться. Разве такой братвой фронт незаметно перейдешь?.. А поодиночке, говорю, верно, легче, как мыши проскочим.

По рядам прошел шумок. Малик понял, что этот маленький, совершенно потерявший военный облик за долгие дни скитаний по лесам солдат сказал то, что думали многие из тех, кто недавно пристал к отряду. Он стоял, зябко поеживаясь, и тихонько притоптывал о землю разбитыми сапогами, на которых рыжела еще давняя грязь. Потом взгляд Малика снова притянули к себе матово сверкавшие сапоги сержанта Коваленко, его большие ноги, покойно и прочно стоявшие на снегу. Он заметил метлу, валявшуюся возле. Должно быть, бойцы вчера разметали ею снег вокруг костра. И тут, думая о том, как ответить этому маленькому, измотанному скитаниями, дрожащему

от холода бойцу, недавний фольклорист вспомнил старую сказку, существующую, наверное, у всех народов. Он поднял эту метлу, вырвал из нее прут и, протянув его маленькому бойцу, приказал переломить. Тот удивленно глянул на командира: дескать, не рехнулся ли человек от голода, однако подчинился и легко сломал прут. Малик дал ему метлу:

— Ломай!

Метла гнулась, но не поддавалась.

— Ну, ну, еще! — поощрял его Малик. Хриплый смех измученных людей слышался со всех сторон:

— Нажимай, нажимай, не жалей сил! — Наддай! Что, не важит? — кричали со всех сторон бойцы и поглядывали на командира, начиная понимать, к чему он клонит.

— Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисциплина, никакой враг нас не сломает,— пояснил Малик. И сурово добавил: — Первого же отбившегося от отряда расстреляю собственной рукой. Понятно? Стро-о-ойсь!

Вечером высланная разведка донесла, что на пути справа целая, не сожженная, но занятая противником деревня. Посланный в разведку Коваленко пропадал до темноты и, вернувшись, доложил, что в деревне, по всей видимости, расположился какой-то тыловой интендантский пункт — склады, на улице много проводов, что, хотя укрепления и не отрыты, деревня сильно охраняется, караулы выставлены во всех направлениях, однако они довольно беспечны и больше греются у костров. Пробраться мимо них можно. В заключение рапорта сержант вынул из кармана бутылку молока, краюху хлеба и протянул командиру:

— Откушайте, вам достал. Женщины на дорогу снабдили. Ох и ждут же нас!

— Отдай раненым,— сказал Малик, склоняясь над картой и делая вид, что пища его мало интересует, хотя от кислого хлебного духа у него закружилась голова.

Он решил атаковать деревню и с боем добыть продовольствие.

В плане штурма, который он придумал за ночь, внезапность и хитрость должны были восполнить недостаток сил. Под утро, когда в лесу еще было темно и деревья едва начинали выступать из сурового холодного мрака, в час, когда человеческий сон особенно крепок, отряд, обложивший деревню, обрушил на нее сразу огонь всех своих пулеметов. Едва отгремело в лесу эхо выстре-

лов, бойцы с четырех направлений с криками «ура» рванулись вперед, смяли заслоны и уже на улице, в коротком штыковом бою решили исход боя. Немцы бежали, оставив несколько десятков убитых, бросив свое добро, и немалое: продовольственный и оружейный склады; двадцать семь солдат сдались в плен. Малик приказал бойцам набить вещевые сумки продуктами и табаком, запас продовольствия погрузить на немецкие санки-лодочки, найденные на одном из складов, на санки же поставить пулеметы, уложить раненых, а в санки впрячь пленных. Остальное облить бензином и поджечь.

Долго еще, пробираясь лесами, отряд видел позади дымные клубы, поднимавшиеся к облакам. На седьмой день похода, под вечер, сытые и приободрившиеся бойцы из леса, с тыла, атаковали вражескую передовую, точно кинжалом пронзили фронт и почти без потерь прорвались как раз в расположение своей дивизии. Отряд привез с собой па саночках-лодках двенадцать станковых и двадцать ручных пулеметов. Многие из бойцов были вооружены трофейными автоматами. Были вынесены шестнадцать раненых. Сданы коменданту пленные.

Кроме этого, гигант Коваленко принес четырехлетнего мальчика Вову, которого они с Маликом нашли по пути среди черных пожарищ сожженной деревни.

Его несли по очереди на закорках, а в опасные моменты оставляли в кустах на попечение раненых. Так мальчуган этот совершил на плечах бойцов весь поход и был потом отправлен на попутной санитарной машине в Москву, где его сдали в детский дом.

Сам генерал Панфилов пожелал видеть Малика. В дни формирования дивизии, еще в Алма-Ате, он с сомнением опытного воина осматривал пришедшего к нему с путевкой райкома робкого щеголеватого ученого. Теперь хотел взглянуть, что из того получилось на войне. Хмурый генерал долго смотрел из-под сердитых бровей на тонкую фигуру Малика, на которой еще не улеглась как следует военная форма. Потом неулыбчивое его лицо оживилось и подобрело.

— Ай да собиратель сказок! Вот тебе ученый муж! Молодец! Хорошим солдатом будешь! — сказал он своим глухим, точно из бочки гудевшим голосом, привлекая к себе Малика и троекратно, по-русски, целуя его.

Те, кто в эту минуту был подле них, рассказывали, что углядели они выражение настоящей отеческой радос-

ти на суровом, неприветливом лице легендарного теперь генерала.

Из этого — как в шутку называли его потом в дивизии — «голодного похода» молодой ученый вынес веру в себя, в своих солдат и в старую солдатскую истину, гласившую, что для отважного, умелого воина нет безвыходных положений, что и отступая можно побеждать. Этот вывод он проверил в следующем своем крупном испытании, когда уже в период наступления командир полка направил Малика с тринадцатью автоматчиками в засаду — охранять самое острие клина, глубоко врезавшееся во вражеские расположения. Здесь ожидали контратаки, а так как полк, потерявший немало людей в последних боях, как говорится, приводил себя в порядок, засада эта должна была прикрыть его от случайностей.

Ночью Малик повел свой крохотный отряд. Для засады он выбрал удобный рубеж в кустах на берегу замерзшего ручейка, напоминавший ему позиции у Рузы, где он принял первый бой. Послав в дозор солдата Абдуллу Керимова, он приказал оставшимся бойцам всю ночь без отдыха рыть по ручью глубокие щели и организовать огневые точки. Солдаты ворчали на командира, которому не терпелось до утра. Но на рассвете, когда, маскируя уже отрытые ячейки, они присыпали брустверы снегом, прибежал Керимов и, с трудом переводя дыхание, сообщил, что пять танков и до роты пехоты скрытно движутся по лощине, приближаясь к месту, где засели люди Малика.

Пять танков и сотня людей против тринадцати автоматчиков. Такое соотношение могло смутить и бывалого командира. Но Малик уже знал, что на войне успех решают не арифметические соотношения. Спокойным, даже обыденным тоном он приказал готовиться к бою, огнем автоматов отсечь пехоту от танков, без его команды не стрелять, передним приготовить противотанковые гранаты.

Сам Малик для верности привязал к трем гранатам по бутылке с зажигательной смесью, считавшейся в те дни у бывалых солдат самым верным противотанковым средством ближнего боя, и ползком пробрался в переднюю щель.

Танки остановились на опушке и пропустили пехоту. Не ожидая засады и полагая, вероятно, что они идут по ничейной земле, солдаты двигались толпой и пригибались лениво, больше для порядка. Малик приник подбородком к стылой земле бруствера и затаил дыхание. Немцы шли

оглядываясь, но смотрели не в их сторону. Значит, они их не видели, не думали даже о них. Значит, надо подпустить как можно ближе. Чем громче грянут залпы, тем больше паники. Тем безопаснее, черт возьми!

Малик убеждал себя, но, вопреки этим доводам, ему хотелось дать команду стрелять немедленно, стрелять как можно скорее. «Выдержка, еще раз выдержка!» — убеждал он себя. Уже слышно, как скрипит под подошвами наступающих снег. «Выдержка, спокойствие!»

— Давай огонь, пожалуйста, давай огонь! — горячо дыша, шепчет в ухо командиру лежащий рядом с ним связной Керимов, томясь от нетерпения.

Еще немного... Еще чуть-чуть... Дать им всем выйти из леска на поляну. Ударить по всем сразу! Передние уже в нескольких шагах... Вот так!

— Огонь!

Кто-то из наступающих вскрикнул. Они остановились. Затрещали короткие очереди. Несколько солдат упало. Остальные залегли и бьют по кустарнику. Но это ничего, они лежат на снежной поляне. Их видно даже издали, как грачей на поле.

— Огонь!

Автоматчики стреляют все энергичнее. Цель хорошо видна. «Не удержаться, не удержаться!» — убеждал себя Малик, страстно желая, чтобы скорее настал миг, когда неприятель побежит. Число не пугает его. Солдат в окопе стоит десяти на открытой местности. И вот противник не выдержал. На четвереньках солдаты ползут назад. «Еще, еще!»

Автоматчики нажимают. Рокот очередей сливается в сплошной треск. Снежные фонтанчики прыгают по поляне. Точно над белым озером идет крупный дождь. «Ага, бежите, сволочи!»

— Ура-а-а!

Немецкий офицер в шинели с меховым воротником там, у сосны, размахивает пистолетом. Должно быть, пытается их остановить. Малик прижимается щекой к холодному прикладу винтовки, затаив дыхание. Черная точка мушки блуждает около неприятельского офицера. Так. Промазал. Но ничего, они бегут мимо офицера, они что-то кричат, показывая назад на кусты. Что это? В лесу строчат пулеметы. Чьи? Неужели наши? Ага, это немецкие заградители. Вот оно что! Малик уже слышал, что у неприятеля появились части, которые стреляют

по своим, когда те, не выполняя приказа, бегут. «Ничего, ничего, спокойствие!»

Очутившись между двумя огнями, солдаты в длинных зеленых шинелях повернули и снова наступают. У них нет выхода. Напористо идут, передвигаются короткими перебежками.

«Только бы мои не дрогнули! Только бы не вышли из окопов! — думает Малик.— Только бы не дать понять, сколько нас тут!» Пули чирикают, как птицы, сбивая ветки, стряхивая иней. И почему-то бросается в глаза, что остроносые желтогрудые синички, бесстрашно цвикая, суетятся в кустах. Им нет дела до боя.

Уже выбыл из строя зубоскал Гайсин, всегда имевший в запасе для друзей пару соленых шуток. Уже не стало хладнокровного добряка Куцевого, которого Малик помнил еще по эшелону. Упал на бок связной Керимов, упал, но тотчас же грудью лег на бруствер и опять взялся за автомат. Девять оставшихся держатся. И автоматы рокочут в кустах упрямо, деловито, и трудно понять, сколько их — десять... пятнадцать... сто...

Малик, гибкий, быстрый, раскрасневшийся, сверкая черными узкими глазами, горящими от возбуждения, ползает от одного к другому.

— Держись, еще немножко держись! Сейчас побегут!

Каждый из его людей все время чувствует его рядом с собой, слышит, как упруго стрекочет автомат командира.

— Сейчас, сейчас побегут!

И действительно, они побежали. На этот раз молчали и пулеметы заградителей. Должно быть, и там, в чужом штабе, сочли дальнейшую атаку бесполезной. Но зеленая ракета распорола белесый воздух. Что бы это значило? Ага, совсем рядом послышались хлопки. Минометная батарея! Мины с предостерегающим мяуканьем стали падать в кустах. Но не зря всю ночь трудились бойцы, долбя замерзший грунт. Они лежат теперь в узких щелях. Визжащие осколки косят над их головами кустарник, осыпают их прутьями, хвоей, мерзлой землей. Но они-то целы! Целы, черт возьми!

Минометы смолкли. Но нет тишины, слышится урчание моторов. Танки! Должно быть, те самые, о которых докладывал Керимов. Ну да, вот один высунулся из леса. Неужели их повернули назад, на помощь своим? Машины, тяжело воя, переваливают через край лощины.

Пять танков и рота пехоты против девяти бойцов и их командира! Отступать? Бежать? Нет, от танка не убежишь. Бежать — умереть. Сражаться! Отбить танки! В этом шанс выжить, победить. Все это мгновенно пронеслось в мозгу Малика в то время, как он, волоча за собой сумку с гранатами и привязанными к ним бутылками, полз по снегу, наперерез танкам.

Машины шли излюбленным немцами строем — углом вперед, и головная двигалась как раз туда, где за пеньком лежал Малик. На ходу танки эти вели огонь из пушек. Снаряды летели куда-то далеко через головы. «К чему это? Там же никого нет! Шумовые эффекты?» — подумал Малик в мгновение, когда вырывал гранату из сумки. И еще мелькнула догадка: «Они стали бояться».

Машина неслась прямо на него. Он уже различал каждую царапину на броне. Отчетливо мелькнул в его сознании парторг Шашко, величественный и прекрасный в своем самоотверженном боевом вдохновении. В это мгновение машина с грохотом прошла мимо так близко, что отполированный трак чуть не отдавил ему руку. Малик отскочил. Разогнувшись, как пружина, он привстал. Граната с привязанной бутылкой угодила в радиатор машины.

Взрывная волна толкнула Малика в грудь, отбросила в сторону, это спасло его от гусениц второй машины, повернувшей прямо на него. Он не потерял сознания, но бросать гранату было уже поздно, не было времени размахнуться. Тогда Малик почти подсунул ее под гусеницу и, отпрянув, прильнул к земле. Взрыв был так силен, что танк почти перевернуло набок. Плюхнувшись назад, танк остановился, и сразу же желтое, липкое, невысокое пламя побежало по его стальному боку, стало карабкаться к башне. Это вслед за гранатой делала свое дело зажигательная бутылка.

Оглушенный Малик, ощущая, что все тело его покалывает, словно электрическим током, снова схватился за сумку. Но что это? Три машины затормозили, разворачиваются торопливо, толчками. Против кого? Против своих. Да нет же, они идут обратно. Они отступают! И когда это дошло до сознания, Малик без сил упал на землю. Прикосновение к снегу привело его в себя. Двое бойцов, пластаясь по земле, волокли его в кусты.

— А мы думали, вас в лепешку! — говорил один из них, тот, на чьих плечах лежал Малик.

— Давай, давай неси, вон они опять рылом к нам повертывают,— торопил другой, помогая ему.

Очутившись в кустах, в окопчике, Малик сел. Все тело ныло, дрожало мелкой дрожью, острое покалывание становилось мучительным. Мокрое белье липло к лопаткам, связывало движения. Малик осмотрел, ощупал себя. Нет, не ранен, цел. Жадно проглотил комок снега. Как от загнанной лошади, от него поднимался парок.

Но, несмотря на боль от контузии, все в нем ликовало. Это он, он, человек, победил пять танков! Такую сплищу! И опять перед глазами остро, отчетливо, точно живая, мелькнула фигура парторга Шашко.

— Товарищ командир, седайте в окопчик, опять палить начали,— предупредил его кто-то.

Танки, отойдя на приличную дистанцию, открыли огонь. Из леска снова принялась бить минометная батарея. В дисках у автоматчиков оставалось по пять — десять патронов. Ясно: нужно отходить. Но путь к своим преграждали эти танки, стоявшие на опушке. Малик посмотрел на карту. Потом, для себя, решительно прочертил линию в сторону, противоположную от своих позиций, прямо в лес, на немецких минометчиков. Он рассчитал, что будет правильнее лесом сделать круг и в обход вернуться к своим. Он знал, что солдаты беззаветно верят теперь ему, знал, что они выполнят любой его приказ, пойдут за ним на любую опасность.

На четвереньках проползли бойцы по руслу замерзшего ручья до лесной опушки, до того самого места, где в кустах на удобных, аккуратных позициях, обливаясь потом, трудились неприятельские расчеты, посылая мину за миной в кусты, где теперь никого уже не было. По молчаливому сигналу Малика бойцы бросились на минометчиков, последними патронами расправились с ними, взяли их личное оружие, даже их документы и, испортив минометы, скрылись в лесу.

Они сделали большой крюк по самой чаще и в расположение полка пришли спустя много времени. Когда Малик без доклада приподнял полог командирской землянки, подполковник Карпов и его комиссар Мухомедьяров, сидевшие за столом, оглянулись и вдруг вскочили. Они уставились на Малика, стоявшего в проходе в изорванном, окровавленном маскхалате, и на лицах их застыло удивление.

— Габдуллин? — тихо спросил наконец командир.

— Малик, родной! — бросился к нему комиссар, старый его алма-атинский товарищ.

— Я... Что вы — что с вами? Да скажите, что случилось? — спросил, в свою очередь, Малик.

Командир взял со стола бумажку, которую они, видимо, только что читали, и протянул ему: «В бою под деревней Ширяево геройски погибли 13 бойцов-автоматчиков нашего полка, находившиеся в засаде во главе с политруком Габдуллиным Маликом. Как донес разведчик, они сражались до последнего дыхания. В неравном бою они уничтожили два немецких танка и 150 гитлеровцев». Донесение было подписано командиром пятой роты Аникиным и отсекром комсомольского бюро полка Джеджибаевым.

— Что это значит? — спросил командир.

— Мы тут сидим и горюем,— добавил комиссар.

— Тут все правильно, кроме того, что мы погибли, устало улыбнулся Малик, с трудом поднимая отяжелевшие веки.

— Побольше бы таких покойников,— не очень ловко сострил комиссар полка.

Он полез под топчан, порылся в чемодане и, достав со дна бутылку коньяку, бережно завернутую в новые портянки, поставил на стол.

— Как уезжали из Алма-Аты, жена дала на дорогу,— пояснил он.— Слово себе дал бутылку эту спрятать и выпить в день победы. Вот и таскал с тех пор. Разопьем, что ли, по такому случаю? За твое воскресение, Малик!

Сбывались слова генерала Панфилова. Ученый-фольклорист, кабинетный человек, на глазах вырастал в искусного командира. И хотя внешне оставался худощавым городским юношей с красивым смугловатым и тонким, точно выточенным из старой слоновой кости лицом, он стал выносливым и неприхотливым солдатом, суровым к себе, требовательным к подчиненным.

Он командовал уже ротой разведчиков. Когда роту после боевых дел отводили на отдых, он и тут не давал покоя своим людям. Ежедневно с утра до ночи он учил бойцов-казахов ходить на лыжах, сам вместе с ними овладевал этим, чуждым для его народа и потому особенно трудно дававшимся им, искусством. Никудышный стрелок в начале войны, он в редкие дорогие минуты боевого отдыха, когда его товарищи командиры, попарившись в бане, отсыпались, уходил в лес и часами учился целиться

и стрелять, пока не научился первой пулей сбивать с ели шишку. Он был награжден уже орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Его разведчики славились на всю армию. Их известность росла по мере наступления. Раненые, уезжавшие на отдых в родные края, письма бойцов панфиловской дивизии, посылаемые на родину, несли его славу из холодных верхневолжских лесов в далекий Казахстан. О нем говорили уже в колхозах. Старики сравнивали его с легендарными героями прежних дней. О нем сочиняли стихи. Сам того не подозревая, становился он героем степных народных песен, какие он — фольклорист — когда-то собирал с такой любовью и старанием.

Зимой 1942 года его дивизия наступала в авангарде армии. Авангардом дивизии шел полк Карпова, а в боевом охранении полка двигались на лыжах разведчики Малика. Дивизия, прорвав вражеский фронт и огибая его, зашла в тыл неприятельским частям. Ей предстояло замкнуть кольцо окружения за спиной одного из крупных немецких соединений, упорно оборонявшегося в лесах. Острия клещей почти сошлись. Осталась узкая горловина. В центре ее, как замок, была сильно укрепленная деревня, в которой находился неприятельский штаб. Нужно было взять эту деревню и зажать горловину.

На эту операцию решено было бросить первый батальон и роту разведчиков Габдуллина. Они должны были, сделав широкий обход по лесам и болотам, внезапно ударить по деревне, захватить ее и держать до прихода основных сил дивизии. Люди Малика, закаленные долгими, утомительными тренировками, легко проделали трудный лесной переход. Малик дал отдохнуть отряду, потом созвал бойцов и приказал им сбросить вещевые мешки, освободиться от всего лишнего.

— Позавтракаем трофейными закусками,— пообещал он.

К двенадцати вся рота сосредоточилась на опушке леса вблизи деревни. Малик посмотрел на часы. Атака была назначена на двенадцать пятнадцать. Но батальон, с которым он должен был взаимодействовать, еще не подошел.

Уже давно был послан лучший лыжник для связи. Тянулись томительные минуты. Наконец тот вернулся и доложил, что батальон идет без лыж целиной, движется медленно, с трудом протаптывая путь в глубоком снегу, и будет, по-видимому, не раньше чем часа через три. Все

было рассчитано на внезапность. Деревня была крепким орехом, окружена дзотами, закопанными в землю танками. В случае, если бы неприятель, узнав о том, что ему грозит, привел бы в действие всю мощь своей огневой системы, его трудно было бы опрокинуть даже силами дивизии.

Опыт учил Малика ценить в такой обстановке каждую минуту. И он решил атаковать деревню своими силами. Людей он разбил на четыре неравные группы. В одну собрал всех физически слабых и неопытных. Им были выданы все имевшиеся в роте диски, заряженные патронами и трассирующими пулями. Они должны были подобраться к деревне по лесу с направления, откуда немцы могли предполагать атаку. Им было приказано, устроившись поудобнее, ровно в час открыть по деревне частый огонь и вести его, меняя позиции. Тем временем две группы лыжников под командой старшего сержанта Тимонина и сержанта Монахова должны были, по возможности без выстрелов, подобраться к деревне с флангов и, прорвавшись во вражеские траншеи, захватить дзоты с тыла. Сам же Малик с основной атакующей группой решил ворваться в деревню и тут добивать врагов в домах и на улицах.

Этот план атаки значительного гарнизона, да еще сидящего за мощными укреплениями, силами одной роты кажется теперь, из мирного сегодня, чем-то совершенно невероятным. Но, как бы там ни было, этот план, выработанный командиром, уверенным в себе и своих людях, был в тот день разыгран, как по нотам. И когда наконец, часа через два, к месту схватки подоспел подтянувшийся батальон, автоматчики Малика уже заканчивали бой, выковыривая врагов из последних дзотов, вылавливая их на чердаках и в подвалах.

Малик сидел в разбитом гранатами доме немецкого штаба, читал захваченные документы, а один из его бойцов, бывший слесарь Ленинградского механического завода Мартынов, возился у двух несгораемых шкафов и, обливаясь потом, ругал упрямую немецкую технику. Впрочем, он все-таки вскрыл эти шкафы. В одном оказались дислокационная карта района, важные штабные бумаги и много фальшивых советских денег. В другом были коробочки с Железными крестами, предназначенными к отправке в части, окружение которых завершила рота разведчика Малика Габдуллина.

Так, от дела к делу, от боя к бою, продолжал воевать молодой ученый-фольклорист, сам вырастая в героя из устных легенд и песен своего народа. И когда слава его прошла по фронту, его, боевого командира, чуткого политработника, лингвиста, свободно владеющего русским, казахским, киргизским, узбекским, каракалпакским, татарским и немецким языками, назначили агитатором для работы с бойцами нерусских национальностей. И он стал ездить по частям, неся бойцам слово большевистской партии...

Должно быть, об одном из его недавних выступлений здесь, в батальоне, и спел только что солдат-джерши.

...Мы молча сидели у потухшего костра. Последние угли погасли под пеплом. Стемнело. Холодные, острые звезды зажглись в бархате неба, кое-где тронутого багрянцем пожарищ. А песня все еще звучала, и не хотелось шевелиться, чтобы не спугнуть обаяние раздольной степной мелодии.

— Вот так и рождаются легенды,— тихо произнес лейтенант Климов, отвечая на какие-то свои мысли.

1943

ЗНАМЯ ПОЛКА

Вот оно, это старое, тяжелого шелка, шитое золотом знамя — боевая святыня танкового полка,— знамя, за которое в самых необыкновенных условиях два года непрерывно шла скрытая жестокая борьба. В этой борьбе участвовало много людей, много пролилось крови и не один человек отдал свою жизнь. Но основными героями этой борьбы так до конца и остались пожилая колхозница с усталым, изборожденным скорбными морщинами, суровым и умным лицом — Ульяна Михайловна Белогруд и ее дочь Марийка, семнадцатилетняя украинская красавица, всем своим обликом напоминающая обаятельные портреты кисти юного Тараса Шевченко.

Борьба за знамя началась в сентябре 1941 года в степях Полтавщины, изрезанных крутыми петлями неторопливой и полноводной реки Псел.

Немецкие бронетанковые дивизии генерала Клейста, форсировав Днепр, рвались тогда к Харькову, а остатки советского танкового полка, давно уже отрезанного от своих частей, продолжали борьбу в долине Псела, устраивая засады на дорогах, нападая на комендатуры у трактов, на маленькие сельские тыловые гарнизоны.

У танкистов давно кончился бензин. Они заправляли свои машины из подбитых танков, стоявших на местах недавних боев, и продолжали воевать. Серьезно обеспокоенные немецкие штабы поворачивали против необыкновенных партизан маршевые части, двигавшиеся к фронту. В этих неравных боях полк таял. Наконец 25 сентября в бою у Оржеца сгорели последние две машины. От танкового полка осталось восемь человек личного состава: старший лейтенант Василий Шамриха, политрук Степан Шаповаленко, лейтенант Леонид Якута, старшина Григорий Лысенко и солдаты Никита Яковлев, Лев Насонов, Николай Ожерелов и Александр Савельев. Это были танкисты без танков, лишенные привычного оружия. Они находились в глубоком неприятельском тылу, но никто из них и не думал опускать руки.

Ночью в болоте возле Оржеца, в шелестящих зарослях сухого камыша, лейтенант Шамриха сделал привал своему отряду. Он вынул из-за пазухи полотнище полкового знамени, завернутое в рубашку, развернул его при свете луны, прижал к сердцу скользкий шелк и сказал товарищам торжественно и решительно:

— Пока мы, восемь солдат, держим в руках оружие, пока с нами это знамя, полк наш не побежден. Он существует. Действует. Поклянемся, товарищи, перед этим знаменем, что ни трусостью, ни малодушием не опозорим его, что оружия не сложим и, пока живы, пока хоть в одном из нас бьется сердце, будем хранить знамя и бить гитлеровцев.

Лейтенант первым стал на колени, сказал: «Клянусь!» — и поцеловал уголок полотнища. За ним проделали то же каждый из его товарищей. Потом Шамриха зашил полотнище в подкладку своей ватной куртки и сказал: «Пошли».

Так спешенные танкисты начали партизанскую войну. Может быть, кто-нибудь из оставшихся в живых участников этой партизанской группы теперь на досуге уже подсчитал, сколько было сожжено ими в эту осень немецких автомашин, сколько перехвачено транспортов, сколько

побито врагов в степных засадах, сколько роздано населению или сожжено пшеницы из той, что подготовляли немецкие интенданты к вывозке «нах фатерлянд». Тогда им было не до подсчетов, они действовали. Они воевали — и воевали умело: осторожные, быстрые, били всегда точно, возникая внезапно в степи и так же внезапно бесследно исчезая. И лучшей оценкой их деятельности была распространенная немецкой фельдкомендатурой инструкция «О борьбе с появившейся в Великокрынском, Кобелякском и Решетиловском районах десантной частью в танкистских шлемах».

В этой инструкции немцам и их наймитам предписывалась крайняя осторожность при передвижении по степи, запрещалось выезжать затемно и ездить колоннами меньше чем по пятнадцати машин, без конвоя, усиливалась почетная охрана комендатур, гарнизоны в селах сводились из сельских хат в общие помещения. Одновременно повсюду появились объявления: селянам сулились богатые награды и всяческие блага, если они помогут напасть на след советской «шайки в танкистских шлемах» или живым либо мертвым доставят в комендатуру хотя бы одного партизана-танкиста. Издалека, откуда-то из-под Тарнополя, были вызваны на Псел части СС. По селам начались массовые облавы, слежки, аресты. Эскадроны конной полевой полиции шныряли по степи, обшаривали балки, лощины, зажигали сухие камышовые заросли.

Но хотя степи в этих местах голые, гладкие, как колено, а зимой, когда все кругом ослепительно бело, можно заметить в них человека за несколько километров, «десантная часть в танкистских шлемах» была неуловима. Появились даже сообщения о том, что ее для операции привозят на самолетах из советского тыла, с неведомых баз, а потом тем же путем увозят обратно.

Теперь, когда отшумела война в украинских степях, можно, конечно, выдать секрет партизанской неуловимости. Танкисты Шамрихи завели себе крепких друзей среди местного населения, и, когда эсэсовский отряд и полевая полиция окружали село, партизаны и не думали бежать или прятаться, а оставались там же, где были, и занимались кто слесарным делом, кто чеботарством, кто какой-нибудь другой мирной работенкой. Они пережидали, пока облава кончалась и округа приходила в себя. Потом

доставали из укромных мест шлемы и оружие, прощались со своими друзьями, в которых у них не было недостатка, уходили подальше — и опять, по степи, по занесенным снегом деревням, из уст в уста передавались вести о появлении советских частей, о внезапных налетах, пожарах, взрывах, казнях предателей. Действовали в этих краях, разумеется, и другие партизанские отряды. Но напуганные оккупационные власти и их боевую работу приписывали таинственным танкистам.

Знамя танкисты хранили как зеницу ока. Оно как бы сплачивало эту горстку отважных воинов, связывало их с родной армией, сражавшейся за сотни километров от них. Но они допустили оплошность. Они рассказали коекому из селян об этом знамени. Неведомым путем эта весть доползла до оккупантов. В комендатурах смекнули, что «неуловимая десантная часть в танкистских шлемах» имеет какую-то связь с этим знаменем. За захваченное военное знамя в немецком вермахте полагались Железный крест первой степени, повышение в следующий чин и месячный отпуск на родину. Все это подтолкнуло оккупантов начать бешеные поиски.

После многих облав, арестов, допросов коменданту в местечке Решетиловка удалось напасть на след. Ночью эсэсовцы выследили Василия Шамриху, возвращавшегося из степи с операции. Вместе с ним были арестованы Шаповаленко, Якута, Лысенко. Их привезли в местечко, раздели донага, всю одежду вспороли, изрезали, искромсали на клочки. Знамени не нашлось. Тогда их стали пытать. Для этого нацисты выдумали такой способ: воинов голыми привязали к столбам и начали обливать холодной водой.

Был январь, по степи дул острый северный ветер, от мороза трещал лед в колодезном срубе.

— Где знамя?

Ледяные панцири постепенно покрывали посиневшие, немеющие тела. Эсэсовцы лили и лили воду. Заживо танкисты превращались в ледяные статуи.

— Скажите, где знамя, отогреем, вылечим, в водке купаться будете! — требовал через переводчика комендант.

— Чтоб вы все сдохли, проклятые, чтоб ваш Берлин сгорел к чертовой матери, чтоб вашего Гитлера разорвало! — хрипел Шамриха почерневшим ртом.

Он жил дольше всех и, как рассказывали женщины, уже из ледяного панциря продолжал сулить Гитлеру и всем нацистам еще более страшную смерть.

Так и замерзли четыре танкиста, ничего не сказав. А знамя в это время находилось в подкладке тужурки бойца Ожерелова. Вместе с Насоновым, Яковлевым и Савельевым он сидел в избе своего верного друга — крестьянина села Попивка, коммуниста Павла Трофимовича Белогруда, и обсуждали они, как в новой, усложнившейся обстановке, когда их непрерывно ищут и каждому из них грозит арест, сберечь полковую святыню.

Решено было, что танкисты уйдут партизанить в дальние районы Полтавщины, а знамя оставят на хранение Павлу Трофимовичу. Вечером Павел Трофимович собрал семью. Захлопнули ставни, закрыли двери на крючок, на засов, на щеколду. Колхозник развернул знамя и показал его семейным:

— Вси бачилы? Ну, ось! Розумиете, що це таке?

Потом велел он жене и дочери Марийке аккуратно сложить знамя и зашить в сатиновую наволочку. Сам он обстрогал фанерку, положил на нее сверток со знаменем и приколотил фанерку снизу к тыльной части сиденья широкой дубовой скамьи в красном углу хаты.

— Як що зи мною щось трапиться, кожен з вас, хто залышиться живый, хоронить цей прапор свято и непорушно, доки наше вийско не вернется у Попивку. А як прийдуть — передайте цей прапор самому бильшому з военных...

И сказал он еще, что, если кого-нибудь из них будут пытать, пусть даст он вырвать язык, очи выколоть, душу вынуть, но ничего про знамя не скажет.

Старому Белогруду первому в семье пришлось выполнить этот свой завет. В тяжелых муках умерли, так ни слова и не сказав о знамени, лейтенант Василий Шамриха и его товарищи. Но немцы дознались стороной, что погибшие партизаны иногда гостевали в Попивке у Белогрудов и у других крестьян. Летучий отряд полевой жандармерии схватил Павла Трофимовича, брата его Андрия Трофимовича и еще одиннадцать попивских граждан и отвез их в Великокрынскую тюрьму. Когда старому Белогруду вязали на спине руки, он успел шепнуть Ульяне Михайловне:

— Що б зи мною ни трапилось, про тэ ни гугу... Бережить тэ, як зеницю ока!

Арестованных крестьян в тюрьме, помещавшейся в здании Великокрынского педагогического техникума, ждала не менее страшная участь, чем их предшественников. Желая дознаться, где спрятано неуловимое знамя, эсэсовцы превосходили самих себя. Они жгли тела крестьян паяльными лампами, пробивали гвоздями кисти рук и ступни, напоследок обрезали уши и носы. Ослепленный, окровавленный, еле живой Белогруд, сверкая невидящими уже глазами из-под кустистых бровей, на вопрос, где знамя, хрипел:

— Ничого не знаю... Не знаю, чтоб вы повыздыхалы!..

С тем и умерли украинские крестьяне Павел Белогруд и его брат Андрий и их односельчане, не выдав партизанской тайны. И тайна эта всей своей тяжестью легла на плечи жены Белогруда.

Немцы почему-то догадывались, что знамя спрятано у нее. Ожегшись на прямых ходах, они изобретали все новые и новые способы выведать секрет. Ульяне Михайловне предлагали награду, сулили богатые подарки. Зная, что вдова живет трудно, впроголодь, после того как эсэсовцы очистили при аресте мужа ее кладовки и клуни, ей обещали муки, круп, керосину, мяса, если она скажет, где хранится оставленный партизанами сверток. Подобно мужу, она упорно отвечала, что ни о каком свертке ничего не знает.

Днем, при детях, она держалась замкнуто, деловитая, гордая, а по ночам, когда в хате стихало, она осторожно сползала с печи, кралась в красный угол и щупала руками, тут ли оно, это знамя, принесшее ее семье столько горя.

На округу тем временем обрушилась новая беда. Стали угонять молодежь в Германию. По разверстке каждая детная семья должна была «для начала поставить», как писалось в уведомительном приказе, по «одной здоровой единице — девице или парню по усмотрению». Воспользовавшись этим набором, комендант попытался нажать на самое чувствительное в душе каждой женщины — сыграть на материнском чувстве. Солдаты схватили троих детей Ульяны Михайловны — дочь Любу, сыновей Петра и Ивана — для отправки в Германию. Испуганной матери, прибежавшей пешком в решетиловскую комендатуру, прямо так и сказали:

— Выдай то, что оставили партизаны, всех детей вернем и бумажку такую дадим, что никто из них больше никакой мобилизации не подлежит.

Ничего не ответив, вернулась она домой. Всю ночь, весь день и еще ночь проплакали, сидя обнявшись, Ульяна Михайловна и Марийка, которая сумела спастись от облавы, зарывшись в стогу яровой соломы. Тяжко было матери отпускать в неметчину Любу, еще тяжелей — прощаться с двумя сынами, так напоминавшими ей покойного Павла Трофимовича. Моментами она колебалась, вставала, шатающейся походкой подходила к красному углу, падала на скамью и шарила под ней рукой: тут ли оно? Убеждалась, что тут, и опять садилась к дочери, обнимая ее, плакала: как быть?

Утром мобилизованные, ночевавшие под охраной в здании сельской больницы, были выгнаны на улицу. Уже скрипели подводы, слышались женский плач и крики солдат. Колонны должны были вот-вот тронуться. К Белогрудам вошел человек от коменданта и опять спросил, отдаст ли Ульяна партизанский сверток. Женщина встала бледная. Придерживаясь рукой о стену, она подняла на посланного исплаканные ненавидящие глаза:

— Нема у мене ниякого узылка. Никаких партизан я не бачила!..

И, обливаясь слезами, упала на лавку, не в силах выйти и проводить детей, направлявшихся в страшный путь.

Так хранили мать и дочь год семь месяцев это полковое знамя, поддерживаемые уверенностью, что пройдут лихие времена, что сбудутся слова покойного Белогруда и настанет день, когда по зеленой улице родной Попивки пойдут свои войска и передаст она им это знамя, омытое чистой кровью борцов и мучеников, гордо пронесенное ею сквозь столько несчастий, испытаний и бед.

И день этот стал приближаться. Мимо Попивки по большаку к Днепру потянулись бесконечные немецкие обозы. Они совсем не походили на те стройные вереницы страшных гудящих машин, которые двигались на северо-восток два года назад, заполняя лязгом и грохотом степные просторы, поднимая облака пыли до самого неба. Где остались все эти грозные машины? Куда делись огромные пушки, мощные танки, бесконечные утюгоподобные броневики? Где нацисты потеряли всю эту сталь, в

которой чувствовали они себя неуязвимыми, сталь, отлитую для них на заводах всей Европы?

Лишенные своих машин, они походили на улиток, выковырнутых из раковин, и никому уже не внушали страха. Усталые, небритые, в разбитых сапогах или босиком, в обтрепанных мундирах, они брели, погоняя дрючками усталых волов и кляч. Гремели пыльные помятые машины, груженные зерном, мебелью, перинами и всяческим барахлом. И хотя стоявшие в деревне солдаты пытались хорохориться и что-то такое твердили о перегруппировке, Ульяна Михайловна поняла: отступают. Она как-то сразу распрямилась, помолодела, посвежела от одной этой вести. По утрам, поднявшись до света, она с высокого косогора над Пселом с надеждой смотрела на восток, где над ветлами, глядевшимися в стальное зеркало невозмутимой реки, поднималось солнце.

Обгоняя откатывающегося неприятеля, по степям Полтавщины шли слухи, что, отступая, нацисты напоследок лютуют, все жгут, режут и угоняют скот, бьют лошадей. По ночам зарева пожаров вставали на горизонте и, не затухая, полыхали до утра, обнимая полнеба.

И думала Ульяна Михайловна: а знамя? Оно может сгореть вместе с хатой... Столько терпела, столько мучилась, столько перенесла, и вдруг теперь, в последний момент, не уберечь!..

Посоветовавшись с дочкой, она решила держать знамя при себе. Вынули сверток из заветного узла, куда спрятал его еще покойный Павел Трофимович. Вспороли наволочку, завернули шелковое полотнище в чистую холстину, и холстиной этой Ульяна Михайловна обмотала себя под платьем. Так и ходила она, день и ночь не расставаясь со знаменем ни на минуту, неусыпная, настороженная, с бьющимся сердцем прислушиваясь к глухой канонаде, доносившейся росистыми утрами оттуда, из-за Псела.

А фронт приближался. Квартировавшие в Попивке немцы ночью вдруг сорвались по тревоге и принялись жечь дома, скирды с хлебом, сараи. Они начали с дальнего конца, от церкви, и Ульяна Михайловна с Марийкой, стоя на огороде, задыхались в чаду и прогорклом дыму пожарищ, гадали: успеют их подпалить или нет? К хате подкатил мотоцикл. С багажника соскочил переводчик, а из железной галоши вылез офицер, в котором Ульяна узнала решетиловского коменданта. Он был грязен, пылен,

лицо его обросло красной шерстью. Но, даже отступая, не бросил он, должно быть, мечты о Железном кресте, о следующем чине, а главное — о месячном отпуске на родину с этого страшного фронта, где все трещало, рушилось и бежало под напором советских войск.

— Господин обер-лейтенант говорит тебе в последний раз: отдай нам сверток, спрятанный партизанами. Видишь, все горит. Хату оставим, корову оставим, хлеб оставим. Отдай!

— Не розумию, про що вы пытаете,— устало сказала женщина, с тоской глядя, как подбежавшие солдаты обливают керосином ее просторную, крепкую, построенную еще покойным мужем, на века построенную хату. И вот уже поднимаются языки пламени к камышовой крыше, вот, гудя, лижет оно резные, расписанные цветами, голубые наличники и ставни, которые за год перед войной, когда пришло в село колхозное богатство, с такой любовью вырезал и выпиливал ее муж с помощью сыновей.

И упала женщина на сухую теплую землю огорода, и залилась она горькими слезами у пылающего пепелища на холме над Пселом, посреди объятой пламенем, окутанной едким дымом деревни. Ни о чем не помня, голосила она до самого вечера, и ни соседки, ни старуха свекровь не могли ее утешить. Она плакала, пока не услышала над собой голос дочери:

— Мамо! Мамо! Наши!.. Та наши ж, мамо, чрез Псел перейшлы! — твердила, толкая ее, Марийка, радостная, сияющая.

Только тут пришла Ульяна Белогруд в себя, поднялась с земли — и вдруг ощутила обвернутое вокруг тела знамя. Клубок радости, от которого захватило дыхание, поднялся ей к горлу. Она встала, развернула материю, распорола холст и вынула алое полотнище, расшитое золотом и шелком. Мать и дочь растянули его и пошли с ним от догоравшей хаты через деревню к реке. А на другом берегу спускались по откосу к броду первые отряды солдат в знакомой, родной форме, в запыленных и выгоревших гимнастерках, с налетом соли, выступившим на лопатках, с автоматами в руках...

Ну, что еще можно к этому добавить? Бойцы Насонов, Ожерелов, Яковлев и Савельев успешно партизанили на Полтавщине, сколотили свой отряд и с ним вместе пробились через фронт к нашим наступающим частям. Они нашли большого командира, вместе с ним приехали в По-

пивку, взяли знамя у Белогрудов, и с соответствующими воинскими почестями оно было возвращено в танковое соединение, в составе которого был возрожден танковый полк.

И вот теперь, перед тем как новобранцы-танкисты приносят в этом полку присягу, офицеры рассказывают им историю их боевого знамени, сохраненного беззаветным героизмом советских людей от вражеских рук, знамени, которое возрожденный полк с боями пронес через всю Украину в Румынию, а потом от Тарнополя через Польшу, через пять немецких провинций в Берлин.

И, отдавая этому знамени воинские почести, полк вместе с теми, кто с честью пронес его по дорогам войны в столицу врага, чтит и тех, кто сберег полковую святыню.

1943

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

РАССКАЗ ПОДПОЛЬЩИКА

— Этого самого человека,— имя-то его я все-таки изменю, потому что уж очень чудная эта история,— ну, назовем условно, Олеся Кущевого,— знавал я и до войны. Собственно, как знавал: здравствуй, прощай, шапочное знакомство. Раза два видел его в Кривом Роге на стахановских слетах, он тогда со страниц газет не слезал, ну, мне и показали: вон он сидит, этот самый знаменитый Кущевой-то. Потом раз из Москвы мы с ним ехали, ордена нам за руду в Кремле вручали, ну и попали мы с ним на обратном пути в один поезд, в одно купе. Сутки ехали и не разговорились как следует. Он все в окно глядел да насвистывал. Раз только — какие-то сады мы проезжали, а весна была, сады-то цвели, ну, словно снежные вороха средь зелени белели,— он было и принялся мне рассказывать, что хочет у себя на руднике в садочке какие-то там мичуринские, особые сорта грушек завести. Но и об этом не успели разговориться. Отвернулся и опять засвистел. Тошно мне с ним стало. Ушел я к своим ребятам в соседнее купе, там у них и прижился. Я люблю людей — душа нараспашку, чтоб человек и поработать как следует умел, и выпить был бы не дурак, и разговор

чтоб хороший держать мог, и чужой разговор слушать, ну, а в подходящий случай чтоб и песню спел. А это что: едет человек из Москвы, сам Михаил Иванович Трудовое Знамя ему к пиджаку привинтил, а он хотя бы улыбнулся. Долдонит там про какие-то немыслимые грушки.

И больше с тех пор я его и не видел, Олеся Кущевого, до того самого лихого лета, когда вдруг наше знаменитое Криворожье фронтом стало. Вы помните, как было? Сначала-то мы надеялись, что немца скоро остановят и потом на Берлин пойдут. А позже наши рудничные на Буг куда-то отправились линию обороны копать,— ну и на ту линию маленько надеялись. И вдруг — бац, эвакуируют наши заводы! Тут и поняли мы: худо! Неужели с насиженных мест сниматься? Да как снимешься-то? Завод — дело иное: машины, станки разобрал, на платформу нагрузил и — айда хоть на Дальний Восток. А рудник-то, как его разберешь? Он весь под землей. Сверху-то только копер, подъемка, а они на кой шут кому нужны! А руда-то, сами знаете, у нас какая! Ох, хороша! Немец, говорят, еще при царе на нее зарился. Все с концессиями набивался.

Словом, получаем от обкома директиву рудники рвать... Рвать! Это легко сказать. Это рабочему человеку все равно что дитя свое собственной рукой убить. Растил, кормил, холил, вырастил себе на радость — и тут ему конец. А что делать станешь! Не фашисту же отдавать! Рвали. Плакали, а рвали! Потому — разве допустимо, чтоб фашист этой самой нашей знаменитой рудой да по нас?! Ох, дорогой товарищ, и тяжелое это дело для старого рударя! Деды, батьки тут твои работали, сам ты тут вырос, делу своему научился, славу себе трудом своим добыл. Так что ж поделаешь: война.

Ну, да это я забрел в сторону. Так вот на том самом знаменитом руднике, где лучшая наша руда была и где тот самый, условно названный нами Олесь Кущевой работал, маленько ребята сплоховали. И не маленько, а по правде сказать, здорово. Наш брат, рударь, к взрывному делу смолоду приучен. И уж как это у них получилось, не знаю: заряд ли мал положили, или трухнул кто в последнюю минуту,— немцы-то к тому руднику на танках неожиданно выскочили,— а только взрыв-то вышел боком, так, подъемку разнес да самую малость копер покалечил. Стало быть, сюрприз: такой рудник — и фашисту в руки,

ну только что не на ходу! Конечно, там электростанция, насосы, воздуходувка — это все увезено было, но рудник-то целый!

А тут кряду второй сюрприз. Торопится это их секретарь партбюро с последней группой, той самой, что рудник взрывала, по поселку, от немцев уж спасаются, а этот самый Кущевой возле своей хатки как ни в чем не бывало в садочке копается. Пиджак на яблоньке аккуратным образом развесил, рукава засучил и какую-то там малину, что ли, черт ее подери, подстригает. Ему: «Ты с ума сошел, немецкие танки уж на подходе!» А он: «Ну-к что ж танки? Танк и в степи догонит. Чему,— говорит,— быть, того не миновать. Не пойду я, ребята, решил остаться». Те глядят на него во все глаза: рехнулся, что ли, человек? А он отвернулся и режет себе эту проклятую свою малину.

Ну, агитацию тут разводить некогда, немцы-то вот они. Сбежали ребята к реке да по реке, по ракитнику, по ракитнику из поселка в степь. Идут они и точно в душу кто плюнул. Человек этот у них в мозгу гвоздем засел: неужели в хорошем рудничном стаде не без паршивой овцы? И главное, все они его до самого последнего дня уважали, портреты его на демонстрации носили, новатором он у них слыл. И опять же орден, да какой! Сам Михаил Иванович ему прикрепил. Ну, тут вспомнили, понятно, такое обстоятельство: в партию он не шел. Ему рудничные коммунисты не раз намекали, дескать, не пора ли: наша гордость, знатный человек. А он все отговаривался, дескать, рано, вот заслужу чем-ничем, подам. Ну, тут, конечно, сразу и пришло это всем на ум: не случайно, не зря...

Короче говоря, когда подпольная организация меня на тот рудник направляла, говорят мне: «Этого Олеся Кущевого опасайся. Этот самый Олесь, как нам доложили, с фашистами уже снюхался...»

Ну, ладно, слушайте дальше. Пришел я, значит, на этот самый рудник — да не шахтером, понятно, а чеботарем. У меня батька когда-то, в годы безработицы, чеботарством кормился, да и сам я в молодости, пока на рудник не определился, этим делом в Днепропетровске маленько занимался. Кое-что смекал. А тут у меня все чин чином: и паспорт с немецким штампом, и этот ихний аусвайс, и днепропетровская прописка, и справка от тамошней комендатуры, ну, инструментишко кое-какой —

и борода. Не бог весть, правда, какая, короткая и рыжая, как медвежий хвост, однако ж настоящая борода. Немцев-то я не очень опасался, шляповаты они на этот счет, им главное — бумага, а раз в бумаге сказано: их человек — стало быть, живи. Боялся я, как бы на кого из знакомых не наскочить. Борода-то, она, конечно, человека меняет, однако в Криворожье был я не из последних. И о рекордах моих писывали, и портрет мой по газетам ходил, словом, знал народ.

Однако и это обошлось. Помаленьку обосновался. Из бумаги этакий гусарский сапог вырезал, на стекло наклеил, цену беру дешевую, чеботарю. Хвалиться не стану, заказчик ко мне пошел. Ну, разговоры, то, се узнаю, что и как, к людям присматриваюсь, вижу — ничего, то есть это у нас ничего, а у немцев плохо. Другие-то рудники в Криворожье все взорваны, так они всей силой на этот навалились. Вывеску огромную набили: «Акционерное общество «Восток Герман Геринг верке». Восстанавливают, деньжищи в него валят. А дело-то ни тпру ни ну. Ну, там электростанцию, подъемку — это они быстро наладили. Где-то в другом месте, видать, украли, привезли, смонтировали — и пошло. А руда-то — нет, руда им не дается.

Почему? А вот слушайте. Коренной-то наш рударь весь загодя от немцев ушел. С семьями на Урал все эвакуировались. Иные в армию подались. Остались кто? Старичье, пенсионеры, доминошное племя, кто за хибарку свою, за усадьбишку держались. Ну, немцы за них принялись. Сперва-то врач один, хороший, видно, человек был, все освобождения давал по болезням. Но врача этого гестаповцы быстро расшифровали и расстреляли, беднягу. Стариков всех на рудник под конвоем. «Какую прежде профессию имел?» Те в один голос: «Никакой, чернорабочий, поднять да бросить». И волынят, дела не делают и от дела не бегают. Много с ними этот самый господин шеф Иоганн Эберт канители имел. Он к ним и с посулом, и с угрозой, и с пайком, и с палкой — не идет дело. Расстрелял даже несколько для примера. И это не помогло. Держатся старички. «Нас,— говорят,— смертью не пугай, мы свое прожили».

Я к тому времени уже людей хороших нащупал, коекому открылся. Среди старичков тех две бригадки организовал для подпольной работы. Через них со всем рудником в связи вошел, с липки своей не подымаясь. И вот докладывают мне мои бригадиры: из всех коренных здеш-

них работает с оккупантами один Олесь. С первого дня, как немцы пришли, говорят, оделся почище и — к их шефу. Так, мол, и так, гражданин такой-то, хочу, дескать, лояльно сотрудничать с вашей администрацией. Те, понятно, обеими руками в него вцепились. Сперва-то он в десятниках у них ходил, потом, слышь, старшим по подземным работам сделали. Ну, думаю, погоди, друг милой, тебя советская власть куда вознесла, а ты ей так платишь? И вот предлагают мне мои подпольные бригадиры того самого Олеся убрать. «Что ж,— говорю,— дело святое: паука убить — сорок грехов простится. Убирайте, но чтоб тихо».

И ведь, скажи ты, не убрали, не смогли: осторожный. Только и ходит с рудника домой, из дома на рудник, вот и весь путь. И то днем. А дома у него офицеры немецкие стояли. Внешняя охрана. Не выходит. Ладно, думаю, погодим, сколько веревочку ни вить, а концу быть, допрыгаешься. А тем временем работа у фашистов быстрей пошла. Почему? А вот почему. В наших-то рударях отчаявшись, пригнали они на рудники военнопленных. Они с ними поступали как? В лагере до смерти доведут, человек уж ноги не волочит, тогда к нему: хочешь работать — кормить станем. Ну, некоторые, понятно, и соглашались. В могилу-то кому охота самому лезть! А тут еще думка: а ну, улучу минутку, сбегу или что еще. И хорошие ребята прибыли, я с ними сразу связался. Лихие, подавай им взрывчатку, хоть сейчас весь рудник к небу. Я и средь них подпольную бригадку организовал, по пятерочке на барак. Сижу я этак-то, значит, у себя на липке, гвоздишки в подметку загоняю, тихо-смирно, а помощники мои и на руднике, и в бараках военнопленных, и в поселке. Информация ко мне течет — то там, то тут машинишки загораются, склады вспыхивают, состав там с откоса летит или еще что, и все шито-крыто.

Фашист-то, он, по Европе погуляв, поначалу думал: раз землю оккупировал — моя земля; солдат нагнал, виселицу на площади вкопал, всякие там комендатуры, подкомендатуры организовал — стало быть, моя власть; чья сила, тот и пан! Ан шалишь, у нас этот закон не действует. Днем — твоя сила, ночью — наша; ты предполагаешь, а мы располагаем; ты весь оружием обвешался, и дрожишь, как заяц, и с темнотой нос из хаты высунуть боишься. Не везде, конечно, но у нас, на руднике, так и было.

Ну, опять я в сторону понес. Словоохотлив что-то становлюсь к старости. Словом, с военнопленными я быстро сговорился. Как возможность будет, рванем рудник. Только чем? Нечем. С подпольным обкомом у меня только радиосвязь. Обещают при случае мин доставить, да жди его, случая! А тут дело к концу идет, рудник вот-вот восстановят. Наказал я было своим ребятам на руднике шашки какие-нибудь старые пошарить — где тут: надзор! На пятерых наших один немец, каждый шаг на виду... Скучное дело. И пуще всего зло мне на этого Олеся, что для немцев старается. «Ах ты,— думаю,— иуда скариотская, только бы мне до тебя добраться, я б тебе показал грушки!»

А он, докладывают мне, вроде еще осторожнее стал, с пленными заигрывает, кое-кому увольнительные схлопотал, перед начальством их прикрывает, будто даже красноармейкам, кому особо туго приходится, пайчишко свой носит. «Нет,— думаю,— шалишь, не обманешь! Назад тебе ходу нету». А тут мои ребята изловчились, красного петуха ему подпустили, домишко его сгорел начисто. У офицеров, его постояльцев, весь шурум-бурум пропал. А сам он, вишь, на руднике в ту ночь был, только к утру вернулся. И докладывают ребята: не столько за дом, сколько за грушки свои убивался. Какие-то там, вишь, особые у него грушки были. После этого случая жена его с ребенком вовсе исчезла, невесть куда он ее запрятал, а сам на руднике в конторе жил. Поди-ка теперь к нему через всю охрану доберись!

«Ну,— думаю,— глубоко ты залез, а от народа не уйдешь, народ осерчает — под землей сыщет».

Между тем уж зима настала, вторая зима под оккупантами.

Раз как-то в начале декабря является ко мне один дед со старым-престарым сапогом: сапог-то, вишь, его сын в починку прислал, и завернул он сапог в газету. Тут они, немцы, в Днепропетровске газету эту на украинском языке издавали. И в газете страница целая. И все о нашем руднике: дескать, возрождение разрушенного большевиками края с помощью гитлеровского командования. Что такое? Я и сапог забыл, читаю: «Жемчужина Криворожья возрождена!» Оказывается, все это о том, что готов к пуску рудник наш и что в рождественские дни выдаст он на-гора для Германской империи первые вагонетки знаменитой криворожской руды. Спрашивает дед, а он у нас, сам

того не зная, за связного ходил: как, дескать, мастер, с сапогом-то быть, починишь, что ли? А я думаю, провались ты, старый мухомор, со своим сапогом. «К вечеру,— говорю,— пусть сам твой сын за сапогом заходит, да пусть соседей захватит, понял?» А сын-то его — мой бригадир, а соседи — это на нашем, значит, языке — другие бригадиры. Уплелся старик, а я сижу над сапогом и себя казню: «Ах ты, подпольщик! До какого дела допустил!» А тут радист мой, была у меня такая девушка лихая, с Большой землей связь держала, так вот она приняла приказ: из штаба мне стукают насчет рудника—дескать, постарайся пуск не допустить!

Хорошо. А как не допустишь? Я вечером бригадирам своим — сидели мы с ними, для отводу глаз песни горланили, самогонка свекольная «коньяк — три буряка» для декорации на столе у нас стояла — и говорю: «Как же быть?» И, как мы не вертим, не выходит у нас дело. Оккупанты-то дураки-дураки, а, должно быть, сообразили, кто им машины-то жжет. Наставили везде караулов, на шахтах собак завели, двор ночью прожекторами освещен — кошке не пробежать. Что делать?

«Плохо,— говорю,— ребята». «Плохо,— отвечают бригадиры.— Надо хуже, да нельзя».

Сговорились, однако, пойти на крайность. Если уж до рудника добраться у нас пока руки коротки, хоть праздник им сорвем. Тут у нас старичок один, подрывник, научился преотличные гранатки из консервных банок мастерить. Вот дать кое-кому из наших по такой самодельной гранатке, ну да в день открытия и угостить ими как следует всех гостей, что, как эта газетенка писала, на открытие рудника приедут.

Ладно. И так меня это заело, что решил я инструкции все нарушить и сам в этот день с ребятами рискнуть. Не дело это, конечно, знаю, однако ведь я тоже человек, самолюбие у меня тоже имеется. Ну, стали мы готовиться. Людей подобрал я хороших — кремни. Двое из военнопленных: один — бывший инженер из Тулы, другой — наш украинец, с Днепра комбайнер. Решительные ребята и с соображением. Да еще из наших старых рударей один вызвался, хорошим забойщиком был, ну а у немца — «поднять да бросить» работал. А четвертый — я сам. Мне уж и пропуск достали — как местному кустарю, так сказать, представителю расцветающей частной инициативы.

А праздник уже вот он, на носу. И газета их эта все трещит, точно нас дразнит: пуск... индустриальное возрождение... из Берлина гости высокие едут. «Ладно,— думаю, — мы тут вашим гостям бражки сварим!» А на руднике подготовка, этих самых их фельдполицаев нагнали, танки по углам рудничного двора расставили, прожекторы. Весь копер в цветную бумагу убрали, как елку, на верхушке этот самый их орел щипаный, в свастику вцепившийся, разместился. Рассказывают мне старички и гадают: не иначе, кого из очень важных ждут.

Ведь и верно, так и вышло. За день перед праздником прямо на рудник пожаловал особый поезд. Спереди, сзади бронеплощадки, а посреди все салоны-вагоны, и вылазят из вагонов гости. Тут этот самый толстый, рыжий директор концерна «Восток» из Криворожья, доктор Шрам, что ли,— его наши все доктором Срам звали; лютый был немец, так со стальным хлыстом и ходил; чуть не по нем — рабочий ли, инженер ли, ему все равно,— так этим хлыстом и вытянет. Но он-то, вышло, приехал среди них самый меньший, потому как вылезли из других вагонов всяческие их начальники, он перед ними так и стелется, чуть не в пояс им кланяется, улыбается, как пес шелудивый. Ну, и всяких тут их фотографов, киношников целая толпа. В ногах так и вертятся. Ну, и мы тут вчетвером в народе толчемся вроде как любопытные. Стоим, а эти фотографы их все нас норовят снять и все показывают: дескать, улыбайтесь. Хотели мы в приезжих баночки наши метнуть, когда они из поезда вылезали, да эти фотографы помешали, стеной их от нас отгородили, мы и не кинули.

И тут вот чувствую я, что кто-то на меня глядит. Оглянулся, ба, старый знакомый, Олесь Кущевой на меня уставился.

«Неужто,— думаю,— узнал сквозь бороду-то? Ах, подлец!» Я уж было в толпу, однако если вот так прямо выскользнуть, то как раз и попадешь полиции в лапы... Стою. И он стоит. Смотрю, и он смотрит прямо на меня издали, исподлобья этак, и вроде усмехается и, показалось мне, головой качает. А кому — не знаю. В толпу кому-то, а мне все кажется, что мне. «Ну, погоди,— думаю,— иуда скариотская, бога благодари, что за крупной дичью пришли, жаль на тебя заряд тратить, а то лежал бы ты у меня — где рука, где нога». А он покачал

так головой и пошел за этими за начальниками в контору, где, как мы знали, для них был стол накрыт.

У меня от сердца отлегло: не узнал. Кому же это он кивал-то? А может, узнал и мне кивал: дескать, я тебя не выдал, замолви и ты за меня словечко, ежели что. И тут, как увидел я, что он за всей этой фашистской сволочью пошел в контору харчеваться, так во мне все на дыбы и встало. «Уж я тебя,— думаю,— вспомню!» Однако раздумывать было некогда. Объявили народу, что рудник открывать будут вечером, при свете иллюминации, и что сам их этот главный приехавший, какой-то министр, что ли, пес их разберет, своей рукой первую вагонетку руды на-гора поднимет, а потом рабочим, которые тут трудились, будут рождественский гостинец немецкий выдавать. «Что ж,— думаю,— и ладно, вот и нам будет как раз самая пора гостинец свой партизанский преподнести!»

Стали мы ждать вечера. Погода у нас на Криворожье, знаете, какая в ту пору бывает? Все туман, туман, потом как сразу морозец ударит, и такая гололедь начнется — беда. Оно красиво, конечно, все ледок обмечет, каждая былиночка в сосульку превратится, а деревья — те прямо стеклянными станут, ветки до земли нагнут и от ветра бренчат, точно из хрусталя. Ну, а идти куда в такую пору — и злому ворогу не посоветуешь. Пока я вечером-то до рудника добрался — раз пять упал, бок ушиб, чуть ногу не сломал, однако дошел. Показал свои пропуска и паспорт с комендантской отметкой. Ничего, пустили. «Ну,— думаю,— уйти ли мне, не уйти ли сегодня отсюда, но уж вам, сукиным сынам, будет праздник!» Гляжу, и люди мои тут в толпе толкутся, притоптывают, рукавицами хлопают, греются. А уговор у нас заранее такой: друг к другу не подходить, не разговаривать, не переглядываться и за мной следить — что я, то и они.

А двор сияет. Прожекторы. Светло, как днем. На всем ледок намерз, все искрится, сверкает, переливается,— ну, верно, точно все для праздника убралось. Из дома, где приезжие из Берлина и здешнее начальство гуляют, голоса слышатся, смех, по всему видать, там уже тепленькие сидят. Что же, нам лучше!

Ну, а мы стоим, в руки дуем, ждем. И вдруг дверь открылась, и из нее выходят этот самый Олесь Кущевой да немецкий рудничный шеф Иоганн Эберт, ну, и с ними этот самый доктор Срам. Немцы-то тепленькие, руками размахивают, улыбаются, разговаривают на весь двор.

И все куда-то Кущевого посылают. Шеф рудника приказывает ему по-русски: дескать, спустись под землю, все подготовь, а как подготовишь — сигналь. Ушел Кущевой. Немцы опять в контору. А мы, значит, меж собой переглянулись: вот, дескать, в какой почет к фашисту влез, как своему верят. И опять взяла меня досада. Вот по гостям-то мы сейчас вдарим, а он под землей от кары народной отсидится. И так мне стало тошно, что позабыл даже и думать, что живу, может быть, последний час мой...

Однако все по-другому получилось, чем мы загадывали.

А как получилось, слушайте дальше. Ждем мы, когда появятся берлинские гости, чтобы гранаты в них бросить, и вдруг — идут их солдаты. Да не те голодранцы старших возрастов, что при руднике околачивались, а здоровые, один к одному, морды ражие, одеты справно, должно быть, тоже с поездом приехали. Охрана. Подошли к конторе, выстроились, потом в цепь разбежались, автоматы сняли и ну толпу отжимать. То ли что учуяли немцы недоброе, то ли пуганые уже, только отжали нас от двери шагов на сто, встали цепью и не пускают. Ах мать честная! Погорело наше дело. Разве нашу банку на такое расстояние метнешь? И опять меня зло взяло — непременно этот Кущевой кому-то шепнул: дескать, берегитесь. Стою я, себя ругмя ругаю, что пожалели мы их фотографов и не вдарили утром. Пустят, думаю, рудник, стыд-то мне какой! Подпольщик!

А тут, как нарочно, показались из двери их начальники, ражие, толстомясые, все — и штатские которые — в форму приоделись. И, должно быть, больших чинов. Около копра ходят, ну точно нас дразнят; фотографы их щелкают, киношники свои бандуры крутят, а они рисуются: вот мы какие важные! Самая бы пора сейчас к ним туда бомбочку хорошую бросить. А разве кинешь! Ох и пережил я тогда! Да и ребята мои измаялись. Про осторожность всякую забыли, подходят: «Что ж ты? Когда ж?» И верно, столько пережили — впустую. Ну, я успокаиваю их. Все равно наших рук не минуют. В вагон-то мимо нас пойдут...

А тут самый их главный, министр он, что ли, какой был, в длинной шинели с бобровым воротником, в высокой такой фуражке, важный, к щитку подошел, рукой за рубильник взялся, вот-вот включит — и пошла клеть

с вагончиком, с нашей, можно сказать, кровной криворожской рудой на-гора. Ну, вот слушайте. Только он за рубильник взялся, как что-то ахнет, как рванет! Аж земля под ногами ходуном заходила, и посыпались мы все на снег, как кегли. И думаю я: что это? Бомба? Да разве бомбой так землю встряхнешь? И откуда она, бомба, с ясного неба? Землетрясение? Такого у нас сроду не бывало. А тут еще — рых-рых! Электричество погасло. Что-то падает, крик!.. Вскочил я и при луне вижу: копер набок похилился — как стоит только? Здание конторы пополам треснуло. И вижу я, фашисты, фашисты-то! Солдаты, врать не буду, те ничего, не растерялись, с земли повскакали и ну автоматами толпу отжимать: цурюк-цурюк! А начальнички-то их эти самые шинели завернули, дерут, как зайцы, через двор, да к поезду, а за ними фотографы да операторы дуют! А из копра-то уж дым валит, желтый, едкий и по запаху очень нам знакомый... В общем, на следующий день рабочим было объявлено, что вследствие геологических сдвигов шахта осела и работы прекращаются. А уж какие там геологические сдвиги, когда я носом своим шахтерским чуял, чем дым-то пахнул! Динамитом он пахнул, самым настоящим.

И вот сижу я, значит, опять на липке, сапог чей-то разваленный у меня меж ног, полон рот гвоздей, в руке молоток, сижу и думаю. Думаю, вспоминаю, сопоставляю. И вы знаете что надумал? Непременно это он, Олесь Кущевой, рудник-то взорвал. Больше некому. Взорвал и сам погиб под обвалом. Немцы там перед этим самым своим рождеством каждый уголок вынюхали, и из наших никого, кроме него, в ту ночь под землей быть не могло. А тут вспомнилось, и как он за пленных заступался, как увольнительные давал, как красноармейкам пайчишко его жена таскала. Чем больше думаю, тем крепче убеждаюсь: он, его работа. Стариков моих, бригадиров подпольных, порасспрошал, те тоже затылки чешут: он взорвал, более некому... Стало быть, человек и с немцами не зря остался, и весь позор молча принял, и хаты лишился, и обиду от нас нес, чтобы не дать нашу руду в фашистские руки. Однако неясно, почему же это он нам не открылся, хотя, по всему видать, о нас и догадывался. Ну, да это дело его, раз он один на такое пошел!..

Понял я все это, и так мне горько стало, будто полыновки стакан хлебнул. Ну, да что тут руками махать, когда дело сделано. Отстучал я, куда надо, по рации об этой

самой ночи под рождество и в ошибке своей признался и о героической смерти потомственного рударя нашего орденоносца Кущевого Александра доложил. Тут другие дела подошли, и, так как немцы от рудника этого отступились, меня для работы на другой участок подпольный обком перекинул, на сланцевую шахту, где фашисты было сланец ковырять начали.

Ну, а вернулся я сюда уже с Красной Армией. Кое-кто из наших рудничных со мной пришли, с округи стали сходиться, кто по крестьянам от работы скрывался, с Урала наши повозвращались. Начинаем работу. Электростанцию немецкую, что от взрыва того не сильно пострадала, пустили, подъемку вычинили, копер, что тогда в сторону повело, на место поставили, укрепили. Стали ствол сквозь обвальные породы проходить. Ну, а как первые-то работы схлынули и появилось время вокруг оглядеться, пришло мне, товарищи, в голову,— а я в ту пору уже в партбюро был избран,— что непременно надо нам на руднике памятник поставить тому самому рударю Олесю Кущевому, что погиб под обвалом смертью храбрых. Поставил вопрос на партбюро. Голоснули «за». Райком приветствует хорошее дело. Хорошее потому — надо человека перед поселком реабилитировать, ведь ни за что ни про что в фашистских прихвостнях слывет. А второй момент религиозный: как взрыв-то тогда произошел, старушня поселковая в один голос — дескать, это перст божий, не захотел бог в нечистые руки фашисту кровь земли нашей, руду-то, значит, отдавать, а поскольку это божий перст, пошла старушня в церковь, а за ней и молодые женщины потянулись. Вот и думаю я: «Зачем же дела героев наших в боговы руки отдавать? Уж пускай бог для старух сам о славе своей хлопочет, коли может!»

Хорошо. Нашли мы в Кривом Роге каменотеса-гранильщика. Сумму ему хорошую ассигновали. «Теши,— говорим,— из гранита обелиск герою». Тот говорит: «Ладно, сделаю в лучшем виде». Хлопнули по рукам. И вот — хоть верьте, хоть нет — в тот самый день, как памятник-то мы заказали и вернулись из Кривого Рога, сижу я вечером в общежитии, приходит ко мне один наш коммунист-проходчик. Сел тут на койку, за бока взялся, хохочет-катается. «У нас,— говорит,— на руднике еще чудо!» — «Какое такое чудо?» — «А вот,— говорит,— весь поселок болтает, будто видели покойника Кущевого,

явился тот будто с того света, походил по своему пепелищу, грушки свои обгоревшие потрогал, обругал кого-то худым словом и ушел».— «Нет,— говорю,— врешь, хватит с меня мистики».

И только я это сказал, хвать — дверь настежь. Мать честная! В дверях — Кущевой. Ну он и он, только усы почему-то длинные, русые, обтрепанный весь, лохматый, и орден на этих его лохмотьях доподлинный сияет.

Ну, вижу, это уж не мистика, а явление вполне реальное.

— Здорово,— говорю,— садись, рассказывай, как там на том свете?

А он отвечает: «Как на том, пока не знаю, а на этом плохо. Хатку-то,— говорит,— ты мне спалил, половину грушек моих припек. Где,— говорит,— и жить теперь, не знаю. Ты бы,— говорит,— вместо того, чем памятник мне заказывать, лучше бы угол какой отвел, а то,— говорит,— не один я, а со мной жена с девчонкой».

Обрадовался я.

«Значит, жив?» — говорю. «Значит, жив»,— отвечает. «Где же ты,— говорю,— чертушка, был, чего же ты,— говорю,— столько времени делал? Да и скажи на милость, как ты из взрыва вылез, ведь осел пласт-то?..»

Ну, закурили, и рассказал он мне обстоятельно, что и как. Оказывается, что он уже вовсе уложился в эвакуацию уходить, хвать — весть: рудник-то не взорвался, целехонький врагу достается. Тут ему и пришла мысль остаться, к оккупантам в доверие войти, а там подождать хорошего случая. В райком-то он об этой своей затее сообщить не успел — поздно уж было. А когда секретарь партбюро по дороге заходил, поосторожничал: народу с ним, вишь, много шло. Ну, и решил на свой риск действовать. Тол-то несколько месяцев по кусочку таскал и все там под землей складывал, копил. Ну, а потом, как полное доверие от оккупантов заслужил, тут и развернулся, сделал три заряда под самые основания, шнур приспособил и в самый подходящий момент и запалил.

«А как же ты жив остался?» — спрашиваю. «А очень,— говорит,— просто. Шнуры-то были с дистанцией на время. Запалил — да не к стволу, а в другую сторону, в глубь шахты, побежал к вентиляционной трубе. По ней и вылез. А там на юг подался, по следам семьи...»

И ловко же он все это придумал. Просто завидно мне, как фашистов на это самое на их рождество распотешил. Лучше и не надо!

«Смело ж ты,— говорю,— фашистов обдурил. Ловко!» — «Их-то обдурить можно было. Они от народу за версту,— говорит.— Вот вас, верно, побаивался, знал, что на меня охоту ведете. Благословят, думаю, в одночасье черте чем и не дадут дело до конца довести. Я,— говорит,— догадывался, что ты где-то тут скребешься, а открыться вам боялся. Вижу,— говорит,— смело работаешь, немец,— говорит,— от ваших дел трясется. Однако думаю,— говорит,— а вдруг у тебя провал? Значит, и попадай наша руда Гитлеру? Вот,— говорит,— и пошел я параллельным забоем. Ты провалишься — я взорву. Меня расшифруют — ты дело сделаешь».

Ну, поговорили мы с ним, самогоночки свекольной по стаканчику на радостях выпили, той, что у нас «коньяк — три буряка» зовется, а потом он и спрашивает: «Дай-ка ты,— говорит,— мне, друг, анкетку. Хочу,— говорит,— подавать в партию. Теперь,— говорит,— я себя мало-мало показал. У меня,— говорит,— давно, до войны еще, заявление написано было, да все считал — честь-то больно велика, ее как следует заслужить надо».

Вот он какой есть, Александр Кущевой, молодой член нашей партии.

1944

МАМА КЛАВА

Меня разбудил яркий солнечный луч. Проникая в маленькое окошко, вмазанное в стену за печкой, на которой мы спали, он золотым мечом пронзал полумрак под беленым потолком чистенькой хаты и упирался прямо мне в лицо.

Как это часто бывает на военных ночлегах, проснувшись, не сразу поймешь, где ты и как сюда попал. Потом вспомнился неудачный вчерашний полет в липком мартовском тумане, белые дымки зенитных разрывов, развертывавшихся над головой, точно переспевшие хлопковые коробочки, покалеченное крыло самолета, закушенная до крови губа и узкие остекленевшие от напряжения глаза летчика в косом зеркальце, тяжелый шлепок о снежную поляну и острая мысль: где мы, на чьей стороне упали? И вдруг люди в грязных, замурзанных, но родных

армейских полушубках и ушанках, бегущие по глубокому снегу к подраненной нашей машине. Свои! И сразу — слабость, сковавшая все тело.

Мы сели — если это злополучное падение можно назвать посадкой — в расположение наступающего полка самоходной артиллерии, остановившегося в леске на короткий привал. Артиллеристы с гвардейским гостеприимством поделились с свалившимися на них прямо с неба гостями своими запасами, перевязали, как умели, голову летчику, отвели нас в какую-то лесную хатку и, сдав на попечение хозяйки, пожилой, дородной, но еще статной женщины, простились, обещав радировать в штаб фронта наши координаты.

Они сделали для нас все, что могли, так как с наступлением темноты полк самоходчиков должен был уже входить в прорыв. Мы с летчиком отказались от ужина и, едва дождавшись, пока хозяйка постелит нам на печи тюфяк с душистой яровой соломой, тотчас же заснули. Вот что было вчера.

А теперь хата дрожала от близкой канонады, звенели стекла, подскакивали на полках расписные глиняные глечики и макитры, жестяная лампа, свисавшая на проволоке с потолка, раскачивалась, как маятник. А когда воздух сотрясался от бомбовых разрывов, тихонько со скрипом открывалась и закрывалась дверь, ведущая в сени, и из топившейся печи в хату выбивало пламя и дым.

Мирно пахло свежим хлебом, чебрецом и мятой, пучки которой висели в углу за иконами в фольговых ризах. И, словно наперекор шумам близкого боя, снизу, с пола, звучал смех: захлебывающийся — детский и ласковый, воркующий — женский.

Летчик, проснувшийся, должно быть, раньше, отодвинув ситцевую занавеску, молча смотрел вниз. Стараясь не шуметь, я придвинулся к нему, и славная картина открылась перед глазами.

На щедро залитом солнцем, точно застланном золотой свежей соломой, мазаном полу, спиной к нам сидела рослая, но по девичьи гибкая и стройная женщина. Она играла с двухлетним мальчуганом, круглоликим, черноглазым, крепким, как гриб-боровичок. Она прятала свое лицо у него на пузике, закрывая мальчонку копной распущенных волос, и страшным голосом, сама давясь от счастливого смеха, пугала его: «Ось, я тебэ зъим».

Мальчуган брыкался, визжал и, защищаясь толстенькими, точно ниточкой перетянутыми у запястий ручонками, кричал: «Не тлэба, мамо Клява, нэ тлэба, ой, нэ тлэба!» Женщина отпускала его, и он, встав на ножки, сам атаковал ее, упирался ей в грудь ручками, стараясь повалить на пол, она притворно падала, и оба, заливаясь смехом, играли, как котята.

Летчик, подперев кулаками забинтованную голову, следил за их игрой, и на его суровом, грубом, покрытом тяжелым зимним загаром лице было совершенно необычное для него мягкое и растроганное выражение.

— Какая молодая мать!

— А вы видели ее лицо? — спросил он.

Услышав, должно быть, наше перешептывание, женщина оглянулась. Я чуть не вскрикнул от удивления. На вид ей можно было дать не больше семнадцати лет, но лицо у нее было какого-то странного матово-белого цвета. Казалось, что к телу стройной, высокой девушки приставлена голова мраморной статуи, на которой углем или смолой выведены широкие дуги бровей и поставлены точки глаз. Губы были настолько бледны, что отличить их можно было только по рисунку. И — что особенно удивительно — на этом странном мраморном лице не было и следов болезненности. Оно было полное, живое, с девически округлыми щеками и подбородком.

Увидев, что за ней следят, она вскочила, одернула юбку, схватила малыша и, бесшумно ступая босыми ногами, унесла его за занавеску.

— Ой, дурны мы с тобою, сынку... Смиемося... И дядькив разбудылы,— послышался оттуда ее голос.

— А яких дядькив, мамо Клява, якив дядькив? Немецких?

— Що ты, сынку, що ты, наших, наших дядькив... Воны воюють... Утомылысь... Зараз мы с тобою погодуем...

И пока мы одевались у себя на печке за занавеской, эта женщина, которую малыш неизменно звал почему-то «мама Клава», двигаясь ловко и бесшумно, застлала стол старенькой, но свежей скатертью, а на ней расставила дымящуюся вареную картошку, маленький глечик с топленым салом, большой горлач с молоком, расписную обливную миску с маринованными помидорами, от которых по хате шибануло запахом укропа и смородинного листа, и вторую миску с пупырчатыми солеными огурцами,

Вошла старшая хозяйка и стала старательно вытирать у порога мокрые огромные сапоги.

— Повставалы? — спросила она.

— Одягаються,— ответила молодая.

— Йихалы на грузовику солдаты, гукалы — Звенигородка взята, гукалы — па Христиновку наши подалыся... Слава богу, дождалыся...— И она размашисто перекрестилась в угол, на иконы.

Когда молодая подавала нам в сенях умыться, я невольно смотрел на ее красивое и странное лицо. Цветом кожи и еще чем-то неуловимым напоминало оно те картофельные побеги, что к весне прорастают под полом, не видя солнечного света.

Обе хозяйки были гостеприимны, угощали нас не как чужих, хотя бы даже и почтенных гостей, а как близкую долгожданную родню, вернувшуюся после многих лет разлуки в отчий дом.

— Вы кушайте, кушайте на здоровьечко... Сколько от Волги-то до нас шли, а аппетита не нагуляли... Кушайте, идти-то вам еще сколько, до Берлина путь не близкий,— говорила старшая, а младшая все придвигала к нам деревенские яства и большой ложкой щедро накладывала их в миски.

— Ось тильки видэлок, вилок то есть, нэма: все нимцы покралы... Ворюги! — говорила она, все время отводя глаза.

На стене среди других фотографий в черных рамках, висевших между двумя окнами, рядом с наивными, нарисованными на стекле, должно быть, каким-нибудь сельским маляром — украинскими пейзажиками, была фотография дюжего коренастого красноармейца с просторной выпуклой грудью и в форме старого образца.

— Муж, что ли? — спросил у молодой летчик, старый воин, привыкший на любом постое чувствовать себя дома и, несмотря на свою грубоватую и хмурую внешность, удивительно быстро умевший сходиться с людьми.

— Ни, цэ мий брат,— ответила та, тихонько покачивая уснувшего у нее на руках мальчонку.

— А муж где? Воюет аль в плену?

— Чоловика нэмае,— ответила она, и вдруг легкая неяркая краска пятнами обозначилась на ее бескровном мертвенно-бледном лице.

Мне показалось, что мы прикоснулись к какой-то семейной тайне, которую лучше не трогать. Но не успел я

наступить летчику на ногу, как он уже спросил, указав на спящего малыша:

— А чей же парень?

У молодой на висках выступила испарина, глаза заволокло слезами, так что слиплись длинные ресницы, она схватила ребенка, убежала в соседнюю темную комнатку, и слышно было даже, как она сейчас же заставила чем-то дверь.

Наступила тягостная пауза, нарушаемая только потрескиванием соломы, догоравшей в печи, да скрипом чашек, которые пожилая вытирала полотенцем с излишним, как казалось, усердием.

Нахмурившись и сопя, летчик молча допил свою чашку.

— Разве я хотел ее обидеть! Случайное попадание, шальная, так сказать, пуля,— угрюмо пробубнил он. И крикнул за перегородку: — Чего рассердилась-то? Ну, прости, коль невзначай задел. Разве вас, баб, поймешь, где там у вас больное место.

— Вона нэ обидылась... Замутылы вы ии, товарищ командир,— отозвалась старшая.

— Ну, вот, смутил... О парне спросил, больно хорош парень, такого сына разве можно смущаться.

— Та ни. Не сын ий Юрик. Вона щэ дивчына... Розумиете? — сказала старшая, в которой и по росту, и по гордой осанке, и по овалу лица, и по размаху смоляных бровей можно было без ошибки угадать мать молодой.

Она присела к столу, налила себе из котелка душистого липового взвару, которым угощала нас вместо чая, добавила к нему свекольного соку, употребляемого в здешних буряковых краях за сахар, и, чинно прихлебывая из блюдца, рассказала нам историю этой статной украинской красавицы с мертвенно-бледным лицом.

Эта маленькая хатка, чисто выбеленная и расписанная синькой и болотной желтью, стоящая в лесу, принадлежала местному леснику Юхиму Жижленко. Жил он в ней с женой Анной и детьми Клавдией и Андрием. Клава и родилась и выросла тут в лесу. С детства она привыкла жить на отшибе, никого и ничего не бояться. Вместе с отцом ходила на охоту. И не только на зайчишек и лис. Когда она подросла, брал ее лесник и на большую охоту — на волков и медведей, не опасаясь, что девчонка смажет или струсит в трудную минуту.

Когда началась война, Андрий служил срочную службу, а лесник, хоть года его уже и вышли, добровольно пошел в армию. Клаве шел тогда пятнадцатый год. Мать решила, что, так как живут они в лесу, от дорог далеко, война, бог даст, пройдет стороной и их не коснется. Да и хозяйство бросать было жалко: хорошее хозяйство было у лесника.

Так и остались они, как выразилась Анна Ивановна, «пид нимцем». Добро зарыли, скот в лесу попрятали. Поначалу оккупанты действительно не беспокоили их. Потом начался угон молодежи в Германию. По деревням были даны разверстки. Вышло так, что год Клавы как раз попал под мобилизацию. Девушка, услышав об этом от плачущей матери, сведя вместе черные брови, заявила: «Лучше на первом дубу повешусь, чем поеду на фашиста работать. Я комсомолка, мне лучше смерть».

Ивановна знала характер дочери. Недаром брал Клаву отец охотиться на медведей. Мать заколола боровка, что жил у них в лесу в земляном хлеве, и на салазках оттащила его старосте, посаженному немцами: только не трогайте дочку. Староста обещал помочь. И действительно, до конца 1942 года Клаву не трогали. Она дневала и ночевала в лесу, в капканы ловила зверье, так как ружья были отобраны, и все мечтала найти партизан, к которым думала пробиться.

Но хотя на железнодорожных узлах Звенигородка и Христиновка то и дело гремели взрывы, а людская молва несла вести о новых и новых партизанских делах, работали они до того шито-крыто, что дочери лесника, которую мало кто знал, так и не удалось с ними связаться.

А зимой началась новая мобилизация в гитлеровскую неволю. Теперь уполномоченные гебитскомиссара действовали уже без повесток и бирж труда, не стараясь даже внешне придать угону вид добровольности. Специальные подразделения зондеркоманды приезжали на машинах, блокировали село, и начиналась облава на молодежь. Партии молодых невольников под конвоем гнали на Христиновку, и Клава, засев где-нибудь в кустах, в снегу у дороги, беззвучно плакала, наблюдая, как медленно тянулись печальные транспорты парубков и дивчат с торбами за плечами. Схватили и арестовали молодую учительницу, прятавшуюся на выселках. Ночью обыскали лесную хату смолокура, жившего в лесу неподалеку, и увели его сы-

новей. Клава пряталась, но чувствовала себя как волк во время обложной охоты. Круг загона все суживался.

Ивановна поклонилась старосте вторым боровком. Тот взятку благосклонно принял, но сказал, что тут его власть кончилась, лютуют германцы. Того гляди самого заберут и увезут. Молодежь без разбору, под гребенку вычесывают — и хромых и кривобоких, а Клавдия, вон она — писаная красавица на всю округу, за такую головой ответишь. Однако посоветовал староста Ивановне сходить в Звенигородку к уездному гебитскомиссару. Они-де, фашисты, народ сильно жадный, руку ему позолоти, он и Гитлера самого с потрохами продаст. Может, и польстится гебитскомиссар на какой-нибудь подарок, вычеркнет Клаву из списков.

Откопала Ивановна из ямы с десяток выделанных лисьих шкур, завязала в узел и пошла в Звенигородку. Не соврал староста. Гебитскомиссар, немец из Австрии, оказался хоть с виду и строг, но сговорчив. Помочь не помог, но, приняв необыкновенный презент, посоветовал, как его самого надуть можно. Пусть фрейлейн Клавдия зарегистрирует брак и ребенка, тогда, дескать, он может, на основании всех законов и директив, вычеркнуть ее из списков как замужнюю фрау, имеющую маленького ребенка.

Шла Ивановна домой и прикидывала: ну с ребенком ладно. Ребенок есть, как раз они сиротку полугодовалого, сынишку расстрелянной учительницы-коммунистки, на воспитание взяли. А вот муж, где его возьмешь тут сейчас, хорошего-то. Да еще быстро? И пойдет ли Клава за кого без любви? Характер-то дочери Ивановна знала — вся в отца. Упрется — парой волов не сдвинешь.

Зашла по пути к мужнину приятелю, смолокуру, старому вдовцу, у которого только что детей в неметчину угнали. Выложила свое горе: как быть? Где найти жениха? А смолокур смеется: «А я на что, чем плох жених?» Испугалась Ивановна: «Что ты, побойся бога, тебе вон за шестьдесят, а ей шестнадцать. Ай забыл, что коммунист?» А он смеется: «Вот и хорошо, вот и славно. Врагов надувать — самое святое дело»,— это и как коммуниста, дескать, его не пачкает. «Вот запишемся у немцев, и будет святое семейство: Иосиф, дева Мария да этот младенец-сиротка. Мне от нее ничего не надо, только б рубахи стирала. А то один я теперь, и тошно мне от этого бабьего

дела. Ну, а наши вернутся — посмеемся да забудем все. Дивчину-то спасать надо».

Клава не возражала. Расписались и прямо из комендатуры разошлись каждый в свою хату. Только по пути, по уговору, захватила она у смолокура узелок с бельем. Так и жили. Лишь изредка наведывался смолокур в лесникову хату «до жинки» с узелком белья да с гостинцем для маленького «сына». Посидит, подымит мхом, который курил за неимением табаку, поделится новостями об успехах Красной Армии, неведомо какими путями доходившими в его лесное жилье, да и уйдет.

Но к сынишке названому девушка привязалась, целые дни проводила у его зыбки, кормила молоком с рожка, баюкала, обстирывала, обшивала. И когда однажды, протянув к ней ручонки и смотря на нее глупенькими глазками, малыш сказал ей вдруг «мама», девушка была радостно потрясена.

Эта любовь дочки к приемышу беспокоила Ивановну. Думала она по ночам: вот прогонят этих нехристей, кончится война, вернутся муж с сыном, как она им расскажет про этого младенца? Да и от людей нехорошо: кто-то знает и помнит эту историю, а кто-то и забудет. Рано или поздно девушке замуж выходить. И стала Ивановна отучать малыша звать дочь мамой и приучать называть Клавой. Но мальчуган был упрямый, характером, должно быть, в названую мать. Он никак не хотел отказаться от самого ласкового слова, какое только было в его крохотном словарике. В результате усилий бабушки и появилось необычное: «мама Клава».

Зима уже подходила к концу, когда однажды ночью синеватый свет фар вдруг ударил в окно хатки лесника, зарычала под окном машина, послышались глухие удары приклада в дверь. Ивановна поняла: плохо. Клава спала с маленьким на печке, и не успела мать даже накрыть ее чем-нибудь, как в хату вломились жандармы с щитками на груди. Клава кричала, отбивалась кулаками, ногами, царапала солдатам лица. Наконец ее оглушили ударом приклада и, не дав Ивановне даже надеть на нее шубу, в бессознательном состоянии бросили в грузовик. Ничего не удалось узнать Ивановне о ней ни от старосты, ни в комендатуре. И только всезнающий смолокур сказал, что в эту ночь на Христиновку провели партию невольников, и высказал предположение, может быть, в ней была и Клава.

Больше месяца проплакала Ивановна, находя себе утешение только у зыбки с младенцем. Сошел с полей снег, вернулся на крышу аист и начал чинить гнездо, устроенное на старом колесе, деревья стали набухать соками, под окном полновесно отстукивала по влажной земле последняя капель, когда однажды ночью услышала Ивановна, как кто-то явно свой, потоптавшись за дверью, шарил по стене, ища, должно быть, завернутую проволочку. Потом отодвинулся дверной засов. Женщина нащупала спички, чиркнула и — ахнула от удивления. На пороге стояла девушка, такая же высокая, стройная, как ее дочь, но оборванная, худая, по-старушечьи желтая. Ивановна удивленно смотрела на незнакомку, пока спичка не догорела и не обожгла пальцы. Уже из тьмы Клавин голос сказал: «Мамо!»

Да, это была Клава. Где-то у Бреста часовые забыли замкнуть щеколду товарного вагона, девушки отодвинули дверь, и Клава, стискивая зубы, чтобы не крикнуть от страха или боли, выпрыгнула из вагона и скатилась под откос. Густая февральская метель, бушевавшая над лесами, прикрыла побег и замела следы. Клава только поцарапала о наст лицо и руки. Две выпрыгнувшие с ней девушки отделались синяками. Вымазав себе лица шлаковой гарью, повязавшись платками по-старушечьи, окольными путями, избегая больших селений и проезжих дорог, три девушки прошли мимо Ковеля, Шепетовки, Бердичева, Умани и благополучно добрались до родных краев.

Клава вымылась, переоделась и, вынув из люльки маленького, тотчас же радостно узнавшего ее, уселась к столу. Мать с дочерью принялись обсуждать положение. В окрестных селах молодежь была вся забрана. Никакими взятками нельзя уже было закрыть глаза оккупационному начальству. За побег могли расстрелять. Жить где-нибудь в лесном шалаше было тоже небезопасно. В эти дни фашисты лихорадочно строили на Днепре «восточный вал». Шли заготовки древесины, лес кишел солдатами. В хате лесника стал на постой саперный офицер, лишь случайно в эту ночь отсутствовавший.

Мать решила спрятать Клаву в коровнике. Стены его состояли из двух плетней, меж которых для тепла была проложена торфяная труха, перемешанная с соломой. Ночью они выбросили труху из одной стены. В образовавшееся пустое пространство постелили соломы, туда и за-

бралась Клава. Мать заплела плетень, оставив маленький лаз под видом слухового оконца. Через него она давала Клаве есть, через него темными ночами, когда уезжал офицер-постоялец, девушка вылезала подышать свежим воздухом, размять онемевшие члены, поласкать, понянчить малыша.

Так в узкой щели между стенами коровника просидела она почти год — до февраля 1944 года, перенося и осеннюю непогоду, и весеннюю промозглую сырость, и зимнюю стужу. Просидела до тех пор, пока два дня назад наши части не освободили этот край...

Вот и вся история о маме Клаве, которую ровным голосом, как о чем-то обыденном, совсем обыкновенном, рассказала нам за столом Ивановна.

Клава уже давно покинула свое убежище. Вместе с мальчонкой сидела она тут же. С улыбкой прислушивалась к рассказу матери, играла ручонками малыша, делала ему «козу», «ладушки».

— Ну, а где же этот самый, ну, что с вами записался, смолокур, что ли? — спросил летчик, перейдя почему-то на «вы» и пытаясь переманить к себе малыша с ее рук.

— Нэ пидэ вин... Вин ни до кого не пидэ, колы я в хати,— сказала Клава.— А дядько Сашко — вин у партизанах оказався, звязникивцем, связным у них был. Зараз он в Звенигородку поихав лесопильню пускаты...

— А как же теперь с маленьким?

Черные брови Клавы тревожно сдвинулись на белом лбу, как будто птица взмахнула крыльями в облаках.

— А що з малым? Я його никому нэ витдам... Вин сиротка...

— Ну, а замуж выходить придется... Как жениху-то объясните?

— А що поясняты. Розумный сам зрозумие... А за дурня я нэ пиду...

И девушка прижала к себе малыша, точно защищая его от кого-то, и на ее нежно округлом лице появилось чудесное, светлое и чистое выражение, выражение бесконечной материнской ласки, которое сделало ее похожим на старинные образы богоматери рублевского письма, написанные с могучей силой жизненной простоты.

1944

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Сколько таких могил — больших и маленьких, скромных и помпезных — разбросано по просторам нашей Родины, потерявшей в войну столько своих сыновей.

Сейчас я расскажу об одной из таких могил, которую видел летом 1944 года на выезде из старинного украинского городка Славуты под старым развесистым кленом, растущим на холме над развилкой дорог. Не искусством ваятеля или мастерством зодчего, не тяжелым великолепием мрамора, гранита и бронзы привлекал людей этот невысокий земляной холмик, обложенный зеленым дерном. Возвышался над ним тогда всего только приземистый деревянный обелиск. Но на обелиске этом не очень искусной стамеской сельского умельца была вырезана несколько необычная надпись: «Погребен здесь неизвестный героический красноармеец Миша. Погиб за Родину, за товарищей в проклятом гросслазарете. Мир доблестному праху твоему».

Мы посетили эту могилу, когда славутские окраины еще курились среди пожухшей от жара зелени фруктовых садов, когда в колючих проволочных коридорах, ограждавших территорию немецкого гросслазарета еще валялись, оскалив морды, огромные псы, пристреленные нашими солдатами, а армейские санитарные автофуры вывозили из бараков этого страшного заведения живые скелеты тех, кого Советская Армия в последнюю минуту спасла от смерти. Память о «неизвестном героическом красноармейце Мише» была совсем еще свежа, и солдаты наступавших частей, останавливавшихся на почлег в окрестных селах и хуторах, слышали от дидов, дядьков и жинок рассказы о необыкновенном подвиге этого бесфамильного Миши, уже начавшие приобретать характер легенд, такие рассказы, что, когда части наступая продолжали двигаться по дорогам на юг и юго-запад, проходили мимо этой могилы под кленом, пехотинцы сдергивали пилотки и каски, ездовые придерживали коней, шоферы тормозили машины. Случалось, какой-нибудь солдат выбегал из пыльной усталой колонны, торопливо клал на холмик букетик полевых маков или васильков, сорванных у дороги. Приложенный к клену, лежал большой венок, изготовленный, наверное, в каком-нибудь медсанбате из компрессной бумаги с цветами из стружек, окрашенных в

красный и желтый цвет с помощью акрихина и стрептоцида.

Эти незатейливые дары, знак солдатского уважения, сверху донизу покрывали тогда холмик, висели над ним на сучках клена, простиравшего пышный зеленый шатер, пронзенный солнечными зайчиками.

То, что я расскажу вам сейчас о «неизвестном героическом красноармейце Мише», я сам узнал от жителей и жительниц окрестных сел. Но прежде чем перейти к рассказу, следует разъяснить, что представлял собой так называемый гросслазарет в Славуте, в котором развернулось действие. Это было, пожалуй, одно из самых мрачных порождений человеконенавистнической фантазии нацизма, своеобразная гигантская морилка для раненых и увечных военнопленных, устроенная под сенью санитарного флага с красным крестом. Раненых военнопленных привозили сюда чуть ли не со всего днепровского фронта. Изверги во врачебных халатах заражали их различными болезнями, испытывали на них действие ядов и отравляющих веществ, а тех немногих, кому удавалось выжить, расстреливали на краю гигантских могил, заблаговременно вырытых в песке, километрах в пяти от этого страшного заведения.

Никто из рассказывавших нам эту историю точно не знал, кем был красноармеец, гордо отказавшийся назвать госпитальному начальству свою фамилию, звание и часть. Одни называли его разведчиком, переправившимся через Днепр для изучения сооружений немецкого «восточного вала», другие утверждали, что он был заброшен на самолете в тыл для установления связи с местными партизанскими отрядами, третьи говорили, что это был советский диверсант, действовавший на железной дороге Ровно — Львов. Но все утверждали, что говорил он по-русски с каким-то не то грузинским, не то армянским акцентом.

Уже в изоляторе, в этом пустом каземате из железобетона, куда в этот день навезли столько людей, что им нельзя уже было ни лечь, ни даже присесть, этот раненый человек стал подбивать товарищей на побег. Первые часы карантина он был в забытьи. Чтобы его не затоптали битком забившие изолятор люди, товарищи уложили его на подоконник. Он начал действовать сразу же, как пришел в себя.

Сначала его никто не хотел слушать. И в самом деле, казалось, что только сумасшедший может мечтать о по-

беге, когда у него на обеих ногах гноящиеся раны, кое-как перевязанные грязными обрывками нательной рубахи. Но к утру, когда в плотной, покачивающейся толпе, битком набившей бетонный каземат, несколько раненых умерло, и мертвецы, не имея возможности упасть, зажатые со всех сторон, продолжали стоя покачиваться вместе с живыми, многие стали склоняться к тому, что, может, и прав неизвестный боец, сидящий на окне, что действительно лучше умереть, сражаясь с конвоирами и охраной, чем гибнуть в унизительных муках в этой проклятой морилке, как те несчастные, которые и после смерти принуждены были стоять в тесной толпе.

А тот, кого называли Мишей, маленький, черноволосый, с лицом, заросшим до бровей курчавой щетиной цвета воронова крыла, лихорадочно поблескивая карими миндалевидными глазами, сидел в проеме окна и, не опасаясь шпионов, которых обычно фашисты подсовывали в каждую партию пленных, бросал в толпу колючие, злые слова.

— Вот эти померли, их счастье,— показывал он на мертвецов, покачивавшихся вместе с толпой.— Вас тоже убьют, только перед этим намучают вдосталь, поэкспериментируют над вами, как над кроликами или морскими свинками.

— Тебя, что ли, помилуют?

— Да чего он за душу тянет! Эй, кто там поближе, заткни ему глотку, чтоб не каркал!

— Каркал! Он правду говорит! Что ж, и ждать, как телкам на бойне, пока тебе очередь придет под нож вставать?

— А верно, землячки, лучше от пули помирать, чем вон как эти, в собственной вони задохнуться. Может, повезет, и еще какого-нибудь фашиста-подлеца на тот свет захватим.

— Что же, с кулаками на автоматы лезть? Так?

— А хоть и с кулаками... Да лучше пять раз подряд помереть, чем позволить, чтоб на тебе фашист свои яды пробовал,— кричал с окна Миша.

— Правильно говоришь... Дело...

Толпа гудела, постепенно наливаясь тяжелой яростью.

Возможно, администрация гросслазарета через своих осведомителей узнала, что новая партия раненых принесла с собой микробы бунта. Возможно, донесли ей и о солдате, который говорил с акцентом и отказался назвать

свою фамилию. А может быть, и так, что Миша и другие раненые были отобраны из вновь прибывшей партии, как слишком хилые и не годившиеся для изуверских экспериментов, только на следующий день эксперты, принимавшие новых, отделили его и с ним еще 21 пленного, имевших ранения рук или ног. Их не повели даже в барак. Их снова заперли в изоляторе. И Миша понял, что сегодня их умертвят. Поняли это и остальные. Тяжкое молчание наступило в бетонной коробке, пропахшей карболкой, аммиаком, нечистотами. Кто, сидя на полу, замер, прислонившись к стене, кто дремал, прикорнув в углу, бормоча и вскрикивая во сне, а Миша в зарешеченное окно наблюдал, как острые солнечные блики посверкивали в кадке воды, стоявшей у входа в изолятор, как торопливо, на разных скоростях, плыли по голубому летнему небу пушистые, позолоченные по краям облака.

— Эх, ребята, хоть бы разик еще полежать на травке у реки на солнышке, послушать, как вода меж камней журчит,— неожиданно сказал он.

— Належимся, только уж насчет солнышка — извини. Солнышка нам больше не видать,— ответил раненый солдат с круглой, низко остриженной и точно позолоченной рыжим волосом головой, со значком отличника-артиллериста на изорванной, окровавленной гимнастерке.

— Да, отвоевались, без нас Берлин брать придется,— прогудел хмурый босой пехотинец и, яростно скрипнув зубами, точно выдохнул с хрипом: — Ведь что гад-фашист с нами делает! Узнать бы об этом ребятам в нашем полку!..

Этот мрачный сутулый парень сидел в углу, и с самого рассвета, как только первые лучи просунулись сквозь решетки квадратных окон, он с упорством маньяка скреб гвоздем жесткую известку стены. До того как поведут на смерть, он хотел рассказать на стене тем советским солдатам, что возьмут когда-нибудь гросслазарет, о том, что творили фашисты с ранеными, попавшими в плен. Он скреб и скреб стену, скреб неутомимо, врезая в штукатурку букву за буквой. Скрежет его гвоздя не давал никому покоя.

— Что ж, мы и будем так вот смерти ждать? — вскрикнул вдруг Миша, с трудом отрывая взгляд от перламутровых красок летнего неба.— А это они, гады, видели? — И он ткнул кукиш туда, откуда слышались шаги

часового, неторопливые и ритмичные, как стук маятника старых часов.

Он выкрикнул это с таким бешенством, что все, кто оставался в изоляторе, оглянулись, отрываясь от мрачных дум. Даже спящие проснулись, даже неутомимый пехотинец перестал скрести своим гвоздем.

— Мы еще повоюем, черт их всех возьми!

— Без рук да без ног? — грустно усмехнулся артиллерист.

Действительно, у оставшихся в изоляторе или руки висели на перевязи или на ногах виднелись култышки грязных бинтов.

— А зубы, зубы на что? — крикнул Миша, упираясь руками в оконные проемы и усаживаясь на подоконнике. Два ряда крепких, крупных, белых зубов страшно сверкнули в курчавых зарослях усов и бороды.— Зубами фашисту горло перегрызу!

— Зубами не зубами, а если, скажем, костыльком фрица по черепу благословить, пожалуй, не выдержит череп,— как-то сразу оживился пехотинец, тот самый, что с утра гвоздем выводил на стене свое солдатское завещание.

— А то под ноги часовому броситься, повалить да придушить.

— Или камнем, каким ни попало, на прощанье кокнуть, а то сапогом садануть под душу. Верный амбец с такого удара. Я, братцы, еще в бою под Москвой в штыковой атаке одного так-то к чертям откомандировал. Он мне за винтовку схватился, а я ему сапогом под душу.

Точно свежий ветер впустил Миша в затхлые стены бетонной коробки. Со всех сторон сыпались предложения. Тут, за коридорами из колючей проволоки, по которым день и ночь бегали свирепые псы, за второй изгородью из проводов, наэлектризованных током высокого напряжения, в бетонной каморке, возле которой часовой с автоматом неумолчно отмеривал шаги, безоружные, раненые, до последней степени отощавшие люди самозабвенно мечтали о том, как дадут они врагу последний свой бой.

— ...Эх, товарищи, не помню где, но читал я где-то, а может, и не читал, так в голову пришло, солдат не побежден до тех пор, пока он сам себя побежденным не признает,— сверкая белками глаз, говорил Миша. Он сидел в проеме окна спиной к свету. Розоватое закатное солнце освещало его сзади, и казалось, что весь он лучится

тревожным светом.— Только не дрейфить, хвост не поджимать, мы им, сволочам, покажем их фашистскую маму.

— Видать, расстреливать будут. Темноты ждут. Уж это их такая поганая манера в темноте расстреливать. Днем нипочем, только ночью,— заметил бывалый артиллерист.

— Это бы здорово. Расстреливать — это из лагеря куда-нибудь везти. Они для таких дел места поглуше ищут, подальше от жилья. А ежели так, мы не только кое-кого из них с довольствия спишем, а может, кому из нас и уйти удастся. А? — спросил вдруг пехотинец.

Он уже забыл о своем завещании, не скреб гвоздем штукатурку. Он весь был захвачен мечтой о последней схватке и, должно быть, ни о чем уже другом думать не мог.

— А верно, ребята, может, бежим? Ну, сколько их конвойных будет? Ну, два, ну три, ну, от силы пять. У них с живой силой теперь не густо.

— Да еще ночку бы нам потемней... Глянь, Миша, какой там закат, дождя не обещает?

И хотя солнце село за чистый горизонт, и в еще не потемневшем небе сразу засветились первые колючие звезды, надежда, зажженная Мишей, не исчезла. Когда уже затемно у изолятора зарокотал, зафыркал мотор тяжелого грузовика, послышался топот, говор и заскрежетал ключ в замке, узники затаились.

Палачи, привыкшие к выкрикам ужаса, истерическим воплям, ругательствам и мольбам, отпрянув, застыли в дверях, испуганные настороженной тишиной. Должно быть, необыкновенное молчание изолятора испугало и командира конвоя, высокого ефрейтора в черной форме войск СС, руководившего массовыми расстрелами. Он выругался себе под нос и, засветив фонарь, проткнул сумрак камеры ярким острым лучом.

Нет, опасности не было. Обреченные на уничтожение раненые смирно сидели на полу. Самоуверенный палач, для которого расстрелы стали специальностью, не разглядел какого-то особого, отнюдь не обреченного, а скорее нетерпеливо возбужденного мерцания глаз. Он застегнул жесткую кобуру пистолета и скомандовал погрузку. Переводчик передал приказ выходить наружу и занимать места в кузове грузовика, который нечетко темнел на осыпанном звездами фоне весенней ночи. Тех, кто мед-

лил, кому слабость или увечье мешали идти, конвоиры хватали за руки и за ноги и, раскачав, как бревна, бросали в машину. Миша на руках пружинисто спустился с подоконника и, не показав врагам боли, заковылял к двери. Он не проронил ни звука, когда его ударили ногой. В это мгновение он подсчитывал силы врага. Палачей было семеро — четверо солдат с автоматами, их командир — ефрейтор при пистолете — и шофер с переводчиком, по-видимому, безоружные.

Когда раненые были в кузове, ефрейтор и переводчик забрались в кабину, а солдаты, поднявшись наверх, уселись по углам кузова, даже не сняв с плеч автоматы. В последнюю минуту кто-то снизу кинул в машину несколько заступов. Сверкнув при луне своими отполированными частым употреблением лезвиями, заступы падали под ноги раненым.

Палачи, должно быть, не допускали даже мысли о возможности сопротивления. Машина тронулась и, осторожно миновав проезд между бараками, выбралась на главную лагерную магистраль. В воротах ее остановили. Пожилой часовой пересчитал пассажиров. Он сделал это неторопливо, тщательно, точно усталый за день приемщик, отправляющий на убой последнюю партию скота. Машина тронулась. Конвоиры, покачиваясь на скамьях, позевывали и дремали. Они явно думали только о том, как бы поскорее управиться с этой последней работенкой и, вернувшись в казарму, завалиться на нары.

За воротами машина взревела мощным дизелем и, набрав скорость, понеслась по накатанной проселочной дороге к лесу, зубцы которого неясно чернели на горизонте за полями, точно осыпанные сверкающей лунной пылью.

Миша сидел на полу кузова, упираясь спиной в кабину машины. Он решил: пусть увезут как можно дальше. Он хотел атаковать палачей в минуту суматохи, которая неизбежно возникнет, когда остановится машина. Он мечтал захватить хотя бы один автомат. О, тогда он покажет им, этим палачам, обнаглевшим на легких убийствах, что значит хотя бы и раненый, хотя бы голодный и изнуренный советский солдат.

Идея овладеть автоматом поглощала его настолько, что для мысли о том, что идет, может быть, последний час его жизни, просто не оставалось места. Только бы кто-нибудь из товарищей не нарушил слова, не бросился

бы на врага раньше времени, не спутал бы всего плана. И Миша свирепым взглядом останавливал тех, чьи руки нетерпеливо тянулись к заступам, призывно звеневшим и бренчавшим на каждом ухабе.

Но вот потянуло запахом хвои; ветки деревьев гулко забарабанили по брезенту. Машину несколько раз тряхнуло, мотор сбавил газ. Остановились. Конвойные, нагибаясь, чтобы не упереться головой в брезент, разминаясь и потягиваясь, поднимались с мест. Вот тут-то Миша и крикнул: «Бей гадов!..» Цепко схватив за ноги ближайшего к нему немца, он с силой дернул его на себя и, когда тот, оторопев от неожиданности, стал падать, обеими руками вцепился в его автомат. Что делали в эту минуту другие его товарищи, он уже не видел. Ощутив в руках холод полированного металла, он с силой, на какую только был способен, повернул автомат, и, когда пальцы немца оторвались от оружия, крепко хватил его по черепу тяжелым рубчатым прикладом. Второй солдат с рассеченным до бровей черепом умирал рядом. Рыжий артиллерист, действуя одной рукой, отбросил заступ, овладел вторым автоматом и, ловко, как кошка, выпрыгнув из машины, исчез в ночи. Один за другим выбирались из кузова раненые. В лесу уже слышались звуки борьбы, яростное хрипение, крики, брань, глухие удары и стрельба: короткие хлопки пистолетных выстрелов и длинная дробь испуганной автоматной очереди.

Миша, хорошо знавший немецкое оружие, прямо сквозь брезент фургона послал продольную очередь на звук пистолетных хлопков, и вторую, тоже длинную, но сосредоточенную,— на звук автомата. Потом он пополз к краю кузова, перевалил через борт, тяжело свесился на руках и упал на землю на раненые свои ноги. На миг от острой жгучей боли все вокруг качнулось и стало расплываться. Поняв, что теряет сознание, Миша крепко закусил губу и этим отогнал обморок. Туман в глазах рассеялся.

Теперь можно было действовать. Ползком, как ящерица, Миша добрался до колеса грузовика, глубоко втиснувшегося в слабый песочный грунт. Окинув освещенную луной полянку опытным взором воина, он сразу оценил обстановку. Возле машины, смятый и неподвижный, лежал и третий конвойный и двое раненых, должно быть, прикопченные им. Остальные раненые, выбравшись из машины, по одному, по два, по три уже тянулись к лесу.

Двое — те, что ранены были в руки,— тащили третьего. Обнимая их шею, он прыгал на здоровой ноге. Совсем ослабевших уносили на закорках. И по ним, откуда-то из зияющих ям, из заранее заготовленной могилы, как догадался Миша, били из автомата. В этой могиле, должно быть, и прятались уцелевшие палачи. По ним на свет злого дрожащего огонька бил из-за массивного соснового пня пехотинец, тот, что с утра писал на стене свой последний наказ советским воинам.

Миша переполз к противоположному колесу. Заросшая сухим вереском поляна, на которой поднимались аккуратно выложенные продолговатые холмы, простиралась перед ним, щедро облитая лунным светом. Тут уже никого не было.

— Эй, пехота, сколько их там, в могиле? — спросил Миша.

— Ты жив?.. Вроде, трое,— откликнулся пехотинец.

Над могилой вспыхнул дрожащий огонек. Точно стая синичек цвикнули над Мишиной головой пули. Переждав конец очереди, продолжал разговор:

— А четвертый?

— Четвертый, сука, вроде ушел.

Еще пятеро раненых, должно быть, пережидавших стрельбу, выбрались из кузова.

— Расползайся в разные стороны, расходись кто куда может, хоронись лучше! — скомандовал им Миша, стараясь из-за своего колеса уловить момент, когда немец высунется из могильной ямы, чтобы дать очередь.

Но немец стрелял искусно, ловко. Уже давно пробил он шину где-то над Мишиной головой. Зашипел воздух. Машина накренилась. Пули нет-нет да и клевали стальной обод и со стоном рикошетировали от него.

— Разбредайтесь, черти! — напутствовал пехотинец из-за своего пня.

— На деревья не лазить, с собаками будут искать,— предупредил их вслед Миша.

Пятна черных точек пересекали луг, посеребренный лунным светом. И вдруг где-то рядом послышалось тяжелое дыхание.

— Не стреляй, свой,— раздался голос артиллериста. Он подполз к Мише, виновато улыбаясь.— Я было тиканул в лес с автоматом, потом слышу — вы бой ведете — вернулся.

Три автомата на автомат и пистолет! Теперь воевать можно было. Миша, присев под защитой колеса, пронзительным свистом сквозь зубы, этим универсальным сигналом, понятным каждому, кто воевал, вызвал к машине пехотинца из-за его корневища. Немцы не стреляли. Они, наверное, экономили патроны на случай атаки. Но сколько могло быть у автоматчика запасных обойм?

— Надо уходить, пока шофер не привел подмогу,— сказал артиллерист.

— С этими покончим и уйдем.

— Это не просто «покончим»,— возразил Миша.— Они в земле, выковырни их оттуда. И оставить нельзя. На след наведут. Эй, слушай, имею идею!

И, весь загораясь новой мыслью, как умеют загораться деятельные, живые люди, он шепотом сообщил товарищам план. Он с пехотинцем будет огнем сковывать внимание немцев. Артиллерист, который был, так сказать, целее их и мог лучше передвигаться, тихо подползет к могиле с тыла...

...Минут через десять короткая очередь, раздавшаяся за земляным горбом, очередь, после которой в лесу воцарилась такая тишина, что слышны стали далекие, доносившиеся издали трели соловьев, возвестила, что с врагом кончено. От машины видно было, как артиллерист соскользнул в могилу, как через минуту выбросил из нее один за другим два автомата, вылез сам и, не таясь, в рост пошел к товарищам.

— Там внизу и наши лежат. Четверо. Теплые еще.

— Пошли, пошли,— заторопил пехотинец.— Садись, атаман.

Он посадил Мишу на закорки, и они скрылись в лесу, в котором исчезли уже их товарищи.

Мишу несли по очереди. Двигались быстро, как только хватало сил. И все же далеко уйти им не удалось. Вдали сквозь такой мирный соловьиный щелк послышался рокот моторов, потом голоса и возбужденный собачий лай.

— Товарищи, оставьте меня, я вас прикрою,— попросил Миша.

Друзья ничего не ответили и продолжали его нести. Шли почти бегом. Все глубже и глубже забирали в чащу.

— Оставьте меня! — требовал Миша.

— Молчи, что ты мелешь,— шептал артиллерист.

— Вместе уйдем или вместе погибнем,— хрипел пехотинец, крепко сжимая пальцами здоровой руки руку Миши, сидевшего у него на закорках.

Но голоса уже приближались настолько, что можно было различить отдельные слова. Когда проходили мимо большого выворотня, Миша рванулся из рук своего носильщика.

— Стой!

И столько было в этом коротком слове командирской властности, что пехотинец невольно остановился.

— Я приказываю оставить меня здесь,— сказал тот, кого звали Мишей. Соскользнув с плеч товарища, он распластался на земле, устроился за торчащими корнями, дал длинную очередь по чужим голосам и собачьему лаю.

— Оставить еще... один автомат! Бежать в разные стороны! — приказал он.

Пехотинец и артиллерист подчинились команде. И долго еще, пробираясь сквозь заросли молодого дубняка, слышали они за спиной автоматные очереди, винтовочный треск, взрывы гранат, чьи-то крики. Белесая ракета, гася уже по-утреннему поблекшую луну, вонзилась в небо. Гулко звенело эхо выстрелов, и спугнутые с гнездовьев вороны, свистя крыльями, ошалело носились, натыкаясь на вершины берез...

А на следующий день в пригородном сельце, что южнее Славуты, на площади перед зданием колхозного правления, где тогда помещался немецкий комендант, висел на суку старого бука молодой человек в форме советского солдата с грязными култышками бинтов на ногах. Гимнастерка и шаровары повешенного сплошь коробились от запекшейся крови.

По округе уже ползли слухи о побеге раненых, об их необыкновенном бое с фашистскими конвоирами и о том, что только одного из бежавших после долгих поисков удалось настичь. Поняли люди, что этот единственный и был тот, заросший черным волосом человек, что висел на суку бука перед зданием комендатуры. Подходили, молча рассматривали тело и убеждались, что не от петли, а от многих и многих ран умер этот неведомый человек, поняли, что уже мертвым он был повешен мстительными палачами...

Ночью совершилось чудо. Под самым носом у часового, охранявшего комендатуру, повешенный исчез.

Исчез бесследно, точно растаял в теплом весеннем тумане. Только конец обрезанной веревки осветило поднявшееся солнце. А на следующую ночь на развилине дороги, ведшей из Славуты на юг и на юго-запад, под старым кленом появился свежий могильный холмик.

Крестьяне окрестных селений спрятали и выходили беглецов. От них узнали они то, что случилось в гросс-лазарете. Говор о подвиге неизвестного человека, покоившегося под кленом, пошел по хуторам и лесам...

Вот и все, что удалось мне узнать от окрестных селян в те дни, когда мимо клена и безымянной могилы на юг и на юго-запад шли наступающие советские войска. И мне хотелось, чтобы рассказ этот, в котором я ничего не замолчал и не приукрасил, лег тогда рядом с наивными солдатскими букетами и венками на могилу неизвестного советского солдата по имени Миша.

1944—1948

ПАН ТЮХИН И ПАН ТЕЛЕЕВ

На Карпатах осенью бывает такая погода: ярко светит солнце, прохладный воздух столь прозрачен, что с какой-нибудь вершины можно видеть окрестность километров на тридцать в окружности, и столь чист, что, кажется, протяни руку — и дотронешься до соседней горы, одетой в богатую лесную шубу, огненно-красную у подножья, сверкающую золотом посредине и кудрявую, изумрудно-зеленую на макушке. Паутинки, поблескивая, тихо плывут в прозрачной голубизне. Тянутся на юг косяки журавлей, забирающие над горами так высоко, что их не видно, и только еле доносится гортанное курлыканье, похожее на скрип длинной пароконной польской фуры. Все вокруг сверкает в прохладной тишине, источая запахи тучной осени. Потом вдруг резко рванет северо-западный ветер, в одно мгновенье натащит откуда-то из глубины ущелий густой промозглый туман, затянет небо холодными низкими облаками, напялит на ближние и дальние горы грязно-серые мглистые чехлы и пойдет гулять по холмам, по горным дорогам, сея мельчайшую водяную муку, таская с места на место целые вороха золотой и багряной листвы.

Вот такая внезапная непогода и накрыла нас на аэродроме маленького польского городка, откуда мы должны были лететь через горы, через фронт в Банску Бистрицу, где в те дни словацкий народ поднимал восстание против немецких оккупантов. Низкие тучи, сочащиеся влажной пылью, прочно прижали наш самолет к бетонной дорожке. Туман был так густ, что, стоя у конца крыла, нельзя было разглядеть винтов машины. А повстанческое радио точно дразнило нас, то передавая сообщение о развитии восстания и расширении повстанческих районов, то извещая, что единственный горный партизанский аэродром Три Дуба плотно закрыт непроглядной мглой.

Злые, раздраженные, ходили мы вокруг самолета, с крыльев которого звучно шлепали о бетон крупные капли.

Только начальник военного аэродрома инженер-майор Бубенцов, поджарый, быстрый человечек с крупной лобастой головой, с морщинистым и живым лицом, по которому совершенно невозможно было угадать его возраст, казалось, был доволен погодой. Круглые серые глаза, глубоко сидевшие в темных глазницах, и тонкий с горбинкой нос придавали ему в профиль сходство с какой-то хищной птицей. Человек же он был славный, общительный и деятельный. Рассыпая веселую скороговорку, он необидно посмеивался над нашим нетерпением и все шутил, что с богом он насчет погоды в заговоре и что договорился он с ним, по крайней мере, до завтра не отпускать гостей.

Бубенцов честно признался, что тут, в этом маленьком городке, давно ставшем глубоким тылом, он, москвич, вконец изголодался по разговору со свежими людьми и может однажды умереть от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг, если в ближайшие дни не выговорится всласть с теми, кто прилетел, как он выражался, «оттуда». Это последнее слово он произносил так многозначительно, так тепло и с такой неподдельной тоской, что его становилось жалко.

Последняя сводка погоды гласила, что облачный фронт затормозил свое продвижение и застрял над хребтом. Надежды на вылет не было, и пришлось принять предложение жизнерадостного москвича.

На закате, когда сгустившийся туман, точно серой овечьей шубой, покрыл все кругом, мы сели в невероятную машину — «десяти лучших марок», как шутливо реко-

мендовал ее хозяин,— чудом собранную из разномастной трофейной рухляди, и, хрипло гукая допотопным рожком, медленно поплыли во мгле по улицам совершенно невидимого городка. Потом на ощупь, держась за руки, как слепые, прошли через садик, где по различному благоуханию угадывалось много цветов, добрались до крыльца особнячка, очутились в уютной квартире и попали прямо к накрытому столу.

Бубенцов, желая вознаградить нас за наши злоключения, выложил на стол, должно быть, весь свой недельный паек. Сам же он ничего не ел и говорил почти один, едва давая нам вставить в беседу «да» или «нет», выразить согласие или удивление. Впрочем, мы не очень сетовали на него. Ужин был по военным временам превосходный, а говорил инженер-майор так ярко и живо, и при этом его выразительное морщинистое лицо светилось таким умом, а крупные серые глаза источали такое дружелюбие, что слушать его было удовольствием.

— Вы знаете, товарищи,— говорил он, и при этом его маленькая сильная ловкая рука обгорелым концом спички чертила на бумажной салфетке профили и фасы каких-то шестерен, кронштейнов, передач,— вы знаете, стыдно признаться, но самой жгучей мечтой моего детства было побывать за границей. Да, да, да. Именно за границей. Мы жили на Калужской, у нас в доме тогда жил знаменитый по тем временам московский футболист, центр нападения сборной Москвы. Однажды он вылетел с командой на матч в Турцию и привез оттуда какие-то фиолетовые брюки и соломенную шляпу со шнурком...

Когда он шел из дому в своих брюках, мы, подростки, в почтительном отдалении следовали за ним. И не только потому, что он был замечательным футболистом, а и потому, что он побывал за границей, он играл в Стамбуле. В Стамбуле, а?.. Смешно, не правда ли?

Ну, а потом я был за это наказан. Став инженером, я по делам наркомата был вынужден часто бывать за рубежом, объездил всю индустриальную Европу, живал в Америке. И вы знаете, что единственно я вывозил оттуда? Тоску по родине. Только. Не ту сладенькую, кокетливую тоску, что воспевалась в старинных романсах. Нет, нет, нет! Тоску серьезную, так сказать, действенную, и не то чтобы там по родным пейзажам, по родной речи, по семье. Это, конечно, само собой. Нет, по нашим порядкам, по нашему размаху, по нашим людям

в большом смысле этого слова. Да, да, да! И, если хотите, даже по нашей атмосфере постоянной борьбы, по нашим трудностям, черт возьми, в борьбе с которыми закаляется человек, по нашему воздуху, которым так вольно дышится. И по нашему человеку. Верьте мне, таких людей за границей пока еще нет.

Инженер-майор вскочил из-за стола и стал ходить по комнате, рубя воздух ладошкой, с необычайной ловкостью лавируя между мебелью.

— Вы извините, мешаю вам есть... Но вы меня поймете, я здесь дьявольски истосковался. Да, да, да! Ведь вот, когда ты дома, все тебе кажется будничио, обыденно, и события происходят обыкновенные, и газеты об обычном пишут. И даже, давайте признаемся, скучновато пишут. И люди вокруг все знакомые, даже иной раз надоевшие. Но вот ты за границей, и ты жадно хватаешь какую-нибудь старую советскую газету или раскрываешь какое-нибудь письмо и тщательно высасываешь оттуда все, все. Все мелочишки смакуешь, даже театральные объявления в газете или поклоны родственников в письме. Издали особенно чувствуешь, сколь необычайны и интересны творящиеся у нас дела. И тянет, неудержимо тянет скорее домой, за эти дела приняться! Да, да, да! С вами этого не бывало? Ну, вот видите... А наш человек! Дома сравнить его не с кем. Но вот он попал за границу, и ни в какой толпе его не спрячешь, сразу его видно. Вам, наверное, надоело смотреть, как я бегаю, я сяду...

Он на минуту сел, плеснул в рот несколько ложек польской лапши, аппетитной лапши, прозрачной, с изумрудными кудрями петрушки, плававшими в бульоне, но сейчас же бросил ложку и забегал вновь.

— Нашего человека как с заграничной толпой ни мешай, он всегда выделится. Да, да, да! Ведь нельзя, скажем, смешать воду и масло, как ни взбалтывай. Уж на что эта война, как она все взболтала: государства, народы, политические партии. В ином месте в такую кашу все перемешалось, не поймешь, где что. Но не нас. Как нас ни мяли, ни гнули — стоим. Ох, и крепкой же мы марки — легированной, нержавеющей, и такие закалки прошли, что ни на удар, ни на излом, ни на сжатие, ни на скручивание не поддаемся. Именно, именно. Вот здесь, в этих местах, случай был, поверить трудно. Мне рассказывали, я и сам сначала не верил. Людей-то этих,

главных действующих, так сказать, лиц, я уже не застал, но свидетели, очевидцы, их соратники — этих тут сколько угодно. Вещественными доказательствами просто завалили. Я тут от нечего делать проверял, собирал материалы и выяснил: действительно все было, как они рассказывают. Вы меня извините, одну минуточку...

Бубенцов вышел из комнаты. Мы слышали, как он постучал в дверь и у кого-то по-французски попросил разрешения привести своих друзей, советских офицеров, и как женский голос, грудной, очень звучный, тоже по-французски, но с явным польским акцентом, ответил: «Да, да, пожалуйста, я буду рада».

— Вот, пойдемте, для начала я покажу вам портреты главных действующих лиц,— сказал Бубенцов, возвращаясь к нам,— пойдемте, не пожалеете.

Мы прошли через несколько комнат в большую и светлую, судя по полированной «модерной» мебели, гостиную. За квадратным низким столиком под абажуром торшера сидела высокая худощавая, спортивного склада девушка в грубошерстной защитного цвета тужурке и лыжных брюках, застегнутых у щиколоток. Она занималась совсем не девичьим делом: разбирала и чистила немецкий автомат, части которого были аккуратно разложены перед ней на столе на газете. При нашем появлении она встала и приветливо поклонилась, пряча за спиной узкие руки с длинными пальцами, черными от ружейной смазки.

— Панна Марыся, дочь хозяина. Студентка. А сейчас — польская партизанка. Собирается через фронт, за Вислу,— рекомендовал нам ее инженер-майор и по-французски попросил ее показать нам портреты ее друзей.

Глаза девушки заулыбались, и от этого худое и неправильное лицо ее стало хорошеньким. Все еще пряча руки за спиной, она подвела нас к стене, на которой висели старые семейные фотографии в рамках.

На одной из фотографий был изображен худой молодой человек с черными широкими бровями, с выпуклым упрямым лбом, с сильно поджатыми губами и резко очерченным подбородком. Лицо волевое, решительное, целеустремленное.

С другой, висевшей рядом в точно такой же старинной овальной рамке, смотрел круглоликий, курносый, широкоскулый парень, стриженный под машинку, с лицом, осыпанным темными пятнами крупных веснушек,

с хитрыми узкими глазками, источавшими озорное добродушие.

К фотографиям этим снизу были приколоты ветки лавра — так в старых польских семьях отмечают изображения прославленных родичей.

Однако нетрудно было определить, что эти двое к польскому роду никакого отношения не имеют, что это наши соотечественники, и показалось нам, что этим двум, наверное, скучновато тут, в компании чинных длинноусых панов и пани с высокими прическами прошлого века.

Панна Марыся поправила под одним из портретов покривившуюся веточку и, показав на чернобрового, сказала тем взволнованно-смущенным и радостным тоном, каким девушки называют имя любимого:

— То есть пан Анджий Тюхин.

Потом, едва скрыв под длинными ресницами теплую усмешку, с какой вспоминают обычно о добром и веселом друге, показала на курносого:

— То есть коллега пана Анджия пан Теодор Телеев,— и добавила: — Бардзо добжи панове, бардзо добжи рыцажи...

И, излучая большими черными глазами все ту же взволнованную радость, она спросила:

— Панове офицежи знайон тых панув?

Мы сказали, что, к сожалению, их не знаем, извинились и ушли, оставив странную девушку за ее недевичьим занятием.

А наш хозяин, весь сияя бесчисленными морщинками, которые складывались у него на лице всегда так, что подчеркивали каждое его выражение, особенно улыбку, заговорил:

— Ну, видели? Какой почет: рыцажи! И, вы знаете, заслуженный почет. Впрочем, тут целая история. Не заговорил я вас? Тогда вот ешьте фрукты, пейте вино, а я буду рассказывать. Ей-богу, не соскучитесь, да, да, да.

Он бросился в кресло, и по усталой позе, по опустившимся сразу плечам стало видно, что этому человеку неопределенного возраста уже немало лет и что жизнь он прожил нелегкую.

— ...Так вот, известно ли вам, что, так сказать, по не зависящим от вас обстоятельствам вы застряли в центре польского нефтедобывающего района? — Схватив со стола карандаш, бумагу, он снова принялся, по инженерской

привычке своей, чертить на ней точными, скупыми штрихами фасы и профили насосов, нефтяных вышек, баков.— Не знаете? Поясню. Весь этот район Прикарпатья покрыт нефтяными вышками. Нет, нет, конечно, не Баку, не Грозный, даже не Сызрань... И техника тут, на наш взгляд, была музейная, желонками качали. Все ж таки, однако, кое-что из земли выжимали и, по здешним масштабам, немало. Ну-с, а когда немцы в этот край пожаловали, они, конечно, первым делом за эту самую нефть лапой — хвать. У них-то с нефтью вовсе швах, ну и захотелось им выжать из этих тщедушных скважин как можно больше. Они на них и насели.

Вас, конечно, никакими фашистскими зверствами не удивишь. Фашизм в действии повидали. И в Освенциме были? Ну, вот видите. Однако этот уголок можно считать, так сказать, опытно-показательным участком гитлеровского «нового порядка». Да, да, да. Я бы сюда после войны всемирные экскурсии устраивал. Честное слово! С просветительной целью. Смотрите, дескать, господа народы, что вас ожидало, если бы не спасла вас от этого «нового порядка» Красная Армия. Очень поучительная была бы экскурсия.

Ну-с, возьмем для примера участок вот тут, у города. Промыслы не бог весть какие, а нагнали сюда немцы людей со всей Европы: и французы, и бельгийцы, и чехи, и датчане. И лихтенштейнцы даже, каких и на карте-то не всякий сразу сыщет. Эти все жили в лагерях... За проволокой. В проволоку электрический ток пущен. На работу — под конвоем, с работы — под конвоем, четырнадцать рабочих часов. Пища — брюква, меню незатейливое, в чисто фашистском вкусе: брюква на первое, на второе и на третье. По пол-литра брюквенной бурды зараз. И кофе... На ночь кружка кофе, из чего они его варили — неизвестно. Спанье в бараках, на нарах в три этажа, по два кубометра воздуха на брата. И телесные наказания. Да, да, да! И какие! Целая система.

Бубенцов полез под кровать, вынул оттуда гибкую трость с ручкой из пластмассы — стальной прут, залитый в резину.

— Увесистая штука. Звались гуммами. Каждый надсмотрщик был вооружен такой гуммой. Ею он подбадривал голодных, усталых, еле волочивших ноги людей, работавших возле вышек. Прошу повнимательнее рассмотреть рукоятку. Видите фирменный знак: «Эрих Бокверке.

Франкфурт». Массовое производство, так сказать, фашистский ширпотреб. Трости эти гуляли по спинам и военнопленных, да и рабочих — мобилизованных поляков, которых тоже под конвоем водили с работы на работу.

Но это еще что! Не знаю, как в других местах, но здесь была даже разработана шкала наказаний. Вот она, прошу взглянуть. Вы немецкий знаете? Так вот читайте подлинник, да, да, да... «Невыполнение норм вторичное — пять ударов, третичное — десять... Порча инструментов —пятнадцать... Ослушание начальника — пятнадцать, вторичное ослушание — двадцать пять... Разговор с населением — пять...» Словом, стоило поляку, чеху, бельгийцу или там какому-нибудь лихтенштейнцу, рабочему или инженеру, это безразлично, нарушить одно из этих правил — и надсмотрщик аккуратно выписывал ему талончик, так сказать, наряд на сечение и указывал в нем число ударов. Вернувшись с работы, человек сам, да, да, да, сам должен был идти в лагерную контору, и дежурный, которому он вручал этот талончик, производил экзекуцию.

И человек, живой человек — самое гордое существо из всех, как верит панна Марыся, созданных богом, человек, который еще недавно мечтал о будущем, учился, увлекался литературой, искусством, любил — лежал вот на скамейке, и какой-нибудь кособокий инвалид, выбракованный всеми военными комиссиями, сек его. Дойче оргкунг! Чудо фашистской организации! А? Ну, а когда кто-нибудь поднимал протест или истощался на работах настолько, что не мог уже ходить, он попадал в «черный поезд», дважды в месяц курсировавший между этим городком и знаменитым Освенцимом, о коем вы, оказывается, знаете. Там его сжигали в печах Биркенау, как ненужный промышленный отход, как мусор, из которого ничего полезного нельзя было выжать для «великой Германии». Может, не верите? Спросите у моего квартирохозяина пана Казимира. Он здешний инженер и при оккупантах по принуждению тоже работал инженером. Он сам дважды полежал на этой вот скамье и получил первый раз десять, а второй раз пятнадцать ударов за снисходительное отношение к рабочим и чуть было даже не угодил в биркенауский «камин», от которого его спасли вот те двое наших сограждан, портреты которых висят в гостиной в компании чопорных предков польской панны.

Короче говоря, всей этой системой фашисты стремились выбить из людей все человеческое: гордость, самолюбие, солидарность, подавить в них сознание, уничтожить волю и превратить человека даже не в животное, нет,— лошадь, вон, защищаясь, может лягнуть, бык бодается,— а в живую дешевую машину, которая срабатывалась до полной амортизации, а потом отвозилась на свалку, то есть в Освенцим. И самое страшное было в том, что они уже кое-чего достигли. Да, да, да! Страх смерти заставлял людей молчать, покоряться, работать. В них постепенно притуплялось чувство протеста, слабела воля, сила сопротивления. Да, да, да! Не у всех, конечно, но у многих, очень у многих.

Так было тут, в этом заповеднике «нового порядка», до самой весны прошлого года, пока сюда разными путями, но совершенно случайно не попали два человека, эти — как их тут до сих пор с трогательным упорством называют на местный манер — пан Анджий Тюхин и пан Теодор Телеев, а проще говоря: штурман сбитого бомбардировщика дальнего действия Андрей Пантюхин и рабочий-нефтяник из Грозного Федор Пантелеев, привезенные сюда в качестве военнопленных.

Вижу, вы улыбаетесь. Действительно смешно, что этих ребят до сих пор зовут на польский манер, но в этом, мне кажется, особая форма признания их заслуг. Однако об этом потом. Послушайте раньше, что здесь они натворили.

Андрей Пантюхин появился тут первым. Отыскала его эта самая панна Марыся, с которой вы познакомились. Это вышло как раз после того, как отец ее, пан Казимир, пожилой, почтенный человек, вторично попал на скамью для порки, да и слег после этого с тяжелым сердечным приступом. И вот Марыся под вечер пошла в деревню Кросненку — это тут недалеко, километров семь севернее города, уже в горах,— пошла за врачом. Врач этот, старый друг их дома, чтобы избавиться от мобилизации, работал у брата на хуторе за батрака. И вот идет эта самая панночка и там, где дорога начинает забирать в горы, вдруг слышит словно бы стон. Да, да, да, стон.

Что такое? Девушка не робкого десятка. Свернула с дороги, видит на дереве погашенный парашют белеет, а под деревом человеческий силуэт. Человек стонет, но не шевелится. Должно быть, без сознания. Пригляде-

лась: комбинезон, шлем, значит — летчик. Наклонилась, приподняла его, повернула. Он пришел в себя — и за пистолет: «Назад, застрелю!» Ну, языки русский и польский не очень похожи, но они друг друга поняли. Да, да, да. Она его осмотрела, видит — плохо дело, нога сломана и рука вывихнута. Как быть? Нести в город? Она бы понесла, девушка храбрая и сильная, но нельзя. Везде полно немцев, через день обыск. На хутор, к другу-врачу, тоже нельзя. В то время тут, в этих местах, какая-то немецкая дивизия, разбитая под Воронежом, переформировывалась. Все деревни забиты были. Ну, он сам ей мысль и подал: спрячьте меня тут в кустах меж скал, дело, дескать, к лету, перележу, пока перелом не срастется.

Так и сделали. Сожгла панночка парашют, за врачом за своим сбегала, перевязали они его по-настоящему, перелом в лубки. Все честь честью. И стали они ему по очереди — то она из города, то врач со своего хутора — еду носить. Ну, день живет наш летчик, два живет, неделю, а парень, видно, башковитый, острого ума, язык быстро освоил. Ну, и пока его кормят да перевязывают, разговоры ведет: «Как живете, что гитлеровцы?» Ну, ему и рассказывают про этот самый про «новый порядок», про гуммы, про дымы Биркенау, что пахнут человеческим мясом. Он и вскипел: «Да какого ж вы дьявола терпите!» Марыся ему: «А что сделаешь, если за ослушание в биркенауский камин возят?» Он ей: «Лучше умереть, сражаясь, чем так-то вот превращаться в рабочий скот». Слово за слово, разошелся парень. «Иль в Польше,— кричит,— смелые люди перевелись?» Она ему: «Смелых-то сколько в Освенцим позабрали, лучших борцов, всех гестапо повыловило, дымы-то над Биркенау день и ночь стоят». А он ей: «Пока всех не сожгли, надо действовать. Не самим же в эти печи проклятые лезть». Словом, вогнал он панночку в слезы. Обиделась — ушла, не попрощавшись даже.

А по дороге остыла, задумалась и пришла к мысли — прав этот русский. Стала в уме прикладывать, кто из смелых-то людей уцелел после разгрома подпольных организаций. Мало кого она в городе знала, однако вспомнила кое-кого из своих друзей по гимназии да из рабочих, что к отцу ходили. И решила попытаться что-то сделать. С тем потолковала, с другим потолковала. Видит, действительно, смелые люди есть. И какие! В бой хоть сейчас готовы. Только все спрашивают: а кто поведет?

Ну, она, не долго думая, и брякнула им: подпольный партизанский центр. Чей центр? А она не растерялась, уж врать, так врать: партии Роботничей, говорит, центр снова возродился. А в то время польские коммунисты действительно движение Сопротивления развертывали, только в этом-то городке их организация после разгрома еще не оправилась. Ну, люди панночке поверили, понемногу действовать начали. Для начала немецкая контора на промыслах сгорела. С этого и пошло. Как только контора вспыхнула, люди сразу головы подняли... Да, да, да! Поняли: «Еще Польска не сгинела». Ну, и помаленьку стали распрямляться спины.

А Андрей Пантюхин Марысю просвещает: действуй так да этак. Подсказал, чтобы организацию мелкими ячейками создавала, чтоб люди из отдельных ячеек друг с другом не знались, а сносились через организаторов. И как действовать советы дает, и куда удары наносить. Я сказал вам — светлая голова. Быстро, со слов Марыси, освоился с обстановочкой, в дела влез. В общем, целая подпольная организация образовалась. И работа идет: то, глядишь, в пути цистерна с нефтью или бензином вспыхнула, то на какой-нибудь высокодебетной вышке пожар, то поезд почему-то на занятый путь залетел. И главное — сам-то он лежит под скалой в норе, в лубках, двинуться не может, беспомощный, а башка работает, и воля неукротимая. От него вся эта машина тайная вертится, как от мотора, а панна Марыся — вроде приводного ремня.

Ну, а люди здешние уж вовсе головы подняли. В бывшей гимназии в физическом кабинете мастерскую организовали, бомбы делают, бутылки с горючей жидкостью. У населения кое у кого оружьишко было попрятано — собрали, своим боевикам роздали. Немцы стали уж серьезный ущерб нести. А главное — не поймут, откуда что берется.

Одно Пантюхину не удавалось: как он ни бился, не могли его люди связаться с военнопленными, с иностранными невольниками, что работали на промыслах. Да, да, да, это было самое трудное. Очень их охраняли. Да и напуганы были пленные теми же «биркенаускими каминами». Но тут произошло другое событие, слушайте, какое. С очередной невольничьей партией из Силезии, был там пункт распределения вестарбейтер, вроде невольничьего рынка в Крайцбурге, прибывает на промыслы

военнопленный — тот самый грозненский бурильщик Федор Пантелеев. Пленных красноармейцев возить сюда было запрещено — опасались немцы — и Пантелеев попал сюда в виде исключения — как буровой мастер высокой квалификации.

Начал он с того, что объявил начальству: он будет своими методами бурить скважину в два раза быстрее, чем там бурили, и потребовал подобрать ему бригаду из чехов: дескать, славяне, легче ему с ними объясняться. Да, да, да, так и заявил. И не только заявил, но и бурить принялся. Ну, вы, конечно, знаете, что наши люди среди военнопленных самыми непокорными были. А тут вдруг человек для немцев старается изо всех сил, бурит и действительно в короткий срок достигает нефтеносного пласта. Ну, пленные других наций на него косятся: как, мол, это понимать? Нужели и среди русских фашистские прихвостни оказались? А тут еще немцы сразу его отличили, отметили, перевели на легкий режим. Но вышка через три дня загорелась, да так ловко сгорела, что и скважину запломбировала. Да, да, да. В общем, все начинай сначала.

Тут пленные, что посмекалистее, стали к русскому приглядываться. А он, знай, работает. И веселый такой, в лагере точно дома. Смеется, песни поет, аккордеон где-то раздобыл, играет. Чехам своим тоже легкий режим выхлопотал. И начинают они вторую строить вышку. Дело идет споро, вот-вот до пласта доберутся. Немцы в восторге: не человек, а клад. Пленные затаились, ждут, что будет. И вдруг весть: осеннее половодье плотину почему-то как раз в тех местах прососало, всю долинку залило, все работы как языком слизнуло, и русский со своими чехами еле даже спасся. Перед немцами он опять герой: фуй, какое несчастье! Очень, должно быть, хитер был человек и как-то так умел все делать, что оккупанты, при всей их подозрительности и шпионской сети, никак его расшифровать не могли. Он для них деловой человек, мастер. Во все бараки ему пропуск выписан людей в бригады подбирать. Да, да, да, сами и выдали пропуск, собственной рукой.

Вот тут-то наш Пантелеев по-настоящему и развернулся. Кое-кто из пленных уже сообразил, что он за птица, сами к нему потянулись, да и он, видать, глаз имел снайперский. Умел хорошего человека разглядеть, сомнительного прощупать, а провокатора расшифровать и

обойти. И понемногу сколотил он организацийку: ведь где — в бараках военнопленных, за проволокой, через которую ток пропущен. И какую! В каждом бараке свой человек. Как уж там он с ними объяснялся, догадаться трудно. Говорят, знал только по-русски. А ведь листовки на всех языках писали, «листовки-передайки»: прочел — передай другому. И стал он со своими друзьями исподволь готовить восстание. Да, да, да, восстание, не больше не меньше.

Вы знаете, в химии есть вещества, малейшей крупинке которых достаточно попасть в бочку раствора, чтобы сейчас же началась бурнейшая реакция. Должно быть, этот советский парень и стал такой крупинкой, катализатором. Рассказывают про него: веселый был человек, с виду эдакий бесшабашный, и спляшет, и попоет, и позубоскалит, но при всем том был у него, видать, прямо государственный ум. Понял он, что восстание это без поляков, без опоры на население не удастся. И стал он польских рабочих прощупывать. Однако те тоже провокаторов боялись и на первое слово не шли. Да и как тут сговоришься, когда между ними проволока и часовые с ручными пулеметами на вышках стоят?

А пленных уже нетерпенье одолевает. Подпольная-то организация — листовки, разговоры — надежды в них разбудила, ум, волю активизировала. Гордость человеческая проснулась. Да и жилось им очень уж лихо. Стал опасаться Федор Пантелеев, как бы они стихийно не восстали, на автоматы, на проволоку не бросились. И, опасаясь этого, решился он на крайний шаг: либо пан, либо пропал.

Вдруг заболевает он какой-то невероятной болезнью. Рассчитал так: немцы убедились, что он им человек нужный. В лагере больницы нет, всей медициной заправляет чуть ли не ветеринарный фельдшер. И обязательно, рассчитывал он, должны отвезти его в гражданскую польскую больницу. Да, да, да! Как рассчитал, так и вышло! Положили его в больницу, часового, правда, для охраны поставили. Но что часовой?

Потом спрашивали Пантелеева: откуда он узнал, что за проволокой есть организация Сопротивления, почему решил искать с ней связи? А он в ответ: «Поляки — народ гордый, вижу, как их тут попирают. Как ей тут не быть, организации?» Рассчитал он и так: узнав, что в больнице лежит русский военнопленный, организация

эта обязательно должна попытаться через него с лагерем в связь войти. И опять вышло, точно в воду глядел. Нашлась в больнице врачиха, что к этой организации прикосновенна была. Она о русском пленном — своему десятскому, десятский — Марысе, Марыся — Андрею, Андрей — по цепи обратно: прощупать.

Ну, болезнь у Пантелеева затянулась. Походили, походили конспираторы друг вокруг друга, издали друг друга прощупали, поближе обнюхали, видят — одного поля ягоды... Заговорили откровенней, да, да, да, и сговорились совместно выступить пятнадцатого июля, утром, когда пленных поведут из бараков в баню и они встретятся с колонной польских рабочих, идущих на работы.

Все оговорили до мелочей: и чтоб оружие оказалось под рукой, и чтоб телеграф с телефоном к тому сроку из строя вывести, и как вместе полицейскую казарму блокировать. Все. И, что самое главное, при переговорах — с обеих сторон строжайшая конспирация. Пантелеев выдает себя за связного от какого-то выдуманного чеха-коммуниста, Пантюхин — вовсе от всех в стороне, его нет, подполье действует. Так связали они нити своих организаций, и ни тому, ни другому невдомек, что на далеких-то их концах они, два советских человека, стоят и всем делом заправляют.

За сим Пантелеев поправился и был отконвоирован в лагерь бурить скважины и готовить восстание. Пантюхин же, выхоженный друзьями-поляками, к тому времени уже вставал. Нога у него срослась, лубки сняли, руку, правда, носил на перевязи, но ходил уже без костыля, с палочкой. Хотел было он сначала, набравшись сил, к Красной Армии навстречу подаваться. Но, что там греха таить,— тут инженер снизил голос до шепота,— тут между ним и этой панной Марысей к тому времени любовь завязалась. Вы не думайте, романчик мимолетный, интрижка там какая-нибудь, нет, любовь, родившаяся в совместной борьбе. Она тоже с ним решила идти, знала, что у нас возрождалось Войско Польское, и хотела, как она говорит, пробиваться «до того войска». И не ушли они вот почему: уж очень большое дело он тут завертел и чувствовал, что не имеет права бросать его не завершив. Да, да, да! Ну, как же, людей поднял, организацию сколотил и — все бросить. Так он и остался в лесу, в шалашике под скалой, никем не знаемый,

никем не видимый, и продолжал втихомолку через панну Марысю всем заправлять.

А тут еще вот что случилось: старого пана Казимира, отца панны Марыси, и нескольких польских рабочих и инженеров по подозрению в участии в Сопротивлении арестовали. И грозили им уж «биркенауские кампны». Люди были хорошие, авторитетные, и вся организация через «десятских» передавала требование попытаться их освободить. Пантюхин-то тоже стал опасаться, как бы подпольщики стихийно, без подготовки, не поднялись и всего дела не провалили. Словом, договорились: пятнадцатого июля.

И вот наступило это самое пятнадцатое июля. Ну просто точно по нотам они все разыграли. Как строители тоннеля, не видя друг друга, пробивались они навстречу один к другому сквозь скалы и рассчитали так точно, что забои их сошлись тютелька в тютельку. Тут-то и сказалась сила человеческой организованности, самая могучая сила на земле.

Когда в назначенный срок колонны встретились, они так внезапно и дружно атаковали конвоиров, напав на них одни с булыжниками, завернутыми в белье, другие с гранатами, что, перебив что-то около десяти вооруженных конвоиров, сами имели только одного раненого. Именно эту панну Марысю. Да и ее-то ранили потому, что, увидев среди конвойных немца, который порол ее отца, она забыла всякие инструкции, выдержку, ринулась прямо на него. Словом, один — десять. Да, да, да, такое соотношение... И сейчас же колонны объединились, бросились к дровяному складу, где спрятано было оружие, вооружились, блокировали контору, выпустили арестованных, зажгли общежитие фельдполиции, казармы, откуда солдаты бежали, не сумев вызвать по телефону помощь из соседних местечек. Запалили нефтебаки, перегонный завод. А потом ушли в горы, унося боеприпасы и продовольствие.

Проведено все было так, что, когда из соседних гарнизонов приехали немецкие подкрепления, им и воевать было не с кем. Восставших и след простыл. Они уже были недосягаемы. Карателям оставалось только тушить горевшие склады да растаскивать взрывавшиеся на путях составы с горючим.

Вот тут-то, в горах, впервые встретились и узнали друг друга Андрей Пантюхин и Федор Пантелеев. Как

говорила мне панна Марыся, узнав, что они соотечественники, окрещенные народной польской молвой католическими именами, что, соблюдая конспирацию, они долго морочили друг другу головы,— оба долго смеялись, валяясь на траве лесной поляны. С тех пор крепко они подружились и больше года, до самого прихода Советской Армии, ловко оперировали вот тут, в горах, со своим интернациональным отрядом, в котором комсомолец Федор Пантелеев был командиром, а Андрей Пантюхин, коммунист,— за комиссара, или, как он себя скромно именовал на местный манер, начальника просвиты.

Хотите знать, чем все это кончилось, если, вообще говоря, это можно назвать концом? Слушайте.

Когда наши части подошли сюда, к предгорьям Карпат, и у Дуклянского перевала завязались тяжелые бои, одна наша кавалерийская часть, напоровшись на сильную вражескую засаду, попала в тяжелое положение. Спешились конники, бьются. И вдруг слышат: где-то далеко за спиной у немцев стрельба. Генерал с недоумением смотрит на начальника штаба, начальник штаба — на генерала. Откуда помощь, не предусмотренная планом операции? А стрельба ближе. Потом вдруг где-то там, за долиной, как рванет «ура!». Откуда? Стало быть, наши туда зашли. Ну, командир своим артиллеристам: «Дать огоньку пожарче!» — а своим бойцам: «По коням! В атаку!» С двух сторон нажали — и от немцев мокрое место. Кончился бой, и выходят из лесу вооруженные люди в штатском. И к генералу по всем правилам: «Лейтенант Андрей Пантюхин», «Старшина Федор Пантелеев». Отдаем, дескать, себя в распоряжение командования Красной Армии вместе со всем нашим интернациональным отрядом в двести пятьдесят штыков, при пулемете и минометах трофейных систем...

Вот и все. Да, да, да, все, больше ничего интересного.

Инженер-майор вскочил со стула, налил себе бокал вина и поднял его.

— За человека, которого ни сломить, ни смять, ни согнуть нельзя. За советского человека! — произнес он это с пафосом, но совершенно искренним, даже простодушным тоном.

Одним духом выпил большой бокал и заулыбался всеми своими морщинами, веселыми лучиками разбегавшимися от круглых немигающих ястребиных глаз.

— Вопросов нет?

— Ну, а как же романтическая линия? Как у Андрея с этой панной Марысей?

Инженер-майор торжествующе вскричал:

— Знал, знал, что об этом спросите. Тогда уточним: не кончилось, а продолжается. Да, да, да, именно продолжается. Тут, конечно, дело сложное. Люди они оказались уж очень разные. Разное воспитание, разные взгляды, разные мечты о жизни. Этот самый пресловутый пан Анджий Тюхин в этих краях прослыл героем героев, достойным почета, славы и... покоя. Панна Марыся, во всяком случае, придерживалась такого мнения. Она хорошая, смелая девушка, многому научилась в подполье, но это-то в ней с детства воспитано: благополучие, уважение окружающих, покой. Ну, а Андрей наш — простой советский парень, ни в каких особых героях себя, понятно, не числит: воевал, дескать, как мог. Хоть, узнав о его злоключениях и подвигах, командование и предлагало ему отпуск, он ни о каком отдыхе и слышать не хотел. Как только со своим отрядом таким эффектным способом из окружения выбился, он сейчас же на фронт, только уж, конечно, не штурманом, а в десантную часть, поскольку он партизанские навыки приобрел. Его туда и направили. Девушку он, по-видимому, действительно любит, но в этом был тверд.

Расстались они холодно, чуть ли не враждебно. Уж очень он непреклонный парень, никаких женских резонов даже для виду слушать не хотел. Ну, а Марыся сначала его не поняла, не уложилось у ней в голове, как это человек, имеющий отпуск, может так вот легко от любимой девушки в бой стремиться. Обиделась, даже оскорбилась. Известно, польский гонор! И, вы знаете, все же она его поняла. Ну, да, да, да. Приходит однажды ко мне, а я тут уж к ним, вот сюда, на постой определился. «Вот,— говорит,— пан инженер, хочу и я,— говорит,— как пан Анджий, сражаться, пока родина моя не свободна». И, что вы думаете, поехала в Люблин, связалась со штабом Войска Польского, вызвалась летать на связь к польским партизанам за Вислу. И вот теперь оружие изучает, коды, азбуку Морзе.

Инженер помолчал, глядя куда-то в окно, за которым из-за плотной серятины тумана даже ночи не было видно.

— Вот вам и вся история про двух наших ребят — Пантюхина и Пантелеева, которых в этих краях и по сей день уважительно величают: пан Тюхин и пан Телеев.

1944

ЗЕМЛЯК

В этот день дела задержали меня в партизанском велительстве, как поэтически назывался по-словацки повстанческий штаб, разместившийся в здании городского магистрата, стилизованном под венгерскую готику. Уже ночью возвращался я в свой отель. Темные чистенькие улочки красивого курортного города Банска Бистрица, волею военной судьбы превратившегося в столицу словацкого восстания, в этот час были пусты. С темнотой схлынули с них людской шум, мотоциклетная трескотня, суетня военных автомобилей, вся эта нервная романтическая сутолока, придававшая городу суровый бивуачный вид. Только редкие и слишком уж лихие окрики повстанческих патрулей да тягучее сладкое пение скрипок, просачивавшееся вместе с жидкими полосками света сквозь затемненные окна ресторанчиков и кафе, нарушали тишину города, казавшегося в эту пору бесконечно мирным.

Чужая, очень яркая, ущербная луна, поднявшаяся из-за гребней пологих лесистых гор, обволакивала острые крыши прозрачной дымкой холодного, равнодушного света. Порывистый сырой ветер, напоенный сытыми запахами осени, гудел в улицах, точно в самоварной трубе. Он осыпал клинкерные мостовые рваным золотом кленовых листьев, сбивал с деревьев переспевшие каштаны, и они с треском падали на плитчатые тротуары, так что все время казалось, будто кто-то сзади бросает в тебя камни.

В этой светлой тревожной осенней ночи как-то все особенно подчеркивало, что ты на чужбине, оторван не только от родной земли, но и от родной армии, от своих людей. Днем это не чувствовалось. Маленький повстанческий островок, окруженный немецкими частями, жил напряженной военной жизнью. Хороший, мужественный словацкий народ, вдохновленный успехами наступающей Советской Армии, поднял восстание против оккупантов

и теперь яростно сражался, отбиваясь от наседавших со всех сторон гитлеровских войск.

Эта атмосфера самоотверженной борьбы походила на ту, в какой жили мы в первые военные годы. Но ночью, когда все стихало и повстанческая столица погружалась в мирный сон, вверяя свою безопасность партизанским патрулям, которые, украсив свои винтовки липовыми ветвями, беззаботно болтали с девушками в темных переулках,— чувство одиночества, тоска по родине, по родным лицам наваливалось, овладевало всеми помыслами.

Увидев человека в форме Советской Армии, патрули отскакивали от своих девушек и, улыбаясь, артистически делали винтовкой на караул. Редкие прохожие приподнимали шляпы и желали доброй ночи. А четверо маленьких коренастых крестьян, спустившихся с гор, должно быть, на вербовочный волонтерский пункт, в своих живописных вышитых рубашках и шляпах, встретив советского офицера, остановились, положили друг другу руки на плечи и, вместо приветствия, стали скандировать:

— Руда Армада! Руда Армада!

Все было необычно. И вдруг кто-то не очень громко и на чистейшем русском языке окликнул сзади:

— Товарищ майор!

Я вздрогнул, но не оглянулся. Кто бы это мог быть? Белый эмигрант, какие тут изредка встречались, не стал бы так обращаться. Советских офицеров здесь было всего несколько человек. Все мы знали друг друга, а голос был незнакомый. Так кто же?

Шаги сзади печатались четко. Это был, должно быть, военный человек.

Ответить, нет?.. Повстанческая столица, да еще такая беспечная по ночам, несомненно кишела вражескими лазутчиками. Могла быть провокация. Нет, надо подождать, не оглядываясь, не отзываясь, дойти до какого-нибудь людного места. Ускорил шаги. Незнакомец не отставал, но и не перегонял, шел сзади.

— Товарищ майор, одну минуточку,— это прозвучало просительно, даже с обидой.

Нет, лазутчик сказал бы не так.

Я остановился. Передо мной был невысокий, прочно сколоченный человек в полной форме старшего сержанта Советской Армии. Только на пилотке его, вместо нашей звезды, были наискось пришиты две ленточки — красная и полосатая, цветов чехословацкого флага.

Вооружен он был весьма пестро. Немецкий автомат висел на шее наподобие саксофона, сбоку болтался тяжелый парабеллум в жесткой кобуре, и на поясе, туго перехватывавшем его гимнастерку, подвешенные за шишечки висели итальянские гранаты-«самоварчики». Рукоятка кинжала торчала из-за голенища ярко начищенного сапога.

Так живописно вооружались иногда трофеями наши партизаны.

— Разрешите обратиться, товарищ майор! Старший сержант Красной Армии Константин Горелкин, а ныне, как видите,— он с добродушной улыбкой обвел рукой свою коллекцию оружия,— ныне чехословацкий повстанец.

Он крепко пожал мне руку небольшой, но сильной рукой.

— Простите, что я вас тут, на улице, остановил. Два с половиной года на родине не был, по своим истосковался вконец. Сегодня в велительстве увидел своего человека, свою форму, сердце так и заколотилось. Чуть к вам там не подошел, еле сдержался, верьте слову. Я ведь не знаю, с какими вы тут полномочиями, можно ли с вами разговаривать.

Он помолчал, явно волнуясь:

— И вот подкараулил вас, догнал... Может нельзя, скажите,— я уйду.

Теперь я понял, что это, должно быть, один из тех советских людей, что были заброшены войной в далекие чужие страны и тут продолжали борьбу. Словацкие друзья с благодарностью рассказывали о нескольких таких партизанских отрядах из советских военнопленных, которые крепко им помогали, яростно, умело, стойко сражаясь в разных концах страны.

Хорошее, открытое лицо этого человека, его чистый и быстрый говорок, каким изъясняются в моих родных тверских краях, подтверждали, что передо мной, несомненно, соотечественник. Но на чужбине, да еще в таком месте, как повстанческий район, осторожность — закон жизни, и я подчеркнуто холодно спросил его, кто он, где жил и что делал до войны, как попал в эти края и что ему от меня нужно.

Ни на мгновение не задумываясь, он ответил:

— До армии жил в городе Калинине, работал помощником мастера на прядильной фабрике «Пролетарка»,

Жил во дворе фабрики, в семидесятой казарме, на третьем этаже, в глагольчике.

— Как звали рабочие вашу казарму? — спросил я, еле сдерживая радость, потому что тут, в чужом городе, я, кажется, стретил не только согражданина, но даже земляка. Он сказал: «в глагольчике». Так называют калининские текстильщики — и только они — боковые коридоры своих общежитий, и диверсант даже самой хорошей школы никак не смог бы узнать и заучить такое специфическое выражение.

— Нашу казарму звали Париж,— ответил он с некоторым удивлением.

— Кто был Горохов? Вы должны тогда знать Горохова.

— Директор ФЗУ имени Плеханова. Я там учился,— сказал он уже совсем тихо.— У меня есть партбилет, посмотрите.

Теперь можно было, не таясь, не сдерживаясь, засмеяться. Он был, несомненно, тем, кем себя называл. «Пролетарка» — фабрика, во дворе которой я вырос, где знаком мне каждый уголок. С партбилета, странного партбилета, от которого сохранилась только первая страничка, вклеенная в переплетик из жесткой кожи, смотрело то же, только очень молодое и круглое, лицо. И даже подпись секретаря райкома была мне знакома.

Так вот в каких невероятных условиях можно на войне встретить земляка!

Мы обнялись на чужой пустынной улице, два калининца, два советских человека, занесенных разными военными ветрами в горы восставшей Словакии. Он предложил вместе поужинать. Какое-то шестое, журналистское, чувство подсказывало, что у этого парня с «Пролетарки» интересная судьба. Не теряя времени, зашли в ресторан «Золотой баран».

Увидев двух военных в форме Советской Армии, посетители маленького, стилизованного под сельскую корчму ресторанчика,— загорелые партизаны в штатском, с винтовками, стоявшими у столиков, с трехцветными ленточками на шляпах, повстанцы в щеголеватых словацких мундирах, и сидевшие с ними девушки в военном и девушки в национальных костюмах — повскакали с мест и зааплодировали. Потом оркестранты, окружив нишу, в которой мы приютились, заиграли «Катюшу», и все

посетители, немилосердно перевирая слова, запели по-русски эту нашу песню.

— Как нас тут встречают! — сказал я, получив наконец возможность усесться за указанный нам столик.

— Думаете, только здесь? Везде так, во всех странах. Красная Армия — теперь мировое слово. Понимают без перевода. Волшебная палочка. Оно меня и кормило и укрывало, от преследований спасало.

— А вы и в других странах были?

Он только свистнул и махнул рукой, как будто спрошен был о чем-то само собой разумеющемся.

— Больше двух лет скитаюсь. Кабы знали вы, как надоело! Иной раз такая тоска возьмет, хоть вой. И люди хорошие. И страны что надо, да разве с нашей-то, Советской, страной сравнишь!..

Он залпом выпил высокий литровый бокал пива, спросил, нет ли у меня советской папироски, пожалел, узнав, что нет, и, приподняв вдруг со лба темно-каштановые волосы, показал лучеобразные синие рубцы на лбу:

— Видите... В августе сорок первого под Смоленском ранило. Череп царапнуло, да, вишь, так удачно, что мозги-то уцелели. Только крови порядочно потерял. Упал без памяти, а когда очнулся, на наблюдательном пункте,— а сам-то я артиллерийским наблюдателем был,— наших уже никого нет. Кругом немцы. Хенде хох! Взяли меня, раба божьего. Которых тяжелых-то поперебили тут же на месте, а меня взяли. Я ходить мог. Подлечили. Сбили потом из таких, как я, подранков транспорт и повели на запад. Пешедралом. Вот с того самого дня и скитаюсь по белу свету. У вас времечко есть? Ну, часик-другой найдется, а? Очень мне хочется рассказать своему человеку, что я за это время пережил, перевидел. Послушаете? Эй, приятель, нам еще два бокала!

И тут, в маленьком кабачке, под звуки оркестра, игравшего чужие мелодии, Горелкин рассказал мне свою историю, удивительную историю советского солдата, попавшего в плен, увезенного далеко от родины, но и тут, за тысячи километров от своей армии, не признавшего себя побежденным, не сложившего оружия и не переставшего воевать.

Я опущу из его рассказа некоторые, слишком мне известные теперь подробности о том, как обращались фашисты с военнопленными, как пешие транспорты таяли

по дороге на запад, о лагерях, где делалось все для того, чтобы лишить человека всего человеческого, превратить его в рабочий скот, без мысли, без воли, готового безропотно и молчаливо выполнять любую работу. Я передам только канву его рассказа, потому что иначе получился бы не рассказ, а роман.

Горелкину удалось выжить, перетерпеть все испытания плена и сохранить энергию и волю.

В Белостоке, в этапном лагере, пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, посадили в товарные вагоны и повезли на юг через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди пленных в вагоне оказался бывший учитель географии, сносно говоривший по-немецки. Старый австриец-конвоир, участник еще прошлой мировой войны, проболтался ему, что идет транспорт в Грецию, в порт Салоники, который немцы тогда укрепляли, приспосабливая для военных нужд.

Печальный поезд с пулеметами на тормозных площадках, с платформой, на которой ехал вооруженный конвой, медленно пересекал Европу. Он тщательно охранялся. На остановках его окружали автоматчики. Бежать в этих условиях означало верную смерть. И все же почти на каждой крупной стоянке кто-нибудь да пытался бежать. Люди выпрыгивали из вагона прямо на штыки конвоя, навстречу верной смерти. Вряд ли кто из них всерьез и думал уйти. Побег стал одной из форм самоубийства.

Горелкин и друзья, с которыми он сошелся в вагоне,— донбасский шахтер Василь Копыто, электромонтер с рязанской электростанции Семен Агафонов и московский учитель Владимир Ткаченко — не искали смерти. Они хотели жить. Они тоже мечтали бежать, но бежать умело, сохранить жизнь.

План побега придумал Василь Копыто — человек, по словам рассказчика, неиссякаемой веселости и огромной физической силы. Он был очень прост, этот его план. Когда слякотной дождливой весенней ночью поезд, скрежеща на поворотах ребордами колес и пища тормозами, тащился по горам Греции, друзья отодрали доски в полу вагона. В разверзшейся яме, сливаясь в продольные полосы, замелькала щебенка пути. Тогда они на руках начали спускаться в этот люк и, когда носки башмаков задевали за землю, опускали руки и падали вниз лицом. Выбравшийся на полотно должен был сейчас же лечь и, подавляя боль от ушибов, ждать, пока поезд не прогро-

хочет над ним. Сквозь туман, льнувший к серым хребтам, непрерывно сеял дождь. Тьма была так густа, что не видно было вытянутой руки. Из семи выбросившихся таким способом из вагона трое были перерезаны колесами.

Но разве жизнь в плену, разве рабская работа стоили что-нибудь?

Когда грохот удаляющегося поезда стих в ущельях, Горелкин, Копыто, Агафонов, Ткаченко, отделавшиеся ушибами, отнесли останки трех погибших в кусты и по первой же горной тропинке свернули на север. Поначалу они решили двинуться по кратчайшей прямой из Греции через Албанию, рассчитав пройти через районы итальянской оккупации в Югославию...

— Чем вы питались? Как находили общий язык в чужой, далекой Греции?

Широкая улыбка расплылась по загорелому лицу Горелкина, и два ряда белых великолепных зубов точно осветили его лицо, сделали его моложе, интеллигентнее.

— Я же вам говорил, товарищ майор. Наш пароль — Красная Армия, хотите верьте, хотите нет, это теперь везде понимают. Иной раз подберешься к деревне, стукнешь в крайнюю хижину и ждешь. Вылазит на крыльцо какой-нибудь сердитый иностранный дядек, слушать ничего не хочет, замахает руками: ступай скорее прочь: итальяно, итальяно! Дескать, много вас тут шляется, а за вас итальянцы как раз и повесят. А ты тычешь себя пальцем в грудь: «Красная Армия! Советы!» И сейчас же другой разговор. Оглядится, в сени тащит, и поесть даст, и в дорогу соберет, и иной раз, если тихо в деревне, если оккупантов нет, и ночевать оставит. Так мы и шли.

В вагоне договорились держать путь напрямки через Балканы, Среднюю Европу, Польшу, Украину, прямо до Советской Армии. Они рассчитали пройти путь за полгода. Но не такой короткой и не такой легкой оказалась эта дорога четырех советских солдат домой.

В Албании, идя горными тропами по малолюдным районам, они почти добрались до берегов Скутарийского озера, которое однажды в ясный день уже открылось перед ними с перевала в виде огромного, сверкающего зеркала, повитого дымкой облаков. Но тут им встретился на шоссе транспорт скота.

Как потом выяснилось, итальянцы гнали этот отнятый у горных албанских пастухов скот на погрузку

в порт Дураццо для отправки в Германию. За серыми круторогими волами, за коровенками, ободранными и пыльными, жалобно ревущими от голода и усталости, бежали толпы женщин. Женщины плакали, причитали и не отставали от гуртов. Солдаты-итальянцы, черные увальни в трусиках и в пилотках, лениво стегали женщин теми же кнутами, которыми погоняли коров. Их было не очень много, этих конвоиров. Но, чувствуя себя в безопасности, они, покуривая, брели за стадом, часто подходя к подводе, на которой стояла покрытая ковром большая бочка с плескавшимся в ней вином.

И тут произошло то, что изменило и очень удлинило путь четырех советских солдат. Спрятавшись в придорожных кустах, они хотели было пересидеть, пока пройдут гурты. Но, возмутившись тем, как конвоиры обращаются с несчастными женщинами, они, к тому времени уже добывшие себе оружие, напали на них. Троих положили на месте. Остальные бежали в горы, даже не пытаясь отстреливаться.

Затем Копыто, выполнявший у друзей, как он сам выражался, «роль наркоминдела» и поддерживавший связь с местным населением, обратился к женщинам с речью. На чистейшем русском языке он заявил им, что они могут разбирать свой скот, освобожденный из рук фашизма доблестными войсками. Женщины, испуганные перестрелкой, не понимавшие даже, что же, собственно, произошло, молча лежали в серой пыльной траве, прикрывая головы руками. Убедившись, что слова его до аудитории не доходят, Копыто взял палку, стал сгонять скот с дороги. Волы и коровы, разбежались и, почувствовав свободу, пощипывая траву, отправились обратно в свои деревни.

Неожиданно на ближайших склонах появились высокие крепкие люди в живописных костюмах, со старинными ружьями. Это были албанские партизаны, догонявшие транспорт. Увидев, что дело уже сделано, они стали жать руки отважным иностранцам, а узнав при помощи все того же универсального слова «Красная Армия», с кем имеют дело, увели друзей к себе в горы, в каменные деревни-крепости, в каких жил этот рассеянный меж гор трудолюбивый, смелый народ.

В Албании, давно уже числившейся в списках держав оси страной покоренной, шла непрекращающаяся борьба. Четверо советских солдат, сами того не желая, включи-

лись в нее, прервав путь на родину. Стали помогать горным пастухам придавать своим летучим отрядам организованность воинских частей. Они не знали языка. Но на войне о человеке судят не по словам. Вскоре в албанских горах у них было немало друзей. И сами они полюбили открытых, смелых горцев, втянулись в их борьбу.

Но радио доносило сюда, в черные горы, отзвуки великих битв, развертывавшихся на родных полях. Родина властно звала. И однажды они распростились с албанскими партизанами. Новые друзья снабдили их всем, что могло потребоваться в трудном пути, даже проводили до границы.

На этот раз, после долгих споров, решено было пробираться через Болгарию. Географически удлиняя свой путь, беглецы мечтали таким образом значительно сократить его во времени. Расчет у них был теперь таков: достигнуть Болгарии, сдаться пограничным постам, быть интернированными, а потом через консульство потребовать возвращения на родину. Наивные мечты! Горелкин не мог скрыть усмешки, рассказывая о них. Оккупированная Гитлером Европа кипела и бурлила, как скованная льдом река, стремящаяся весной взламывать свои оковы. В Болгарии, которую они мечтали увидеть мирной страной, далеко отстоявшей от всех фронтов, шла борьба — даже более ожесточенная, чем в Албании. И снова активность четверых советских солдат не позволила им равнодушно пройти мимо.

По дороге они натолкнулись на партизанский отряд, осаждавший фашистский гарнизон на маленькой пограничной станции. Они присоединились к партизанам, вступили в бой, и опять их солдатский опыт пригодился болгарским товарищам, а традиционная любовь болгар к русским братьям быстро выдвинула друзей в партизанской среде.

Уже вскоре Константин Горелкин руководил большой партизанской четой — группой имени Христо Ботева. Три его друга воевали в его чете и заслужили уважение населения. Все лето и почти всю зиму чета, переросшая потом в отряд, успешно сражалась в горах Планины. Слава о четверых русских пошла далеко по холмам и долинам. Отряд причинил немцам немало беспокойства. В него бежала болгарская молодежь, мобилизованная на службу в фашистскую армию. Наконец болгарское командование, по требованию немецкого посла в Софии, двинуло в горы

регулярные части, поставив перед ними задачу ликвидировать отряд партизан-коммунистов, якобы руководимый из России.

Части эти, по плану немецких инструкторов, заняли перевалы, обложили отряд в горах и, зажав его, оттеснили в зону снегов. Это был дьявольский план. Теперь партизаны никуда не могли уйти, не оставляя следов. По этим следам на снегу каратели преследовали их, все время сужая кольцо, закрывая горные проходы, преграждая огнем путь в леса и ущелья.

Оторванный от сел, от баз питания и боеприпасов, истощаемый постоянными боями с противником, во много раз превосходящим партизан и числом и вооружением, отряд имени Христо Ботева, отбиваясь, таял в этой неравной борьбе. Началась цинга. Люди опухали. Зубы шатались, вываливались из десен, некоторые из партизан были ранены, не могли идти, и их приходилось нести или тащить на салазках. Тех, кто отставал, отбивался, кто пытался отсидеться в лесках, местные фашисты вылавливали и казнили страшной смертью. Людей, заживо прибитых к деревянным щитам, носили и возили по горным деревням, для устрашения выставляли на базарах, у церквей и в других местах скопления народа. Головы казненных неделями торчали на шестах. Девушек-партизанок, которых фашистам удавалось захватить, живыми сажали на колья.

Но, тая, отряд все-таки шел вперед. Партизаны мечтали пробиться через границу и соединиться с Народно-освободительной армией Югославии.

Это был переход, в который трудно поверить. К концу пути в отряде начался голодный тиф. Больные, в бреду, с воспаленными, небритыми лицами, с дико сверкавшими из глубины глазных впадин зрачками, шли пошатываясь, поддерживаемые под руки товарищами, которые несли их оружие. Но стоило прогреметь выстрелу или прозвучать голосу командира, и эти люди, минуту тому назад бредившие о еде, о семьях, о лете, приходили в себя, разбирали оружие, отражали вражескую вылазку.

И они совершили невозможное. Усталые, почти уже безоружные, они пробились до самых Македонских гор. Граница Югославии была уже видна. Горелкин собрал все боевые силы отряда, сделал ему смотр, сказал речь, смысл которой сводился к старому лозунгу борющихся коммунистов: лучше умереть сражаясь, чем жить на ко-

лениях; расставил силы, выставив коммунистов на острия атакующих клиньев, отведя самые опасные места своим друзьям.

Поутру, под прикрытием тумана, отряд совершил отчаянный рывок. Он обрушился с гор в долину, лобовой атакой пробил кольцо окружения, и, когда солнце осветило свинцово-серые вершины гор, он был уже за границей Болгарии, в югославской Македонии. Самым удивительным в этом прорыве было то, что сотня вконец измотанных, еле передвигающихся, распухших от голода, истощенных тифом и горной хворью людей, вынесла с собой всех своих раненых, все оружие.

Здесь, на первых километрах югославской земли, остатки отряда и все четверо русских солдат чуть было не погибли.

На ночлеге отряд был окружен итальянскими войсками, имевшими здесь сильный гарнизон. При внезапном налете итальянцев смертельно усталые, больные люди не успели даже как следует проснуться. Весь отряд был разоружен, интернирован, загнан в импровизированную тюрьму, помещавшуюся в здании элеватора.

В главном зале зернохранилища, куда входили целые поезда, было тесно. Здесь ожидали своей участи крестьяне — македонцы, сербы, хорваты, заподозренные в партизанской деятельности, помогавшие Югославской народной армии.

Несколько отдохнув и оправившись в этой, не очень строгой, итальянской тюрьме, друзья стали подумывать об организации побега. Василь Копыто, опять приняв на себя функции «наркоминдела», исподволь попробовал связаться с арестантами из местных жителей. Сербы особенно располагали его к себе своей славянской внешностью, своим языком, так походившим на русский. Он понял, что именно с ними легче будет договориться. Но не тут-то было. Крестьяне охотно смеялись его шуткам, делились с ним табаком и даже разок угостили его крепкой водкой, плетеная бутылка которой была кем-то умело пронесена сквозь все обыски, но, как только он, зондируя почву, заводил беседу о югославских партизанах, принимался рассказывать о своих злоключениях в Болгарии, люди точно на замок замыкались и засов задвигали: ничего не знаем. И все. Не знали они о партизанах, и не знали даже, почему схвачены и брошены в тюрьму «итальянами».

Тогда друзья вместе с болгарскими своими товарищами решили готовить побег сами. План опять предложил неиссякаемый на выдумки Копыто. Ночью он схватился вдруг за живот и, оглашая помещение неистовыми криками, стал кататься по полу.

Часовой, любопытный, как и все итальянцы, не понимая, в чем дело, вошел в сарай с фонарем. Василь катался и орал. Корчи дергали его тело. Он кричал так естественно, что и друзьям становилось за него страшно. Не нужна ли медицинская помощь?

Солдат-караульный пригласил для совета второго наружного караульного. Некоторое время оба они, держа винтовки наготове, стояли в дверях, вглядываясь в полутьму, откуда неслись все усиливающиеся вопли. Потом, расталкивая арестованных, они пошли к месту происшествия, и тут их оглушили ударами булыжников. Они упали не пикнув.

Василь Копыто сейчас же переоделся в итальянскую форму, в которой выглядел мальчишкой, выросшим из своей одежды. Но это его не смутило. Он снял с пояса одного из стражников ключи, вышел наружу и открыл оттуда остальные двери элеватора. Привлеченные шумом, часовые внешней охраны прибежали, когда толпа арестованных уже вырвалась из тюрьмы.

Боевая смекалка, проявленная русскими, послужила им хорошей рекомендацией. Неразговорчивые крестьяне, от которых «наркоминдел» Копыто не мог добиться ни слова, оказались не так уж непонятливы. Среди них были и войники Народной Армии. Они увели русских и их болгарских товарищей в горы Македонии. Оттуда по козьим тропам, через ущелья, протоки, скалы, через леса, через снега и льды они повели их в Боснию, бывшую в те дни одним из центров народно-освободительной борьбы. Здесь тоже никто не задерживал четверых советских солдат. Партизанский командир, к которому их доставили, обещал даже снарядить их в дорогу. Но, снова очутившись в центре борьбы, четверо советских парней не смогли остаться от нее в стороне, влились в один из отрядов, принеся в него свой уже немалый опыт, свое воинское умение.

И снова прервался их путь на родину. Снова начали они фронтовую жизнь на чужой земле, под чужим небом, в чужих горах.

Около года сражались друзья в одном из многочисленных уже в те дни партизанских отрядов. Василь Копыто, забойщик по профессии, хорошо знавший подрывное дело, прослыл в своем отряде хорошим минером. Никто не умел так ловко, как он, заложить фугас на железнодорожном полотне или, пробравшись под носом у часовых к реке, положить мину под мостовой упор. Босняки звали его на свой лад — Базиль. Русский гигант пользовался всеобщей любовью, девушки заглядывались на него.

Второй из беглецов, Семен Агафонов, бывший монтер, организовал передвижную механическую мастерскую для ремонта трофейного оружия. Когда отряду приходилось отступать и партизанский район передвигался, эту мастерскую, все ее машины в разобранном виде, весь ее инвентарь, запасные части, инструмент, материалы партизаны увозили с собой на машинах, а иногда и навьючив на осликов и даже неся на собственных плечах.

Константин Горелкин, служивший до войны в Советской Армии на срочной службе, стал заместителем командира отряда по строевой части. В дни затишья он учил македонских пастухов и сербских пахарей военному делу, сложному военному искусству. А Ткаченко в промежутках между боями рассказывал бойцам о Советском Союзе, о Красной Армии. В слушателях недостатка не было.

С каждым новым боем заслуживали они у своих новых друзей все большее уважение. В одной из яростных схваток с частями, пытавшимися окружить партизан, погиб Семен Агафонов. Обычно в боевой день он оставлял свою мастерскую и становился пулеметчиком. В этом бою он вместе со своим вторым номером — сербом — укрепился на перевале и должен был прикрыть выход отряда из кольца в долину. Они хорошо выполнили эту задачу и успели бы вместе и уйти. Но, отступая, партизаны уносили с собой раненых. Это задерживало выход колонны. Пулеметчикам приходилось своим огнем прижимать врага к земле, не давать четникам прорваться через перевал. Они стреляли до тех пор, пока неприятельские лазутчики, зайдя сзади, не навалились на них. Тогда гранатой пулеметчики взорвали себя, пулемет и насевших на них врагов...

Но как ни полна была напряженной борьбой жизнь троих оставшихся в живых русских солдат, их заветной мечтой было пробиться к своим, вернуться в Советскую Армию, от которой отделяли их тогда четыре страны и

около двух тысяч километров. Правда, расстояние это в те дни начало уже сокращаться. Красная Армия перешла в наступление и как бы двигалась им навстречу.

В декабре, испросив разрешение партизанского штаба, трое русских двинулись в длинный путь. Расставаясь с Югославией, они дали друг другу торжественное слово идти только вперед, не ввязываться в борьбу других народов. Красная Армия наступала, и каждый из них втайне опасался, что война закончится без их участия.

Без особых приключений они миновали северо-западную часть Югославии, пересекли Австрию, прошли краешек Венгрии и тут, недалеко от чехословацкой границы, переходя ночью вброд речку, наткнулись на мадьярский патруль. В завязавшейся перестрелке Василь Копыто был ранен в ногу. Горелкин унес его на плечах в лес. Около месяца они жили в чаще, питаясь ягодами, рыбой, которую ловили в ручье, фруктами, что по ночам собирали на деревьях, обрамлявших дороги, да недозревшими кукурузными початками, заменявшими им хлеб.

Когда рана у Василя зажила, двинулись дальше и перешли чехословацкую границу.

Снова очутились они в славянской стране, где речь их понимали, где не только магические и ставшие интернациональными слова «Красная Армия» отворяли для них даже самые черствые и скупые сердца. Они быстро пересекли бы эту страну и вышли к своим, которые в ту пору уже пересекли Польшу, если бы одно непредвиденное обстоятельство не задержало их в пути.

Горная деревушка, в которой они заночевали, не выполнила контингентов, наложенных на нее в те дни марионеточным словацким правительством Тиссо. Рекруты в положенный срок не явились на мобилизационные пункты. На грузовиках приехали в деревню каратели — жандармы из немецких колонистов. В те дни, в связи с наступлением Советской Армии, фашистские куклы нервничали в Братиславе. Тиссо хотел показать себя правителем твердой руки. На площади перед костелом была произведена экзекуция: непокорных парней, отказавшихся надеть военные мундиры, публично наказали палками.

Словацкие крестьяне, как и все горцы,— народ гордый, самолюбивый, горячий. Взялись за ружья. Тут пригодился им боевой опыт троих русских, ночевавших в одном из домиков и случайно оказавшихся на месте схватки. Друзья нарушили-таки свое слово, ввязались в драку,

помогли крестьянам атаковать карателей. Их отряд был изгнан из деревни, при этом были убитые и раненые. Опасаясь ответных репрессий, мужчины деревни подались в горы. Трое русских — участников этого инцидента,— считая себя не в праве оставить этих славных, храбрых и совершенно неопытных в партизанских делах словацких мужиков, создали партизанский отряд. Один из многих партизанских отрядов, действовавших в те дни по лесной и горной Чехословакии.

И снова начали друзья борьбу на чужой земле, против того же врага, с которым сражалась их армия. Как снежный ком, сорвавшийся с вершины горы в дни оттепели, падая, навертывает на себя пласты талого снега и, все увеличиваясь, превращается в лавину, так рос и их отряд, с боем двигаясь в горных районах страны. Много людей, бежавших с принудительных работ из концентрационных лагерей, из плена, скиталось тогда в Европе. Лучшие из них шли к партизанам. Отряд становился интернациональным, и во главе его оказался Константин Горелкин. Кроме чехов и словаков, были в отряде французы, бельгийцы, сербы. К нему приставали мадьярские и румынские дезертиры, не желавшие сражаться за фашизм. Был даже негр, Сид Браун,— огромный добродушный детина, ведавший отрядным довольствием. Это был бортрадист, спасшийся на парашюте с горевшего американского бомбардировщика.

Константин Горелкин ввел в отряде суровую дисциплину, создал суд партизанской чести, строго каравший ее нарушителей. Собственной рукой в присутствии всех своих людей он расстрелял нескольких примазавшихся к отряду охотников до легкой жизни и чужого добра. В свободное от боевых дел время партизаны обучались стрельбе, строю, рытью окопов, искусству маскировки. Даже политработа в нем велась, причем слова Ткаченко, говорившего по-русски и по-немецки, доходили до его разноязыких слушателей иногда через двух, а то и трех переводчиков.

Вскоре добрая слава об этом отряде укрепилась в Рудных горах, где немцы пытались организовать тогда добычу железа и меди. Отряд назывался: «Имени Красной Армии». Он нападал на неприятельские эшелоны, устраивал взрывы на шахтах, дезорганизовывал работу рудников.

Летом 1944 года погиб чехословацкий партизан и донбасский шахтер, солдат Красной Армии Василь Копыто.

Друзья партизан, которых они завели на рудниках, донесли штабу, что немцы везут сюда новое оборудование — целый завод, демонтированный ими где-то в Бельгии. Это были дни, когда фашизм всячески старался повысить выплавку стали. Копыто сам решил руководить взрывом эшелона. Он выбрал место в горах, на повороте железнодорожного полотна, там, где оно шло над пропастью. С двумя бельгийцами, кровно заинтересованными в этой диверсии, вооружившись сильными фугасными минами, которые изготовляли для них чешские рудокопы-коммунисты, он подобрался к повороту дороги. Но путь сильно охранялся. На месте, намеченном для взрыва, ходил часовой. Диверсия могла сорваться. Тогда Копыто, оставив бельгийцев на той стороне ущелья, один перебрался через него с рюкзаком фугасов за спиной и вскарабкался по скале к самой линии. Все произошло на глазах партизан, сидевших в кустах по ту сторону ущелья.

Часовой, как на грех, ходил в нескольких шагах. Василю никак не удавалось улучить минуту, чтобы незаметно заложить под рельсы фугас. А поезд уже гудел, спускаясь с откоса. Гулко постукивали рельсы. В ущелье громко раскатывались свистки паровоза. Что думал Копыто в эти последние секунды своей жизни, об этом можно только догадываться. На глазах часового он перескочил каменный гребень откоса и рванулся вперед. Партизаны-бельгийцы, наблюдавшие за ним, не могли различить, что он сделал. Они видели только, что ринулась навстречу паровику человеческая фигура. Потом тяжелый грохот встряхнул горы. И в следующее мгновение паровоз и вагоны, страшно скрежеща о скалы, медленно перевертываясь в воздухе, летели в пропасть как разорванная гроздь сосисок.

Константин Горелкин и Владимир Ткаченко продолжали воевать. Их отряд временами насчитывал уже до ста человек, и, когда по горам распространилась изустная весть о словацком восстании и партизанская рация приняла радио Банской Бистрицы, призывавшей народ к оружию, отряд имени Красной Армии проделал большой и трудный марш, добрался до района восстания.

— ...Стало быть, теперь мы тут неподалеку воюем. Вот и все. А до родины так и не дошли. Опять втесались в борьбу на чужой земле, не сдержали слова,—вздохнул Горелкин и стал прихлебывать из бокала прохладное горькое пиво.

Мне вдруг вспомнилось: партизанский полк Горелко, знаменитого командира, о котором мне тут не раз говорили, какой-то полулегендарный интернациональный отряд, пришедший неведомо откуда в район восстания.

— Позвольте, так Горелко...

— Это я,— просто сказал он, усмехаясь.— Это еще там, в Рудных горах, меня так окрестили.— Он опять вздохнул. —Так все до дому и не дойду. Сегодня вот виделся с подполковником,— он назвал фамилию советского офицера связи при партизанском велительстве,— просил его разрешить идти на соединение со своими. Не приказывает,— говорит, здесь нужен. Это верно, народ здесь славный — храбрецы, жизнь хоть сейчас готовы отдать за эти свои горы. Только вот воевать еще не горазды.— Он допил пиво и мечтательно улыбнулся чему-то своему, далекому от его нынешних шумных дел.— Так вы, стало быть, тоже калининский, тверской козел, значит?

И он стал расспрашивать о жизни родины, о Красной Армии, о нашем городе, о Волге, в которой мы оба в детстве лавливали пескарей на перекатах, о Тверце, на чистых пляжах которой загорали когда-то по праздникам.

Беседа затянулась за полночь. Мы увлеклись воспоминаниями и не заметили, что кафе уже опустело, что кельнер, убрав остальные столики, прислонил к ним спинки стульев, вежливо позевывал, стоя в сторонке у стены.

— Так, стало быть, этот казаковский-то дворец, где облисполком был, они сожгли? Вот гады! Какой дворец! И уж восстанавливаем? Да ну? Молодцы земляки! Здорово. А лепка как же? Я там на пленумах горсовета бывал, все любовался лепкой. И лепку восстанавливают? По рисункам? А театр? Неужели так-таки совсем ничего не осталось? Вот жаль... А мы еще все, помню, по субботам на постройку театра кирпичи таскали. Ну, мы им этот наш театр когда-нибудь вспомним!

Чуть захмелев от пива, он раскачивался и стучал по столу кулаком.

А время шло. Кельнер, должно быть, устав стоять, уже сел и задремал, позабыв все правила ресторанной вежливости. Я указал на него собеседнику и хотел было подниматься.

— А мост через Волгу? Неужто и он взорван? Какой был мост — кружево! И его уже восстановили? В первый же год? Вот здорово, ну и работают люди! Должен я вам сказать, походил я по миру, поглядел, где как люди живут, а все-таки у нас лучше. Нет, серьезно.

Он улыбнулся. Морщины разгладились на его лице, крепко выдубленном чужими ветрами. И снова начал он походить на того круглоликого ясноглазого парня, что глядел с фотографии на партийном билете.

— А откуда у вас наша новая форма, погоны?

— Это тут пошили. В ней воевать легче. Лучше слушаются и душе покойней, вроде в Красной Армии служишь... Что ж, я права на то имею. Звание-то ведь пожизненно дается.

— А почему вы, командир такого отряда, носите сержантские погоны?

— Что правительство дало, то и ношу. А разве плохо? Красной Армии старший сержант Константин Горелкин. Неплохо, а?

Я подтвердил: неплохо.

1944

СВОИ

Советские танкисты, завершая стремительный марш-маневр на окружение Верхней Силезии, прорвались к Одеру. Грузно раскачиваясь и урча, окутываясь на поворотах облаками сизого дыма, тяжелые и быстрые машины на полном газу бесконечным лязгающим потоком неслись по автостраде. Мотопехотинцы в полушубках, жестко выдубленных каленым морозцем, сидели на броне, отгораживаясь рукавицами от острого ветра, упираясь промасленными валенками в прикрученные к броне бревна и ваги. Руки их прочно лежали на прикладах автоматов, и слезящиеся от холода глаза настороженно и зорко осматривали окрестности.

Но холмистый ландшафт, разрубленный надвое асфальтовой автострадой, был совершенно безлюден и както зловеще пуст. Уныло плыли серые, полосатые, уже

оттаявшие, но снова схваченные морозом поля. Голые лиственные лески то там, то тут приближались к автостраде, чтобы сейчас же отбежать от нее к горизонту. А вдали то справа, то слева все время маячили деревни с однообразными каменными островерхими домами, с серыми тычками кирх, такие похожие друг на друга, что было скучно на них глядеть и начинало казаться, будто кто-то переносит один и тот же макет, переставляя его с места на место.

Лязгая и гремя гусеницами, рыча моторами на подъемах, сплошной стальной поток быстро двигался на запад. Шли танки, покрытые еще не отмытой зимней маскировочной краской, утюгообразные броневики, окрашенные в пестрый цвет щучьей чешуи, тяжелые бронетранспортеры с пехотой и скорострельными зенитными пушками, большие пузатые бензовозы, тяжело раскачивавшиеся и приседавшие на ходу, крытые автофургоны с пехотой и боеприпасами.

Когда наш вездеход, шедший где-то в середине этого потока, въезжал на гребень холма, сверху казалось, что по дороге ползет, поблескивая серой чешуей, бесконечная стальная змея, уходившая головой и хвостом за линию горизонта.

В этот день на заре, недалеко от старой польской границы, был прорван немецкий фронт и бронетанковые части устремились в брешь, завертывая фланги прорыва и оставляя отступающих где-то у себя за спиной. Морозная стынь, сковывавшая поля, не давала оглядываться по сторонам. Встречный ветер горстями бросал в лицо острую снежную крупку, заставляя глубже вжиматься в сиденье, наклоняться под защиту стекла.

Вдруг шофер, уставший от бесконечного следования в танковой колонне по широкой и гладкой дороге и все время напевавший, чтобы не задремать за рулем, привскочил с места и стал рукавицей протирать ветровое стекло.

— Ой, что это? Откуда они?

В этом месте дорога полого всползала на холм. На самом его гребне была видна толпа женщин. Размахивая руками, они что-то кричали танкистам. Но машины шли и шли мимо них.

— А ведь наши! Ей-богу, наши! — воскликнул шофер.— Должно, в машину просятся. Чудачки! Кто же их возьмет? Ой, глядите, босиком! Нет, правда босиком!

Теперь можно было рассмотреть, что женщины не просто приветствовали наши танки. Они что-то кричали танкистам, о чем-то просили их, прижимая к груди руки и размахивая платками. Но автоматчики, сидевшие на броне, только разводили руками и показывали на дорогу: дескать, ничего не попишешь, недосуг, наступать надо. И толпа женщин с надеждой бросалась к следующей машине.

Все они были в одинаковых комбинезонах из мешковины, а головы покрывало какое-то тряпье. Как показалось нам издали, это были истощенные, пожилые женщины. Некоторые из них были босы, у иных ноги были обмотаны тряпьем. Лишь немногие имели ботинки. А асфальт был жгуч от мороза. По земле с шелестом тянулась поземка.

Когда наша машина, взобравшись на гребень, приблизилась к ним, несколько женщин вырвались из толпы и, схватившись за руки, загородили дорогу. На лицах их, кирпично-розовых, залубеневших от ветра, была видна отчаянная решимость.

— Остановитесь! Хоть вы остановитесь! Не пустим! — по-украински певуче закричала одна из них, сверкая из-под платка огромными черными глазами.

— Мы же свои, свои! — неслось из толпы.

А другая — высокая, простоволосая, с огненными, развевающимися по ветру волосами — требовательно твердила одно только слово:

— Товарищи, товарищи... товарищи же!..

Шофер вывел машину из колонны, остановил ее на обочине, и танки с иззябшей и веселой мотопехотой, мотавшейся на броне, потекли мимо нас.

Женщины окружили наш вездеходик. Их исхудалые, заострившиеся лица с резко выступавшими углами скул, с глазами, красными от слез и ветра, горели неистовым, исступленным счастьем. Некоторые плакали. Все были так взволнованы, что трудно было у них добиться, кто они, почему они здесь, что им надо.

Предосторожности ради сопровождавший нас пожилой боец-автоматчик соскочил с заднего сиденья и стал возле машины, разминая отекшие ноги. Женщины сейчас же бросились к нему и принялись гладить руками заскорузлый его полушубок, старенькую ушанку, прожженную и порыжевшую от дыма костров, его автомат с затвором, заботливо обернутым тряпицей, точно все

еще старались убедиться, что это не сон, что действительно настоящий красноармеец, в полушубке, в валенках, стоит тут, на немецкой автостраде, над чужой рекой Одер. И вдруг та маленькая брюнетка с огромными черными глазами, что так решительно первой преградила дорогу нашей машине, схватила большую жилистую руку автоматчика с прокуренными пальцами и прижала ее к губам:

— Родной, милый... Родной ты наш!.. Уж мы вас ждали, ой, ждали!

Автоматчик застеснялся, нахмурился, краска выступила у него на небритых щеках. Он резко отдернул руку.

— Это что ж за модель — руки целовать!.. Что я — поп, что ли? Научили вас тут...

Эти слова точно преобразили женщину. Иззябшая, жалкая в безобразном комбинезоне, она вдруг выпрямилась, вскинула голову и, гневно сверкнув черными глазами, ответила:

— Тю!.. Ты что подумал-то? Разве я тебе? Я Красной Армии руку целую за то, что нас освободила, за то, что сюда пришла! А ты...

И, повертываясь к нам, она деловито, с легким украинским акцентом, отрекомендовалась:

— Катерина Кукленко... Секретарь тайного комитета насильно мобилизованных советских граждан поместья «Зофиенбург»... Кому тут сдать склады с зерном, холодильник с мясом и военнопленных, сидящих под стражей?

Еще утром этот край был глубоким немецким тылом. Борьба шла в сорока километрах восточнее. И вдруг это деловитое заявление, спокойно прозвучавшее из смятенной и оглушенной своим неожиданным счастьем толпы.

— Примите от нас вот это,— продолжала та, что назвала себя Катериной Кукленко.— Мила, дай бумагу.

Высокая женщина, что бесконечно твердила слово «товарищи», смакуя его и повторяя на разные лады, достала из-за пазухи документ и протянула его. И хотя прочел я его на ветру, на автостраде, под волнообразный, то стихавший, то напрягавшийся до рева шум проходивших мимо танков,— необычный этот документ, тщательно переписанный каллиграфическим почерком, прочно врезался в память, так что даже теперь я без труда воспроизвожу его текст почти дословно:

Командованию Красной Армии от тайного комитета насильно мобилизованных советских граждан, работавших в поместье Клары Рихтенау «Зофиенбург», крейс Штейнау.

Просим принять от нас для нашей доблестной Красной Армии, освободившей нас от фашистского рабства, муки белой 25 тонн, картофеля 100 тонн, брюквы вяленой 1 тонну, свиных тушек замороженных 38 штук, военнопленных из состава фольксштурма, взятых нами и находящихся под нашей охраной, 6 штук.

Просим также, учитывая наше желание мстить проклятым фашистам за наши горькие слезы и наших загубленных подруг, принять нас всех в Красную Армию в количестве 100 человек. В этой просьбе нашей просим нам не отказать.

Секретарь тайного комитета Кукленко Екатерина.
Комиссар комитета Серебрицкая Людмила.

Все это было так необычно, облик этих женщин так резко контрастировал с деловым, спокойным тоном заявления, а то, что произошло здесь, на немецкой земле, на порядочном расстоянии от линии фронта, было так незнакомо и интересно, что мы решили рискнуть — оторваться от колонны и свернуть с автострады. Шофер предложил Кукленко сесть в машину. Но она отказалась.

— У нас тут двое цинготных, плохо на ногах стоят, их возьмите,— сказала она и тоном, в котором чувствовалось, что она привыкла распоряжаться, скомандовала: — Тетя Паша, Анна Никифоровна, садитесь в машину к командирам!

Сама же она легко вскочила на плоский радиатор, бочком устроилась на нем и, поджав ноги, аккуратно, как онучками, обмотанные тряпьем, обвязанные бечевками, стала показывать дорогу.

Те, что посажены были к нам в машину, находились в таком состоянии, что не могли даже связно разговаривать. Пожилая — с распухшими, бревнообразными ногами, с одутловатым, отечным лицом, тетя Паша,— все только вздыхала и тихонько плакала, размазывая слезы кулаками по щекам. Вторая же, помоложе, та, которую называли Анной Никифоровной, со страхом озиралась по сторонам, вглядываясь в пустые полосатые замерзшие холмы, и все спрашивала:

— А они назад не придут? Не вернутся? Нет, вы правду говорите, не вернутся?

Когда же из-за холма показались лохматые кущи старинного парка и поднимавшиеся над ними островерхие черепичные крыши замка, ее всю затрясло так, что заклацали зубы. Она сгорбилась, сжалась, присела на дно машины, будто инстинктивно боясь, как бы ее не заметили тут вместе с нами.

— Чего жмешься, тетка? Теперь фашисту окончательный капут. Гитлеру теперь крышка навсегда и без поворота,— успокаивал ее автоматчик и показал на Кукленко, плотно сидевшую на капоте машины.

Ветер бил ей в лицо, он сорвал у нее с головы темный платок, растрепал косы, и они, большие и тяжелые, мотались за плечами. Она оказалась совсем молоденькой девушкой. Подставляя лицо ветру, она вся подалась вперед и улыбалась, как будто, тепло одетая, сытая, здоровая, бежала на лыжах.

— Вот, тетка, учись: страха не знает, и мороз ей нипочем. Орел-девка! — сказал автоматчик, восхищенно поглядывая на нее.

Женщина слабо улыбнулась:

— То ж Катя. Она у нас особенная... Сколько ее били, собаками травили даже...

У ворот в парке стояла дюжая пожилая женщина, одетая в немецкую шубу военного образца, с охотничьим ружьем в руках. Во дворе замка, против окованных железом дверей старинных каменных сараев, ходила другая женщина — в кокетливой и дорогой котиковой шубке, в мужских охотничьих сапогах и в платке, по-российски обмотанном вокруг головы. За плечами у нее был немецкий автомат. Над позеленевшей черепицей острых замковых крыш, высоко поднятых на башенном флагштоке, бился по ветру красный флаг.

— Ай да бабы! Здорово распорядились, точно КП какое охраняют,— удивился автоматчик.— И флаг, ишь ты! Когда же вы это, черти, успели?

— Вчера... Ой, вчера утром, на рассвете, как ваши пушки загрохотали,— все еще трясясь, ответила Анна Никифоровна,— что тут было, что только было! Думала — не выживу, умру со страху...

А через полчаса, сидя в одном из залов холодного, как погреб, замка, мы слушали рассказ о судьбе этих женщин и о том, что произошло тут вчера, когда

в сорока восьми километрах восточнее началась артиллерийская подготовка.

Разные это были люди, и разные пути привели их сюда.

Катя Кукленко не только не помнила дореволюционной России, но и доколхозную деревню представляла себе смутно. Сознательная жизнь ее началась уже в колхозное время. Еще школьницей она помогала матери, знаменитому на Киевщине бригадиру, убирать буряки с высокоурожайных участков. Учась в седьмом классе, она сама организовала из школьных подруг такое звено, что по урожайности обогнала мать и вместе с Марией Демченко получила медаль на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. О ней писали в газетах. Ее возили в Киев рассказывать по радио о своем сельскохозяйственном опыте. Почтальон ежедневно приносил к ней в хату пачки писем со штемпелями разных городов и областей страны. Писали ей незнакомые люди. Старики выражали свое уважение. Молодежь желала вступить в переписку со знаменитой девушкой. Крестьяне-опытники просили совета. Работая бригадиром, Катя старательно готовилась поступить в Сельскохозяйственную академию.

Но вот война — район отрезан, бежать некуда. Зондеркоманды охотятся на молодежь, как на ценного зверя, с собаками и с ружьями. Катя, пытавшаяся было спрятаться от мобилизации, попала в один из таких загонов. Избитую, связанную, ее бросили в грузовик. На правой руке выше локтя ей выжгли ляписом штамп с порядковым номером и с орлом, держащим в когтях свастику.

И вот человека, родившегося в стране, где эксплуатация и рабство стали уже чисто историческими понятиями, совсем еще юную девушку, с которой советовались ученые, которой с уважением жали руку наркомы, пытаются превратить даже не в рабыню, нет, в рабочую скотину с выжженным на коже тавром.

Во время долгих скитаний по концентрационным лагерям Катя Кукленко познакомилась с Серебрицкой, высокой, стройной рыжей девушкой. Она заметила ее в вагоне. Весь путь Серебрицкая молча просидела в углу, нахмурившись, ни с кем не разговаривая, обняв колени скрещенными руками и спрятав в них подбородок. Она ко всем прислушивалась и присматривалась, и трудно было понять, что у нее на уме.

Людмила Серебрицкая родилась в Минске, в семье уважаемого врача. Способная, но несколько рассеянная девушка, она по очереди увлекалась физкультурой, потом стихами, потом театром и, наконец, уже учась в Ленинграде в Политехническом институте, увлеклась философией и общественной деятельностью и вскоре стала секретарем факультетской комсомольской организации.

Война застала ее на каникулах, у постели больного отца. Она не нашла в себе силы покинуть умирающего старика и осталась в оккупированном Минске. Не зная никого в городе, она заметалась в поисках подпольной или партизанской организации. Но, прежде чем ей удалось связаться с подпольщиками, она угодила в эшелон «остарбейтер». Годы, проведенные в концентрационных лагерях, не сломили ее воли. В любых условиях она ухитрялась находить подходящих людей, сколачивала из них тайные ячейки, организовывала саботаж на работах, сыпала песок во втулки станков, бросала куски резины в бензиновые баки автомашин; пользуясь знанием немецкого языка, она проникала в лагерные канцелярии, умела прослыть за аккуратнейшего служаку и потихоньку выкрадывала там отпускные бланки для беглецов, фабриковала подложные документы для возвращающихся на родину.

Трижды она бежала из лагерей. Один раз ей удалось даже пройти пешком от Ла-Манша до Двины. Но всякий раз ее арестовывали, пытали, били и возвращали на этапные пункты. Она не сдавалась. Избитая, еле живая, лежа на залитом водой полу карцера пересыльного лагеря, она, глуша в себе боль, продумывала причины прошлых неудач и строила планы новых побегов.

И вот теперь, после третьего побега, попав в невольничий эшелон, медленно продвигавшийся на юг, в Силезию, она, сидя в углу, сразу заметила и отличила среди молчаливых, вздыхающих, плачущих, с горя переставших за собой следить, опустившихся девушек маленькую черноглазую подвижную украинку, опрятно одетую, с толстыми черными косами, обернутыми вокруг головы аккуратным венцом. Людмиле понравилась стойкость, с которой та переносила свое горе, ее готовность помочь подругам, ее звонкий голос — озорной и неприятно крикливый, когда, стоя в дверях вагона, она самыми последними словами ругала часовых, и мелодичный, звучный, когда она заводила родные песни.

Сначала Людмила подумала о ней плохо: легкомысленная девчонка, сорное растение, легко переживающее пересадку на самую поганую почву. Но после того как однажды утром Катя стала бранить девчат за то, что они сидят неприбранные, не умываются, не причесываются и «разводят заразу», Людмила стала присматриваться к ней всерьез.

— Дуры вы, дуры набитые! — кричала девушка, озорно сверкая черными глазами.— Вы думаете, лик человеческий потерять хорошо? Им, сволочам, фашистам-гадам, только это и нужно: чтобы мы о человеческом забыли, скотом стали,— к тому они, фашисты, и гнут! А это они, псы, видели? — И она яростно показывала шиш в щель двери, за которой плыл чужой однообразный пейзаж.— Я где-то читала, что великие наши революционеры, даже к смерти приговоренные, в тюрьме гимнастику делали, чтобы силы сохранить.

И действительно, должно быть, для того, чтобы раскачать подруг, она стала делать в вагоне гимнастику, делала ее упорно, под стук колес; и девушки с удивлением, даже с уважительным страхом смотрели на нее.

— А стоит ли беречь себя? Ведь на врагов работать придется? — спросила Людмила, желая окончательно ее проверить.

Черноглазая девушка вся вспыхнула:

— Я? На этих сволочей работать? На этих подонков?.. С моей работы они кровавой слезой заплачут.— И, приблизив смуглое лицо к Людмиле, жарко дыша на нее, зашептала: — Зачем мне силы? Без силы разве убежишь? Сгниешь в этом погребе без силы. Они только и хотят, чтобы мы силу потеряли.

— Тише.— Людмила осторожно зажала ей рот рукой.

— А что — тише? Пусть слушают. Никого не боюсь.

— Вот это-то и плохо: силу бережешь, а голову не бережешь.

Девушки внимательно посмотрели друг на дружку, потом улыбнулись, поняв друг друга. С тех пор их связала та прочная суровая дружба, какая возникает между людьми в лихие дни перед лицом тяжелых испытаний.

Эшелон прибыл в Крайцбург, где находился тогда всесилезский рынок остарбейтер — рабов, которых ведомство бригаденфюрера войск СС Заукеля свозило сюда из оккупированных восточных стран. Под конвоем девушек выгнали из вагонов и отвели за город в здание пустого

ангара. Здесь их выстроили рядами и запретили садиться. Появилась толпа людей, показавшихся девушкам очень похожими друг на друга: коренастых, красномордых, с квадратными лицами, с бычьими затылками, одетых тоже на один манер — в штаны гольф, в охотничьи куртки и зеленые шляпы с тетеревиными перышками. Девушки догадались, что это были здешние помещики. Были среди них и женщины, большеногие, неуклюжие, массивные.

Идя между рядами невольниц, женщины брезгливо подбирали юбки и зажимали носы платками. Всю эту группу сопровождал чиновник в черной фуражке с высокой тульей.

Помещики хозяйственно поглядывали на девушек, заставляли их поворачиваться, щупали крепость мускулов, а одна тощая, желтолицая, злая баба в мужских брюках, со стеком, даже требовала открывать рот, проверяя, целы ли зубы, не тронуты ли десны цингой.

Подруги стояли рядом.

— Как скотину на базаре... Ах, гады, ах, подонки! — шептала Катя.

Она была бледна, ее всю трясло, она тяжело дышала. Кровь сочилась из крепко закушенной губы. Казалось, вот-вот ее хватит припадок. Людмила тихонько погладила ее холодную, безжизненно висевшую руку. Вся эта процедура была уже ей знакома. О, она-то уже знала, что такое фашизм! И ненависть ее дошла до такой степени, что она перестала считать гитлеровцев за людей. И вот сейчас, спокойная, холодная, как статуя, стояла она, гордо вскинув голову и презрительно глядя на приближавшихся. У отобранных девушек помещики бесцеремонно поднимали рукава, смотрели выжженные ляписом номера, называли их чиновнику. Тот записывал в блокнот, и два старых колченогих солдата-фольксштурмиста в мундирах, болтавшихся на тощих телах, уводили отобранных в конец ангара и расставляли у стен, возле бланка с фамилией помещика.

— Мне не стерпеть. Если он до меня дотронется, я ему ногой в брюхо заеду,— шептала Катя, и капли крови из прокушенной губы текли по ее круглому девичьему подбородку и черными кружками отпечатывались на бетонном полу.

— Прикосновение гадины омерзительно, но оскорбить человека не может,— холодно ответила Людмила.

— Смотрите, как они стоят! Принцессы!.. Большевики, наверно,— сказал краснолицый толстяк с рассеченной бровью, приближаясь к подругам.

Людмила поняла его слова. Толстяк оглядел ее с головы до ног, довольно хмыкнул и протянул короткую веснушчатую, лохматую от рыжего пуха руку, чтобы пощупать ее мускулы, но встретился с таким взглядом узких серых глаз, что рука невольно отдернулась, и он затерялся в толпе, бормоча:

— Ну, ну, не очень... Здесь мы хозяева.

— Да, от таких лучше подальше... Не хотел бы я встретиться с этой большевистской Лорелеей в русском лесу,— понимающе отозвался другой.

— Я беру этих двух. Мне нравится их цветущий вид,— гортанным голосом произнесла желтолицая женщина в брюках.— Мне неважно, как они смотрят, мне важно, какие у них мускулы. У меня, слава богу, крепкие нервы.

И она презрительно посмотрела на опустивших глаза мужчин. Однако и она не подошла к девушкам, а приказала солдатам посмотреть и записать их номера.

Так попали подруги в большое имение «Зофиенбург», принадлежавшее полковнику Рихарду Рихтенау. Полковник воевал где-то на Восточном фронте, и хозяйство вела его жена Клара, та самая желтолицая дама в мужских брюках со стеком, что отобрала подруг. Вместе с ними были отобраны еще пятьдесят девушек.

Жизнь их в «Зофиенбурге» началась с того, что у них отняли собственную одежду и остатки личных вещей. Взамен этого им выдали одинаковые комбинезоны из мешковины и деревянные башмаки, выдолбленные из липовых чурок. Их одежду фрау Рихтенау раздала в ближайший праздник немецким батрачкам, работавшим по найму. Этим преследовались две цели: наградить и выделить немок и навсегда заколотить клин между ними и работницами с востока.

Невольниц разместили в бывшей конюшне. Они жили по четыре в каждом стойле, где для них были сделаны нары в два этажа. Им выдали по охапке соломы и предупредили, что новую дадут только через полгода! Кормили их трижды в сутки, выдавая каждый раз кусок хлеба с примесью жмыха и отрубей и полулитровую кружку бурякового варева, от которого отвернулась бы и скотина. Печей в конюшне не было. В крепкие силез-

ские зимы девушки сдвигали нары и, чтобы не замерзнуть, ложились рядом одна к другой, грея друг дружку своими телами. Собственно, в замке были и другие пустовавшие помещения, более приспособленные для жилья, но у Клары Рихтенау была своя система обращения с невольниками. Она стремилась заставить их позабыть об их человеческой сущности и голодом, холодом, побоями убить в них волю.

Последним звеном этой системы были телесные наказания. Провинившихся девушек волокли в гараж и били плетью. Экзекуции эти по совместительству исполнял Курт, шофер фрау Рихтенау — неуклюжий парень с длинными обезьяньими руками. Он делал это без злобы, совершенно спокойно, аккуратно, как всякую иную работу, какую ему поручали, и ни брань, ни слезы, ни крики жертв не изменяли каменно-бесстрастного выражения его длинного бледного лица. Но иногда во время экзекуции в гараж врывалась сама фрау Рихтенау в своем мужском костюме, в шляпе, со стеком. Некоторое время она издали следила за тем, как со свистом опускается бич, оставляя на теле быстро багровевшие рубцы, потом в глазах ее начинали сверкать дикие огоньки, тонкие ноздри горбатого носа начинали дергаться, она не выдерживала, выхватывала плеть у Курта и сама принималась бить жертву. И била как-то особенно, с оттяжкой, так, что сразу просекала кожу. Кровь и крики как бы подзадоривали ее, лицо ее мял тик, в уголках губ появлялись комочки пены, глаза дико блуждали. Иногда, войдя в раж, она действовала плетью, пока сама в изнеможении не падала на руки шофера.

Впрочем, после того как две ее жертвы умерли от побоев, а одна из девушек, не вытерпев оскорбления, бросилась в реку, начальство крейса запретило кровавые оргии в гараже, пригрозив отобрать невольников. Избиения прекратились, но весь строй жизни в «Зофиенбурге», тонко рассчитанный на превращение девушек в бессловесный рабочий скот, культивировался и после этого. Попав сюда, подруги инстинктивно угадали замысел своей хозяйки и объявили ей хитрую войну. Опытным глазом Людмила, умудренная в таких делах, быстро выделила среди женщин наиболее надежных, с которыми можно было откровенно разговаривать. У Кати тоже со времени ее подвигов на свекловичных полях остались хорошие организаторские навыки, умение подходить к

людям и поднимать в них дух. Они стыдили нерях, заставляли всех умываться, следить за собой, по очереди ухаживали за заболевшими, с особо истощенными делились своими порциями и во время работ утаивали для них картофель, зерно, муку. Комитет был хорошо законспирирован, но работницы все время чувствовали его направляющую и поддерживающую руку, его волю, его помощь. В трудную минуту они искали его защиты и побаивались его.

Не чувствуя теперь себя одинокими, девушки понемногу начали выходить из своего безразлично-пассивного состояния. Когда главное было сделано, подруги стали действовать решительнее. В тайной борьбе с фрау Рихтенау они не стеснялись средствами, и необычайные, непонятные на первый взгляд несчастья одно за другим посыпались на «Зофиенбург».

То в ветреную погоду неожиданно вспыхнул и дотла сгорел сарай с сеном, и скот остался без корма. То начался вдруг ничем не объяснимый падеж молодняка. То свиньи, огромные, отличные свиньи, дородностью которых славилось поместье, предназначенные для мясных поставок на армию, стали заболевать странной болезнью — переставали есть, начинали худеть и потом дохли. Пала большая часть свиного поголовья, прежде чем приехавший из Бреслау ветеринар-эпидемиолог не нашел в кишечнике павших животных мелко настриженной щетины. Свинарник в поместье был святая святых. Им ведали батрачки-немки. Немок арестовали, увезли в город, обвинив в саботаже. Но новые и новые неудачи продолжали подтачивать некогда процветавшее, образцовое хозяйство.

Тракторы останавливались, едва миновав парковую аллею и даже не выехав в поле. В их перегоревших подшипниках оказывался песок. Начальники элеваторов, куда фрау Клара сдавала свой урожай, грозили ей судом за зерно, зараженное клещом. Когда начался весенний сезон сахароварения и вскрыли бунты, оказалось, что буряки, всегда отлично переносившие зиму, погнили и превратились в отвратительный вонючий кисель. И даже с личной машиной фрау Рихтенау, голубым «оппель-капитаном», подарком мужа, хранившимся как фамильная ценность, под специальным чехлом в замковом каретном сарае, что-то вдруг случилось. Он стал беспричинно останавливаться в дороге, с засоренной пода-

чей. Однажды пришлось даже посылать за ним трактор с буксиром. Это продолжалось до тех пор, пока Курт, решивший промыть бак, не нашел на дне его кусок каучука.

Катя Кукленко, маленькая черноглазая девушка, бригада которой несколько лет назад славилась на весь район своим мастерством, мудрой хозяйственной бережливостью, оказалась совершенно неистощимой в такого рода разрушительных выдумках. Весь опыт сбережения хозяйства от всяческих напастей она повертывала теперь обратной стороной и направляла на разрушение. И так как в тайном комитете было уже двадцать девушек, исполнявших в поместье самые разнообразные работы, она могла через них осторожно и наверняка наносить удары, не оставляя при этом никаких следов.

Фрау Рихтенау приходила в отчаяние. И было от чего. Большое, еще недавно цветущее хозяйство явно разваливалось, не справлялось с государственными поставками, штрафовалось за негодность продуктов, продаваемых торговым фирмам. Она, конечно, догадывалась, откуда сыплются на нее удары, но наносившие их руки не оставляли следов. Она переменила отношение к русским невольницам, запретила надсмотрщикам бить их во время работ, установила выходные дни, улучшила питание, сама появлялась среди них, пыталась с ними заговаривать. Ничто не действовало. Все эти русские казались ей похожими одна на другую, все на одно лицо. И это лицо смотрело на нее хмуро, грозно. Ах, если бы была рабочая сила, с каким удовольствием она отослала бы их всех до одной в концентрационный лагерь. Там бы с ними поговорили! Но приходилось мириться, маневрировать.

Помещица купила в государственном питомнике дюжину овчарок, специально натасканных на охоту за людьми. По ночам их спускали с цепи, они выли и грызлись во дворе, готовые разорвать каждого, кто высунется на улицу. Друг мужа, начальник гарнизона города Штейнау, прислал ей на постой шесть солдат из фольксштурма. Ночью они несли бессменный караул в комнатах замка, дежурили у выходных ворот. Но ничто не помогало. Поздней осенью сгорело несколько скирд необмолоченного хлеба. Впрочем, скирды горели и на соседних фольварках. Разве можно было установить, кто их зажигал?

Фрау Рихтенау обратилась к богу и гестапо. Бог не откликнулся. Гестапо прислало чиновника. За сытным ужином, распаренный с вина, расстегнув ворот кителя, он сочувственно слушал жалобы помещицы.

— Пожары? Падеж скота? Не ново, увы, не ново. Клещ в пшенице? И это было. Да, дела на фронте неважные. Эти проклятые русские подходят к границам. Нет, нет, пока никаких репрессий... Осторожность, крайняя осторожность с этими невольниками, в особенности с теми, что из России. Что там говорить, слишком много их навезли в Германию. Хозяину, имеющему в доме взрывчатый материал, увы, самому нужно ходить на цыпочках. Вы слышали последние сводки? Да, да, форсирована Висла. Страшные времена. Ах, эти русские, зачем только мы с ними связались? А что пишет с Восточного фронта ваш уважаемый супруг? С Восточного фронта — как это странно теперь звучит, когда фронт где-то вот тут, недалеко!

Чиновник уехал утром, сопровождаемый охраной. А на следующую ночь фрау Рихтенау лежала в огромной холодной постели, не гася в комнате лампы. Она слушала вой псов во дворе под окнами, мерные шаги солдат, гулко раздававшиеся под сводами старого замка. В собственном замке она оказалась пленницей. И ей все время чудились худые лица рабынь, тени на запавших щеках, хмурые лбы, изборожденные преждевременными морщинами, и глаза, сверкающие из темных глазниц, угрожающие и страшные. Что-то они сейчас делают? Ей чудилось, что она слышит их зловещий шепот. Они, наверное, что-то замыслили. Ах, ужасные времена!

Если бы только знала помещица, что делали эти женщины в те часы, когда она, дрожа в постели, прислушивалась к суровым шумам зимней ночи! В полутьме пустой конюшни с мохнатыми гроздьями инея, тускло светившимися по стенам, грея друг друга своими телами, невольницы сидели на лежаках, тесно составленных в виде круга. В центре этого круга возвышалась стройная фигура Людмилы. Низким звучным голосом девушка читала Маяковского, любимого своего поэта, целые поэмы которого со школьных лет помнила наизусть.

Плавилось сало в маленькой картонной плошке, дрожал и потрескивал фитилек. Огромная тень металась по стенам и потолку конюшни, и звучно, как удары маленького колокола, падали в притихшую толпу могучие, рез-

кие, страстные слова. И казалось девушкам, что эти слова вылетают вместе с облачками пара не из посиневших от холода, растрескавшихся и обветренных губ их подруги, а звучат издалека — оттуда, с родной земли. Потом Людмилу сменяла круглоликая веснушчатая Анна Никифоровна, бывшая библиотекарша из Смоленска. Она еле ходила на толстых ногах, распухших от цинги. Больную бережно усаживали на облучок старых саней, и бледная женщина с синим провалившимся ртом по памяти пересказывала Чехова, Толстого, Горького.

Уже несколько недель она лежала на койке. Ни карцер в холодном замковом подземелье, ни угрозы не могли выгнать ее на работу. Но вот она начинала рассказывать, мысленно переносилась в далекий и милый мир, где еще недавно среди книг занималась любимым делом. Бледное отекшее лицо оживало, под опухшими, тяжелыми веками сверкали глаза, тихий, надтреснутый голос крепнул, рос, заполнял промозглое помещение конюшни, и девушки, забыв обо всем, подавались вперед, загипнотизированные звуками ее голоса.

Иногда бывала политинформация. Появлялась исчезавшая куда-то Людмила и сообщала последние новости: сводку Советского Информбюро. Где она их брала, девушки не знали, да и узнавать не пытались. Подруги побаивались резкой, суровой Людмилы, но ей верили и с особым нетерпением ждали коротких ее сообщений.

Однажды она, обычно такая сдержанная и рассудительная, вскочила в окно конюшни, возбужденная, сияющая, простоволосая. Снежинки сверкали в ее рыжих, разметавшихся по плечам кудрях. Не спрыгнув даже вниз, не приглушая голоса, она закричала:

— Прорвали фронт, наши прорвали фронт! Идут к Ченстохову. Это меньше ста километров от нас. Скоро! Держитесь, девоньки, скоро!

И, припав к густо заиндевевшей раме, эта крепкая девушка, всегда строго управлявшая своими чувствами, залилась слезами.

Вскоре по проселкам, ведущим на запад, на Оппельн, на Штейнау, на Бреслау, хлынули потоки беженцев. Эсэсовские патрули с пулеметами сгоняли их с автострад, очищая большие дороги для войск, и беженцы плелись по замерзшим полям, по перелескам, увязая в снежной

грязи, бросая в снегу велосипеды, детские коляски с узлами, ручные тележки с домашним скарбом, теряя в сутолоке детей. Поток паники, неудержимо хлынувший вдруг на запад, красноречивее сводок говорил о том, что происходит на фронте. Работы в поместье прекратились. Фольксштурмовцы на ночь запирали девушек в конюшне и бессменно, с автоматами, ходили у дверей. Когда невольницам приносили еду, двое солдат становились возле баков с пойлом и стояли так, не опуская автоматов, наведенных на девушек, до тех пор, пока бак не опустошался. Вид у фольксштурмовцев был жалкий, испуганный. Они вздрагивали от каждого шороха, примирительно щерили запавшие, старческие, морщинистые рты, когда женщины открыто насмехались над ними. По распоряжению фрау Рихтенау у девушек отобрали обувь и спрятали ее, чтобы лишить их возможности выходить из конюшни.

Но полонянки ожили. Впервые под заиндевевшими сводами огромной конюшни зазвучал смех. По вечерам из зарешеченных железом окон неслись песни, простые и нежные мелодии далекой родины. Невольницы распевали их иной раз до глубокой ночи, и никто уже не смел им запретить. Мирные песни заставляли обитателей замка нервничать, жечь всю ночь электричество во всех комнатах и залах.

Однажды утром конюшня проснулась от дикого визга. Какая-то девчонка, неумытая и нечесаная, пронзительно кричала, сидя на нарах. Ничего не понимая, женщины столпились возле нее. А та все надрывалась радостным криком, показывая пальцем на восток. Кто-то зажал ей ладонью рот, и тогда все услышали глухие звуки далекой канонады, еле различимые за смутным шумом парка.

— Свои,— шептал кто-то.

И опять все замерли, прислушиваясь. Нет, это не обман слуха. Канонада не приснилась девчонке в хорошем сне. Пушки били еще очень далеко, разрывы звучали глухо, словно картошку кто-то сыпал в подпол по деревянному лотку. И женщины слушали этот гром, как будто не пушки это били, а родной, знакомый голос окликал их издали.

— Дождались... Дожила... Хоть родная рука глаза закроет,— сказала тетя Паша, умиравшая от цинги и ревматизма, и истово закрестилась на осклизлый, заиндевевший угол конюшни.

Женщины бросились к ней.

— Не помрешь, теперь не помрешь, свои не дадут, выходят.

Все стали плакать, обниматься, нечто вроде припадка коллективной истерии овладело ими, и Катя с Людмилой никак не могли их унять. Тогда Катя крикнула:

— Песню, девчата, песню! — и низким грудным контральто завела любимую песню невольниц — «Катюшу», песню, напоминавшую им о молодости, о любви, о далекой родине, обо всем том большом, человеческом, чего они были лишены здесь. И все, сколько их было, даже тетя Паша, подхватили мотив. Хриплые звуки вылетали из распухшего рта тети Паши, и мутные слезы, как вешняя капель, ползли по одутловатым щекам, застревая в глубоких морщинах.

Под песню Катя исчезла в одном из окон, выходившем на крышу сарая. С тех пор как по двору рыскали овчарки, это был единственный путь, которым члены комитета общались с внешним миром. Пробежав по крыше, Катя спрыгнула на поленницу дров, оглянулась, жадно вдыхая холодный утренний воздух, соскользнула вниз и, легкой тенью мелькнув в сероватом тумане, перебежала внешний двор и негромко, но настойчиво застучала в маленькое слепое окошко. К ее удивлению, стучать пришлось недолго. За окном не спали, фортка сейчас же открылась.

— Фрейлейн Катья... шнель, шнель,— пробормотал сипловатый голос.

Катя проскользнула в приоткрытую дверь. Здесь, в каморке замкового электромонтера Карла, слесаря из города Гинденбурга, антифашиста, с которым подружились девушки из тайного комитета, и черпали они новости о родине. У Карла был дешевенький радиоприемник. В одиннадцать часов он впускал к себе Катю или Людмилу, помогал им поймать Москву и молча садился в сторонке, куря длинную трубку, окутываясь облаками вонючего, ядовитого дыма. Это был одинокий, молчаливый человек. Дружба с ним началась с того, что однажды, когда несколько девушек слегло от цинги, он во дворе молча подошел к Людмиле, сунул ей в руку какой-то мешочек и показал на зубы. В мешочке были шелушащиеся головки чеснока. Это было еще осенью. С тех пор Катя и Людмила по очереди пробирались в его каморку слушать радио.

Он никогда не разговаривал с ними, курил молча. Иногда доставал лекарство для больных. Девушки звали его «дядя Карл». Он был всегда неизменно спокоен. А вот сейчас, против обыкновения, этот непонятный им человек волновался. Он не сел с трубкой в углу в плетеное кресло,— остановив Катю на пороге, прошептал:

— Прорвали фронт. Из Штейнау фрау Клара получила приказ зажечь склады с зерном, с мясом и перестрелять скот.

Карл нервно потер костлявые, раздутые ревматизмом пальцы... Как немцу ему тяжело говорить, что еще приказали господа из крейса фрау Кларе, но пусть женщины поскорее убираются из конюшни, пусть не сидят в ней ни минуты, пока не поздно.

Катя поняла: им грозит что-то страшное. Дяде Карлу она верила. Он не стал бы попусту волноваться. В голове ее сразу же мелькнул план. Может ли он оказать им последнюю услугу: перерезать телефонные провода, соединяющие замок со Штейнау? Немец молча кивнул головой: он это сделает сейчас же.

Катя опрометью бросилась назад. Позабыв всякую осторожность, едва добежав до окна конюшни, она закричала:

— Девочки, наши идут сюда! Слышите меня, девочки? Хватайте кто что найдет! — И, боясь, как бы не повторился припадок истерии, она соскочила в конюшню и начала выламывать железную штангу, которой когда-то приковывали в стойле норовистых коней.

Женщины поняли ее. Они рассыпались по конюшне, круша и ломая все, что можно было сломать и сокрушить, вооружаясь досками, палками, заступами и мотыгами.

Треск дерева, дребезг выбиваемых стекол подогревал их, поднимал самых робких. Вооружившись чем попало, женщины бросились к дверям. Стремительно распахнулись створки ворот, и, опрокидывая часовых, две толпы одновременно выплеснулись на замковый, мощенный плитами двор.

Часовые были разоружены, да они и не пытались сопротивляться. Одна часть женщин, во главе которой, размахивая заступом, бежала Катя, бросилась к флигелю, где жили фольксштурмовцы, другая, предводительствуемая Людмилой, бежала через двор к замку.

Под яростными ударами железных штанг расщепилась, упала резная дубовая дверь. Кто-то стрелял сквозь нее по толпе, но грохот выстрелов потонул в шуме и криках, и только две женщины, упав на плиты, обливаясь кровью, своею гибелью предупредили остальных о том, что за дверью их ждет засада. Шофер Курт и дряхлый, едва стоявший на ногах от старости камердинер Рихарда Рихтенау с пистолетами в руках попытались задержать толпу в вестибюле. Они тут же упали с размозженными черепами.

В момент, когда во дворе послышались грохот и крики, фрау Рихтенау в дорожном мужском костюме металась по спальне, рассовывая по чемоданам деньги, бумаги, драгоценности, хранившиеся в сейфе. Машина с разогретым мотором с ночи ждала ее в парке у заднего крыльца. Курт и старый камердинер, самые верные ее люди, должны были зажечь склад с зерном, холодильник с невывезенным мясом и деревянное здание конюшни, в которой, без обуви, были заперты невольницы. Такой приказ она получила от самого крейслейтера.

Но когда все уже было подготовлено, что-то случилось во дворе. Фрау Клара подбежала к окну, приподняла штору затемнения и тотчас же отпрянула. В морозной вечерней мгле неясно маячили фигуры в комбинезонах из мешковины. Помещица схватилась за телефон. Трубка зловеще молчала. Фрау хотела бежать к выходу в парк, выход был еще свободен, там ждала ее машина, фрау сама умела водить авто. Но неужели оставить эти деньги, бумаги, фамильные драгоценности?.. Хоть немножко, хоть самую малость унести с собой! И она стала судорожно запихивать банкноты в карманы бриджей, за пазуху.

Выстрелы внизу, в прихожей. Это Курт. Он задержит, он не пустит их. Грохот. Крики, топот по лестнице. Они прорвались? Боже! Шквал шагов в холодных просторах старинного зала, в гостиной. Бежать, скорее бежать! Прыжок к двери. Поздно, путь отрезан. Удары сотрясают дверь. Чем это они колотят! Вылетели филенки, чья-то худая, жилистая рука просунулась в образовавшееся отверстие и шарит замок.

— Вот она! — торжествующе кричит кто-то по-русски...

На мгновение толпа застыла в распахнувшихся две-

рях. Фрау Рихтенау увидела только разгоряченные лица, яростные глаза. Она упала на колени. Она протягивает женщинам горсти денег, она клянется отдать им все, все, все, что имеет, она молит их о прощении, она бормочет что-то о великой русской душе, о доброте русского сердца...

Но вот из толпы выделилась высокая рыжая девушка, огненные кудри ее разметаны по жалкой мешковине комбинезона. В руке у нее заступ. Ноздри тонкого с горбинкой носа гневно раздуваются. На чистейшем немецком языке она произносит:

— Молчи, негодяйка! Не смей говорить этих слов!

Нет, от них не ждать пощады. Вспомнив вдруг о пистолете, фрау Рихтенау выхватывает из кармана маленький дамский браунинг, но тут же падает на ковер. Ее конвульсирующая рука сжимает вороненую сталь, другая судорожно комкает горсть крупных и никому не нужных банкнотов. Людмила отбрасывает заступ и совсем обычным, будничным голосом, сразу отрезвляющим всех ее подруг, говорит:

— Собаке собачья смерть! Теперь, девушки, тихо, ничего не ломать, не портить.— Она строго обводит толпу стальными узкими глазами и прибавляет не громко, но так, что это слышат все, даже те, что стоят сзади в другой комнате: — Слышали?

Между тем Катя Кукленко со своей группой выводит из флигеля пленных фольксштурмовцев. Руки у них связаны, но, собственно, это сделано больше для порядка. Увидев бегущую толпу, смявшую караулы, фольксштурмовцы заперлись было во флигеле, забаррикадировались мебелью и приготовились обороняться. Но кто-то из женщин крикнул им по-немецки, что, если они сейчас же не вылезут из своей норы, флигель зажгут. Настала минутная пауза, и после нее в форточке окна показалось белое полотенце, привязанное к ручке швабры. Остатки бравого гарнизона капитулировали без выстрела, были разоружены и торжественно отконвоированы в замковый подвал.

Отобранным оружием Людмила сейчас же вооружила девушек из комитета, поставила караулы к замку, к складам, к воротам. Катя Кукленко занялась хозяйством. Послала людей учесть зерно, мясо, все запасы поместья. Отрядила бригаду на замковую кухню готовить обед, разместила девушек в комнатах.

Потом они подумали и о безопасности. Девчата побойчее были вооружены трофейными автоматами, винтовками и охотничьими ружьями из коллекции Рихтенау. Те, кому не хватило, получили старинные кремневые пищали, алебарды, вилы и топоры. В случае, если они увидели бы приближение карателей, они должны были зажечь захваченный с собой бачок с бензином. Девушки приготовились к борьбе, даже к осаде. Канонада, доносившаяся с востока все громче и громче, бодрила их, поддерживала в них уверенность, что они смогут продержаться до подхода Красной Армии.

Бачку с бензином так и не суждено было загореться. Ранним утром опрометью прибежали девчата, посланные на дороги. Они неслись во весь дух по двору, выкрикивая одно только слово:

— Свои, свои, свои!

На все вопросы, задаваемые им, они повторяли:

— Свои... там на шоссе танки. На шапках звезды... В шубах, в валенках... Ну, свои, настоящие!

И тогда все женщины, сколько их было в замке, ринулись к автостраде. Даже тетя Паша, не поднимавшаяся уже несколько недель с перетертой соломы нар, поплелась за толпой. Ее подхватили на руки и понесли через парк, через заснеженные поля к шоссе, по которому тянулась, изгибаясь на холмах, бесконечная стальная змея прорвавшихся танков...

Вот, пожалуй, и вся история, которую узнали мы от участниц этих событий, сидя в холодном и мрачном, облицованном черным дубом кабинете владельца замка «Зофиенбург». В старинном камине красно и жарко тлел уголь. Пурга неистовствовала за окном, выла в трубе, сухим снегом скреблась в стрельчатые окна, в которых из цветных стеклышек, оправленных в свинец, были выложены сцены средневековых охот. Трепетало в камине синеватое пламя, танцевавшее над угольями. В комнате выдувало пахнущий серой дым. В соседних залах, тонущих во мраке, потрескивал старый паркет. Мерно, медленно отстукивал маятник старинных часов, изредка хриплым, надсаженным голосом вещавших течение времени.

Все это было чужое, из незнакомого нам страшного мира. Но в эту комнату, уставленную мебелью минувших веков, по-хозяйски, не обращая внимания на необычайность обстановки, входили озабоченные женщины и

деловито докладывали худенькой девушке с огромными черными, глубоко запавшими глазами самые обыкновенные хозяйственные вещи. Поросята хотят есть, из каких запасов варить им мешанину? Нужно просушить зерно, которое сами же подмочили недели две тому назад, а то сгорит, если его не перелопатить. Следует почаще менять девчат на постах; потому что к вечеру мороз крепчает. Доложили и о том, что в подвалах замка найдено много постельного белья, которое может пригодиться для госпиталей.

Потом вошел сутулый старый немец с длинной кривой трубкой и, комкая в узловатых, с раздутыми суставами пальцах выгоревшую зеленую шляпу, предложил девушке пустить движок, дать электричество и воду, чтобы не полопались трубы батарей. Это и был дядя Карл. По старой солдатской привычке он стоял перед Катей навытяжку и говорил с ней так, как будто она была владелицей замка. Пожилая, болезненного вида женщина принесла в подоле и высыпала на стол груду ложек и другого столового серебра: пригодится для какой-нибудь военной столовой.

Маленькая проворная девушка, с головой, увенчанной черными косами, с усталыми и прекрасными глазами, отдавала короткие и такие деловые и властные распоряжения, как будто она давно управляла хозяйством этого огромного замка, а не была всего несколько часов тому назад одной из невольниц с номером, выжженным ляписом на правой руке.

В углу сидела ее подруга. При свете картонной плошки, бросавшей живые отсветы на ее золотые кудри, она деловито записывала в реестр драгоценности, найденные в замке. Равнодушно считала камни и, сосчитав, небрежно отбрасывала в сторону кулоны, серьги, кольца, колье, медальоны, валявшиеся тут же перед ней беспорядочной грудой. Она готовила к сдаче Красной Армии эти ценности, найденные женщинами в тайниках фрау Рихтенау.

А рядом во дворе гремели цепями, рычали и выли в конурах голодные псы, специально натасканные для охоты за людьми. В просторной спальне, у кровати под резным балдахином с гербами, среди разбросанных по полу банкнотов и ценных бумаг, зажимая ком ничего уже не стоящих банкнотов, лежал труп Клары Рихтенау, до которого никому не было дела. На позеленевшем

лице так и застыло выражение ужаса и бессильной ярости.

А в маленьких комнатах верхнего этажа, у заросших искристыми морозными папоротниками темных окон, из которых открывался вид на автостраду, толпились женщины и, проскребывая дырочки в морозном слое, увеличивая их дыханием, смотрели во тьму, где за вершинами темневших столетних лип бесконечной чередой тянулись белые, дрожащие во тьме длинные огни, то исчезавшие, то снова вонзавшие в небо снопы лучей. Это продолжали идти на запад танковые дивизии, вливавшиеся в прорыв и окружавшие Силезию. Провожая глазами огни машин, освобожденные полонянки шептали:

— Свои! Ведь это подумать только, девчата,—свои! С ума можно сойти! Свои же! — шептали, наслаждаясь не только смыслом, но и звучанием этих слов.

1945

ПЕРЕДОВАЯ НА ЭЙЗЕНШТРАССЕ

В конце апреля 1945 года командир мотомеханизированного корпуса, штурмовавшего тогда с юго-запада уже окруженный, наполовину занятый нашими войсками Берлин, прислал в штаб армии своего шофера с машиной. Тот отыскал меня в оперативном отделе и доложил, что «сам» приказал доставить в левофланговое «хозяйство» корпуса, дальше других пробившееся в этом секторе к центру вражеской столицы. В маленьком подвижном парне, с угловатым скуластым личиком, на котором так и бегали быстрые любопытные глаза, было что-то такое, за что весь штаб, вопреки фронтовым обычаям, игнорируя ефрейторские лычки, звал его по-домашнему — Мишей. Миша прикатил на огромном восьмицилиндровом ландо ядовито-яичного цвета и явно трофейного происхождения. Впрочем, к роскошной своей машине он относился с подчеркнутым пренебрежением и, как о верном друге, погибшем в бою, вспоминал о старенькой «эмочке», сожженной недавно каким-то «мессером» на переправе через Нейссе.

— Вот то была машина, товарищ подполковник! — вздохнул он.— Помните, как я вас на ней по украинской

грязюке у Корсуни-Шевченковской возил?! Три года по фронтовым дорогам без капиталки выходила! А эта,— он пренебрежительно пнул сапогом шину своего роскошного ландо,— простого бензину и то не жрет, подавай ей высокооктановый. Ее бы под Корсунь, на те дороги, поглядел бы я на нее...

Спохватившись, Миша вытянулся, козырнул и спросил, нельзя ли по пути подбросить людей из их корпуса, приехавших в армию получать ордена. Испросив разрешение, он исчез за домом и тотчас же вернулся с двумя военными. Не только многочисленные награды, до ослепительности надраенные зубным порошком, не только гвардейские знаки и столбики красных и желтых нашивок за ранения, украшавшие их новенькие, еще пахнувшие интендантским складом гимнастерки, но и весь их облик, какая-то свободная, ненарочитая подтянутость движений, изобличали в них ветеранов.

— Сержант Трифон Лукьянович! — ловко беря под козырек, неторопливо пробасил статный, худощавый, белокурый красавец с той рокочущей интонацией, какая бывает у коренных белорусов.

— Ефрейтор Николай Тихомолов,— рубанул, звучно щелкая каблуками, другой, и круглое, подчеркнутое в его речи «о» сразу же выдало волгаря.

Решив после нескольких бессонных ночей подремать в дороге, я устроился поудобней в уголке на заднем сиденье, ефрейтор Тихомолов разместился рядом, сержант уселся с шофером, и сильная машина, сразу же набрав скорость, мягко приседая, понеслась на север, убаюкивающе шурша шинами по асфальту.

За двумя шеренгами цветущих груш, обрамлявших дорогу, потекли однообразные, подстриженные немецкие пейзажи. Даже яркая весна не уничтожала их поразительного сходства с мазней старательного художника-ремесленника. Тягучее однообразие пейзажей вместе с напряженным шелестом шин и мягким покачиванием рессор навевало дрему. И стоило закрыть глаза, как густо напоенный теплом пробуждающейся зелени воздух, стремительными волнами перекатывающийся через ветровое стекло, напоминал о других, привольных краях, о буйной и милой весне в родных полях и лесах, о золоте одуванчиков, щедро рассыпанном в молодой траве, о сверкающей зелени березовых рощ, о синеватых зубцах елового леса, о старом янтаре сосновых стволов, истекающих смолой

среди молодой хвои, о необозримой зелени озимых и жирной, маслянистой черноте бесконечных пашен.

Сквозь сон слышал я, как Миша завел с ефрейтором-волгарем ленивый, дорожный разговор. Потолковали о фронтовых новостях, повздыхали о женах, осудили бесцельное немецкое цеплянье за камни разрушенного Берлина, ругнули союзников, подивились обилию красных перин в немецких домах, заговорили о самолетах с реактивными двигателями, брошенных в последние дни в бой немецким командованием, и решили, что дело это для Гитлера бесполезное, перед смертью не надышишься, чего упрямиться: хенде хох — и баста.

— Эх, к сенокосу бы домой вернуться,— заговорил волгарь, напирая на «о».— Луга у нашего колхоза, я тебе скажу, Миша,— и не оглядишь. Трава по пояс, ядреная, сочная, как огурец. Косу как следует отбить, да утром по росе — ж-ж-ж!.. ж-ж-ж!.. Как, сержант, думаешь, если с Берлином управимся, к сенокосу демобилизуют, как, товарищ сержант Трифон?

— Мне не к спеху,— неохотно прогудел Лукьянович, не принимавший участия в беседе.

— Ордена-то за что, сержант, получали? — спросил Миша, не любивший молчаливых спутников.

— Так, пустяки...— с явной неохотой ответил тот.

— Ничего себе «пустяки»! Боевое Красное Знамя кое за что не дадут. Ишь, и не в части, а в штабе армии вручали. Чем отличились?

— Спит подполковник-то?— спросил осторожно волгарь и, наклонившись к переднему сиденью, зашептал: — Нет, верно, землячок, мы с ним считаем, что не по заслугам нам такой большой орден отвалили. Вот гляди, это Красная Звезда. За что она у меня? За Сталинград. Этот вот орден Славы за что? За Днепр. Опять же вот это орден второй степени за что? За Сандомирский плацдарм на Висле. Мы там на крохотном пятачке двое суток держались. Достоин я за это отличия? Достоин, еще считаю, что поскупился бригадный в своем представлении. Он у нас насчет наград малость жиловат. А это, на-ко, такой орденище, и за что? За немецкого генерала...

— За генерала? Это как же? — по тону вопроса я понял, что Миша от удивления даже подскочил на сиденье.

Разговор становился интересным, сон рассеялся. Потребовалось усилие воли, чтобы открыть глаза.

— А вот так: взяли мы, значит, с сержантом в плен одного их генерала, да не какого-нибудь завалящего, а большого — на наш счет генерал-лейтенанта, не знаю, как уж этот чин у них называется... Да не жми ты на газ, меня мутить начинает, еще чокнемся с кем, Берлин без нас брать придется... А насчет генерала этого слушай... Как бригада наша на Нейссе выскочила, слыхал? Ну, вот. На реке мы обосновались, плацдармик за рекой захватили, зацепились — и стоп, нет снарядов. А пехота еще не подошла. Сзади разбитые немецкие части где-то по лесам болтаются,— как говорится, слоеный пирог. Ну, начбоепитания и вызывает нас с сержантом, садитесь, дружки, на мотоцикл, дуйте во второй эшелон и — чтоб разбиться, а снаряды они нам к вечеру доставили. Ну, мы конечно: «Есть!» Сели в мотоцикл и — р-р-р! Только пыль столбом. Едем лесом, он машину ведет, а я в коляске у пулемета по сторонам гляжу. И вдруг почудилась нам: возле дороги что-то большое, вроде медведь, в кусты шарахнулось. Стоп, машина. Я пулемет на кусты, сержант за автомат: «Кто там? Хенде хох, вылезай, стрелять будем!» И вдруг, гутен морген, лезут из кустов три фрица, двое офицеры, а один цивильный, весь такой помятый, седой, шерстью зарос. Руки подняли. Не подыми попробуй, если пулемет наведен. Ну мы их обыскали, пистолетишки отобрали. Что ж нам, думаем, с вами делать? Свалились вы на нашу голову. У нас боевое задание первейшей важности, а тут — на... И лес и кругом никого нет. Ладно. Вот он, сержант, и говорит: «Лучше б этих субчиков в плен не брать, да не положено, раз сами сдались». И говорит мне еще: «Тихомолов, веди их до первой воинской части, а я, говорит, буду следовать по пути маршрута». Так, сержант?

Тот не отозвался. Он сидел молчаливый, безучастный, весь поглощенный какой-то своей невеселой, должно быть, думой.

— Так и сделали. Поехал он по пути маршрута, а я пленных назад повел. Иду и думаю: «Не иначе, подлецы, из окружения выбрались. Офицеры. А ну — дернут они у меня в разные стороны, лови их по лесу. Как быть? За них ответишь». Вот я и надумал: ремни с них снял да на штанах и подштанниках пуговицы им пообрезал. Расчет точный: руки у них теперь заняты и бежать им в таком виде невозможно: с первого же шага в штанах запутаешься. Так вот, когда я пуговицы-то обрезать им

стал, старичонка этот цивильный вдруг как осерчает, как залопочет что-то, и офицеры тоже всполошились. В него пальцем тычут: «Генерал, генерал»,— говорят. А я им вежливенько, как полагается, отвечаю по-немецки: «Нихт он ист цивиль, без знаков различия, стало быть, держи штаны руками». А потом: «Комен зи, господа офицеры, дорога прямая...» И без всяких приключений довел я их до самой нашей бригады. Сдал коменданту, сказал ауфвидерзейн и думать о них забыл: мало ли их сейчас по лесам шляется. Вечером и он вот, сержант, с караваном машин прибыл. Все хорошо: боевое приказание выполнено. Мы и думать об этих пленных забыли, хвать, посыльный из штаба корпуса. Сам генерал, твой хозяин, нас к себе требует. «Спасибо,— говорит,— за службу. Знаете, кого вы поймали?» — «Никак нет,— говорим,— товарищ генерал, не знаем».— «Вы,— говорит,— поймали большого их начальника»...

Вот и все. Должно, здорово этот немецкий генерал одичал, по лесам-то шатаясь, рожа — что щетка платяная, а уж грязи! Под рубаху залезает пятерней и скребет и скребет. Довоевался голубчик! И за такого — на вот, орден, да какой!

— Что положено по приказу, то и дали,—политично ответил Миша, заметив, что я проснулся, он все косился на своего соседа, но тот по-прежнему безучастно смотрел куда-то перед собой. Должно быть, Мишу так и подмывало разговорить молчальника.

— А вы откуда, товарищ сержант, сами будете?

— Был минский.

— Это почему ж «был»? Семья-то где в данный момент проживает? Есть семья? Женаты?

— Был женат.

— А-а-а,— неопределенно протянул Миша.— А дети?

— И дети были...— сержант отвернулся, явно показывая, что не желает разговаривать.

Но не так-то было легко отвязаться от Миши. Помолчав, он зашел с другого конца:

— Сам-то городской аль из колхоза?

— Городской.

— А откуда рождением?

— Из Репичей, была такая деревня под Минском... Ведь все равно не знаешь, что без толку спрашивать?!

— А родители-то живы?

— Никого у меня нет, ни родных, ни домашнего адреса, понял?

— Понял,— вздохнул Миша.

Шоссе оборвалось у взорванного виадука. Дорога свернула в сторону, пошла в объезд полем и уперлась в длинную автомобильную пробку. Миша попытался обойти ее стороной, но шустрая регулировщица остановила его мановением красного флажка. Ни уверения Миши, что без нас Берлин взять невозможно, ни комплименты насчет ее румяных щек не сломили ее упорства: она пускала машины только в один ряд, по очереди с той и другой стороны.

— Ну, что ж, будем загорать, раз такое дело,—сказал Миша и первым вылез на истоптанную траву.

Деловитый сержант, поправив пилотку, сейчас же отправился вперед помогать «расшивать» пробку. Как только он отошел, волгарь накинулся на Мишу:

— Что ты его мучаешь, чего душу из него тянешь, ведь верно один он остался, весь его род фашист порешил... Знаешь, как он переживает?

И он рассказал о трагической судьбе его друга, с которым вместе воевал в одной роте от самого Сталинграда. На переправе через Прут сержант был тяжело ранен. Его признали негодным к строю и отпустили на родину. Добрался до Минска, где до войны работал слесарем на радиозаводе. Своего завода он не нашел. На месте домика, где жили его жена и трое детей, увидел он огромную воронку, уже густо поросшую крапивой и лопухом. Соседи рассказали, что бомба похоронила его семью в момент, когда та укладывалась, готовясь к эвакуации.

Рассеянно посмотрев на уток, плескавшихся в мутной зеленой воде на дне воронки, на одичавший вишенник, на заросший бурьяном огород, ничего не сказав соседям, солдат повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Он вышел на витебский тракт и с попутной машиной доехал до поворота дороги, с которого открывался вид на родную деревню.

Машина ушла, оставляя в воздухе пыльный хвост, а он стоял на дороге, ничего не понимая, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Отсюда, от верстового камня, открывался когда-то вид на деревеньку, россыпью изб раскинувшуюся по берегам маленькой тихой речки, утопавшую в пышной зелени

ракит. Камень по-прежнему торчал у дороги, и луга зеленели, и речка поблескивала среди них, а деревни не было.

Там, где глаз привык ее видеть, поднимались невысокие, заросшие бурьяном холмы, на месте кудрявых ветел, хранивших когда-то перед окнами прохладную тень, торчали обгорелые пни.

На берегу речки вилось несколько дымков. По заросшей тропинке солдат добрался до них. От старика, вылезшего из землянки, выдолбленной в речном берегу, узнал он, что каратели два года назад сожгли деревню. Всех оказавшихся на месте жителей — и среди них его стариков и младшую сестру — расстреляли. И опять ничего не сказал солдат. Он взял на пожарище горсть опаленной земли, завернул в носовой платок и ушел. Дошел до станции, добрался до своей части, переформировывавшейся тогда в тылу, и уговорил командира бригады пренебречь его демобилизацией и зачислить обратно в роту...

...Воюет как все, будто зажила у него душа вместе с раной. Только вот когда почтарь с письмами приходит, все норовит он от людей куда-нибудь уйти... А воюет лихо. Как где опасное дело, кто впереди? Сержант Лукьянович. А вот как война на исход пошла, задумываться начал, целыми днями молчит,— закончил свой рассказ ефрейтор. И добавил для Миши: — Так что ты, друг ситный, не береди ему рану-то.

Между тем настала наша очередь двигаться, мы сели в свое великолепное ландо, ярким пятном желтевшее в длинной очереди пыльных грузовиков. У выезда на шоссе к нам молча подсел сержант. Теперь я с интересом посматривал на него. Так вот отчего так хмуро его крупное худощавое лицо, вот почему он отворачивается, когда видит печальные вереницы штатских немцев, тянущиеся по обочинам, и какая-то злая жилка начинает дергать углы его век, когда встречаются длинные, медленно бредущие колонны военнопленных, устало сверкающих белками глаз из-под плотных зеленоватых масок пыли...

К Берлину движение на дорогах становилось гуще и наконец уплотнилось в несколько сплошных колонн, на разных скоростях двигавшихся в одном направлении. Чтобы вырваться из густого пыльного облака, висевшего над автострадой, Миша свернул на большак, с большака на проселок, стараясь найти путь посвободнее. Но все дороги были забиты. Машина наша обгоняла артиллерию,

самоходки, открытые грузовики с загорелой веселой пехотой, противовоздушные части с огромными зачехленными прожекторами и звукоуловителями, пыльные шеренги мотоциклистов и конницу, такую странную в этом потоке стали и рычащих моторов, и снова танки, и снова огромные пушки, влекомые могучими тракторами.

Сбившиеся с ног регулировщики истекали потом на перекрестках. Поднятая колесами и гусеницами пыль плыла к небу такими густыми облаками, что солнце тонуло в них и стояло над Германией как тусклый круг кроваво-багрового цвета. Бензиновая гарь пропитывала воздух, и уши начинали болеть от непрерывного рокота моторов.

Наконец в городских предместьях, где части останавливались и перегруппировывались, машине удалось вырваться из клубов пыли. Перемахнув по широкому виадуку бетонное кольцо Берлинерринг, она въехала в пригород. За чугунными литыми решетками, за зеленой стеной деревьев прятались особняки. Возле них во дворах стояли шеренги машин. Хлопотливо потрескивали движки походных электростанций, дымили походные кухни. Флаги с красными крестами свешивались с крылец самых роскошных вилл. Связисты тянули провода, обматывая их вокруг чугунных столбов трамвая. Где-то тихонько попискивала гармошка, такая неожиданная, милая в этом чужом, яростно обороняющемся городе. Девушка — военный почтальон — в лихо заломленной на кудрявой голове пилотке торжественно шла с полной сумкой по улице этого богатого пригорода.

Но с каждым перекрестком картина становилась мрачнее. Исчезла зелень. Появились черные, местами уже поросшие травой, местами еще дымящиеся развалины. У станции метро теснились санитарные автомобили. Две девушки в окровавленных халатах вынесли из подземелья носилки, на которых, закрыв глаза, лежал солдат в мундире неприятельской армии. Девушки старались шагать в ногу. Сержант неприязненно покосился на них.

— Точно молоко — расплескать боятся. А моя б воля, дал бы я туда, в это метро, гранату, другую — и никакой возни.

— Не положено, сержант: раненый — он раненый и есть,— сказал Миша и помахал рукой пригожей санитарке.— Эй, курносая, много их там?

— Их там таскать — не перетаскать, вся станция ра-

неными забита,— ответил за нее ефрейтор Тихомолов.— Они их туда позаносили и бросили, ни пищи, ни медицинской помощи. Некоторые уже померли и лежат. Вонища! Это еще что, а в одном месте фашист в метро воду из реки пустил, затопить раненых хотел, чтоб они к нам не попали. Волки, одно слово — волки.

На войне всегда лучше быть среди знакомых. Я решил, миновав штаб корпуса и бригады, пробираться прямо в батальон, в котором служили мои случайные попутчики.

Мы осторожно ехали меж бесформенных кирпичных холмов, по которым трудно было даже угадать былые очертания улицы. Из сохранившейся подворотни возник часовой и преградил дорогу. Дальше езды нет. Только пешком. Это уже позиции.

— Хозяйство все там же, где и вчера? — спросил сержант, обменявшись с часовым заветными словечками пароля и отзыва.

— Там же, дальше не пускает, уперся, огня много. Батальонного вчера вечером ранило, оп...

— Пошли,—нетерпеливо скомандовал сержант.

Мы прощаемся с Мишей, который, пятясь, уводит свое яичное ландо. Дальше движемся меж каменных груд, пробиваясь от руины к руине. Трудно даже представить, что это было когда-то улицей. Скорее все это похоже на каменоломню, где добыча ведется открытым способом. Лишь какие-то случайные штрихи: синяя табличка с надписью «Эйзенштрассе», сверкающая зелеными изразцами печка, прилепившаяся к уцелевшему куску стены где-то на уровне третьего этажа, ржавая швейная машинка, о которую мы все трое по очереди спотыкаемся, да странное обилие железных кроватей, высовывающихся из кирпичной трухи то там, то здесь,— напоминают, что тут жили люди. Звуки разрывов в теснинах руин становятся оглушительными, слышны пулеметная перестрелка и упрямые, как дробь отбойных молотков, автоматные очереди.

И вдруг: что это? Штатские люди стоят у чудом сохранившейся стены дома. Небольшая очередь: какие-то старички в мятых шляпах, худые, изможденные женщины с поджатыми губами, с грязными бурыми лицами — и все с судочками, с мисочками, завернутыми в чистые салфетки, жмутся к закоптелой стене.

Сержант останавливается перед этой очередью, смотрит на нее тяжелым взором, от которого женщины и старики еще теснее жмутся к стене, потом резко поворачивается и исчезает в узком темном проходе среди камней. Спускаемся в подземелье. Он идет впереди, освещая дорогу карманным фонариком. Мы движемся по подвалу, оплетенному змеями труб. Сзади слышится окающий шепот ефрейтора Тихомолова:

— Повар наш остатки ротного харча цивильным немцам раздает. Прикормил их, как воробьев, вот и являются эсен себе получать. Много их тут... Под развалинами, как кроты, живут. С детишками, которые есть... Ну вот, подполковник, мы и дошли.

В маленькой каморке, служившей, должно быть, жилищем истопника,— КП наступающего батальона. Капитан — такой молодой, с такими детски ясными глазами, что его маленькие усики кажутся приклеенными,— поднявшись из роскошного вольтеровского кресла, устало сообщает, что командир вчера ранен, а он, начальник штаба, исполняет его обязанности. Но речь заходит о военных делах, и капитан сразу оживляется. Их батальон действительно глубже других в этом секторе прорвался к центру Берлина. Но на перекрестке этой проклятой штрассе напоролся на эсэсовскую засаду и вот уже вторые сутки никак не может пробиться дальше. А артиллерии не дают и минометов нет, а со стрелковым оружием, даже с пулеметами, в этой каменоломне разве чего завоюешь? Ему велено пока закрепиться и отбивать попытки противника прорваться из кольца на юг. Эх, ведь только подумать, бездействуем в такое время!

И хоть грудь капитана пестрит орденскими ленточками и нашивками за ранения, в голосе у него чуть не слезы. Но вдруг в серых глазах его загораются озорные огоньки. Не сидеть же сложа руки, как сосед справа. Нет, черт возьми, он решил наступать без артиллерии. Вот только сгустятся сумерки, он покажет этим паршивым эсэсовцам! Он уже сосредоточил на флангах все свои пулеметы...

— Хотите глянуть на берлинскую передовую? Никаких биноклей, все видно простым глазом. В этом доме мы, дальше эта самая штрассе — довольно широкая, а за ней насыпь дороги — там эти эсэсманы и окопались. Здорово воюют, черти! — капитан подкручивает вверх тонкие усики.

Мы выходим из каморки. Стены подвала гудят от близкой и далекой канонады, но своды его крепки. В конце подвала видна ярко освещенная солнцем позиция. Частые пулеметные гнезда, удобно выложенные из кирпича, фигуры автоматчиков, распластавшихся за камнями. Потолок подвала здесь обрушен, люди находятся как бы в широкой кирпичной траншее. В правом углу этой траншеи толпятся солдаты. Они к чему-то прислушиваются, и на их лицах застыло выражение тревоги. Среди них и оба моих спутника выделяются праздничной формой и ослепительно сверкающими регалиями среди запыленных и закоптелых людей.

— Что за митинг? — спрашивает капитан, старающийся придать голосу командирскую суровость.

— Ребенок там,— поясняет кто-то, неопределенно махнув рукой за стену укреплений.— Чу!

— Ребенок? Не может быть. Откуда?

— Разрешите доложить, товарищ капитан? — вытягиваясь, шагает вперед ефрейтор Тихомолов.— Обстановка следующая. Вон там среди улицы нужник, там какая-то фрау с киндом в нем от перестрелки пряталась. Нужник здоровый, кирпичный, но снаряд в него угодил. Фрау ту, видать, убило — вон она среди кирпичей лежит, отсюда видно, только не высовывайтесь, там у них снайпер есть... Фрау-то убило, а маленький жив — копошится возле нее, плачет. Когда стихнет, отсюда хорошо слыхать.

Сквозь гул и грохот уличных боев действительно порой доносился детский плач. Среди черных дымящихся развалин, сотрясаемых взрывами и выстрелами, этот нежный тонкий захлебывающийся плач был самым страшным звуком, от которого мороз подирал по коже.

— Да, штука,— озадаченно отозвался капитан.— Ишь, надрывается... А спасти нельзя?

— Трудно, товарищ капитан,— говорит рассудительный Тихомолов.— Он тут со своей насыпи каждый камень на прицеле держит. Ребята для пробы пилотку на прикладе чуть-чуть из окопа высунули. В двух местах ее пропорол, и приклад — в щепки. Видать, снайпер, классный бьет.

Плач доносился из самой середины «ничейной» развалины уличного туалета — беспомощный, безутешный, захлебывающийся. Этот нежный сиротливый звук, кажется, не могла заглушить никакая канонада.

Когда плач стихал, на лицах солдат появлялось выражение тоскливой безнадежности, когда возобновлялся, все облегченно вздыхали.

— Эх, была не была! — сказал вдруг Тихомолов, решительно насунув на уши пилотку, шагнул к брустверу.

— Куда? У тебя у самого трое! — остановил его сержант Лукьянович.

И, оттолкнув Тихомолова, вдруг сам метнулся к стене. И, прежде чем кто-нибудь успел его остановить, перемахнул через бруствер. Скрылся за ним. Тихомолов остановился с таким видом, словно кто-то ударил его по голове. С немецкой позиции в железнодорожной дамбе всполошенно хлестнуло несколько автоматных очередей. Послышалась торопливая скороговорка пулемета.

— По нему бьют, негодяи,— прошептал капитан, бледнея.— Связной, пулеметчикам — огонь по их амбразурам!..

Капитан сорвал фуражку и осторожно, бочком выглянул из-за камня:

— Ползет как ящерица, даже отсюда не видно. Ага, молодец, уже близко! Связной, пулеметчикам открыть ураганный!

Теперь вся позиция точно тряслась в нервной дрожи пулеметных очередей. Пули цвикали и с острым визгом рикошетили среди развалин.

— Дополз! — торжествующе вскрикнула девушка-санинструктор, прибежавшая на звук перестрелки.

Сержант добрался до развалин туалета. Под прикрытием их он был в безопасности.

— Смелый, черт,— сказал пожилой солдат и, вероятно машинально, перекрестился.

Все облегченно вздохнули. Пулеметы смолкли и с той и с другой стороны. Настала тишина, нарушаемая лишь звуками далекой канонады, и в тишине этой отчетливо слышалось, как детский плач начал постепенно переходить на всхлипы и как успокаивающе что-то бубнил мужской голос.

— Живы,— тяжело дыша, точно после быстрого бега, сказал Тихомолов.— До темноты пересидит там, выручим.

Все бойцы скопились у выхода из подвала. Подходили отдыхавшие, застегивая на ходу гимнастерки, проверяя затворы автоматов, узнавали, в чем дело, и вытягивали

шел, прислушиваясь к звукам, несшимся с «ничейной» развалины. Все молчали, и только сестра, нервно теребя свою сумку, завороженно шептала:

— Только б уцелел, только б уцелел!

Вдруг снова с насыпи рванули пулеметы.

— Ребята, вылез,—крикнул откуда-то сверху наблюдатель,— несет маленького... Эй, да ложись ты, ложись, чертушка!

— Кабы один, а то с ребенком. Ох, подшибут...

Но, к общему удивлению, пулеметы на той стороне улицы смолкли.

— Что это они? — сказал кто-то удивленно.

— Чай, ихний ребенок-то, немецкий.

— Будут они, эти эсэсы, ребенка жалеть! Как же.

Сержант медленно полз, и наблюдатели сообщали:

— За глыбу засел, ребенка качает... Опять пошел, не терпится ему, посидел бы до темноты.

Опытным глазом бывалого воина сержант, должно быть, рассчитал, что под прикрытием невысокой пологой кирпичной груды, возвышавшейся среди широкой улицы, у самой земли должна быть мертвая зона, недоступная неприятельскому огню. Ползя туда, он удачно использовал ее. Но для этого он пластался по самой земле, двигался, работая локтями, извиваясь, как гусеница. Теперь он был не один. Живая ноша не давала прижаться к земле. Полз боком, левой рукой прижимая к груди ребенка. Двигался он медленно и был, несомненно, виден неприятельским пулеметчикам. Но пулеметы молчали.

За ним следили с таким напряжением, что, казалось, сквозь шум перестрелки каждый слышал, как бьется его сердце. Вот он подполз к брустверу. Теперь хорошо видно и его вспотевшее, мертвенно-бледное лицо и ребенок, которого он прижимает к себе,— это девочка лет двух-трех... Дополз. У самого бруствера траншеи готовы принять его и его ношу. И вдруг с той стороны выстрел. Один-единственный выстрел. Сержант, точно натолкнувшись на невидимую преграду, замер.

— Убили!— вскрикнула девушка-санинструктор и, бросившись к стене, стала неумело карабкаться на нее, цепляясь ногтями за камни.

— Не высовываться! — рявкнул капитан.— Связной, пулеметчикам — усилить огонь по амбразурам... Командирам рот готовиться к атаке!

Неожиданно высокая фигура поднялась над кирпичным бруствером, и в следующее мгновение сержант тяжело съехал в подвал. Минуту он стоял, покачиваясь и хрипло дыша. Он был зеленовато-бледен, в горле у него булькало и клокотало. Казалось, хочет и не может что-то сказать. У него на руке, прижимаясь головой к орденам и медалям, лежала белокурая худенькая девочка с испуганными глазенками линялой небесной голубизны. Черное пятно медленно расплывалось по парадной гимнастерке сержанта.

— Ранен я... Ребят, примите девчонку,— чуть слышно произнес он наконец и, когда к ребенку протянулись солдатские руки, стал тихо оседать по стене.

А пулеметная дробь, достигнув наивысшего напряжения, сливалась в сплошной рев. Издали донесся хриплый голос:

— Рота, в атаку!

Где-то совсем рядом молодой голос пропел:

— Первый взвод, за мной!

Солдаты карабкались через бруствер, припадая к земле, бежали, ползли по руинам. Иных пули уже пригвоздили к земле, иные залегли, но несколько ловких серых фигурок, перебежав улицу, уже были на железнодорожной насыпи, на той стороне Эйзенштрассе, возле немецких амбразур. Гремели взрывы гранат. От кислой пороховой гари саднило в горле.

— Пустите, пустите, и я... и я пойду...—раненый, должно быть, находясь в забытьи, рвался из рук сестры, царапал бетон каблуками сапог, не находя опоры в ослабевших ногах.—Пустите, слышите, пустите! — жилистая загорелая рука его шарила кругом по полу, ища, должно быть, автомат...

А рядом, за спиной девушки-санинструктора, стояла белокурая девочка с распухшим заплаканным личиком, сосала кем-то сунутый ей второпях пыльный кусок сахара и удивленными, непонимающими глазами смотрела на высокого человека с яркими, красивыми медалями, который почему-то вдруг разучился ходить и беспомощно, как совсем маленький, рвался из рук круглолицей тети в смешном белом платье.

1945—1948

САПЕР НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ

Пускали третью турбину гидроэлектростанции Кегум на широкой, раздольной реке Даугаве, катившей свои воды в низких травянистых берегах через поля и леса Латвии. Для маленькой молодой Советской Республики завершение этой стройки было настоящим народным торжеством. Города и села прислали на него свои делегации. Съехалось республиканское начальство. Наступало самое торжественное мгновение. Инженер-латыш, высокий, костистый, с белесой головой и умным грубоватым крестьянским лицом, положил руку на рубильник, чтобы включить ток новой турбины в сеть. Огромным светлым залом овладела тишина, нарушаемая лишь напряженным пением машин и сухим тиканьем стенных часов.

В этот момент мне бросилось вдруг в глаза чье-то будничное, озабоченное лицо, показавшееся почему-то очень знакомым.

Невысокий человек в военной гимнастерке без погон, в стареньких армейских шароварах, заправленных в поношенные, но до блеска начищенные кирзовые сапоги, стоял поодаль от гостей и хозяев и, не то машинально, не то чтобы скрыть волнение, рукой обтирал и без того сияющий кожух новой машины.

Ну да, я где-то уже видел это сухое, угловатое лицо, некрасивое, но и не обыденное, изборожденное глубокими морщинами. Знакомо было не столько лицо, сколько руки этого человека, небольшие, но сильные, с короткими подвижными пальцами, уверенные, искусные рабочие руки, вот и теперь, в момент наивысшего торжества строителей, что-то шарившие по блестящему металлическому кожуху. Где мы с ним встречались?

На аккуратно выглаженной гимнастерке среди других наград — ленточки двух орденов Славы. Значит, воевал солдатом. Черно-изумрудная ленточка за взятие Кенигсберга указывала, что воевал он в этих местах, стало быть, на Прибалтийском, а до этого, возможно, на Калининском фронте. Видимо, там и встречались. Но когда, где? С тех пор прошло уж немало лет.

Из-под кустистых русых бровей узенькие серые глаза его смотрели умно и остро. И эти глаза, их зоркий взгляд, тоже были знакомы.

Я тихонько спросил у одного из строителей:

— Кто это?

Тот удивленно оглянулся:

— Не знаете? Это ж и есть Николай Харитонов, наш знатный человек, один из лучших бригадиров.

Николай Харитонов! И сразу вспомнилось тяжелое лето 1942 года. Проливные дожди, сковавшие на дорогах технику. Трудное наступление на Ржев. Упорные бои на окраине в военном городке, в массивных каменных домах поселка, которые противник превратил в настоящую крепость. Вспомнилось, что четыре таких дома, лежащие параллельными прямоугольниками по одну сторону шоссе, мы звали «полковник», потому что на плане напоминали они четыре «шпалы» полковничьих петлиц тех дней, а три дома по другую сторону шоссе по той же причине звали «подполковник». «Полковник» был тогда у немцев, «подполковник» — у нас. И тут, на маленьком пространстве, на одной-единственной короткой улице шли кровопролитнейшие бои большого напряжения.

Дрались не только за каждый дом или каждый блок — за каждую комнату в квартире, за каждую лестничную площадку. И в сводках из дивизии в штаб армии так и писали дневные итоги: «В результате ожесточенного боя на северном участке авиагородка заняты квартиры два и три в первом блоке, первой «шпалы полковника».

Вот в эти-то дни и прошла по всему Калининскому фронту слава сапера Николая Харитонова.

Говорили о нем всякие чудеса. В первый же день моего появления в авиагородке мне рассказали, что он ночью с толовыми шашками, надев валенки, чтобы бесшумно ступать, тихий, как привидение, перебирался через дорогу из «подполковника» к «полковнику», так же бесшумно закладывал в каком-нибудь уголке кишевшего немцами дома сильный фугас, зажигал шнур и исчезал, точно таял в ночи. А потом, через положенное время, раздавался взрыв, пехотинцы бросались вперед, в пролом и, пока еще не осели облака дыма, пыли и штукатурки, пока оглушенные враги не пришли еще в себя, занимали несколько комнат или квартиру.

Так, расчищая фугасами путь пехоте, Николай Харитонов искусной рукой делал то, что на этом участке оказалось не под силу ни авиации, ни артиллерийским батареям. Тогда-то в подвале одной из «шпал подполков-

ника» и увидел я впервые этого человека с некрасивым умным лицом и рабочими руками.

Саперы спали, сломленные усталостью, скованные тяжелым окопным сном. Из всех углов подвала несся разноголосый храп, наполнявший густыми звуками помещение. Воздух был такой, что пламя беспокойно дергалось и чадило на фитиле коптюшки, готовое вот-вот задохнуться и погаснуть.

У самой лампочки сидел невысокий худой солдат и что-то старательно выстругивал из чурки самодельным и, очевидно, очень острым ножом. К предложению написать о нем в «Правду» он отнесся несколько недоверчиво и рассказывать о себе вежливо отказался.

— Что обо мне писать,— сказал он, с поразительной ловкостью орудуя ножом, под которым дерево подавалось покорно, с мягким хрустом, точно это была не твердая слоистая ель, а тугая репа, только что вырванная с грядки.— Писать обо мне нечего, наше дело кротовое, земляное, бесшумное. Вот вы лучше о нашем снайпере Солодкове напишите, он, говорят, тридцать два фашиста срезал. Можно сказать, в одиночку — целый взвод. Вот это да. Иль о разведчике Бахареве. Тоже силен солдат. О нем вон в нашей дивизионной много интересного сообщают. А я что, я, может, за всю войну и двух обойм не расстрелял. Что ж обо мне писать?

И он оторвался от работы, довольным, прищуренным взглядом мастера посмотрел на чурку, из которой уже начинали вырисовываться контуры продолговатой деревянной ложки.

Так он о себе тогда ничего и не сказал. Зато товарищи его по роте рассказывали о нем охотно и много, и из этих рассказов возник тогда передо мной портрет Николая Харитонова.

Руки его всегда находили себе дело. Сидя у костра, на котором варилась каша, или слушая, как политбеседчик ефрейтор Капустин читал по вечерам вслух газету, Николай Харитонов всегда с чем-нибудь возился. То шинель зашивал редким солдатским стежком, то тихонько точил топор о гладкий, подобранный у дороги голыш, а то просто строгал большим самодельным складным ножом какую-нибудь чурку. И, глядишь, каша еще не поспела, ефрейтор Капустин еще до международного положения не добрался, а у него уж получилась из чурки весьма удобная деревянная ложка, мундштук, трубка,

крышка к коптилке или какой-нибудь другой предмет, полезный в окопной жизни.

Много таких предметов, выстроганных старшим сержантом Николаем Харитоновым, гуляло по рукам бойцов в роте саперов, которой командовал тогда, как сейчас помню, капитан Грушин. И слыл сержант среди товарищей мастером на все руки, хладнокровным, расчетливым, отважным и умелым человеком. Ему капитан всегда поручал самые сложные задания, и Харитонов выполнял их сноровисто, аккуратно и всегда очень удачно.

Он был молчалив. Иной день бойцы не слышали от него и десяти слов, но в роте то и дело повторяли: вот Харитонов об этом то-то и то-то говорил, старший сержант наш советовал так-то и так-то сделать. И жизнь у него была такая же, простая, скромная и хорошая, как и он сам. Сын вятского печника, он с детства вместе с отцом бродил по стране и клал в деревнях немудрые русские печи. Он любил это дело и достиг в нем немалого совершенства. Но когда начали строиться первые индустриальные гиганты, он вернул отцу инструмент, простился с ним и остался на Днепрострое. Своими масштабами Днепрострой захватил его воображение.

Сначала он был тачечником, потом землекопом, потом бетонщиком, а к концу стройки уже бригадиром арматурщиков. Ему, как человеку умелому, искусному, предлагали остаться эксплуатационником на электростанции, но он отказался. Его увлекал самый процесс строительства, и до самой войны он возводил на Днепре большие и малые заводы — отпрыски Днепростроя.

В каменных работах достиг он большого умения и был награжден медалью «За трудовую доблесть».

В первые дни войны Харитонов строил на подступах к Днепру бетонные укрепления. Строитель стал солдатом-сапером. Человек, с увлечением воздвигавший из кирпича и бетона величественные громады на пользу людям, шел в последних рядах отступавших войск, взрывая за ними мосты, водокачки, электростанции, портя и минируя дороги.

Страшную для рабочего человека разрушительную работу сапер Харитонов делал с молчаливым ожесточением. И с каждым новым взорванным сооружением сердце его тяжелело, наливаясь ненавистью к тем, кто вынудил его уничтожать изделия ума и рук человеческих, кто заставил строителя, поднявшегося на вершину тру-

довой славы, стать разрушителем им самим построенного.

Может быть, действительно за всю войну не расстрелял Харитонов и двух обойм, но ущерб, который нанесла врагу неукротимая ненависть этого замкнутого, молчаливого человека, можно было сравнить с работой артиллерийской батареи.

Главным оружием его на войне были смекалка, хитрость и хладнокровное мастерство. Друзья его рассказывали, как в первую зиму войны группу саперов направили во вражеский тыл минировать дорогу, по которой немецкие подкрепления шли и ехали к месту боя. Метельной ночью саперы проползли по руслу ручья, по снегу, несколько километров таща на лямках лотки с толом. Ожидая прорыва, немцы в шахматном порядке заминировали дорогу, отметив для себя минированные места табличками — вешками.

Саперы подползли к этой дороге. Скованный морозом снег звенел. Он был так гладко, так твердо укатан, что каждая свежая царапина, а не то что вновь заложенная мина, была бы на нем заметна. Как быть? Пока товарищи раздумывали, Николай Харитонов закатал рукава маскировочного халата, мягко ступая в валенках, вышел на дорогу и начал тоже в шахматном, но в обратном порядке переставлять немецкие таблички, тщательно затирая потом старые ямки от колышков.

На рассвете, уже сидя у своих в блиндаже боевого охранения за кружкой горячего чая, так как хмельного и на войне Харитонов в рот не брал, он криво улыбался, слушая отдаленные глухие взрывы, доносившиеся с немецкой стороны. Какой-то вражеский транспорт запутался в собственных ловушках, и машины рвались на своих же минах.

В другой раз ночью перед штурмом города Калинина, уже обложенного с трех сторон частями Красной Армии, Харитонова послали резать проволоку стационарных вражеских укреплений. Капитан предупредил, что местность перед проволокой густо заминирована по какому-то новому, еще не разгаданному способу и что несколько саперов из соседнего батальона погибло на непонятных ловушках.

Харитонов взял кусачки и пополз по следу одного из подорвавшихся. Он подобрался к проволоке и, прежде чем приступить к работе, долго осматривал место гибели

товарища. Пятна черной гари явно обозначались под самой проволокой. Значит, секрет был связан с ней. Харитонов пополз вдоль проволоки и вдруг заметил, что у кольев от проволоки вниз идут неприметные, прозрачные, присыпанные снегом ниточки. Сапер подполз к одной из них, тихонько отгреб кругом нее снег, а потом стал плавить его своим дыханием, не трогая, не колебля ниточки.

Он знал, что эта нитка протянута к смерти. Он почти касался ее губами. Когда в снегу начала оттаивать воронка, он увидел, что на дне ее вырисовывается круглый металлический цилиндр. Хитрость была разгадана. Малейшее колебание проволоки ниточки передавали на чуткий взрыватель, и мина огромной силы, уничтожая неосторожного сапера и одновременно сметая все следы, которые могли бы привести к разгадке секрета, сигнализировала на передовые, что кто-то появился у укреплений.

Поняв, в чем дело, Харитонов сбросил полушубок и, отдавая себе ясный отчет в том, что может взлететь на воздух, стал осторожно действовать.

Капитан Грушин, сидя в передовой траншее, отсчитывал тягучие секунды и нетерпеливо поглядывал в темноту, туда, где исчез солдат. Давно прошел положенный час, а Харитонов не возвращался. Но взрыва не было слышно. Значит, он жив. И капитан, ежась от холода, продолжал смотреть на часы. Наконец, уже перед рассветом, когда холодная мгла стала рассеиваться и сереть, послышалось тяжелое дыхание и захрустел снег.

Через снежный бруствер в траншею свалился Харитонов, весь исцарапанный, измученный, криво улыбающийся синим, окоченевшим ртом. Клацая зубами от холода, он доложил, что ходы прорезаны, и достал из кармана металлический цилиндр, похожий на коробку из-под кофе.

— Вот она. Надобно ребятам показать, двадцать восемь таких штуковин с проволоки срезал. Хитрая работа, чуть проволоку колыхнешь — будь здоров.— Он небрежно бросил на снег разряженную, уже безвредную мину. Потом вытянулся и доложил: — Проходы прорезаны и обвешаны сосновыми лапками, товарищ капитан.

Потом, в свободный час, Харитонов долго корпел над принесенной миной. Он изучил ее механику и, разобрав ее на части, показал товарищам нехитрый, в конце кон-

цов, секрет немецкой новинки. Он научил их отыскивать соединительные нити и показал как, оттянув нити вниз, ослабив их напряжение, чтобы не «беспокоить мину», можно безопасно разряжать «секретки» простым ножом.

Особенно пригодились способности Харитонова в дни весеннего наступления по тыльным дорогам и хлябям Калининщины. Отходя и все время стараясь вывести свои войска из-под удара авангардов наступающей Красной Армии, немцы двинули в дело всю свою весьма обширную технику минирования. Они усеивали «сюрпризами» дороги, тропинки, пороги изб, двери блиндажей, брошенные машины, орудия, продукты на оставленных складах, даже могильные кресты, даже трупы своих солдат.

Харитонов во главе саперов-разведчиков шел впереди одного из наступавших батальонов, обшаривая дороги миноискателями, зондируя их щупами и кошками, зорким глазом осматривая каждый предмет, лежавший на пути.

Молчаливый, сосредоточенный, он, не говоря ни слова, показывал товарищам на ящик с банками консервированного молока, перевязанными безобидной на вид бечевкой, протянутой, как он сказал, «прямо к смерти», на лежащие у порога блиндажа новые солдатские сапоги, в одном из которых таилась мина с чутким взрывателем.

Раз даже показал в отбитом городе на валявшийся в грязи полураскрытый томик пушкинских стихов, корешок которого был хитро присоединен к зарытому в землю фугасу.

— Ишь, что подкинули, подлецы: знают, что книгу любим. Да врешь, нас не перехитришь, ученые,— сказал он. На глазах у шарахнувшихся по сторонам товарищей он лезвием безопасной бритвы перерезал нитку, соединяющую книжку со взрывателем, потом бережно отер рукавом грязь, приставшую к страницам, положил книжку в сумку противогаза и принялся не торопясь извлекать зарытую мину.

Уже под самым Ржевом совершил Николай Харитонов подвиг, утвердивший за ним славу не только в полку, но и в дивизии.

Тяжелый танк, ища брод через ручей, набрел гусеницей на заложенную в снег мощную противотанковую мину-тарелку. Он был остановлен регулировщиками, но поздно. Однако, по счастливой случайности, мина попала

между шпор траков. Ее зажало недостаточно сильно, и она не взорвалась. Каждое новое движение танка, малейшее шевеление корпуса самой мины угрожало катастрофой. Вынуть же из-под гусениц мину, вмерзшую в слежавшийся весенний снег и землю, казалось невозможным.

Вот это-то дело и вызвался добровольно совершить Николай Харитонов. Он потребовал, чтобы все отошли подальше от танка, и начал действовать. Лег на землю, сбросил рукавицы и ногтями очень осторожно стал потихоньку выгребать из-под гусеницы крепкий снег. Пальцы его, чуткие и осторожные, как кошачья лапа, гибко скользили вокруг мины. Когда смерзшийся снег не поддавался, сапер наклонялся к самой мине и теплым дыханием размягчал его. Снег становился крупитчатым. Тогда Харитонов тихонько выскребывал щепотку, другую, третью и снова продолжал дышать. За час ему удавалось выбросить таким образом всего несколько оттаянных дыханием горстей снега и земли.

Был один из тех весенних остро морозных дней, какие вдруг выдаются в марте в лесистой части Калининской области. Дул крепкий сиверко. Шурша в вершинах сосен, он нес по полуобнаженным, пятнисто черневшим полям резкую крупку, набегающим валком сбрасывая ее под берег ручья, где Харитонов возился у танка.

Танковый экипаж, саперы и их командир, сидевшие поодаль у костров, измучились, ежесекундно ожидая рокового взрыва. Они промерзли до костей. Им было страшно даже думать, каково-то их товарищу лежать под метелью на ветру, щека в щеку со смертью.

— Харитонов, эй, командир приказывает погреться! Давай иди к костру!— кричали ему.

— Не могу, некогда! — неслось с ручья.

Харитонов действительно не чувствовал холода. Он сбросил и подложил под себя шинель, скинул ремень гимнастерки. И все же ему было жарко, он обливался потом. Промокшая гимнастерка сверху заиндевела, льнула к телу. Сердце билось, как будто он поднимал невероятную тяжесть, дыхание перехватывало, перед глазами плыли круги.

А он всего-навсего лежал ничком на земле и тихонько скреб ногтями. Пальцы сапера окостенели, их мучительно ломило. Когда руки совсем теряли чувствительность, он отогревал их под мышками, засовывая под рубаху, а по-

том опять окапывал снег у мины, кропотливо и упрямо. Так проработал он до сумерек. К ночи стало морознее, темное небо густо вызвездило, копать стало труднее.

Его товарищи не вытерпели. Нарушив уговор, они пришли к нему с котелком горячих щей, с флягой спирта, с куском заботливо отогретого на костре, пропахшего дымом хлеба.

Но он есть не стал. Он не мог есть. Кусок не шел в горло. Все его силы, все его внимание были сосредоточены на этом проклятом красном блине, теперь уже почти подкопанном, лежавшем на каких-то столбиках мерзлой земли. Он не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости. Он глотнул только спирту, не почувствовав даже его вкуса, закусил хлебом и сейчас же сердито отогнал всех от танка.

Дождавшись, пока товарищи отошли, он снова лег на шинель и приник к мине.

Он проработал так четырнадцать часов. Уже стихла метель, облака затянули небо, пропали звезды, и лес зашумел протяжно, добродушно, по-весеннему тревожно и звонко, когда у костра увидели, что из-под горы медленно, шатаясь из стороны в сторону, поднимается человек в наброшенной на плечи шинели.

Харитонов нес за ручку разряженную мину-тарелку, бросил ее у костра, хрипло сказал танкистам:

— Заводи, можно.

И тут же осел без чувств на руки товарищей...

Много интересных историй рассказывали о нем саперы, сидя вокруг коптюшки в подвале одного из домов «подполковника», под Ржевом. Сам же он во время этих рассказов сосредоточенно строгал, весь поглощенный работой, и, когда ложка была готова, обтер ее осколком стекла, пополировал о полу шинели, полюбовался и протянул мне:

— Возьмите на память. Пригодится... Все, что они тут рассказали, было, случалось. Всякий на свой манер воюет. Только чего об этом писать... Мне и самому-то надоело все взрывать, да разрушать, да уничтожать. По хорошей работе душа тоскует, руки чешутся. Верите ли, каждую ночь во сне то стену какую кладу, то бетон в формы заливаю, то арматуру вяжу. Поскорее бы уже весь фашизм рвануть к чертям да за настоящее дело взяться...

...И вот он стоит в этом просторном зале, полном солнечного света и тонкого пения работающих турбин, взволнованный, озабоченный, напряженный. Он прислушивается к ровному гудению новой машины, как мать к первому крику ребенка, и в его серых глазах, растроганно глядящих из-под русых кустистых бровей, большое, настоящее человеческое счастье.

В мгновение, когда запела последняя из трех вновь поставленных турбин на возрожденной из пепла станции, этот человек брал реванш за четыре года тягостной разрушительной работы, за тяжелые часы, что он пролежал рядом с миной у танка, за взрывы прекрасных жилых домов, именовавшихся на фронтовом жаргоне «шпалами полковника».

А сколько еще впереди работ для пытливого, неугомонного ума, для жилистых, умелых, не знающих устали рук, так стосковавшихся по настоящему делу!

1943—1947

III

ПРАКТИКАНТ

Дело было ночное, когда со всех объектов строительства в приземистое здание управления уже поступили сведения о сделанном за день. В этот час начальник стройки, известный инженер, собирал у себя руководителей районов и своих ближайших помощников, чтобы наметить и обсудить главные задачи завтрашнего дня. Эти короткие ночные совещания здесь назывались «заседаниями военного совета», и в шутливом названии этом была доля правды, ибо жизнь строительства в эти предвесенние дни напоминала картину наступления, и мирное трудовое это наступление, все нарастая и ширясь, велось день и ночь.

Так вот в этот поздний час мы попросили у начальника дать человека, который мог проводить нас на один из объектов, где утром ожидались важные производственные события. Начальник потер большой, рабочей рукой высокий лоб и сказал задумчиво:

— А знаете, придется, пожалуй, ехать без провожатого. Весь мой народ должен быть тут, на совещании. Впрочем, — и в его спокойных, стального цвета глазах вдруг мелькнула лукавинка,— впрочем, есть один человек... очень серьезный товарищ... только...

Он позвонил и сказал пожилой секретарше, возникшей в дверях:

— Пригласите ко мне практиканта. Если ушел, пошлите за ним машину.— И, обернувшись к нам, добавил:—Только уговор: вслух не удивляться и провожатого вашего вопросами о его личности не смущать. Я потом сам все объясню.

На лице инженера вернулось его обычное холодно-деловое выражение, но глаза его смеялись уже откровенно.

В это время дверь открылась, и из-за портьеры появилась щупленькая фигура подростка в ватнике. Слишком большой по размеру, ватник этот сидел на нем как водолазная рубаха, и рукава его были даже не загнуты, а закатаны. На вид вошедшему можно было дать лет четырнадцать, но лицо его, совсем еще детское, было необы-

чайно серьезно, и это взрослое выражение как-то особенно не вязалось с носом-пуговкой, густо наперченным крупными золотыми веснушками, с пушком на щеках.

— Вот, познакомьтесь, Константин Ермоленко, наш практикант. Костя, отведете товарищей на шестой объект. Все им покажите и расскажите.

Необыкновенный практикант кивнул головой. По-видимому, выполнять подобные поручения было ему не в диковинку. Мальчишеским жестом он поддернул брюки и при этом серьезно сказал:

— Хорошо. Попрошу за мной.

Проводник оказался бесценным спутником. Он всю дорогу рассказывал о строительстве; точнее, не рассказывал, а толково отвечал на вопросы, и ни один из этих вопросов не захватил его врасплох.

Строительство он знал отлично, и знал о нем именно то, что могло показаться интересным новичкам. Память у него была поразительная. Впрочем, относясь к своему делу ответственно, он не вполне доверял памяти и иногда лез в карман, извлекал замурзанную и потертую записную книжку и уточнял по ней названия или цифры.

Но особенно подкупало то, что он как бы сросся со стройкой — думал о ней как о чем-то своем, личном. На нас, людей, впервые попавших сюда, смотрел снисходительно и считал долгом все пояснять в популярных сравнениях.

Так мы узнали, что намывная плотина похожа на горный хребет, что машины бетонного завода переваривают в день больше, чем целый состав цемента, что если вытянуть в одну нитку всю металлическую арматуру, которую предстоит заложить в тело сооружений, то получилась бы стальная полоса, которой можно было бы опоясать земной шар.

На стройке его знали и, должно быть, любили. Кое-кто из встретившихся инженеров — правда, не без легкой усмешки — поздоровался с ним, а шофер тяжелого бетоновоза, перегонявшего нас, притормозил и, высунувшись из кабины, крикнул:

— Не на поселок ли, Константин Николаевич, путь держишь? Влезай в кабину, подкину до бетонных.

Когда же мы поднялись на гребень плотины и огни стройки засверкали внизу так густо, будто обильные осенние звезды, отраженные в черной воде, наш юный про-

водник стал просто поэтом. По каким-то одному ему видимым признакам угадывая сооружения, казалось бы, в беспорядочной россыпи огней, он говорил о них так, будто перед ним простиралось уже и неоглядное море, созданное руками человека, и огни маяков на концах волнорезов, и аванпорт, и убежища кораблей от бури, и сами корабли, поднимавшиеся и опускавшиеся в шлюзах, хотя там, куда он показывал, была изрытая степь, на которой копались экскаваторы.

Должно быть, его маленькое увлекающееся сердце так было полно всем этим, что он действительно видел во тьме все эти будущие сооружения, известные пока лишь по чертежам и эскизным проектам. Когда же он обо всем этом говорил, показывая то туда, то сюда тоненьким, мальчишеским, перепачканным чернилами пальцем, на его лице, испещренном комичными веснушками, сияла такая вера, что им можно было залюбоваться.

Помня обещание, мы не стали расспрашивать нашего провожатого ни о чем, лично его касающемся, хотя маленький энтузиаст все больше интересовал нас. Простившись, несколько чопорно, но искренне, мы поблагодарили его за содержательную беседу, за помощь и с нетерпением двинулись в кабинет начальника, окна которого все еще были освещены.

— Ну как? — спросил тот, поднимая от бумаг глаза.

— Замечательно!

— Я не об этом. Это само собой... А как наш практикант пояснил, показал?

— Ради бога, объясните, где вы откопали такого чудесного парнишку?

В усталых глазах строителя опять засверкали ласковые лукавинки.

— А хорош, правда? Ему сейчас пятнадцатый год. В его возрасте мы еще в бабки играли. А он — живая энциклопедия стройки. Все знает, всем интересуется, во все встревает.

— А почему его зовут «практикантом»?

Строитель некоторое время перебирал бумаги, потом отодвинул их, как бы решив, что трудовой день, затянувшийся чуть за полночь, все-таки закончен, и, откинувшись в кресле, не торопясь, со вкусом рассказал историю Константина Ермоленко, которого все на стройке, даже официальные люди, звали «практикантом».

История эта неожиданно оказалась совсем не замечательной. Много людей устремляется сейчас на стройки, что поднимаются в глуши, вдалеке от больших городов. Одних влечет желание положить свой кирпич в исторические сооружения, других — романтический пафос созидания; третьи считают, что на этих стройках они получат возможность лучше проявить свои способности; четвертых влекут новые профессии, гигантская техника; пятых — и такие есть — тянет к длинному рублю. Отделу кадров приходится ежедневно отвечать на сотни письменных предложений. Десятки специальных людей принимают заявления и оформляют на работу тех, кто приезжает, как тут говорят, «самотеком».

В этом самотеке прямо на место стройки прибыл и окончивший шестой класс Константин Ермоленко. Он решил тоже участвовать в строительстве и, заранее собравшись, в первый же день каникул сел на пароход. Нужно честно сказать: сел без билета и был с позором ссажен на ближайшей пристани. Но дорожные неприятности не охладили его пыла. Двигаясь где пешком, где на попутных грузовиках, где на грузовых катерах, он добрался до места работ, отыскал контору отдела кадров.

Ему отказали, резонно заявив, что мал. Мальчик пробился к начальнику отдела, показал ему передовую «Комсомольской правды», призывавшую молодежь идти на стройки. Даже передовая, смутившая юное сердце, не произвела впечатления на начальника кадров. Он был неумолим. Но и новый отказ не угомонил мальчика. Он проник в управление, в приемную самого начальника стройки.

— И вот секретарь докладывает: такой-то просит принять,— рассказывал начальник, и ласковое выражение его глаз контрастировало с усталым, неподвижным лицом и будничным, деловым тоном.— Отвечаю: «Вы же знаете, что я наймом на работу не занимаюсь».— «Очень вас прошу, примите». Надо вам сказать, что секретарь у меня — женщина строгая, отнюдь не сентиментальная. А тут даже голос просительно дрожит. Вижу: что-то сверх обычное. «Зовите». И является. Это он сейчас большой ватник носит, чтобы взрослее казаться, а тогда вошел совсем маленький парнишка. И заметьте, с достоинством вошел. И жалуется, что его не берут на работу. Говорю: «Правильно не берут! Опоздал родиться лет на пять». Подает газету, которая совсем у него уже

истрепалась. Вижу, тяга совершенно неистребимая. Фанатик какой-то. Убеждаю: «Не торопись, твое впереди, на твой век строек хватит, тебе учиться надо. Завтра у меня самолет в Ростов идет — вот домой тебя и отправлю... никогда не летал? Ну вот, полетаешь». Куда там полетаешь! Он вдруг заявляет: «Вы студентов на практику принимаете? Вот и меня возьмите практикантом на время каникул». Этим «практикантом» он меня и победил. Ну, думаю, была не была — в нарушение всех правил — возьму. И взял... курьером. А он, видите, как-то сам собой в порученцы выдвинулся. Светлая голова! А память какая!..

И когда уже совсем перед рассветом мы вышли из темного здания на пустые улицы нового, еще только прорезающегося в степи поселка, знаменитый строитель, жадно вдохнув свежий степной воздух, горько попахивающий полынью и чебрецом, сказал с мечтательной улыбкой:

— А каких они дел наворочают, такие-то вот, когда они вырастут и войдут в силу.

1951

КОНСУЛЬТАЦИЯ

— Если вы считаете, что нужно обязательно рассказывать об этом происшествии, так уж позвольте прежде всего пояснить вам, во-первых, кто такая Наташа, и, во-вторых, обрисовать обстановку, в которой все это произошло, хотя сам я, признаться, ничего особенного, заслуживающего внимания во всем этом и не вижу. Обычные, так сказать, текущие дела...

Николай Чумаченко, старший багермейстер, он же комсомольский группорг одного из лучших на стройке землесосных снарядов, демобилизованный артиллерист, еще не утративший своей гвардейской собранности, привычным жестом одернул аккуратную гимнастерку, на которой два ордена Славы соседствовали с Красной Звездой. Но закончить мысль ему не дали. В разговор стремительно ворвалась маленькая полная голубоглазая женщина с очаровательными ямочками на пухлых румяных щеках. Тряхнув россыпью кудряшек, она трагически всплеснула руками:

— Ой, как он тянет! «Во-первых, во-вторых!..» Ну чего тут пояснять? Наташа — дочь начальника их земснаряда. Ну да, того самого, о котором во всех газетах писали. Ей сейчас одиннадцать месяцев, а тогда, весной, было восемь. Она — одна из первых ребят, родившихся в нашем городе, и весь их экипаж, даже старый боцман Никитыч, который при женщинах не без причины лишается языка,—все они без памяти в нее влюблены. И потому, когда у Наташи вдруг случается поносик, весь земснаряд лихорадит...

Чумаченко старается сохранить свою собранность, но улыбка, помимо воли, появляется на его худощавом загорелом лице.

— Вы поглядите на нее: и это молодой советский специалист!.. Хорошо, что я никогда ничем не болею, а то лучше к бабке в станицу подался бы, чем идти к такому несерьезному врачу... Так вот о Наташе. Действительно, она дочь нашего начальника, и, действительно, она тогда заболела, и заболела серьезно. А дело было как раз весной, в разлив, в самую горячую пору, когда нам нужно было работать со всей отдачей. Начальник у нас — кремень. Я его в трудных переделках видел, у него даже голос не менялся, а тут и наш кремень подаваться начал. Никому ничего не говорит — работает, но всем видно: что-то с ним стряслось. Худеет, глаза красные, как у кролика, и такой стал, точно все в нем до звона натянуто. Но о дочке никому ни слова. Все в себе носит. Попробовали было ребята разведать: что, мол, с вами? «Ничего,— отвечает,—со мной особого не происходит. Делайте свое дело, не отвлекайтесь по-пустому». Ершистый стал, холодом от него, как из погреба, несет. Ну, ребята видят, что его ни долотом, ни шилом не возьмешь, оставили в покое, тем более что на деле все это не отражается и судно наше по-прежнему среди других земснарядов впереди. Да и работы, по совести говоря, хватало. Решили мы к Первому мая против мощности снаряда, указанной в паспорте, в полтора раза больше песку насосать. Ну и рвали, как боцман наш говорит, «на всю кишку».

— Они из-за этих своих «деловых кубометров грунта» все на свете забывают! — вставила в разговор наша собеседница, метнув в сторону багермейстера иронический взгляд.

Должно быть, она попала в цель. Он виновато опустил глаза и сделал вид, что не расслышал.

— Ну, а я ведь не только багермейстер, а еще и комсогруппорг. Меня не только, как она выражается, «деловые кубометры», то есть выработка,— меня и души человеческие интересуют. Думаю, раз на работе у нас полный порядок, стало быть, что-нибудь дома неладно у нашего начальника. Нагрянул я к нему на квартиру вечером, в то время как он на вахте был, и сразу прояснил обстановку. Малышка при смерти, врачи руками разводят, мать с ног сбилась, а сам-то, как с вахты придет, так у ее кроватки до следующей смены всю ночь и дежурит. Испугался я. Вот товарищ врач верно сказал, мы эту Наташку все любим. Славная такая девчонка, сероглазая, рыженькая, прямо огонек. А тут лежит, не шелохнется, и на лице одни глаза видны, большущие, жалобные. Подумал я о начальнике нашем, и страшно мне стало. Такое горе, а он и виду не подает... Разве ж так можно? Ну, бегу в амбулаторию. Ночь, заперто. Впотьмах звонка не разглядел, давай в дверь бухать... Помните, товарищ доктор?

— Да, это не скоро забудешь. Я тогда дежурила: больных нет — прилегла и задремала немножко, вдруг грохот. Я подумала, не паводок ли перемычку прорвал. Нянечка бежит: «Лизавета Никитична, там псих какой-то ломится!» А он уж тут передо мной, этот псих, в натуральную величину. Но видели бы вы его тогда! Без шапки, в грязи, пот с лица течет. «Доктор, беда: Наташка умирает!» Кто такая Наташка, от чего умирает, не говорит. «Пошли!» — и все. «Куда идти? Погодите, машину вызову».— «Не пройдет туда машина: паводок, грязь по колено». А сам уж пальто на меня напяливает. И потом, представьте себе, километра два бежали по грязи. Калоши я почти сразу потеряла. Да что там калоши — тут и резиновые сапоги не помогли бы. А где уж выше колен было, он подхватывал меня на руки и нес — этакий медведище. В доме больной я появилась, будто меня из пульповода вытащили, а он даже опомниться не дал, ведет прямо к кроватке: «Вот Наташа!»

Если бы мне кто-нибудь в институте сказал, что придется так-то вот навещать пациентов, разве я поверила бы? А тут ничего: отдышалась, умылась, осмотрела больную. Диагноз мой с предыдущими заключениями точно совпал. Врачи делали что могли, но болезнь эта у таких малышей почти не излечивается. Девочка уже и не шевелится. Мать от горя окаменела, а он — я его тогда за отца

принимала — умоляет: «Доктор, сделайте чудо, спасите!» Я говорю: «Чудес не бывает». А он упрямо: «Если человек как следует захочет, будет чудо!»

И вы знаете, должно быть верно: все-таки чудеса случаются. Тут я вдруг вспомнила, что, когда стажировалась в институтской клинике, там много говорили о нашем профессоре, известном академике, заслуженном деятеле науки, разрабатывавшем тогда новый метод лечения этой страшной болезни. И вот, как только сей гражданин про чудо сказал, я ему и отвечаю: дескать, метод лечения разработан, но сейчас проверяется, и что, мол, сама я его в точности не знаю, а только слышала о нем. Так вы знаете, что он, вот этот самый гражданин, орденоносец, почтенный багермейстер, комсомольский групорг и прочее и прочее, сделал? Он схватил меня, врача, на руки и закружил по комнате...

Это в самом деле не походило на спокойного человека, но краска, густо пробрызнувшая сквозь матовый загар его лица, выдала, что все это, по-видимому, так и произошло.

— Да-да, завертел в присутствии матери и маленькой больной, что, согласитесь, было уж совершенно неуместно. И тут пошло все, как в чеховском рассказе «Лошадиная фамилия», с той только разницей, что речь шла не о дурацком флюсе идиота-барина, а о жизни этой малышки. Я вспоминала и точно не могла вспомнить, в чем же состоит этот метод. И чем старательнее я вспоминала, тем больше убеждалась, что очень важные детали я забыла, а может быть, даже как следует и не знала. И хотя никакой вины тут моей не было, мне становилось страшно, что из-за того, что я во время своей стажировки оказалась недостаточно любознательной, может погибнуть этот маленький человечек.

Однако воспоминаниям мы предавались недолго. Он вдруг закричал: «Не вспомните — наплевать! Важно, что советской медицине такое средство известно. Телефон клиники знаете?» Я обрадовалась: у себя в книжечке, расставаясь, я записала адреса подружек-однокурсниц — там, несомненно, был и нужный номер. Но что значил этот номер? Клиника была за тридевять земель, в Москве, а мы находились в степи. Была глухая ночь, и паводок отрезал нас даже от центрального поселка, где есть телеграф и междугородный телефон. Но его это уже не смущало. «Доктор,— говорит,— скорее в контору

гидромеханизации, там есть телефон! А остальное беру на себя». Страшно самоуверенный гражданин, не правда ли?

— Я не в себя, я в людей верю. Да и при чем тут самоуверенность? Я узнал номер клиники, телефон был поблизости, врач рядом, и неплохой, как потом выяснилось, врач, хотя, по совести говоря, ее носик и в особенности эти вот кудерьки тогда и не внушали мне большого доверия.

— Видимо, придется обзаводиться пенсне, чтобы производить солидное впечатление на таких вот, как у нас в амбулатории нянечка выражается, «запсихованных пациентов...». Словом, добрались мы до телефона. Сей гражданин снимает трубку, звонит на нашу междугородную. И этаким противным, сладчайшим голосом говорит: «Девушка, это я, Чумаченко, с комсомольского земснаряда. Слыхали о таком земснаряде? Здравствуйте». У них с телеграфом и междугородной дружба. К ним сейчас то и дело из Москвы, из редакций звонят: как дела? Какие новые рекорды поставили. Так что у телефонисток выгодные клиенты. Однако дать срочно Москву ему сначала отказали: по правилам, абонент должен зайти лично на переговорную, внести аванс, оформить заказ. Словом, понимаете, правила! А ну-ка зайди, когда паводок от междугородной вас отрезал! Но он не смущается. Вы, вероятно, слышали — отличный агитатор! И он им весьма выразительно разъяснил, что все советские законы и правила написаны, чтобы лучше и счастливей жилось людям, и что, раз речь идет о человеческой жизни, правила можно изменять. При этом он так описал больную малышку, что телефонные девицы расчувствовались и прослезились. Нарушить правила они, правда, не решились, но выход нашли: сложились и на свои деньги срочно вызвали Москву.

— Получил я Москву,— улыбаясь, говорит Чумаченко.— Нужный номер мне подсоединили. Ответил дежурный по клинике: что, мол, вам нужно? Я говорю: «Мне профессора такого-то, для консультации». А дежурный меня огорошивает: «Такой-то профессор сам лечится на курорте, в Сочи». У меня от досады даже в глазах позеленело. А она... Вы знаете, что сделал сидящий здесь врач? Она заплакала. А тут еще, как всегда водится с междугородной, на самом интересном месте переговоров шум, треск — и пока я тряс трубку да дул в нее, какой-то деревянный голос объявил: «Прекращайте разговор,

ваше время истекло». Я рассвирепел: «Как истекло? Как вы смеете прерывать! Речь о человеческой жизни идет! Со строительства говорю». И называю нашу стройку. И вы знаете, я такого эффекта и сам не ожидал. Тот же деревянный голос с Московской междугородной переспрашивает: «Ах, вот откуда... Минутку, соединяю». И опять у телефона клиника. Дежурный уже узнал меня. Правильно, говорит, такой метод существует, испытан, но сам он, дежурный, специалист по костному туберкулезу и подробностей лечения не знает, консультировать не может. Спрашиваю: «Какой адрес санатория, в котором находится профессор?» Дежурный даже зарычал от досады: «Вы с ума сошли! Старик второй год в отпуску не был!»

Тем временем я уже в уме проанализировал свой успех у междугородной девушки с деревянным голосом и понял, что название нашей стройки — слово магическое. Я и дежурному режу: «Как это вы нам адрес не скажете — это же знаете откуда говорят?» И сказал откуда. Он: «Неужели?» «А как же,— говорю,— именно оттуда... Мне,— говорю,— сейчас в окно шлюз самый знаменитый виден». Слышу, он торопливо шуршит бумагой. «Запишите,— говорит,— адрес: Сочи, санаторий «Приморье», палата три, номер телефона такой-то... и извините,— говорит,— я не знал, что так издалека».

— Наконец-то адрес у нас! Обрадовалась я страшно,— прерывает рассказ юный доктор и украдкой смахивает влагу со своих длинных ресниц.— Но тут новая беда: заказ кончился. Телефонистки на нашей переговорной, оказывается, уже все свои капиталы истратили, платить за разговор нечем. Этот гражданин умоляет: «Девушки, займите где-нибудь, пожалуйста! Завтра я всей вашей смене по флакону «Магнолии» вручу». Тут он, конечно, совершил страшную бестактность, и ему за эту «Магнолию» от них правильно попало. Но они все же куда-то там сбегали, денег заняли. Звонок... Сочи, санаторий «Приморье» на проводе. Он обрадовался да как рявкнет в трубку: «Говорит Стройка!»

— Ну, так-то я, положим, не сказал. Но верно, чтобы скорее их там расшевелить, говорю, мол, на проводе строительство. «Нам срочно,— говорю,— требуется к телефону отдыхающий у вас академик такой-то». Там старушка какая-то ласковая подошла. «Сейчас,— отвечает,— у нас ночь, академик спит, да и не академик он тут, а отдыхающий, беспокоить его нельзя. А для разговора от-

дыхающих по междугородному телефону существует один день в неделю, и именно воскресенье, и именно с шестнадцати до двадцати часов». Тут уж я действительно рассердился. «Что же,— говорю,— о помощи стройкам только на собраниях хорошие слова говорите, а как до дела дошло — по воскресеньям с шестнадцати до двадцати?» Слышу, обиделась старушка. «При чем,— говорит,— тут стройки и какое отношение они имеют к профессору-педиатру?» — «А как же,— говорю,— вы предполагаете, что у нас тут машины сами работают, без людей? Люди строят, а у людей дети, и дети эти могут опасно болеть, и вот одно такое дитё заболело. И может, пока мы с вами тут торгуемся, умирает. Понятно?» Чувствую, сдается старушка: «Не знаю уж, как быть, у нас очень строго». А я напираю: «А вы не раздумывайте — будите профессора, скажите: стройка, мол, на проводе, все сорок тысяч строителей на него в надежде. Пусть сам решит!» И что же вы думаете? Минуты не прошло, слышу сиплый бас: «Ну, кто там со стройки? Что случилось? Такой-то слушает».

Девушка-врач улыбнулась.

— Тут сей гражданин страшно струсил. Трубку мне передал. Ну, а я ничего, я, как могла, рассказала историю болезни, и — знаете, я этим очень горжусь — он похвалил меня за точность диагноза, за то, что мы именно к нему обратились, сказал, что нужно делать, продиктовал рецептуру. Обстоятельно, не торопясь говорил. Несколько раз нас пытались прервать, но на этот раз уже сам профессор употреблял магическое слово «Стройка» и разговор возобновлялся. Потом, под конец, поблагодарила я его за необыкновенную консультацию и стала просить прощения за то, что нарушила его отдых. А он вдруг как рассвирепеет: «Вам, коллега, стыдно так говорить! Вы что, забыли клятву Гиппократа? Обязательно звоните, если понадобится. Рад,— говорит,— хоть маленький камешек в вашу стройку положить». И потребовал, чтобы обязательно его известили о результатах лечения... А дальше? Что же, дальше было уже просто. У нас ведь тут отличная больница и аптека хорошая. Я по телефону заказала в аптеке все, что нужно, он вот через реку на челне между льдинами туда с рецептами перебрался... Самое удивительное было, что на все это дело ушло не больше двух часов. Под утро я уже сделала первую инъекцию, а после сей гражданин не очень вежливо,

слишком уж поспешно, проводил меня до амбулатории, а сам побежал — порадовать отца и принять вахту.

— Ну, и чем же все кончилось?

Молодые люди переглянулись. Врач опустила ресницы и покраснела, а багермейстер отвернулся к стене, почему-то особенно заинтересовавшись продолговатым подтеком на плохо высохшей штукатурке. Оба они не выдержали и засмеялись: она шумно, как смеются открытые, жизнерадостные люди, он — беззвучно, сдержанно.

— Чем кончилось? А кончилось тем, что Наташа выздоровела. Мы всем экипажем послали в Сочи телеграмму тому ученому: поздравили с победой его метода, поблагодарили за помощь строительству.

— А мы с ним недавно переехали в эту вот комнату,— покраснев, сказала собеседница.— Домик новенький. Половину занимает начальник земснаряда, а другую дали вот нам обоим.— И вдруг спросила: — Хотите посмотреть Наташку?

Врач на минуту исчезла, потом появилась с толстой девчушкой на руках. Та осмотрела всех серьезными круглыми глазами и вдруг потянулась пухлыми руками к орденам, сиявшим на гимнастерке Николая Чумаченко. Засмеявшись, она показала четыре больших зуба на верхней и два маленьких острых на нижней десне и энергично зачастила:

— Дя-дя, дя-дя!

— Узнала! — довольно улыбнулся багермейстер.

И тут же прибавил:

— Боцман наш, этакий презабавный старикан, который при женщинах теряет дар речи, называет ее свахой... Догадываетесь почему?

Молодые люди переглянулись, и я понял, что вот сейчас-то и было сказано самое главное из того, что им хотелось сказать и о чем они еще говорить стесняются.

1951

ИСТОРИЧЕСКИЕ ШУМЫ

Работники из группы кинохроники, шаг за шагом запечатлевавшие процесс рождения одной из величайших гидростанций современности, устроили для друзей прослушивание шумов, записанных на кинопленку.

На своеобразный этот вечер был приглашен и начальник центрального объекта, известный строитель, уже послуживший однажды прототипом героя одной из известнейших наших книг. Расположились в маленьком номере поселковой гостиницы и набились в него так, что повернуться негде. Только строителя, в знак особого к нему уважения, усадили в углу, у стола, в единственное имевшееся в комнате кресло. Для пущего эффекта выключили свет.

Аппарат заработал, и в душную комнату вдруг ворвались знакомые шумы, с которыми каждый из присутствующих уже успел сродниться. Я никогда не думал, что слепая звуковая запись может так выразительно воссоздавать целые картины. Звуки то сливались в общую гамму, то расчленялись на отдельные, отчетливо различимые голоса.

Паровая баба с напряженным стуком загоняет в землю стальной шпунт, и металл сердито стонет, неохотно подчиняясь ритмическим упрямым ударам... Тихо воют электромоторы шагающего экскаватора. Чувствуется, что гигант работает легко — лишь глухо взвякивают цепи ковша да грунт шлепает с высот в отвалы, напоминая фронтовикам тугой гром взрывающейся мины... Методично скрежещут шестерни машин земснаряда, слышатся отрывистые слова команды, глухой гул гигантской фрезы, доносящийся из-под воды, соленое словечко боцмана, сорвавшееся в сердцах. Даже можно различить, как мягко ахает, оседая, земля подмытых откосов... Неистово ревут моторы бульдозеров, скрипят о твердый грунт их всесокрушающие ножи.. Кряхтя, скрепер набирает в ковш землю... Тревожно и нетерпеливо крякают клаксоны бетоновозов. И, покрывая все эти звуки, отдаваясь эхом среди бетонных громад, обычный человеческий голос диспетчера передает по радио распоряжения, передвигая людей и отряды машин, и как бы дирижирует всей этой массой механических звуков.

— Нет, это здорово! Человек — творец, созидатель — господствует над всеми этими рычащими, кричащими, стучащими, скрежещущими стальными гигантами!— неожиданно срывается во тьме мальчишеский голос художника, которого в последние недели строители видели с папкой и с карандашами в самых неожиданных местах.

— Тише, не мешайте! — одергивают его.

Теперь идет пленка с записью шумов событий, происшедших за последнюю неделю,— шумов, которые уже отзвучали и больше не повторятся.

Вот спокойный голос начальника стройки произносит по радио:

— Приказываю очистить котлован. Мы приступаем к пропуску реки через плотину.

Легкое позвякивание талей мостового крана, скрип поднимаемых щитов, плеск воды, хлынувшей в нижний бьеф, сначала осторожный, как бы нащупывающий путь, а затем быстро крепнущий, перерастающий в рев. И, наконец, человеческое: взрыв радости, заглушающий рев воды, крики, аплодисменты, восторженный свист, которыми строители встречают первую волну, плеснувшую в гигантскую бетонную чашу.

И новая звуковая картина — перекрытие речного прорана, тот самый острый момент, когда человек-созидатель твердо говорит могучей реке: сойди со своего векового пути, сверни в сторону, подчинись моей воле, делай, что я прикажу!

Как хорошо запечатлены в звуке взволнованное слово начальника района, инженера-энтузиаста, о великом советском народе и Коммунистической партии, обращенное к строителям в эту историческую минуту, его приказ приступить к перекрытию реки, слитный рев бесконечной вереницы могучих машин, поднимающихся на деревянный помост с грузом бетонных монолитов в кузовах, и грохот каменных глыб, падающих в воду, напоминающий фронтовикам залп «катюш»!..

В абсолютной темноте звуки ярко рисуют бешеный рев потока, новые и новые залпы падающих монолитов, всплески воды, урчание теснимого потока, борьбу людей с разъяренной рекой. Вот силы воды иссякают, она затихает: тоньше, глуше звучит поток, и, наконец, уже еле-еле плещут струи реки, смирившейся и побежденной. И снова, теперь уже спокойно, устало, начальник района произносит:

— Поздравляю вас, товарищи! Вашими усилиями река перекрыта за восемь часов пятьдесят минут вместо тридцати пяти часов, заданных по плану...

Тут уж находящиеся в комнате как бы оживают, не в силах держать обещание хранить тишину. Раздаются аплодисменты. Голоса перебивают друг друга.

— Здорово!..

— Просто великолепно!..

— Ведь только подумать: все это уже история, все это уже не повторится!

— Нет, главное не в этом. Все это, конечно, повторится, и не раз, и в бо́льших масштабах. Главное в том, что советские люди в две тысячи таком-то году смогут услышать сегодняшнее дыхание стройки, которую они уже видят во всем великолепии, которая усердно работает на них.

— А что вы скажете? Как вам понравилось? — спрашивает женщина-режиссер строителя.

Строитель молчит.

— Ведь здорово... Правда, здорово?..

И тут кто-то включил свет, и мы увидели, что человек этот, который обычно всех поражал своим спокойствием, увековеченным даже в одном популярном романе, сидел, вцепившись руками в стол, взволнованный, потрясенный.

Когда засветилась лампа, он резко отвернулся к стене и загородил лицо рукой...

Надо же было так не вовремя зажечь свет...

1951

МАМОНТ

— Ручей этот по карте называется как-то иначе, но мы, кто на нем работал, называли его Змеиным. Очень уж змей там много было. Особенно вначале, когда первые земснаряды из реки в устье ручья вошли. Так и прижилось: Змеиный да Змеиный. Даже потом в сводках рапортуем, бывало, что, работая на Змеином ручье, перевыполнили план по деловой кубатуре на столько-то целых и столько-то десятых процента... Разве я опять повернулся? Прошу извинения, больше не буду.

У главного механика землесосного снаряда Алексея Измайлова на лице скука. Первый раз ему, человеку очень активному, приходится позировать перед художником. Он стоит у поручней на верхней палубе своего землеройного судна. На фоне крутого, все время осыпающегося и как бы подтаивающего берега четко вырисовываются его ястребиный профиль и морщины на высоком лбу. Большого синеватого шрама, перечеркнувшего

левую щеку, в таком положении не видно. Немолодое лицо механика точно окаменело.

Художник, рисующий его портрет, не в духе. Он работает больше резинкой, чем карандашом, а это уже первый признак, что он недоволен ни собой, ни натурой.

— Вы рассказывайте, рассказывайте, не обращайте на меня внимания. Забудьте обо мне. Меня тут нет. Только, ради бога, не вертитесь! — взывал он.

— Вы начали про мамонта,— напоминаю я.

— Да-да, только позвольте прежде уточнить обстановку. Это имеет прямое отношение ко всему происшедшему. Так вот, напоминаю. Работали мы в устье Змеиного ручья. Грунт отличный, песок, точно манная крупа,— как раз такой, какой на плотине нужен. Мы со своим судном зашли в забой со стороны реки, а экскаваторщики работали на том же ручье повыше, где было сухо и где им удобнее было грузить песок в самосвалы. Таковы данные обстановки.

Алексей Измайлов, демобилизованный лейтенант-танкист,— бывалый человек. С первых дней войны он был в боях, однажды горел в машине, был даже расстрелян фашистами, но не насмерть. Отлежавшись в яме среди трупов, он ночью выбрался, уполз, приютился у колхозников, вылечился, пробился через фронт, снова сел в танк и воевал уже до самой Эльбы. О военных днях напоминают не только его китель с аккуратно подшитым белым воротничком, многочисленные обметанные дырочки для орденов над карманом и этот синеватый шрам, изуродовавший его левую щеку, но особая, военная подтянутость и сама манера изъясняться.

— Разрешите продолжать? — обращается он к художнику.

— Да, да, ради бога, только не шевелитесь! — отвечает тот и сам прищуривается, как бы анатомируя лицо модели своими цепкими, живыми глазами.

— В предмайском соревновании мы обязались выдать на плотину сверх плана двадцать процентов грунта. Но паводок был очень уж высокий. Пришлось недели полторы постоять, и, чтобы перекрыть недоработку, решили мы на общем собрании от праздника отказаться и продолжать, как говорится, наступление по всему фронту. Жмем. Работа спорится. Партгрупорг намывщиков, с которыми мы соревнуемся, звонит с плотины: «Поздравляю с праздником. Давно так не подавали...» И вдруг,

в самый разгар работы, в машинном отделении раздается треск — и насос останавливается. Ясно, в машину попало с песком что-то большое. А это уж «ЧП», то есть чрезвычайное происшествие, и нам особенно обидно, потому что мы от праздника отказались. Отказались, и вот, пожалуйста,— вынужденный простой.

Мои механики отлично сработали. Разболтили кожух в одно мгновение. Плеснул я туда одно-другое ведро воды, песок смыл. Точно: две лопасти словно обрезаны. И торчит здоровенный камень. И откуда он взялся в этом грунте, где ему, согласно геологической науке, быть не положено, и как он через защитительную решетку проскочил, шут его знает! Что ж, думать об этом некогда. Лопасти мы сменили — я этим и сейчас горжусь — в сроки рекордные. Через два часа с минутами мы уже на плотину снова пульпу гнали прямо-таки ураганным огнем.

Но дело не в этом. Когда мы закончили ремонт и я направился к баку с водой, чтобы с устатку напиться, подходит ко мне начальник земснаряда и говорит: «А знаете, Измайлов, это ведь не камень нам бед-то натворил».— «Не камень? А что?» — «Это пока,— говорит,— точно сказать не могу, но вероятнее всего зуб какого-то доисторического животного. Судя по размерам, может быть, и мамонта». И показывает мне этот, с позволения сказать, «зубок», кило на четыре весом. Удивляться, конечно, было некогда, потому что меняли мы направление забоя, чтобы опять на какой-нибудь доисторический сюрприз не нарваться. Но когда смену сдали и пошли было домой, партгрупорг нас у сходен остановил. «Так,— говорит,— ребята, нельзя. Мамонты на колхозных фермах пока не разводятся. Это,— говорит,— штука редкая. Раз тут зуб отыскался, мы теперь перед наукой и за все остальное в ответе. К мамонту,— говорит,— мы должны подойти по-хозяйски. Надо тут кругом обшарить и выудить все, что сохранилось, потому что, как только сюда большая вода придет, мамонт этот для науки — прости-прощай...»

Воспоминания начинают увлекать самого рассказчика. Лицо его, еще недавно удручавшее художника неподвижностью и откровенной скукой, оживилось, в черных глазах зажглись веселые искорки. Он весь как-то сразу помолодел, и даже шрам стал менее заметен на порозовевшей щеке. Теперь художник уже совсем отбросил резинку. Его рука быстро-быстро бегает по бумаге, а гла-

за, то прищуриваясь, то широко открываясь, жадно изучают натуру.

— Так вот, сказал это наш партгрупорг и, понимая, что лучший способ агитации — личный пример, спустился в лодку и начал расстегивать комбинезон. А паводок еще не сошел, холодно. Разделся он, прыгнул в воду и пошел саженками мерить к берегу, где давеча был наш забой. Подплыл, нырнул, выскочил, опять нырнул. Ребята совсем было наладили домой, чтобы хоть конец праздника отгулять, а тут видят такое дело — и назад. Начинают раздеваться. Боцман на палубу выскочил, кричит, зачем всем сразу в воду лезть, зря зябнуть. Разделил людей на две группы: одним нырять, другим греться. Тем временем парторг из воды кричит: «Нащупал! Не то камень, не то кость!» Вытащили. Другой зуб.

Тут уж сам начальник не вытерпел. Он в войну на флоте служил, ловко ныряет. Короче говоря, пока одна смена работала, другая в воду ныряла. Все кругом обшарили. А потом механики мои специальные такие щупы соорудили. Мы ими все дно сантиметр за сантиметром прошли. И вы знаете, не зря! Много костей отыскали. А ночью, уже при прожекторе, вытащили бивень. Огромный, этакий загнутый. Лебедкой его на палубу подняли. А другой бивень, как ни шарили, не нашли. Решили, что мамонт наш забиякой при жизни был и один бивень потерял в схватке с противником в доисторические времена. Остатки черепа чуть пониже по ручью отыскали, это уж дней через пять. Кран подгонять пришлось. Словом, через недельку у нас тут на палубе целый музей из костей образовался...

Желая показать, где именно на палубе образовался музей, рассказчик повернулся и взмахнул рукой. Он нарушил свою позу и опасливо покосился на художника, но тот уже не сердился. Во рту он держал два карандаша. Третьим быстро-быстро рисовал и так был увлечен, что, не выпуская изо рта запасных карандашей, лишь глазами показывал Измайлову, чтобы тот занял прежнюю позицию.

Механик покорно встал на место и, стараясь не делать резких жестов, продолжал рассказ:

— Мы достали в библиотеке книжку о вымерших гигантах. Нашли рисунок скелета мамонта, попробовали по нему все эти кости разложить по порядку. Выяснили, что отыскали всего только остатки черепа да несколько

позвонков. А остальное, как ни старались, не нашли. Ну, думаем, и то ладно. Городской музей фашисты сожгли, и восстановленному музею будет недурной подарочек. Тут как раз приспело время за частями в город ехать. Снарядили машину. Кузов набили стружками, уложили все доисторические трофеи со Змеиного ручья. А меня ребята уполномочили, закончив в городе все дела, заехать в музей и все это сдать.

Дела я быстро отрегулировал. Качу к музею. Нашел заведующего, маленького, чистенького такого старичочка. Эх, думаю, держись, папаша, сейчас я тебя сражу! «Принимайте,— говорю,— останки вымершего гиганта-мамонта с приветом от строителей». И представьте себе, он ни чуточки не удивился. Только вскрикнул радостно: «Со Змеиного ручья?» — «Так точно,— говорю,— оттуда. А кто вам, позвольте узнать, доложил, что мы там между прочими делами и мамонтом немножко занимаемся?» Вместо ответа тянет он меня в какую-то комнату, и вижу я: лежат там на полу кости огромные. Больше наших. «Это,— говорит,— подарили экскаваторщики с четырехкубовых машин. А это,— говорит,— подарок от товарищей с малых шагающих». И спрашивает: «Ваш,— говорит,— забой, наверно, ниже по ручью, у самой реки был?» — «Точно,— отвечаю.— И это вам известно?» — «А вот,— говорит,— извольте взглянуть на схему. Мамонт этот, вероятнее всего, увяз в болоте при пойме, вот здесь. Видите, река раньше так текла, и наводнения разбросали части скелета по течению. Ну, а потом река ушла, осталась только старица, которую вы зовете Змеиным ручьем. А сейчас вот, работая в разных местах, вы и отыскали все эти кости». Видите, как это все, на поверку, повернулось! Оказывается, что не одни мы такие умные и за палеонтологию взялись, экскаваторщики тут нас даже опередили...

Ну, вот и вся история с нашим мамонтом со Змеиного ручья. Не знаю, почему уж она вас так заинтересовала... Да и что такое этот наш мамонт?! Вон на будущем дне будущего моря ученые вместе со строителями древний город Саркёл откопали. Чуть не через решета, говорят, песок просеивали, чтоб какая-нибудь старинная бляшка или бусинка не пропали. А мамонт — животина изрядная. Его найти не больно хитро, раз на след напал.

Рассказчик засмеялся, но вспомнил, что его рисуют, и опять покосился на художника. Тот уже сделал какой-

то последний штрих, прищурившись, полюбовался, поставил в углу листа свои инициалы, маленькую цифру «51», потом сорвал лист с папки, вскочил и молча протянул Алексею Измайлову.

С бумаги смотрело лицо рассказчика, запечатленное с большой точностью, но отнюдь не холодное и не неподвижное, каким оно было в течение всего нашего предшествовавшего знакомства, а живое, добродушное, каким мы видели его в конце рассказа о мамонте. По сравнению с оригиналом оно казалось слишком молодым.

— Сколько вам лет? — не удержавшись, спросил я.

— Двадцать девятый,— ответил Алексей Измайлов, криво улыбнувшись изуродованной щекой.— Не верите? Гляньте в партбилет. Старо выгляжу: ничего не поделаешь... война.

1952

ПОСЫЛКА С ОБЪЯВЛЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ

В этот день с самого утра начальник одного из строительных районов, инженер Илья Викторович Пастухов, то и дело поглядывал на часы. На главном объекте наступал самый ответственный период, и инженер, всегда гордившийся своей организованностью, вдруг начал ощущать, что сутки становятся коротковатыми и идут какими-то толчками.

Накануне, поздно вечером, прибыли из Ленинграда монтажники. Вручив Илье Викторовичу свои командировочные удостоверения, они не захотели ехать в Дом приезжих, где уже были приготовлены для них комнаты, и стали просить, чтобы их немедленно, сейчас же отвезли на строительство.

Признаться, и самому Илье Викторовичу не терпелось показать приезжим ленинградцам свой, как он любил говаривать, «объект», где им теперь предстояло установить и собрать машины, какие не доводилось еще монтировать ни одному механику в мире. Он сам вызвался сопровождать монтажников.

Осматривая бетонные махины, вырываемые из тьмы огнями прожекторов и оттого казавшиеся уже совершенно фантастическими, монтажники так увлеклись, что

вернулись, когда на востоке, над степью, уже разгоралась узкая оранжевая полоса.

Прощаясь с Ильей Викторовичем, старый — типичный ленинградец — немногословный и сдержанный, возглавлявший группу, задумчиво произнес, стряхивая с плаща цементную пыль:

— Читал, читал вашу статью! Интересная статья. Но должен вас огорчить, товарищ Пастухов: не нашлось у вас, голубчик, слов, чтобы передать все величие, всю грандиозность вот этого...— И он повел рукой в сторону стройки, уже четко вырисовывавшейся в розовых утренних лучах.

— Я, как вам известно, строитель, а не публицист,— суховато ответил Илья Викторович, который, как и все редко выступающие в печати люди, очень гордился этой своей статьей.

Уснуть начальнику района уже не пришлось. Подъезжая, как всегда, ровно в восемь к приземистому деревянному зданию управления, он мысленно распределил рабочий день так, чтобы выкроить время для послеобеденного сна. Вечером предстояло совместное совещание строителей и монтажников, и туда нужно было прийти со свежей головой.

Вот почему, предупредив по телефону жену, что он выезжает обедать, он с особой поспешностью спрятал в сейф бумаги и торопливо двинулся из кабинета, на ходу надевая плащ. Но тут его догнал начальник канцелярии. Протянув Илье Викторовичу какую-то бумажку, он сконфуженно заявил:

— Не выдают. Категорически не выдают. Говорят, не можем. Должен явиться лично сам посылкополучатель.

— Что за дурацкое слово? Какой посылкополучатель? — вспылил Илья Викторович.

Начальник канцелярии упрямо следовал за ним.

— Посылкополучатель — это в данном случае вы. А посылку мне не выдали, потому что она с объявленной ценностью. Видите: цена пятьсот рублей. Уговаривал, убеждал — ни в какую. Твердят одно: пусть явится сам посылкополучатель, имея при себе паспорт.

Только теперь Илья Викторович понял как следует, о чем ему говорят. Недели две назад в своей текущей, весьма обширной почте он обнаружил извещение о посылке. На штампе стояло: «Сочи». И сколько Илья Викторович и его жена ни раздумывали, они так и не смогли до-

гадаться, кто и по какому поводу мог прислать им посылку. Среди множества дел Илья Викторович забывал о ней, и дважды почта присылала напоминание. Вчера, после очередного извещения он поручил начальнику канцелярии выручить наконец злополучную посылку, и вот результат: нужно ехать самому. А времени до совещания осталось так мало!

С шумом захлопнув дверцу, Илья Викторович буркнул шоферу:

— Центральный поселок. К почте. Быстро!

Теперь он был уверен, что угадал тайну посылки. Наверно, кто-нибудь из сослуживцев по прежним стройкам, каких в послужном списке инженера Пастухова числилось немало, попал на курорт, вспомнил на досуге о совместной работе и решил порадовать старого товарища фруктами или бутылкой вина.

Но почему посылка оценена в такую большую сумму?

И хотя предполагаемый друг, очевидно, желал сделать ему, Илье Викторовичу, приятное, инженер неприязненно думал об этом чудаке, с нетерпением следя за тем, как минутная стрелка вращается на красном мерцающем циферблате... «Не нашел более подходящего времени для презентов!»

Несколько раз Илья Викторович порывался сказать шоферу: «Назад домой»,— но, вспомнив, что за двумя напоминаниями упрямая почта пришлет третье, пятое, мысленно махнул рукой.

В почтовом отделении, у окошка, где выдавали и принимали посылки, стояло человек десять. Некоторые поклонились Илье Викторовичу, а находившийся у самого окна экскаваторщик Иван Малыгин даже предложил ему уступить свое место. Инженер отказался. Он был щепетилен в таких вещах и сам всегда негодовал на тех, кто куда-нибудь лез без очереди.

Впрочем, теперь ему было все равно. Заснуть после обеда не удастся, а сердиться на человека, желавшего сделать приятное, глупо. Придя к такому глубокомысленному выводу, Илья Викторович сразу успокоился, принялся обдумывать предстоящее совещание и так увлекся, что прозвучавший из окошечка вопрос: «Чего же вы стоите? Давайте извещение и паспорт»,— застал его врасплох.

Посылка оказалась объемистой, тяжелой. Перевернув ее, Илья Викторович услышал, как внутри что-то

переместилось, но что именно — по звуку определить было невозможно. «Действительно, фрукты или вино. Не морские же камешки будут слать из Сочи в посылке с объявленной ценностью!»— подумал инженер.

Он прочел на полотне, в которое была обернута посылка, что отправил ее Лямин А. Ф., проживающий в санатории «Красный луч». Но кто этот Лямин и где он его встречал, Пастухов не мог вспомнить.

Когда, не раздеваясь, в плаще и шляпе, с громоздким ящиком в руках, Илья Викторович появился дома в столовой, жена ничего не сказала и только вздохнула, поглядев на укутанную шалью супницу, стоящую посреди стола. Инженер шумно поставил ящик рядом с супницей и произнес как можно беззаботнее:

— Принимай подарок из Сочи. Чувствую: фрукты и хорошее вино.

— Подарок? А от кого?

— Не знаю. Какой-то Лямин, А. Ф. Лямин. Не помнишь такого?

Жена не помнила. Пока инженер, вооружившись топором, возился у ящика, она стояла возле и, насупив брови, вопросительно повторяла: «Лямин? Лямин? Лямин?..» Нет, никакого Лямина она решительно не знает.

Заскрипели вырываемые гвозди. Крышка сорвана. В ящике, бережно выложенном газетной бумагой, лежат какие-то аккуратные мешочки. Илья Викторович взял тот, что побольше, распорол суровую нитку, которой мешочек был зашит, и на стол хлынул поток... желудей. Тяжелые, юркие, они раскатились по скатерти и упруго застучали по полу. Пораженный, стоял Илья Викторович над россыпью коричневых лакированных желудей, напоминавших большие янтарные бусы.

— Черт знает что! — сказал он наконец, сердито бросив мешок на пол.

Теперь ему казалось, что над ним неумно подшутили. И из-за этой шутки он потерял столько времени.

— Тут не только желуди, а и еще что-то,— задумчиво отозвалась жена, вынимая из ящика мешочки поменьше.

В них бережно были упакованы крылатые семена клена — те самые, из которых когда-то, учась еще в первом классе, Илья Викторович делал «носики». В других мешочках были будто полированные орехи каштанов, корич-

невые чечевичинки белой акации и еще какие-то, совсем уже неведомые инженеру-строителю, семена.

— Черт знает что такое! — повторил Илья Викторович.— Ничего не понимаю... Адресом, что ли, ошиблись?

Жена его, продолжая рыться в ящике, вдруг вскрикнула:

— Илюня, письмо!

Письмо было именно ему, Илье Викторовичу Пастухову, начальнику строительного района, лауреату Государственной премии. Адрес был очень тщательно выведен почерком, показавшимся Илье Викторовичу знакомым, потому что именно так старательно и ровно выводил буквы он сам, когда-то... очень давно. Еще не понимая, в чем дело, он вскрыл конверт, испытывая то грустно-радостное волнение, какое всегда чувствует пожилой человек, прикасаясь к миру своего детства.

На жесткой, тщательно разлинованной бумаге он прочел:

«*Уважаемый Илья Викторович Пастухов!*

Пишем коротко, так как знаем, что вы очень заняты у себя на строительстве и время вам дорого. Прочитав вслух на пионерском сборе вашу замечательную статью, мы решили вам написать. Ваша статья нам очень понравилась, потому что вы здорово описали, как растет ваша стройка и какие это все будут мощные сооружения, возводимые вами в степи, понравилось, как вы описали, какие огромные машины у вас там работают, и сколько людей они заменяют, и как они все хорошо и умно придуманы.

Вы написали в своей статье, что рабочие многих заводов помогают вам вести стройку и что весь народ участвует в ней. Мы долго бумали, чем мы можем помочь вам. И вот что придумали. Мы, пионеры, находящиеся здесь на излечении в детском санатории в Сочи, решили собрать в нашем парке семена красивых деревьев и кустов и послать их вам, чтобы вы их там посадили. Некоторые ребята и девочки у нас уже подлечились и ходят. Вот они и собрали все то, что мы посылаем. Наша помощь, конечно, маленькая, но нам очень хочется чем-нибудь участвовать в стройке, и мы будем очень рады, если из этих семян у вас вырастут красивые деревья и кусты. Передайте наш пионерский привет товарищам Виктору Мохову, Евгению Симаку, Марии Болдыревой, Зое Поля-

ковой и другим замечательным строителям, о которых вы написали в своей статье. Ваша статья нам очень понравилась, потому что мы точно сами побывали у вас на стройке.

Председатель совета отряда *А. Лямин*».

Потом шли еще подписи. Их было много. Они были столь же тщательно выведены, но Илья Викторович уже не смог их разобрать...

Долго, до самого совещания, сидел он с женой у стола с безнадежно остывшим обедом, перебирал семена, перечитывал письмо.

В управление он вернулся бодрый, жизнерадостный, будто выспался всласть за много бессонных ночей. Проходя мимо инженера-монтажника из Ленинграда, он озоровато толкнул его в плечо и, наклонившись к его уху, не без яда заметил:

— А насчет статьи-то моей вы ошибались... Есть и иные мнения. Совсем противоположные. Вот, извольте-ка прочитать письмецо.—И он протянул конверт, найденный в посылке.

Впрочем, послание пионеров прочел не только приезжий инженер. Илья Викторович любит показывать это письмо всем, кто приезжает к нему. Показал он письмо и мне и рассказал при этом всю изложенную здесь историю. Но взять письмо с собой не разрешил, а позволил только списать, после чего свернул его с величайшей тщательностью, вложил в изрядно уже истершийся конверт и запер в сейфе, где он хранит важные чертежи и особенно ценные документы.

1952

ЗАЙЧИК

Молодой городок строителей, просторный, с широкими, прямыми, освещенными улицами, со столичными автобусами, надменно проплывающими мимо маленьких веселых домиков, как-то вдруг оборвался у последнего чугунного светильника, и сразу открылась степь. В густой дымке закипающей метели она казалась первозданной, такой, какой, наверное, видели ее и скифы.

Не проехав и четверти часа, машина уткнулась в островерхий сугроб, брошенный ветром поперек дороги, и забуксовала. Сердито взвыл мотор. Пока шофер отвязывал лопату, которую он предусмотрительно возил с собой, приторочив к ручкам дверец, мы выбрались наружу. Во мгле сердито шелестел сухой, колючий снег. Несясь порывами, он яростно сек лицо, струился под ногами и так налетал на фары, будто старался их погасить. И все же, пробивая шевелящуюся кисею метели, снопы автомобильных огней освещали кусок дороги. Обрамленная расплывчатыми снежными валами, она была бела. Ветер заметал на ней одинокий человеческий след.

Спутник мой, инженер, весь как бы втянувшийся в полушубок, показал на этот заносимый метелью след и, ухмыльнувшись, вдруг запел слабеньким, но приятным баритонцем:

Степь да степь кругом.
Путь далек лежит.
В той степи глухой
умирал ямщик...

— Похоже, а? Свистит, крутит! Необузданная стихия... А ведь тут утром наша автоколонна прошла, машин пятьдесят, что со станции перегоняли.— Он приподнял рукав полушубка и глянул на часы.—А скоро автобусы с шахт людей повезут... Вот она какая у нас, стихия-то! Дисциплинируй и ее.

Было заметно, что инженер не прочь порисоваться перед новым в этих краях человеком необычностью условий, в каких им, метростроевцам столицы, доводится тут рыть русло подземной реки.

Между тем шофер провел машину через сугроб, мы заняли места, и вездеход двинулся навстречу бурану, как бы осторожно нащупывая колесами дорогу, маневрируя между курящимися снежными валами. Одинокий человеческий след, то уже почти занесенный, то четко вырисовывавшийся в косом свете фар, все еще тянулся вдоль дороги, как бы усиливая картину степного безлюдья.

— Это маркшейдер Горохов,— предположил инженер и, повернувшись с переднего сиденья, пояснил: — Есть у нас тут один комик — фигуру бережет, ходит пешком с работы и на работу.

— Нет, не Горохов,— возразил шофер, не отводя с дороги напряженного взгляда,— Горохову в эту пору с шахты на поселок идти, а след-то вон он, как раз

обратный. Да и маленький следок, вроде бы детский. Я и то уж, когда сугроб копал, подивился, какого же это мальчишку в такую метелицу в степь понесло?

Между тем след становился все более четким, и вдруг, когда машину подкинуло на очередной снежной, как выражался шофер, «передулине», огни фар, взметнувшись, осветили впереди маленькую фигурку, еле различимую сквозь частую штрихофку несущегося снега.

— Что я говорил! Видите, мальчишка,— сказал шофер.— Вот мать разиня, выпустила одного в такую пору!

Действительно, это был подросток. В ушанке, в ватнике, в стеганых шароварах, заправленных в валенки, с двумя тючками, висевшими у него на плече наперевес, он остановился и, сойдя на обочину, решительно поднял руку. Весь с головы до ног он был облеплен снегом.

— Заберем? — спросил шофер.

— Ну чего спрашиваешь! — отозвался инженер и, перегнувшись через спинку сиденья, открыл заднюю дверцу.— Эй, орел, влезай! Некому тебя, паршивца, за уши драть... Замерз?

Паренек подошел к машине и, сняв с плеча свои тючки, протянул их мне. Это были связки книг, довольно тяжелые. Увидев книги, инженер и шофер почти одновременно — один удивленно, другой с плохо скрываемым смущением — воскликнули:

— Валя!

Паренек между тем обколотил валенки о подножку и влез в машину. Круглое лицо его пылало, исхлестанное степным ветром. На бровях, на детском пушке, покрывавшем его налитые щеки, блестели ледяные кристаллики. Большие очки, сразу же запотевшие в тепле машины, скрыли его глаза. Паренек кое-как разместился на сиденье, на ощупь удостоверился, что книги его тут, и вдруг необычайно мелодичным для мальчика голосом произнес:

— Ну и метелица! Ужас! Протянутой руки не видно. Спасибо, товарищи, что захватили.

Он снял очки, чтобы их протереть, и вдруг, к удивлению моему, оказался прехорошенькой девушкой лет семнадцати. Разглядев инженера, девушка подняла свои темные бровки, на которых искрились росинки влаги.

— Это вы, Иван Кириллович! А я думаю, кто это в такую метель... Вот и не зря меня подобрали. Я вашу просьбу не только выполнила, а и перевыполнила...

Вот...— Девушка многозначительно похлопала рукавичкой по одному из своих тючков.

— Эх, если бы у меня все начальники шахт так слово держали!— отозвался инженер.— Но как же это вы, Валенька, ухитрились перевыполнить мою заявку? Я, сколько мне помнится, просил вас достать только брошюру с докладом Поспелова.

— Брошюру везу. И еще везу сборник о международном значении ленинизма... А как же? Вам докладывать по какой теме: «Без Ленина по ленинскому пути»... А вам большое спасибо, выручили. Иду и думаю: а вдруг опоздаю на первую шахту к смене! Сама утром им позвонила, мол, буду, и вдруг нету...

— И не пришла бы — какая беда! Из-за этого у них там обвала бы не произошло. Разве это резон — в темь, в метель — и пешком! — заворчал шофер.

— Ну-ну, вы так, товарищ Петухов, не говорите— какая беда! Завтра воскресенье, отдых. Как же они без книг! Сами мне каждый раз про «Пугачева» напоминаете.

— Неужели достали?— оживился шофер и обернулся так резко, что машина метнулась в сторону.

— Увы. «Пугачева» все еще механик Сергеев держит. Все три тома. Теща читает. Вы знаете, товарищи, теща Сергеева — это мой злой рок. Страшно начитанная теща, новинки так и хватает, но читает ужасно медленно. Оправдывается: внук очки разбил. Я вот собираюсь заказать ей в городе очки, а то она мне весь книжный конвейер задерживает.

Капельки растаявшего снега все еще сверкали на бровях, на щеках, на локоне, выбившемся из-под ушанки, но девушка, по-видимому, чувствовала себя совершенно как дома. Непринужденно болтая, она добродушно, доверчиво посматривала вокруг ясными, зеленоватыми, очень, должно быть, близорукими глазами, казавшимися неестественно маленькими за толстыми линзами. От нее веяло юностью, морозом, какой-то ясной чистотой.

— А Громову я, кажется, выговор влеплю в приказе за то, что он вам машину не дает,— сказал инженер, и чувствовалось, что он с трудом сдерживает улыбку.

— Что вы, Иван Кириллович, как можно! — всполошилась Валя.— Товарищ Громов действительно скуповат, но ведь он же хозяйственник. У него же такая профессия. И машину он мне дал — целый семитонный самосвал. Но я отправила его за углем для библиотеки...

Подумаешь, расстояние — семь километров! Что я, кисейная барышня, маменькина дочка какая-нибудь? Я такой же работник, как и все... Простите, товарищ, а вы не новый инженер с третьего участка? Нет? А то тут появился какой-то странный инженер: вот уже месяц работает и ни одной книжки у меня не взял.

Узнав, что я из Москвы, девушка смолкла. Она забилась в уголок сиденья и затихла, придерживая стопки книг. Странно было видеть на ее круглом лице, таком румяном и здоровом, налет задумчивой грусти.

— Москва! У меня там мама... на Арбате. Старенькая уже... Она даже не плакала, когда я заявила, что еду сюда. Она только сказала: «Куда ты, Валек, со своими глазами! Ты ж ничего не видишь — будешь на все натыкаться, всем мешать...» Иван Кириллович, я разве кому-нибудь мешаю? Я, конечно, на подземные не прошусь, но ведь я и так приношу какую-то пользу, работаю... А хорошо сейчас в Москве, да? — Девушка оживилась, за толстыми линзами очков в глазах ее сверкнула отчаянная лукавинка.— Вы скоро обратно? Вот и чудно, вы мне поможете. Я дам вам маленький списочек, вы зайдете в Ленинскую библиотеку и убедите их прислать мне из передвижного фонда все эти книги. Ладно? На месяц... Тут у нас трое кандидатские диссертации пишут. Я им литературу выписала через обменный фонд, но не все, кое-чего не хватает. Обещаете, а? Ну зайдите, что вам стоит!

— Еще не родился такой человек, который посмел бы отказать нашей Вале,— заметил инженер.— Тут к нам для консультации один академик прилетел, так она у него еще неизданный курс лекций для наших диссертантов выпросила... И ведь что удивительно — недолго сопротивлялся! Прислал.

— А как же! — убежденно произнесла Валя.— Что же, им научную работу прекращать из-за того, что они тут, на стройке, а не в Москве?

— И много у вас книг читают?

Строго сведя темные бровки со щеточками у переносья, девушка бросила на меня уничтожающий взгляд.

— Скажите сначала, почему вы это спросили? — Она сердитым жестом достала откуда-то из кармана ватника кожаную папку, протянула ее мне и произнесла с подчеркнутой сухостью: — Можете просмотреть абонементы первого участка.

Заношенная, пухлая папка еще хранила ее живое тепло. Девушка сейчас же отобрала папку, без выбора выдернула абонементную карточку и, держа ее, точно хрупкую и дорогую вещь, сердито сказала:

— Вот Попов, Матвей. Проходчик. Каждый месяц ставит рекорд и сам его побивает. Очень знатный человек... Ведь так, Иван Кириллович?.. Прочел за год семнадцать книг. И каких! Смотрите, смотрите! Энгельс, «Происхождение семьи...», Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», Чернышевский, «Что делать?»... Учится по первоисточникам.

Замелькали абонементные карточки, фамилии, названия книг. Очки Вали победно посверкивали. Она, должно быть, решив окончательно посрамить человека, который, как ей показалось, усомнился в ее читателях, бросала мне на колени одну карточку за другой.

— Ну, а новое что-нибудь удалось вам достать?— незаметно подмигнув мне, спросил инженер.

— А как же! Мне на этот раз «подфартило», как выражается у нас тут один знаменитый бригадир комсомольцев-проходчиков Алексей Линев. Во-первых, удалось для изучающих достать пятнадцать книг по историческому материализму. Знаете, как это сейчас трудно! Во-вторых, Леше Линеву везу полный комплект учебников для десятого класса. Он ведь в обязательство записал выполнить план проходки на сто восемьдесят процентов и сдать на «отлично» экзамены на аттестат зрелости... Пришлось для этого в район ехать. До самого секретаря райкома дошла, но учебники вырвала. В-третьих... Ой, кажется, уже приехали! Автобусы еще стоят, вечернюю смену застану. Вот хорошо-то...

Впереди, за марлевой сеткой метели, в свете сильных прожекторов смутно вырисовывались новый, не обдутый еще ветрами забор, невысокий террикон, усеченная пирамида копра и контуры приземистых построек, почти заштрихованные косо летящим снегом.

Возле ворот проходной теснились автобусы и машины, точно прикрытые белой ватой.

— Вот спасибо вам, Иван Кириллович! Леша Линев дал мне слово завтра весь день заниматься, а книжки-то и не приехали бы. Вот он теперь обрадуется! Он ведь очень хороший, этот товарищ Линев, правда, Иван Кириллович?

Должно быть, мы все-таки немного опоздали. Когда машина затормозила у деревянного крылечка проходной и Валя, выбравшись из машины, засуетилась, увязывая свои тючки, дверь проходной открылась, и целая стайка ремесленников выплеснулась наружу. Они бросились было к автобусам занимать места получше, но маленький смуглый парнишка в форменной фуражке, заломленной на ухо, заметив Валю, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул:

— Ребя. Зайчик припрыгал! Ура! — Он бросился к машине, крича своим приятелям, еще толкавшимся в проходной: — Эй, витязи! Бегите к Линеву — он в душевой. Скажите, мол, его Зайчик припрыгал. Порадуйте бригадира!

Лицо Вали, все еще увязывавшей расползавшиеся книжки, приняло багрово-свекольный цвет.

— Ужасно несерьезный тип этот Бобров! Читает только детективную чепуху, и всякий вздор у него в голове.

Между тем ребята уже обступили девушку.

— А ну, признавайся, чего мне достала? — наступал на нее «несерьезный тип», и его нагловатые цыганские глаза шарили по корешкам книг.

— Вам, Бобров, я привезла «Аэлиту» Толстого. Но если судить по вашему поведению, вам надо было бы привезти журнал «Мурзилку».

Паренек взял книжку и, расписываясь в формуляре, не без яда ответил:

— «Мурзилку» вы привезите вашему Линеву. Почтенный бригадир при виде вас впадает в детство, так что «Мурзилка»...

— Что, что? — спокойно и строго спросил рослый юноша в роскошной пыжиковой ушанке и ватнике, небрежно накинутом на широкие плечи, оттесняя собой ребят, окруживших Валю.

Вся его кряжистая фигура, массивное лицо, еще розовое от банного жара, крупные губы, большой раздвоенный подбородок — все дышало добродушной силой. Его рука, от которой еще шел парок, прочно легла на плечо Боброва, который, сразу присмирев, судорожно перебирал страницы полученной книги.

— Что ты сказал? — повторил великан, и паренек присел под его тяжелой рукой.

— А вот, Алексей Семенович, говорю ребятам: сообщите товарищу Линеву — мол, товарищ Зайцева Вален-

тина Федоровна с книгами прибыла... Больше, честное комсомольское, ничего! Вон ребята подтвердят.

Добродушный гигант легонько оттолкнул паренька:

— Барабошка. О работе бы думал!

Левой рукой он поднял оба тюка с книгами, подождал, пока инженер вернет Вале свой формуляр, и, бережно взяв ее под руку, повел к проходной, откуда уже валил народ.

— Спасибо, Валя, за книги! — крикнул уже им вслед инженер.

— Как «Пугачев» освободится от этой зловредной тещи, уж вы обо мне не забудьте! — напомнил шофер.

...Осторожно пробираясь сквозь толпу, уже теснившуюся у автобусов, машина выехала на завьюженную дорогу и продолжала путь.

В косое смотровое зеркальце было видно, что шофер улыбается.

Инженер снова принялся тихонько насвистывать под нос про степь, про замерзающего ямщика, но в таком резвом и бодром темпе, что извечно печальная эта песня зазвучала даже весело.

1952

ЗАПОЗДАЛОЕ ПИСЬМО

«Милая Лидочка, здравствуй!

Я не писала тебе целых сто лет, и ты, наверно, совсем забыла мой, как ты когда-то говаривала, «взбалмошный» почерк. Каюсь, я не ответила тебе на ту давнюю открытку, но это не значит, что я забыла нашу милую, умную, рассудительную Лиду. Наоборот, я часто вспоминаю тебя. Когда мне бывает трудно, я даже мысленно советуюсь с тобой, и мне кажется, что я всегда угадываю, что ответишь ты своей беспокойной Аньке, и, честное пионерское, всегда точно следую этому твоему предполагаемому совету.

Что поделаешь! Годы, проведенные в институте, приучили меня в трудную минуту обращаться к нашему милому курсовому оракулу. А так как, признаюсь честно, трудных минут здесь у молодого инженера товарища Ковалевой хватает и мой диплом, увы, не служит универсальным ключом к решению всех производственных

задач, то должна сказать: мне очень и очень недостает тебя, твоего «хладного» ума, такого всегда спокойного и рассудительного.

Может быть, взвесив все на аналитических весах своей неодолимой логики, ты объяснила мое молчание тем, что мы холодно расстались. Если так, логика тебя подвела. Признаться честно, твое решение остаться в Москве было одним из первых настоящих моих жизненных разочарований. Другу надо все говорить напрямик. И в тот день мне действительно казалось, что я обманывалась в тебе. А ведь ты была мне больше чем друг: ты чем-то заменила для меня отца, погибшего на войне; да-да, именно отца, которого я очень любила и которому доверяла все, чего не доверила бы и моей доброй маме. Среди всех девушек и ребят, которые с нами учились, ты казалась мне самой настоящей. И, конечно, не только потому, что была начитанней, талантливей нас, а потому, что при всей своей любви к жизни ты всегда, как мне тогда казалось, умела спокойно предпочесть общественное личному. А это ведь порой нелегко, ох, как нелегко делать!

Мы видели в тебе будущее светило нашей науки — гидротехники. Когда я думала о будущем, я всегда представляла тебя, красивую, умную, смелую, руководителем каких-то работ невиданного размаха, на какой-нибудь гигантской сказочной реке.

И вдруг... ах, это мне «вдруг»! — даже сейчас больно об этом вспоминать... Помнишь, как мы обрадовались, когда нам сказали, что дипломы с отличием дадут нам право выбирать место будущей работы? Я, даже не раздумывая, выбрала, конечно, Волгу. И разве могло быть иначе! Валерий Яковлев и Федечка Кошечкин, которые вместе со мной получили сюда назначение, на радостях даже расцеловали гардеробщицу, тетю Пашу. И вдруг Кошечкин говорит: «Твоя почтенная Лида остается в Москве научным сотрудником в исследовательском институте». Это показалось мне сначала нелепым, потом страшным. Да, да, страшным.

Лидочка, ты прости меня за прямоту, но мне подумалось, что в то время, когда мы, весь курс, стремились попасть на передовую, ты, воспользовавшись правом выбора, дезертировала в тыл. Так я тогда думала, и мне было особенно больно, потому что ты была самой близкой моей подругой.

Прости за эти слова. Я написала о том, что думала о тебе тогда, только потому, что теперь я уже так не думаю. Сейчас я уже не прежний «восторженный козленок», как ты меня называла. Волга — великая школа. И если институт вооружил нас знанием — она учит этим оружием пользоваться. Она закалила меня, научила простому, но не сразу дающемуся умению сначала все обдумать, взвесить, а потом решать или делать. Теперь я уже не считаю себя героем, устремившимся на «передовую», а тебя дезертиром, «скрывшимся в тылу». Наоборот, я верю, что твой ясный, спокойный разум подсказал тебе тогда трезвое решение пойти туда, где ты лучше применишь свой талант экспериментатора и принесешь больше пользы. И твою любовь к Москве я теперь понимаю. Я помню, как на практике в таджикских горах, ты ни за что не хотела переводить часы на местное время и упрямо жила по-московскому. Что ж, Москва стоит такой привязанности, тем более что там гнездо, где ты родилась и выросла. Да и трудно так вот, сразу, оторваться от сияния Москвы и ехать черт знает куда — в пустую солончаковую степь, где только суслики посвистывают да ползают отвратительные степные гадюки, короткие, как морковка, но страшно злые.

Нам действительно досталось на первых порах. Жили в палатках, работали в накомарниках, воевали с гнусом — отвратительной мошкой, вполне оправдывающей свое название. Валерий оказался почему-то, с точки зрения гнуса, невкусным. Зато милого Федечку гнус сразу оценил, и, не довольствуясь накомарником, инженер Кошечкин мазал себе лицо и шею какой-то, им самим выдуманной, смесью из глины и керосина, благодаря чему походил на мумию.

Но, милая Лидочка, что значили эти смешные невзгоды по сравнению с тем, что раскрыла перед нами эта стройка! Сейчас каждый пионер знает ее значение, ее масштабы. Ты читала, конечно, о новых гигантских машинах, работающих у нас. Но разве по описанию или чертежам в учебниках можно их себе представить! И разве что-нибудь сравнишь с гордым, да, да, с гордым! — сознанием того, что вот я, простая советская девчонка, Анька Ковалева, дочь рабочего, погибшего на войне, строю сооружения, которые будут украшать нашу землю и в две тысячи и в три тысячи, бог знает в каком далеком году.

Я, Лидочка, конечно, не настолько наивна, чтобы вообразить, что все это строим только мы, работающие здесь. Говорят, что только на наш объект шлют свою продукцию пятьсот заводов. Но все-таки это не то, что видеть собственными глазами, как изо дня в день вырастают на голом, как здесь говорят, крутоярье величайшие сооружения.

Милая Лидочка! А какой здесь простор для технической мысли! Стройка растет не по дням, а по часам. И так же быстро растут люди. Мы прибыли сюда в одно время с новыми землеснарядами. Только не со стокубовыми, какие мы изучали в институте, а с огромными, недавно сконструированными, производительностью пятьсот кубометров грунта в час. На одно из этих судов нужен был начальник. Федечка Кошечкин, с высоты своего инженерного диплома, эдак снисходительно изъявил желание «временно работнуть» за начальника, пока не подготовят нужного человека. И... с треском провалился. Техника обогнала все то, что мы еще недавно изучали. И пришлось самоуверенному инженеру Кошечкину отправляться на соседний объект набираться опыта у тамошнего начальника земснаряда, из демобилизованных солдат, выросшего на стройке в крупного гидромеханизатора.

Впрочем, здесь все непрерывно учатся, и я в том числе. Не учиться тут невозможно. Ведь мы создаем такое, чего еще не было на земле. Сами на ходу вырабатываем новые методы, соответствующие новой, невиданной технике, а это, в свою очередь, заставляет нас учиться и совершенствоваться. Тут как-то села я в кабину двадцатипятитонного самосвала (у нас уже работают и такие, их ласково зовут «четвертаги»), чтобы доехать до центрального поселка. На ухабе машину тряхнуло. Из-за светового щитка вывалились мне на колени две книги: «Механика» и «Сопромат». Шофер, увидев мое недоумение, смеется: «Чего удивляешься, девушка? Техникум я еще перед войной кончил. Сейчас этого мало. Мне вон какую машинищу доверили! Вот и поступил на заочный в автодорожный институт». Среднего образования шоферу мало! Вот они дела-то какие у нас, Лидочка!

Милая ты моя умница-разумница! А люди какие здесь! Уверяю тебя, попади ты сюда, даже при твоем «хладном» уме, ты обязательно влюбилась бы, и не в кого-нибудь персонально, а во всех сразу. Вот тут все пишут о

двух наших подружках-электросварщицах. Фантастические вещи! Работая на сварке каркасов, они выполняют план на тысячу процентов. Не тебе, инженеру, объяснять, что это значит. Я представляла их себе сказочными богатырями. А тут как-то сижу на концерте в нашем клубе — к нам на стройку артисты из Большого на гастроли приехали. Максим Дормидонтович Михайлов поет «Чуют правду». Стекла дрожат. А со мной рядом сидят какие-то девушки маленькие, щупленькие, обе очень хорошенькие, в одинаковых и не очень складных платьицах. Слушают, носами хлюпают: Сусанина им жалко. Слезы в горошину текут по щекам, на колени падают, а они не замечают... Очень они меня заинтересовали. В перерыве спросила знакомого инженера, кто эти смешные девчушки. А он мне отвечает с упреком: «Ну как же вы не знаете? Это же наши знаменитые электросварщицы! А вы — «смешные девчушки»! Вот тебе и слезы в горошину!

Ох, заболталась же я сегодня! У тебя, Лидочка, наверно, уже в глазах рябит от моего взбалмошного почерка. Ну что поделаешь! Мы все избалованы всеобщим вниманием к нашей стройке, и я совсем забыла, что этими описаниями можно и наскучить серьезному научному работнику, решающему технические проблемы в столице нашей Родины — Москве.

Перехожу к делу. Пока мы тут жили в палатках и деревянных чумах, пока вязли в грязи, ходили в накомарниках и воевали с гнусом, я, Лидочка, не решилась бы тебе предложить ехать сюда к нам на работу. Но теперь все это древняя история. Уже с год, как выстроен поселок на берегу будущего моря, улицы и дороги гудронированы, болота осушены, комары и гнус, как уверяет известный тебе остроумец Федечка Кошечкин, стали ископаемыми. В одном из уютных домиков у меня маленькая квартирка, представь себе, с ванной. До твоих московских удобств не хватает только телевизора. Вот теперь-то я и решила попытаться смутить твое несколько все-таки холодное, рассудительное сердце.

Приезжай к нам! До окончания осталось не так уж долго, но сейчас здесь самый интересный период, и твои знания, твоя изобретательность — словом, вся ты сама была бы целиком и полностью здесь очень нужна. Тебе же все это даст бесценную практику, какой ты не получишь в столице, работай ты хоть в большой Академии наук.

Да разве и не заманчиво инженеру глянуть из сегодняшнего дня на технику коммунистического завтра? Приезжай! Мы поселились бы в моей уютной квартирке, стали бы вместе, как когда-то, читать, мечтать. Ой, как это было бы хорошо! И я могла бы посоветоваться с тобой по одному очень важному и весьма личному вопросу, по которому просить совета на бумаге как-то нехорошо. Словом, приезжай. Я по-прежнему люблю мою Лидочку-москвичку, но все же мне кажется, что было бы лучше, если бы ты приехала сюда и предстала бы передо мной в натуральную величину.

Начальник участка — *инженер Ковалева,*
она же любящая тебя *Анька*».

Письмо было отослано. Ответ не приходил.

За новостями, трудностями, волнениями и радостями, которыми на стройке полон каждый день, инженер Анна Ефремовна Ковалева как-то и совсем забыла о своем письме.

Однажды после объезда дальних забоев она, усталая, вернулась домой. С удовольствием приняла ванну и, накинув купальный халат, вышла на терраску. Терраску уже обтягивали жгуты вьюнков, именуемых в этих краях «кручеными панычами». Сквозь причудливо-кружевную сетку, образованную ими, было видно, как большое красное солнце медленно, осторожно опускалось на гребни шиферных крыш.

Вместе с сумерками из степи надвинулась прохлада. Аромат табаков, которым веяло из палисадников, сгустился. Стали отчетливо слышны доносящиеся откуда-то издалека, должно быть из клуба или с автобусной остановки, где висел репродуктор, звуки футбольного матча, транслируемого из Москвы: хрипловатый, взволнованный голос радиокомментатора, возбужденное бурление трибун, свистки судьи, вскрики и взрывы аплодисментов.

Анна Ефремовна поудобнее уселась на ступеньках террасы, испытывая чувство приятного покоя. Сегодняшний объезд показал, что вся флотилия земснарядов, находившаяся в ее ведении, здравствует. Беседуя с ней, старший багермейстер одного из них—стройный и широкоплечий парень, уйгур по национальности, внес интересное производственное предложение, порадовавшее инженера смелостью и новизной. Если его расчет оправдается, кто знает—может быть, удастся увеличить выдачу грун-

та на десять и даже двадцать процентов. Как бы это было кстати!

А когда Анна Ефремовна возвращалась домой на своем вездеходике, ее догнал на мотоцикле инженер Кошечкин. Безрассудный этот инженер на ходу долго уговаривал Анну Ефремовну пойти сегодня вечером с ним в клуб на новый фильм. Он убеждал ее так горячо и упрямо, что чуть было не угодил под колеса. И девушке было приятно сознавать, что двигал им при этом, по-видимому, не только интерес к кинематографии.

В кино она пойти отказалась и теперь вот, приятно сожалея об этом, сидела на ступеньках террасы, слушая отзвуки далекого матча и наблюдая, как в потемневшем воздухе над стройкой один за другим загораются огни.

Торопливые шаги на улице заставили ее поднять голову. Скрипнула калитка. Через палисадник шел незнакомый пожилой человек в фуражке и куртке Министерства связи. Он протянул разносную книгу, карандаш и телеграмму. Сразу почему-то взволновавшись, девушка, прежде чем расписаться в книге, вскрыла телеграмму. На сером бланке, еще пахнувшем клейстером и непросохшей краской, она прочла:

«Вместе группой института перебралась новому адресу. Письмо дошло большим опозданием. Спасибо за память. Живу палатке, сплю нарах, едят комары. Масса интересной работы. Закончишь на Волге, приезжай сюда, на Енисей. Дела хватит. Мы только начали, но у нас грандиозней. Советую захватить гнусоуязвимого Кошечкина вместе с его волшебной мазью. Очень пригодятся. Лида».

1952

ДЕФИЦИТНАЯ БАБУШКА

У Василия Рыбникова, бригадира автоколонны тяжелых машин, — того самого Рыбникова, который весной прославился конвейерной организацией перевозок стройматериалов, было одно удивительное качество, выработавшееся еще на фронте: он умел засыпать в любое время. Закроет глаза и спит, что бы вокруг него ни происходило. Когда нужно — проснется с ясной головой. Водители, уважавшие своего начальника, склонны были именно

этой способностью объяснять его удивлявшую всех неутомимость, умение, если того требовало дело, сутками не вылезать из кабины и сохранять при этом свежесть ума, бодрость, спокойствие и обычную для него распорядительность.

И вот этот человек маялся бессонницей. Недавно он вылетел со строительства на узловую станцию, чтобы принять новую партию, как он выражался, «техники». Самолет был открытый, погода скверная. Он застудил больной зуб. Получился флюс. Правую щеку у Рыбникова безобразно раздуло. Возвращаться поэтому он решил водой, и теперь вот уже вторые сутки пути не мог заснуть. По очереди он перепробовал все успокаивающие средства, какие только нашлись в корабельной аптечке. По совету какой-то старой пассажирки прикладывал к флюсу стручок красного перца. По рекомендации бригадира уральских монтажников, ехавшего с ним в одной каюте, полоскал рот коньяком, а потом принимал коньяк и внутрь, что, по утверждению другого пассажира, геолога по профессии, помогает при всех воспалениях. Ничего не действовало. Только ходьба, как казалось Рыбникову, слегка успокаивала жгучую, сверлящую, пульсирующую боль.

И вот огромный человек, в накинутом на плечи ватнике, неустанно, как часовой, шагал по палубе маленького суденышка, которое медленно двигалось по холодной, затянутой сердитым ноябрьским туманом реке.

Василий Рыбников ругал себя за то, что не поехал поездом, ругал капитана, который, как казалось ему, вел свое суденышко нарочно неторопливо, ругал промозглую непогодь раннего ноября, ругал пассажиров, которые, уютно рассевшись в салоне, слушали радио, стучали костяшками домино по столу, о чем-то разговаривали и даже смеялись. Вот ведь люди! Как они могут так беззаботно болтать, смеяться и даже не замечать, что это скверное корыто словно завязло в сырой, сочащейся дождем мгле!

Особенно раздражала Рыбникова маленькая, сухонькая старушка, что посоветовала ему «попользовать» флюс перцем. Он заметил, что стоит трем-четырем пассажирам сойтись вместе, как она уж тут как тут. И все-то она знала, во все вмешивалась, со всеми заговаривала. Вслед за ней неотступно ходила черноглазая девочка лет шести, кругленькая, загорелая, крепкая.

Вот и сейчас там, за широким стеклом салона, старуха с девочкой примостились возле стола, за которым ленинградские монтажники играли в домино. «Ну, что ей там надо, что она понимает в игре! И вообще, куда она тащится с ребенком водой в осеннюю пору! Сидела бы дома, вязала бы, что ли, или с соседками сплетничала»,— думал Рыбников, бережно приминая ладонью раздутую, пульсирующую щеку.

Когда боль немножко отпустила, Рыбников, совершенно уже продрогший на палубе, прошел в салон. Монтажники кончили игру, радио было выключено. Пассажиры толпились у кресла, на котором сидела давешняя старуха с девочкой на руках. Девочка спала, положив ей на плечо смуглую головку с двумя торчащими косичками-хвостиками, а старуха о чем-то рассказывала. Все ее слушали. Это было время передачи «последних новостей». И Рыбников включил было репродуктор. Но на него зашикали. По-видимому, беседа всех интересовала.

— Ах, мамаша, я думал, что теперь только мы, геологи, да цыгане кочевыми народами остались!— рокотал высокий, худой человек с выпирающим кадыком. Он утверждал, будто прием коньяка внутрь помогает от всех воспалений.— А тут вон оно что — новая кочевая профессия: передвижная бабка.

— ...Ты не смейся, не смейся, милый... Женат? Дети есть? И жена работает? Нет?.. Ну, тогда твое дело иное, ты этого, милый, и не поймешь. А вот у меня четверо сыновей было, старший-то, ее вот папка,— она погладила девочку, заснувшую у нее на плече,— он помер. А трое — живы, и у всех дети. Ну, меня на разрыв: «Мамаша, ко мне», «Нет, ко мне, пожалуйста», «Нет уж мне окажите честь...» Вот что пишут.

— Это сыновья. А снохи?— сердито пробурчал Василий Рыбников, которого раздражали хвастливый тон и самоуверенность старушки и то внимание, с каким ее тут все слушали.

— Не помог, что ли, перец-то? — спросила та, поднимая голову и наводя на Рыбникова свои большие, круглые в черной оправе очки.

— Как мертвому припарки.

— Оно и видно. Хмурый больно ты человек...

— Нет, а верно, мамаша, как же с пословицей-то: свекровь в дом — все вверх дном? Иль уж устарела? —

осведомился пожилой бригадир монтажников, по совету которого Рыбников полоскал рот коньяком.

— А и устарела, что ты думаешь! — спокойно отозвалась старушка.—Не прежнее время. Теперь мы, бабки-то, ах в каком дефиците!.. Думаешь, у меня так все сразу гладко со снохами и пошло? Нет, миленький, все было: и раздоры, и разговоры, и «я или она...». Только мне что — живите, как вам лучше, а я сама себе голова. Мне за работу мою достойную пенсия идет. Комната за мной в фабричном доме навечно закреплена. Заслуженный, как говорится теперь, покой. Мы с Нюшей сами себе самые главные. На фабрике меня помнят, на торжественные заседания билеты присылают, да все в первый ряд. Узнали, что зрение мое ослабло, что трудно читать мне стало, радиоточку велели ко мне бесплатно провести, чтобы тетя Ксюша от жизни не отставала. Нам с Нюшей и дома хорошо, а вот им без нас— иное дело.

— Сыновьям или снохам?

— Да и тем и другим. Одна семья-то... Ишь, заснула Нюшенька-то моя... Вот бы, товарищи, очистили диванчик, я ее бы и уложила.

Произнесла она это с такой уверенностью, будто была хозяйкой, и несколько загорелых стажеров, возвращавшихся со строительной практики, сразу вскочили, уступая место, а геолог принял спящую девочку из рук старушки и бережно понес ее на диван.

— Так вот, хмурый ты человек, спрашиваешь ты — сыновья или снохи...— продолжала старушка, удобно усевшись в кресло и опять наводя на Рыбникова свои очки.— А вот я тебе скажу: и те и другие из-за меня аж вздорят... Вот-вот, и ничего тут особенного— время такое, старый человек теперь в уважении. А как им иначе и быть-то? Вот месяц-полтора назад сын мой Михаил, он в Воронеже в институте лекции читает, и невестка Лида, она тоже у нас ученая: какую-то там клубнику удивительную вывела и даже премию за это получила, так вот оба пишут мне: «Начинается у нас прием студентов, будем очень заняты. Вовка нездоров. Приезжайте,— они меня на «вы» зовут,— приезжайте, пожалуйста, мамаша, к нам». Ладно! Вовка болен — дело серьезное. Собираемся мы с Нюшей в путь-дорогу, благо нам не привыкать — город Воронеж нам известен. А тут, хвать, из Свердловска телеграмма! Большая—рублей пятнадцать, поди, за нее заплачено: «Мама, срочно самолетом

командируйся к нам. Получили отпуск, путевки в Сочи в кармане, проездные командировочные перевели телеграфом, обнимаем, целуем. Федор, Сима». А Федор — сын мой. Он на Урале мастер наипервейший. Машины для этих ваших строек какие-то ходячие собирает. А Сима, Серафима то есть,— его жена — тоже там в цеху по металлу что-то работала, а теперь студентка в институте. И вместе с телеграммой подает мне почтарь от них командировочные. И на меня и на Нюшу.

Что делать, куда ехать? Тут Вовка болен, там вовсе трое ребят остались невесть на кого. А пока раздумывала, письмо отсюда, от сына моего Сенюши, то есть Семена Петровича Зайчикова,— он где-то тут у вас на стройке туннельный мастер, и жена у него Зойка. Они вместе в Москве метро строили, а теперь она тоже тут у них какое-то важное лицо. Я ее, грешным делом, не люблю. Занозистая такая: «Вы в мои дела не лезьте» да «я и без ваших советов проживу». Но у них беда — двойня маленькая. И пишут они: «Мама, знаем мы, и Свердловск и Воронеж на тебя претензию имеют, но нам ты должна оказать предпочтение: у нас стройка наиважнейшая — это раз, и четвертая по счету домработница на курсы строителей устрельнула—это два, и нам позарез некогда, объект в эксплуатацию сдаем — это три...»

— Ситуация! — говорит пожилой монтажник, и его длинные моржовые усы, нависающие на рот, не в силах прикрыть улыбку.— Вот и решай, к которому податься. Тут, брат бабушка, нужен государственный подход!

— И правильно, что ты улыбаешься, милый. Мы с Нюшей так и рассудили. Михаил с Лидой оба ласковые, обходительные, но они в большом городе и человека себе, если надо, найдут, да и в случае чего могут тещу вытребовать, у них теща имеется в запасе. Так? Федор с Симой хоть проездные и командировочные нам прислали, у них тоже не крайность: детей можно в колхоз, к Симиному отцу, к свату моему, отправить. Я там у него бывала,— приятный колхоз, и живут просторно, ребятам раздолье, горы, река... А у младшенького-то мово, Сенюши, то есть у Семена Петровича, хоть жена у него и репей, бог с ней совсем, а положение действительно серьезное. Возьмешь молоденькую в няньки — через месяц на курсы убежит. И правильно бежит! Ей профессию надо, чего ради она будет в няньках болтаться, когда, может, из нее через год-другой знаменитый человек выйдет? Ну,

а старух-то в окрестных деревнях давно поразбирали. Сколько людищей-то понаехало! Да и не очень-то они идут к чужим в няньки, старухи. Свои-то внуки — они милей чужих детей.

— Стало быть, к занозистой невестке и едете?

— К занозистой и еду. А как же, тут стройка-то какая идет, должны и мы с Нюшей чем ни на есть помочь!.. Да и что это, милый, значит: занозистая! Приеду—будет рада до смерти: «мамашенька» да «мамашенька»... Жизнь-то она вежливости учит. А в случае чего — до свиданья, и на поезд. Деньги на билет у меня всегда в кармане, пенсия идет, комната ждет... Мы с Нюшей — люди самостоятельные...

И так уж это случилось, боль ли утихла или усталость взяла свое, но Василий Рыбников заснул в кресле под мерный старушечий голос.

Проснулся он на рассвете. Кто-то сильно тряс его за плечо. Это был вчерашний геолог. Лицо у него было озабоченное:

— Ну и спите!.. Вы ведь здешний? Говорите скорей: чтобы попасть на Отрадный, где слезать? Тут, на Новой, или до гидроузла плыть?

— Как, уже Новая?

— Ну да, минут пять, как привалили.

Рыбников бросился в каюту, схватил чемоданчик. Геолог шел за ним по пятам.

— Ну, так где ж слезать: здесь или дальше?

— Если есть транспорт, слезайте здесь, тут втрое ближе. Только с транспортом худо: слякоть, дороги разъехались. Легковой сейчас не пробиться, только грузовик, да и то не всякий... Я вот слезаю, за мной приедут. Пока!

Геолог уже не слушал. Он исчез и через мгновение показался на прогибающихся сходнях с чемоданом, баулом и скаткой свернутой постели. Вслед за ним, боязливо держась за его плечо, шла давешняя старушка. Усатый монтажник нес на руках спящую девочку. И едва провожавшие старуху успели вернуться на пароход, как сходни подняли и, производя своими суетливыми плицами шумную кутерьму, судно начало отваливать.

— Бабушка! Младшенького, Сенюшку, приветствуйте!..

— Не давайте снохе потачки! — слышалось с удаляющейся палубы.

— Вот балагуры, рассказать ничего нельзя! — улыбалась старушка, помахивая вслед удаляющемуся судну сухой ручкой.— Ведь долго ли вместе проехали, а будто сроднились, и расставаться жалко...

— Вы лучше скажите, как думаете до Отрадного добираться? Машину, что ль, сын пришлет? — хмуро спросил Василий Рыбников.

— Я ему не протелеграфировала. Они там вон что-то в эксплуатацию сдают, чего его пустяками беспокоить...

— Ай-яй-яй,— не на шутку встревожился Рыбников,—как же так можно! Ведь до Отрадного больше сорока километров, вы об этом подумали? А погода— вон она какая. Ведь глушь, степь, дороги развалились...

Злой дождь, косой и холодный, дробно стучал в железную крышу пристани. Мелкая сердитая волна часто пошлепывала по борту дебаркадера. Все кругом, будто на дне старого погреба, было пропитано студеной, промозглой сыростью.

— Как люди, так и я,— вздохнула старушка.

— А где же они, люди?

— Ты-то вот как поедешь?

— За мной машина придет, но мне не совсем туда, понимаете... Ну как это можно сойти, ни о чем ничего не расспросив! Да еще с ребенком... Эх!

— Не шуми, не шуми, Нюшу разбудишь! — невозмутимо отозвалась старушка, поправляя шаль, прикрывавшую девочку.— Не в Америке, чай, не пропадем — кругом свои люди. Сколько мы с Нюшей ни путешествовали, нигде не пропадали... Вон, слышь, гудят. Не тебя ли кличут?

На берегу в промозглой мгле настойчиво ревела сирена автомашины. Потом под чьими-то ногами захлопали сходни. На пристани появился коренастый парень в синем комбинезоне, облепленном грязью. Увидев Рыбникова, держащегося за щеку, он виновато опустил глаза:

— Извините, Василий Иванович! Три раза по самый дифер сидел — развезло, ужас... Балки разлились...

— Возьми вон эти вещи,— кивнул Рыбников на имущество старушки. Сам же он поднял девочку и сердито сказал: — Чего уж, пошли!

— Ну что ж, пошли так пошли,— спокойно согласилась старушка и деловито осмотрелась кругом — не забыла ли чего.

К приглашению она отнеслась как к чему-то само собой разумеющемуся. Только когда Рыбников предложил ей лезть в кабину, она запротестовала: «Как же, с этакой-то щекой да в кузов, на ветер!» Но, поняв, что все ее аргументы только раздражают сердитого человека, она дала ему свою черную шаль и взяла с него слово, что он обязательно накроется ею.

Шофер, явно удивленный тем, что его начальник будет трястись в кузове, да к тому же еще придется делать километров десять крюку, попробовал было протестовать, ссылаясь на незнание дороги, на то, что не хватит бензина, но Рыбников так посмотрел на него, что он, не договорив, торопливо полез в кабину.

Ехали молча. Девочка, привыкшая к путешествиям, крепко спала. Бабушка тоже дремала. Холодный косой дождь заливал ветровое стекло так густо, что казалось, будто суетливые «дворники» смахивают с него не воду, а кисель. Машина то и дело буксовала в вязкой грязи, и шофер сердито переключал рычаги скоростей и все время думал, как-то там начальство чувствует себя в кузове, среди мокрых, холодных брезентов.

Но начальство чувствовало себя недурно. На каком-то толчке, где машину крепко подбросило, флюс прорвался, и Василий Рыбников тотчас же уснул, закутавшись теплой старушечьей шалью.

1953

В ТУМАНЕ

Весна нагрянула внезапно.

Перед этим несколько недель сильно мело, набросало много снегу. Метели заштопали все проплешины, и степь, где шли работы, стала вокруг строек ровная, чистая и такая белая, что казалась бескрайней, потому что совершенно сливалась с таким же белым, холодным небом и горизонт словно исчез. Дули северные ветры. Они полировали сугробы сухим, шелестящим снежком, и, когда солнцу изредка удавалось пробиться сквозь белесую дымку, наст ослепительно сверкал в его желтых негреющих лучах.

Было очень холодно. Бетон подмерзал в самосвалах за то короткое время, пока его везли с завода. Электро-

сварщики, крепившие арматурные блоки, боялись снимать рукавицы. При малейшей неосторожности руку прихватывало к металлу, и можно было поплатиться кожей ладони. Шоферам, возившим строительные грузы, выдавали меховые полушубки и фронтовые ушанки. По всей стройке день и ночь на железных листах горели костры.

Но однажды утром люди не увидели ни панорамы строительства, которой они привыкли любоваться, идя на работу, ни улиц новенького поселка, ни даже своего крыльца. Все вокруг заволакивал седой туман, такой густой и плотный, что нельзя было разглядеть и собственной вытянутой руки. Было тепло, даже как-то душно. Дорога, которая еще вчера звенела, твердая, как камень, расползлась под ногами влажным зернистым снегом. Рабочие из местных жителей объяснили: это туман-снегоед, стало быть, нагрянула бурная весна.

И действительно, с быстротой, какая бывает разве только в театрах, пейзаж изменился: снега посерели, из-под них полезла черная, маслянистая, насыщенная влагой земля. Дороги развалились, расширились, расползлись по степи, и там, где еще вчера весело, ходко, точно по автостраде, бежали вереницы машин, сейчас лишь мощные тракторы, сердито отфыркиваясь, тянули срочные грузы, упрямо меся грязь своими не знающими устали гусеницами. Лишь им да вездеходам остались доступными степные дороги, над которыми весь день зыбилось студенистое марево да тонко и нежно звенели жаворонки.

Вот по такой-то дороге и двинулись мы с товарищем на дальний объект, который первым держал решающее испытание под внезапным напором вешних вод. Раскисший чернозем засасывал ноги. Резиновые сапоги от налипшей на них грязи стали тяжелыми, как обувь водолазов. Одежда взмокла от пота, липла, связывала движения.

К вечеру туман сгустился. Солнце увязло в нем, не дойдя до горизонта. Быстро наступившая ночь накрыла нас так неожиданно, что мы не успели хотя бы и приблизительно определить, далеко ли еще идти. Влажная мгла обступала нас со всех сторон. Под ногами чавкала грязь. То тут, то там легонько шелестел ручеек да вздыхал, оседая, оттаявший за день крупитчатый снег. Лишь звон проводов, приглушенный туманом, служил нам в пути невидимой вехой.

Легко понять радость, которую мы испытали, когда

где-то невдалеке, впереди себя, услышали голоса. Они звучали еле слышно, и порой казалось, что это обман усталого слуха. Мы ускорили шаг, и, как это всегда бывает в тумане, голоса сразу оказались так близко, что легко было узнать: разговаривают две женщины. Они разговаривали на ходу и шли в том же направлении, что и мы. По тому, как уверенно двигались они и как спокойно беседовали, видно было, что дорога эта для них привычная и им не впервой ходить по степи в туман и распутицу. Разговор у женщин завязался, по-видимому, уже давно.

— ...Так он вам прямо и сказал?— отчетливо воскликнул молодой, звонкий голос. И в нем прозвучали сразу и удивление, и гнев, и сочувствие.

— Так-таки и сказал,—отозвалась другая низким, грудным контральто, и, хотя говорила она по-русски, в самой манере произносить слова звучала украинская напевность.—Так и сказал. «Уйди,— говорит,— Ольга, отсюда, потому мне сейчас не до тебя!» У меня даже сердце упало: «Как не до меня? А до кого? Может, до этой глазастой сварщицы Надьки? Может, до этой рыжей инженерши, что в штанах ходит?» А он, Женечка, знаешь что? Он смеется. «Раз,— говорит,— Ольга, я пятнадцатый год твой характер терплю,— значит,— говорит,— ты от меня не только весь женский пол, а само солнышко заслоняешь». Слышишь, Женечка, что придумал, черт длинноногий! «А сейчас уйди, не до тебя! У меня,— говорит,— сейчас все мысли к одному: как наша работа воду выдержит, а ты,— говорит,— отвлекаешь». Я его, Женечка, отвлекаю! А? Для него ребят на дочь-малолетку оставила, десять верст такую грязюку промесила — и пожалуйста вам... Ну, ты скажи, Женечка: не обидно мне?

— Все, все, все они, Ольга Петровна, такие! Да-да-да! — зачастила та, которую называли Женечкой.— Все, ну абсолютно все! Знаете, откуда я к своему сюда ехала? Из Сибири. Четыре тысячи километров!.. Интересная работа, учеба, батя — первый человек на заводе. Дом. У меня своя комната в два окна, мама обо всем заботится, мне только работай да учись! А я, как последняя дура, все бросила, с отцом поссорилась— и к нему сюда! Здравствуйте! Приехала!

— А ведь, говорят, вы и женаты-то тогда не были?

— Ну, правильно... Да и там, дома, на заводе, между нами ничего такого не было. Ну, дружили, ну, в вечернем

техникуме вместе учились, провожал он меня... Ну, там, в театр ходили. И все. Я ему и поцеловать-то себя ни разу не разрешила... Он ведь у меня только на работе Илья Муромец, а так он робкий... Я до того на него тогда рассердилась, что даже на вокзал провожать не пошла: как же, променял меня на какую-то стройку! А потом, как отсюда первое письмо пришло, как он написал нам, что в палатке живет и комары его тут едят, я и сорвалась. Мать плачет, отец в комсомольский комитет на меня подать грозит, сама слезами обливаюсь. Нет: поеду и все! Оттого, что он сюда ушел и меня ради этого оставил, он мне даже милей почему-то стал... Первые-то месяцы мы в общей палатке прожили. Бывало, комары так нажиляют — глаз не раскрыть, а ему что, он разве ценит?

— Как мой, как мой! Два сапога — пара.

— Все они такие мужчины, Ольга Петровна,— тоном большой житейской умудренности произнесла Женечка.— Какого ни возьми... И ведь что обидно: экскаватор у него самоновейший — это ему страшно лестно, этим он гордится, а что рядом молодая жена — это ему не важно, этого он и не замечает!.. Реветь, реветь хочется! И ведь реву — что вы думаете?.. Помните, из Малого театра к нам на гастроли приезжали? Я как раз тогда новое платье сшила. Может быть, видели — это бордовое, из креп-жоржета, с пелеринкой? Оно ко мне очень идет. Я радуюсь: вот обновлю! И он рад. Хоть на языке-то у него все «деловые кубометры», а театр любит. Бывало, дома ни одной постановки с ним не пропустим. И тут: надел серую тройку, в которой он на Конференцию сторонников мира в Москву ездил, ботинки начистил, хоть в них смотрись! Я ему свой батистовый платочек в кармашек сунула — ну, куда там!.. Идем радуемся. А навстречу на самосвале его сменщик несется. Весь в глине. Мой ему: «Ты куда?» Тот кричит: «За механиком! Беда — поломка, второй час стоим!» Мой как был в новом костюме, с моим батистовым платочком в кармане, так в кузов и прыгнул. Стучит кулаком по кабине: «Назад, в карьер!» Я стою, как дура, на тротуаре, а он обо мне забыл и думать. Уж потом издали крикнул: «Ступай в клуб, приеду!» Вот я и сидела одна, рядом с пустым местом, сидела и злилась до самого перерыва... Ольга Петровна, милая, вы подумайте, каково это мне, в новом платье, сидеть рядом с пустым местом? Ну, думаю,

вернись только, я тебе покажу! И весь перерыв проходила в фойе с инженером Капустиным — знаете, из гидромеханизации, блондин такой, высокий, очень симпатичный.

— И холостой, кажется?

— Ну, это мне ни к чему. Это мне абсолютно все равно... Нарочно ходила с ним под руку, нарочно смеялась, даже в буфет с ним зашла, чаю с пирожным выпили. И вот какие мы, женщины,— прямо на себя досадно!.. Хожу с этим инженером, смеюсь, а слезы во мне кипят, и все я о своем, о нем думаю... Вернулись в зал, все концерт слушают, радуются, переживают, а я слезы глотаю и не вижу, что на сцене-то делается. Собралась было вовсе уйти, да вдруг — пожалуйста, является. И вы думаете, прощения попросил, извинился? Ну как же! Первое слово: «Починили». А сам — матушки мои! — весь в глине, на ботинках целые лепешки, потом от него на версту шибает. Шепчу: «Хоть лицо оботри». Вынул он мой платочек, весь-то он черный, будто это и не батист вовсе, а концы для обтирки.

— Ай, яй, яй!.. Ну, ты его как следует проработала?

— То-то, что нет. Стыдно признаться: даже обрадовалась. Такая досада!.. Только уж слово дала: если он еще раз такое себе позволит, уеду! Сына заберу и уеду... Слабый у меня характер, Ольга Петровна! Ну совсем слабый. Тряпка я...

— У всех у нас слабый характер,—отозвалась собеседница.— Но я еще своему покажу, как я его отвлекаю!.. Вот паводок сойдет, автобус наладят, явится он домой — я с ним потолкую! — И вдруг, перейдя на полушепот, она сказала:— Женечка, слышишь, что это они за нами тянутся — не отстают и не догоняют, те, которые сзади...

Последнее относилось уже явно к нам. И в самом деле, может быть, нескромно подслушивать чужой разговор, но ведь не часто посчастливится литератору так вот, незаметно, заглянуть в человеческую душу. Полагая, что спутницы возобновят беседу и она вновь потечет, невыдуманная, непосредственная, мы слегка уменьшили шаги.

— Ишь, и не подходят! Может, это какие нехорошие, а? — испуганным шепотом сказала младшая.

— «Нехорошие»! Нехорошего разве в такую грязюку да в туман в степь выгонишь? Наверно, как мы с тобой,

по срочному делу,— отозвалась Ольга Петровна и громко, адресуясь явно к нам, сказала: — Эй, граждане, чего издали-то наши балачки подслушивать? Подтягивайтесь, в компании веселей...

Туман подвел нас. Женщины оказались совсем рядом, и мы чуть не натолкнулись на темные фигуры, высокую и поменьше, как-то сразу возникшие в сплошной переваливающейся мгле. Спутницы были в ватниках и резиновых сапогах. Головы у обеих были обмотаны платками так, что трудно было рассмотреть лица. Обе что-то несли в руках.

Выяснилось, что идем мы на один и тот же объект, что дорога попутчицам хорошо известна, и, по мнению их, идти осталось уже немного. По мере ночного похолодания грязь покрывалась ледяной коркой, словно подсыхала, туман начинал редеть, становился волокнистым, прозрачным. Проглянула луна, засверкали подмерзшие лужицы в колеях, и мы разглядели спутниц.

У Ольги Петровны, высокой женщины средних лет, было строгое, точно очерченное лицо с крупным, энергичным ртом. Шелковистым пушком темнели над верхней губой усики. У маленькой Жени удалось разглядеть только вздернутый нос, глаза, посверкивающие из-под надвинутого платка, да развевающийся русый пушистый локон, который она, двигая щекой по плечу, все старалась убрать под платок: обе руки ее были заняты.

Произошло то, с чем, увы, часто приходится сталкиваться литераторам. Узнав, кто мы и зачем в такую пору спешим на объект, спутницы как-то сразу переменились. Исчезла непосредственность, которая минуту назад звучала в их разговоре. Они пустились наперебой рассказывать о стройке, где работали их мужья. Говорили со знанием дела, но, увы, тем ровным, безликим языком, который иногда ошибочно называют газетным. Об их мужьях, экскаваторщике и бригадире бетонщиков, мы узнали только — на сколько целых и сколько десятых процента те выполняют свои месячные планы...

Вдали брезжили огни, пробивая прильнувший к земле и совсем уже поредевший туман, когда товарищ мой догадался поинтересоваться, зачем женщины в распутицу, в ночную пору спешат на стройку. И тут опять в их речи зазвучала прежняя простота:

— А паводок-то! Наши теперь и живут там, вроде бы

на казарменном положении. Восьмой день дома не появляются,— отозвалась Женя.— Работа срочная!

— Да и есть им время! Три часа по грязи туда да три обратно. Машины-то через эту хлябь не проходят,— добавила Ольга Петровна.— Вот несем им поесть. Мы с мужем из-под Полтавы,— борщечку ему сварила: мой любит борщ — страсть! А она вот пельмешек нашлепала для своего сибиряка... Ну и еще кое-чего по малости...

— А что же, у них столовки нет, что ли?

Женщины переглянулись и посмотрели на нас: одна — с недоумением, другая — со снисходительной улыбкой.

— У них там не только что столовка — ресторан! Шеф у них хвастает, будто в войну маршала какого-то питал. Меню висит— без словаря не поймешь, что в нем и есть,— пояснила Женя с некоторой даже обидой, усмотрев, по-видимому, в самом вопросе непростительную неосведомленность.

— Есть, все у них есть, граждане, да только разве этот их раз люли-повар со своими фрикадельками да соусом «тру-ля-ля» сготовит так, как хорошая жинка? Он, может, и не врет, что маршала довольствовал, а только маршал, наверно, ел да по щам скучал... Разве ресторанное-то с домашним сравнишь?

...Похрустывала, расползалась под ногами жидкая грязь. Болела, как бы даже поскрипывала поясница, дрожали в коленях тяжело натруженные ноги. Каждый шаг стоил усилия. Но впереди, в очищенном, морозном, прозрачном воздухе бесконечной россыпью огней в мерцающем электрическом зареве все ближе, все ярче вырисовывалась стройка.

1954

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Все началось с открытки, на которую поначалу Михаил Силыч Матвеев, знаменитый солист знаменитого театра, не обратил особого внимания. Артист был уже не молод, слава пришла к нему давно, и он едва успевал перечитывать обширную корреспонденцию, которая приходила к нему на театр. Да открытка и не содержала

ничего особенного. Радиокомитет организовывал очередной концерт по заявкам слушателей, на этот раз рабочих и инженеров одной из больших новостроек. В числе заявок, принесенных музыкальным редактором на выбор Михаилу Силычу, было письмо экскаваторщика Никиты Божемого, который просил певца исполнить старинную бурлацкую песню «Эй, ухнем».

— У него губа не дура, у этого Никиты,—с обычным своим грубоватым добродушием сказал Михаил Силыч редактору.— Что ж, включайте в программу «Эй, ухнем», пусть Никита порадуется.

Певец и сам любил эту песню, которую он давным-давно, еще маленьким конторщиком пароходного общества «Кавказ и Меркурий», замирая, трепеща и обливаясь потом в тесноте галерки, слышал в исполнении Шаляпина. Он пожалел только, что эту раздольную песню придется исполнять в радиостудии, в безлюдье, которое он, как и большинство артистов, понимал, принимал, но не любил.

Но на этот раз, оставшись один у микрофона, певец вдруг представил знакомое с детства приволье волжских берегов, стройку, о которой он читал в газетах и которая смутно рисовалась ему как нечто огромное.

Он увидел массу людей и среди них Никиту Божемого, которого, может быть из-за необыкновенной его фамилии, воображение артиста нарисовало пожилым украинцем в вышитой рубашке с низким воротом, с лысоватым выпуклым шевченковским лбом, с пышными висячими усами и глазами, грустными и лукавыми одновременно. Он представил себе даже, как слушает его Никита, опираясь подбородком о загорелый кулак и пряча улыбку в пшеничные усы.

Должно быть увлеченный и ободренный этим видением, Михаил Силыч в пустом помещении радиостудии спел так, как давно не певал и на больших концертах.

Через несколько дней пришло письмо от Никиты Божемого. Экскаваторщик сообщал, что он давний любитель пения, слыхивал лучших певцов страны, но такого исполнения любимой песни ему слышать еще не доводилось. Он звал Михаила Силыча к себе на стройку «обновить новый летний театр». Между прочим, в конце письма сообщал, что в благодарность певцу экипаж машины решил в следующем месяце перекрыть свой собственный рекорд и вынуть грунта на пятнадцать тысяч кубических

метров больше, чем в предыдущем. «Это мы вам в подарок за прекрасное ваше пение»,— писал экскаваторщик.

Последние строчки письма взволновали певца. Он давно привык к вниманию. Ни букеты, которые восторженные девушки торопливо совали ему в руки, когда он выходил из артистического подъезда, ни всяческие портсигары, палехские шкатулки, бювары и бокалы с надписями и без надписей, во множестве преподносимые ему по случаю разных юбилейных дат,— ничто ни разу так не порадовало артиста, как это простое сообщение. Пятнадцать тысяч кубических метров грунта! Ему, давно привыкшему к шумной своей славе, было необыкновенно приятно сознавать, что он вдруг как бы стал участником стройки.

И неожиданно для всех своих товарищей по театру он, слывший среди них человеком тугим на подъем, вдруг сам взялся комплектовать концертную бригаду. И делал он это не спеша, деловито, будто был не знаменитым певцом, а членом экипажа экскаватора «Уралец», выполнявшим задание своего бригадира. Он даже написал Никите Божемому, когда артисты прибудут, кто едет и что будут исполнять. В ответ получил благодарственное письмо от секретаря парткома строительства и лаконичную телеграмму от самого экскаваторщика: «Великое спасибо, ждем».

Артистов на стройке встретили радушно. К пароходу высыпала целая толпа. Каждому преподнесли букет. Михаил Силыч был обрадован такой встречей и все же невольно озирался кругом, стараясь разглядеть среди коричневых, загорелых лиц человека в рубахе с низким, завязанным шнурочком воротничком и с висячими усами. Усевшись в машине возле секретаря парткома, он не удержался и спросил, был ли среди встречавших экскаваторщик.

— Никита Остапыч? Он сейчас в забое. А вы его знаете?

— Нет. Так... слышал... в газетах читал,— соврал Михаил Силыч.

— Хорошая голова этот Никита Остапович! — продолжал разговор секретарь парткома.— Наша гордость. Он тут такую выработку показал в прошлом месяце — все ахнули. Впрочем, дело не в цифрах. Остапыч — это целая школа. Он...

— А он будет на концерте?

— Ну как же! Со всем своим экипажем. Для них я приказал все правое крыло второго ряда оставить... Да, простите, я и забыл: это же он и сагитировал вас сюда приехать.

— Меня не надо было агитировать,— сухо ответил Михаил Силыч.

Огорчение перерастало в обиду. Он, Матвеев, всенародно известный певец, приехал сюда в ответ на приглашение Божемого. Привез великолепную бригаду. А тот даже не встретил! Не может быть, чтобы на такой огромной стройке, что вот уже полчаса тянется за стеклами машины, не нашлось человека, который смог бы его заменить. В театре и то заменяют исполнителей, даже премьеров. Певец дал себе слово не смотреть на правое крыло второго ряда.

Он так и сделал, когда во фраке быстрым шагом вышел на летнюю сцену, прикрытую дощатой раковиной. Перед сценой, на склонах естественного холма, располагались ряды зрителей. Задние терялись во мраке, как бы вливаясь в темноту леса, покрывавшего холм. Звездное небо служило потолком.

Голос певца, то бархатно гибкий и мягкий, то раскатисто гремевший на нижних нотах, легко покрывал ряды зрителей и, уносясь в даль, стихал в лесу и возвращался звучным эхом.

Люди так жадно воспринимали звуки, так жадно слушали, так дружно аплодировали, что к Михаилу Силычу вернулось отличное расположение духа. Он простил экскаваторщику обиду и, кончив петь, добродушно улыбаясь, посмотрел на первые ряды правого крыла. Они были хорошо видны, эти ряды, освещенные отсветом сцены. Второй ряд бросался в глаза темными провалами пустых мест.

Рядом с этими пустыми местами Михаил Силыч разглядел полную миловидную женщину с тяжелыми косами, венцом уложенными на голове, загорелую худенькую девушку и еще какие-то женские фигуры. Михаил Силыч понял: пустуют места экскаваторщика и его друзей, понял, что они, эти люди, так настойчиво приглашавшие его, не пришли на концерт.

Артист как-то весь оледенел от обиды, но аплодисменты так дружно, так бурно, так настойчиво гремели под звездным небом, что обида опять как бы растаяла. Забыв

о Божемом, Михаил Силыч слился в единой общей радости со всеми этими загорелыми, обветренными людьми, сердца которых так чутко отзывались на каждый звук. Подчиняясь радостной воле слушателей, он в этот вечер пел, не жалея голоса.

А потом, когда, взволнованный, грузновато сошел со сцены, к нему протиснулись те женщины, которых он разглядел давеча во втором ряду. Та, что была повыше, с венцом богатых кос, протягивая ему букет тяжелых роз, таких свежих, что казалось, будто в лепестках их прячутся капельки вечерней росы, сказала певуче:

— Это вам от Никиты Остапыча, от Божемого.

— А это от экипажа «Уралец»,—торопливо прощебетала тоненькая, что сидела в зале около первой. Сунув певцу букет полевых цветов и страшно при этом покраснев, она скрылась за спинами подруг.

Остальные отдали букеты молча. В руках у певца оказалась целая охапка.

— Извиняется он перед вами. Я супруга его, Оксана. Велел передать, что не мог вас встретить и на концерт прийти. Сменщик у него заболел, а дело самое срочное... Перемычку насыпают, а осень-то— вон она, торопит! — И, улыбнувшись, женщина вдруг перешла на украинский: — Вы вже мого чоловика звиняйте. Вин був дуже сумный, що вас не побачив. Дило ж!.. Сниданье и то на работу ему ношу...

— Где же вы взяли здесь такие цветы?

— А це вин сам вырастив. Вин цвиты дуже любит. Вин для вас весь садочек наш обирвав:..

Сразу полегчало, посветлело на душе у певца. Ну да, как это ему раньше не пришло в голову, что тут бывают часы и дни, когда приходится забывать все на свете! Михаилу Силычу стало стыдно за свою эгоистическую обиду, захотелось увидеть своего корреспондента, пожать ему руку, познакомиться с ним.

После концерта управление давало артистам ужин. Михаил Силыч отказался сесть за стол и стал настойчиво просить показать ему строительство...

Была глухая ночь, но работы шли, как и днем, освещенные электрическими огнями. Провожатый, молодой инженер, москвич, то принимался объяснять назначение тех или иных объектов, то пускался в пространные разговоры о вокальном искусстве. Михаил Силыч слушал рассеянно. Тут, на этом некогда тихом и пустынном бе-

регу, где в дни его юности стояла лишь старая баржонка, игравшая роль пристани, шла стройка неоглядного размаха.

Человек с острым музыкальным слухом, Михаил Силыч воспринимал окружающее как поток звуков. Все они, такие ему непонятные и многообразные, как бы сливались в могучую, торжественную и раздольную симфонию.

И где-то здесь, среди этого звукового многообразия, на неведомой певцу машине, находился Никита Божемой, любитель пения, пожертвовавший концертом для срочного дела. Его машина тоже, наверно, вплетала какие-то свои звуки в эту симфонию.

Певец слышал, как, прорываясь сквозь все эти шумы и господствуя над ними, по радио раздавался звонкий девичий голос. Она кому-то приказывала ускорить оборот самосвалов, кого-то приглашала немедленно явиться к дежурному инженеру, кого-то сердито отчитывала за неподачу бетона на третий участок. Обычные текущие дела. Но певцу этот голос казался голосом человека-творца, командующего всей этой массой сложных, могучих, рычащих, звенящих, пыхтящих машин и механизмов.

— Кто это? — спросил он.

— Это Нюра Капустина, помощник дежурного диспетчера,— ответил провожатый. Он продолжал тоном экскурсовода прерванное объяснение: — Весь котлован у нас радиофицирован. Все распоряжения строителям — оперативные, конечно,— передаются по радио. Вот, слышите...

Вокруг разносилось:

— Бригадир автоколонны, бригадир автоколонны! Усильте оборот машин, не заваливайте подачу. Божемой сердится. Божемой сердится...

— И голос ее слышно везде?

— Ну да. А как же! По всему котловану,— отозвался инженер, с удивлением улавливая в вопросе знатного спутника нотку волнения.—...А первый раз в «Сусанине» я слышал вас мальчишкой, помню...

— Вот что: а если мне выступить сейчас по этому вашему радио? — спросил вдруг Михаил Силыч.— Что вы так на меня смотрите? Вот возьму и выступлю для Никиты Божемого, для всех, кто сейчас работает и не мог быть на концерте! А?

— Там же дощатая конурка! — испугался провожатый.— Скворешня, никакой акустики, там...

— Решено! Идемте. Где она сидит, эта ваша голосистая Нюра? — сказал Михаил Силыч, весь наливаясь веселой, озорной радостью, точно с плеч у него свалилось сразу лет двадцать — двадцать пять.

И через несколько минут известный всем здесь голос Нюры Капустиной, растерявший на этот раз свои самоуверенные, повелительные нотки, торопливо, единым духом выпалил:

— А сейчас по диспетчерскому радио выступит для рабочих ночной смены народный артист Матвеев. Он споет... Ой, этого я не знаю! Он сам вам скажет... Внимание! У диспетчерского микрофона артист — товарищ Матвеев...

Сквозь рев моторов, бетоновозов, тягучий лязг баб, загоняющих в землю шпунты, сквозь пофыркивание скреперов, скрежет экскаваторных ковшей — сквозь всю эту строительную симфонию прорвался могучий бас. Необычайно радостно, с веселой удалью гремела над стройкой старая бурлацкая песня, вслед за нею патриот Иван Сусанин говорил с Родиной в свой предсмертный час, раскатывался по котловану сатанинский смех Мефистофеля, разудалый Еремка потешал русский народ веселыми прибаутками о широкой масленице...

Странный это был концерт. Паузы в промежутках между песнями и ариями заполнял девичий голос, требовавший к прорабу проштрафившегося десятника, сообщавший экскаваторщикам, что автоколонна усилена, в третий раз вызывавший какого-то товарища Климова к дежурному инженеру. А потом опять начинался необыкновенный концерт, гремел могучий бас, разносимый репродукторами на много километров.

Не переставая нажимать рычаги экскаватора, слушал его Никита Божемой. Слушали бетонщики, мостя в щитах опалубки влажную серую массу, сыпавшуюся из кузовов самосвалов. Слушали электросварщики, извергавшие молнии в железных чащах арматуры. Слушал дежурный инженер, который, так и не дождавшись исчезнувшего товарища Климова, присел на минутку на какой-то ящик перед репродуктором да так и застыл.

Певец стоял в крохотной диспетчерской кабинке, целиком заполняя ее своей грузной фигурой, почти упираясь головой в потолок. Крахмальный воротничок вместе с

галстуком он давно уже сорвал и сунул в карман. Пот ручьями лился с широкого лица. В жаре и духоте, без аккомпанемента, он пел одну за другой свои любимые песни.

Это был самый радостный его концерт.

1955

ВКЛАД

С того самого дня, когда бригада Сетьстроя прибыла в эти знаменитые теперь края, Петр Синицын как-то сразу разочаровался в своей профессии.

Нет, «разочаровался» — не то слово. Все было сложнее...

Петр Синицын по-прежнему любил свое нелегкое, опасное дело монтажника-верхолаза. Со стороны, издали, мачты высоковольтных электропередач кажутся легкими, ажурными, точно парящими в воздухе над простором степей или трудолюбиво шагающими гуськом через леса по широкой просеке, прорубленной для них. На самом деле это тяжелые, стальные сооружения. Поднять, установить и укрепить их на бетонных подушках, а потом на большой высоте подвесить к ним провода и громозащитные тросы — дело нелегкое, Оно требует большой ловкости, сообразительности и умения, решительности, если надо, идти на разумный риск. Петр Синицын, трудовой путь которого начался в бригаде сетьстроевцев, сразу оценил свое живое дело, привык к нему, увлекся им и начал считать самым интересным и увлекательным из всех дел, какими занимаются люди. К тому же — что там говорить! — приятно сознавать, что ты прокладываешь свет, двигаешь культуру в далекие районы, в пустынные края, в степь, в тайгу.

Но вот стальные мачты зашагали по трассе стройки. С их вершины, с высоты птичьего полета, в погожие дни можно было видеть окрестности километров на пятнадцать — двадцать. Перед Петром Синицыным начали открываться картины больших, непонятных ему строительных работ, сменявшие одна другую. Среди изрытой, развороченной степи юный монтажник видел в облаках пыли целые стада больших и сложных машин; машины эти казались ему сверху живыми существами, а малень-

кие люди, сидевшие в их кабинах и управляющие ими,— живым мозгом этих гигантов.

Все это было так необычайно, что всегда дисциплинированный монтажник, иной раз забыв работу, застывал, безмолвно и очарованно созерцая происходящее. Среди работающих на стройке было много его погодков, самых обыкновенных парней и девушек... И он завидовал им, уверенно хозяйничающим на всех этих сооружениях, управляющим машинами и механизмами, по сравнению с которыми его собственный инструмент казался ему простым, как каменный топор. О стройке, которая поднималась над ископанной, взлохмаченной землей, писали в газетах. Страна следила за работой этих парней и девушек, их показывали по телевизору, а он, Петр Синицын, со своими товарищами продолжал ставить все одни и те же, похожие одна на другую мачты, тянуть бесконечные провода, совершенно одинаковые и в тайге, и в степи, и на трассе огромных строительств.

Вот тут-то Синицын и начал к своей профессии охладевать. Видя, что это уже начинает отражаться и на работе, он однажды доверил тревожные свои мысли мастеру Захарову, который когда-то приобщил его к сложному делу верхового монтажа. Захаров, или, как все его называли, Захарыч, человек покладистый и даже осуждаемый начальством за мягкость и панибратство с подчиненными, с недоумением глянул на своего ученика, потом вдруг покраснел до испарины и пустил такую очередь соленых, дореволюционного качества, словечек, что Петр отскочил от него и поспешил убраться, не ожидая ответа по существу.

Но вечером, приняв от бригады работу, мастер сам подошел к Синицыну, взял его за плечо своей маленькой жесткой рукой и, посмотрев в сконфуженные глаза парня, сказал с упреком:

— Петька, профессия баловства не терпит!

Квартировали в ту пору монтажники в доме на окраине поселка. В большой комнате помещалось человек шесть. Мастер жил здесь же, в уголке, отгороженном одеялом. Ночью, когда все уже храпели на разные голоса, Синицын ворочался и не мог уснуть. Разговор с мастером снова и снова приходил на ум.

Вдруг Петр услышал, как в углу скрипнул топчан и кто-то, шлепая босыми ногами, на ощупь, обходя спящих, пробирается к нему.

— Маешься? — услышал он рядом шепот Захарыча.—И мне что-то не спится... Вертелся, вертелся, аж бока болят... Я што! Меня можешь какими хошь словами критиковать — твою критику выслушаю, если дело скажешь, а если напрасное — отматюкаюсь, и все. Переживать не стану. Ты дело наше обидел. Профессия — в нее, брат, верить надо.

Синицын молчал. Его поражало, что мастер, из которого обычно слова не вытащишь, вдруг так разговорился.

— Вот ты толкуешь — машины. Верно, знаменитые машины. Сам любуюсь. А разве в машине дело? Главное в том, кто в ней сидит. Посади в нее дурака, он машину угробит и дела не сделает. А человек с умом — он и с простыми кусачками себя проявит. Вот ты в нашем деле усомнился, на стройку потянуло. Стройка — она, конечно... А вот не поставим мы вовремя на реке мачты и упоры, не перекинем линию—всей стройке задержка: все машины встанут, питаться им нечем.

Мастер склонился к парню и зашептал ему в ухо. Он был на совещании: предстоит работа огромной важности, невиданная, небывалая. Нужно подвесить между двумя береговыми упорами провода длиной в полтора километра. Да где подвесить! Метрах в ста над рекой. И когда? Теперь вот, срочно, до паводка, а то как раз левобережье без тока и оставишь.

— Слыхал? Вот и разумей, что такое верхолаз-монтажник! И помни, парень: важно, что ты умеешь, да ум, да сердце, да к делу любовь. Если все это есть, будь ты хоть перевозчиком на пароме, придет твой час — проявишься, и народ тебе свое спасибо скажет...

Ночной этот разговор, тихие эти слова припомнил Петр Синицын некоторое время спустя, когда над рекой на обоих берегах уже возвышались огромные ажурные мачты, уходящие в синеву неба, а на них, слегка провисая над стремниной, протягивались толстые, впрочем едва различимые снизу, провода. Трудная, даже небывалая эта задача была уже решена, решена умно, смело, вовремя. Но вот за день до того, как по проводам этим должен был пойти ток, контролеры выяснили, что над серединой реки на одной из фаз произошел обрыв провода.

Страшное это было открытие. Опускать провод вниз нельзя: на реке уже началось судоходство. Задержать

сдачу линии невозможно: механизмы стройки, все эти многочисленные земснаряды, экскаваторы уже заняли исходные позиции, ждут тока. Оставалось одно: найти человека, и не просто человека, а мастера, который взялся бы по проводам, висящим более чем в ста метрах над уровнем реки, добраться до места обрыва и там, качаясь над бездной, наложить бандаж. Такой работы никому еще из монтажников Сетьстроя производить не доводилось, да и вряд ли вообще доводилось делать что-нибудь подобное хотя бы одному верхолазу в мире.

Как когда-то на фронте на опасное, героическое дело вызывали обычно охотника, так и здесь инженер, собрав монтажников, спросил, не возьмется ли кто-нибудь из них добровольно совершить этот трудный и опасный подвиг.

Наступило молчание. Монтажники, загораживаясь ладонями от солнца, смотрели на провисший, покачивающийся над водой провод, как бы стараясь разглядеть на нем роковой обрыв. Призматический бинокль переходил из рук в руки. Через его сильные линзы можно было даже рассмотреть завитки оборвавшейся жилы. И люди стояли в тягостном молчании, прикидывая в уме свои силы и расстояние, которое нужно карабкаться по проводу высоко над бездной. Каждый мысленно совершал этот невероятный путь, и каждый чувствовал, как от одних только мыслей об этом начинает учащенно биться сердце и дыхание становится прерывистым.

Петр Синицын тоже был тут. Когда инженер вызвал охотника, он вдруг вспомнил, как Захарыч говорил ему ночью, что в каждой профессии настает час, когда человек может проявить себя. Эта мысль мелькнула в голове, и, прежде чем даже созрело окончательно взвешенное решение, он приблизился к инженеру и торопливо сказал:

— Я полезу.— Потом ревниво взглянул на остальных монтажников и прибавил, уже оспаривая свое право на риск.— Я полезу, я наложу бандаж!

Сердце его колотилось так, что он даже испугался, как бы этого не услышал начальник, решавший его судьбу, и даже попятился от инженера. Вызвались и еще охотники. Инженер неторопливо всматривался в их загорелые лица, видневшиеся из-под мятых кепок.

Инженеру предстояло принять решение, от которого зависела не только своевременная подача тока строи-

тельству, но, может быть, и человеческая жизнь. Взгляд его снова и снова возвращался к взволнованному юному лицу, на котором даже под густым загаром угадывался возбужденный румянец.

— Пойдет Синицын,— сказал инженер как можно спокойнее. И отдал распоряжение принять меры безопасности.

Обычно думают, что верхолаз — человек, лишенный ощущения пропасти, этого могущественнейшего чувства, возникающего и укореняющегося в человеке в те моменты, когда он младенцем делает свои первые шаги по земле. Нет, тягостное это чувство живет даже в самых опытных высотниках, и только воля обуздывает его, позволяя трудиться где-нибудь на шпиле с тем же расчетливым мастерством, как и на твердой земле. Верхолаз, знающий, что такое высота, и научившийся хладнокровно на ней работать, стоя на земле, не может без волнения наблюдать своего товарища, находящегося наверху.

И сейчас, когда Петр Синицын с инструментальной сумкой через плечо проворно карабкался на вершину стальной мачты, о которую, как казалось снизу, распарывали свои груди сырые весенние облака, за ним с волнением следили его товарищи. На их глазах Петр становился все меньше и меньше. Вот уже не стало различимым его лицо. Только силуэт, то стушевывавшийся, то прояснявшийся среди грязноватых торопливых тучек.

— И ветер еще, чтоб его!..— сказал кто-то из наблюдавших.

— И сырость... Провод-то, он теперь скользкий,— добавил другой.

— Тише вы! — простонал Захарыч, не отрывая глаз от маленькой фигурки, как будто этот тихий шепот на земле мог отвлечь, рассеять внимание того, кто там, наверху, оторвавшись от железных ферм мачты, медленно, очень медленно начал двигаться по проводу, качавшемуся над пропастью.

— Пошел! А провод-то, провод-то как парусит!

— Не каркать! — рычит Захарыч, а сам шепчет чуть слышно: — Осторожней, осторожней! Перехватывайся, отдыхай...

Большая река живет между тем своей обычной жизнью. Маленький шустрый буксирчик тянет баржи с тесом. Катер волочит огромную барку-паром, палуба ее

сплошь покрыта людьми и машинами. Большой теплоход плывет, как лебедь.

Маленький человечек, медленно перемещающийся там, наверху, на раздуваемых ветром проводах, с земли еле виден. Но его уже заметили. За его движениями следят и с берегов, и с теплохода, и с парома.

Мастеру Захарову, которому самому приходилось так вот ремонтировать провода, хотя, конечно, не на такой высоте и не при таких невероятных обстоятельствах, начинает казаться, что все эти взоры, тарахтенье катерного мотора, гудки пароходов как-то мешают тому, кто, вися над пропастью, медленно движется к месту обрыва.

— Петруха... Петя... Петенька, осторожней, осторожней! — шепчет он, и, когда кто-то из монтажников прикладывает к глазам бинокль, он с маху его вырывает:—Не смей! Не в цирке!

Инженер, который дал Синицыну разрешение, уловив конец фразы, думает: «В цирке! Что стоит самый сложный цирковой номер, в сотый раз повторяемый на ограниченной высоте, над распростертой сеткой, по сравнению с тем, на что вызвался вот этот парень, колеблющийся сейчас над бездной! Сто четырнадцать метров над уровнем воды!» Математический мозг инженера сам собой производит подсчет: скорость падения в первую, во вторую, в третью секунду... Боже, какая страшная скорость! И все-таки можно послать туда катер. Под провода, на всякий случай... Хотя какой может быть случай! Удар о воду — и...

— К катеру! — командует он.

Взревев мотором, катер стремительно отрывается от причала и, точно привязанный, начинает кружить по реке под проводом. В нем — инженер, мастер Захаров и водитель, вихрастый паренек в тельняшке. Он так бледен, что слой загара кажется на его лице зеленоватым, а веснушки черными.

Захаров ложится на корме навзничь, чтобы не терять своего ученика из виду.

— Да не трещи ты мотором, черт конопатый! — зловеще шепчет он мотористу.— Не тещу катаешь! Ходи на малом газу...— Всем своим существом, взором, мыслями мастер с тем, кто, продвигаясь метр за метром, уже почти достиг середины реки. Самое горячее его желание сейчас — быть наверху, рядом с учеником, и только большой

опыт, говорящий, что в верхолазном деле там, где достаточно одного, двоим нечего делать, да самодисциплина высотника мешают ему просить у инженера позволения лезть на помощь Петру...

А Петр Синицын между тем уже добрался до места обрыва жилы.

Вначале, когда он поднялся на вершину гудящей, ощутительно вибрирующей под ударами ветра мачты и перед ним протянулись провода и тросы, которые, как это было видно отсюда, будто плавали вперед и назад, ему стало страшно до дрожи в ногах. Высотник с первых же своих трудовых шагов, он научился справляться с этим тягучим, томительным чувством, которое охватывает человека, когда он находится на краю пропасти. Синицын никогда без нужды не смотрел вниз и приучил себя воспринимать все окружающее его на высоте как бы лежащим на земной поверхности.

Но тут не было твердой опоры для ног и рук. Тросы, по которым предстояло двигаться, раскачивались и как бы стремились выскользнуть из-под него. Щемящий холодок, рожденный где-то под ложечкой, быстро сковал все мускулы. Руки и ноги потеряли обычную эластичность, стали неповоротливыми. И, может быть, впервые за всю свою работу верхолаз почувствовал каждой точкой своего тела, как вздрагивает и раскачивается верхушка мачты.

Что же, слезать назад? Он хотел смерить взглядом расстояние, отделяющее его от земли, посмотрел вниз. Перед глазами развернулась стройка, отлично видная сверху. Широко простираясь в излучине реки, она вся курилась дымами многих труб, куталась в облака пыли. Словно плавучие дома стояли на рейде землесосные снаряды, за ними тянулись похожие на огромные сосиски плавучие пульпопроводы. У опоясанного причалами мола теснились суда, краны неутомимо снимали с барж фасонное железо, стальные фермы, пачки теса, бревен, мешки с цементом и вновь металл, и вновь бревна...

Вся окрестность до самого горизонта кипела трудом.

Что же, слезать?

Сотни людей смотрели в эту минуту на Петра Синицына — с берегов, с пароходов, с парома,— но он этого не замечал. Зато ему казалось, что сейчас на него смотрит вся стройка, где он мечтал работать все эти последние месяцы.

Слезать назад?.. Да как это могло прийти в голову! Вперед, только вперед!..

Цепким, пружинистым движением Петр Синицын соскользнул на провод и, радостно — да, именно радостно! — ощущая, как вновь становится эластичным все тело, а руки обретают цепкость, двинулся по нему. Сомнения, опасения, колебания сразу остались позади. Мысль, воля, энергия — все сосредоточилось в одном твердом решении: добраться до обрыва, наложить бандаж.

Карабкаясь по раскачивающемуся проводу, Петр уже ни о чем не думал, кроме того, как бы сделать свои движения более точными; он ничего не видел, кроме своей парусящей опоры, то обнимаемой сырым туманом, то вырисовывающейся с необыкновенной четкостью... И все в нем соединилось в стремлении не поскользнуться, сохранить равновесие, добраться, починить. Он не смотрел вниз, но, думая об опасности, двигался расчетливо, сантиметр за сантиметром карабкаясь там, где, казалось бы, не смогла пройти и кошка.

И странно: это удивило даже его самого, он не заметил, как добрался до места. Вот он, проклятый обрыв. Провод второй фазы, завитки жилы... И почему она, черт ее подери, все-таки оборвалась тут, над рекой? Может быть, проглядели и подняли провод с дефектом? Нет, место обрыва еще золотится крупитчатым изломом — ясно, жила лопнула, когда провод уже висел. Впрочем, теперь все равно — надо чинить, скорее чинить!

Петр Синицын, медленно раскачиваясь над бездной, накладывает бандаж. Работа пустяковая сама по себе, но сделай ее вот тут, на проводе, который все время качается! И еще этот ветер — он то стихает, то неожиданно бьет с упругой силой, будто прячется, а потом выскакивает на тебя исподтишка, стараясь столкнуть вниз.

— Нет, шалишь, не выйдет! — цедит сквозь зубы Петр, а руки работают, работают.

И вот все окончено. Можно возвращаться. Но происходит событие, которое сразу меняет все. Выскальзывают из руки плоскогубцы. Переворачиваясь в воздухе, нехитрый этот инструмент медленно, как это кажется сверху, падает вниз. Глаза монтера невольно провожают его до того мгновения, пока, пробив волну, плоскогубцы скрываются под водой.

Впервые после того, как Петр Синицын оторвался от стальных креплений мачты, он отчетливо видит под собой

желтоватую взлохмаченную реку, кое-где просвечивающую янтарными клиньями мелей. Белые барашки гуляют по воде, чайки кружат где-то далеко внизу, и маленький катер, на котором монтажник различает и инженера, и мастера.

Петр видит даже, что Захарыч, сложив руки рупором, должно быть, что-то кричит. А тут, рядом, покачиваясь, гудят под ветром провода и тросы. Глядя на них, верхолаз снова, как было там, на мачте, каждой клеткой своего тела, сразу покрывшегося испариной, ощущает и страшную высоту, и неустойчивость парусящих проводов, и злую силу ветра.

Сразу же появляется головокружение. Руки, потеряв веру в свою силу, вцепляются в провод и начинают противно дрожать. Все точно расплывается. Медленно теряя равновесие, Петр, судорожно взмахнув рукой, валится со своей зыбкой опоры в серую шевелящуюся бездну...

— А-а-ах!

Этот неопределенный крик вырывается одновременно и у мастера, который лежит, смотря вверх, на корме катера, и у инженера, и у монтажников, наблюдающих с берега за работой товарища, и у многочисленных пассажиров парома, идущего от стройки в обратный рейс,— у всех, кто видит в этот момент Петра Синицына.

Петр сорвался с провода. Но через мгновение его увидели повисшим на цепи монтерского пояса, пристегнутой к проводу. Верхолазы бросились к мачте, карабкаются вверх. Катер крутит по воде под тем местом, где на головокружительной высоте беспомощно висит раскачиваемый ветром человек.

Кровь медленно течет по подбородку инженера, от волнения прокусившего себе губу. Мастер снова приложил руки ко рту и во всю мочь своих легких кричит:

— Петь, Петь! Не болтайся... Виси спокойно... Отдыхай, Петя, отдыхай, копи силы! Слышь? Силы копи!

На мгновение руки мастера бессильно опускаются, он растерянно смотрит на инженера.

— Не слышит— ветер, волна... Да не трещи ты мотором, окаянная сила! Глуши свой паршивый примус!

И, снова приложив руки ко рту, Захаров кричит до хрипоты, до красных кругов в глазах, до дрожи во всем теле:

— Петя, виси, виси! Накопишь силы — раскачивайся, цепляйся ногами за провод! Петя! — И вдруг, оборачиваясь к инженеру, он хрипит окончательно сорванным голосом: — Услышал...

Но Петр Синицын не услышал ничего.

Оправившись от падения, он перевел дыхание и понял, что цепь и пояс, которыми он иногда на работе пренебрегал, спасли его. Но надолго ли? Он знал, что в реку не упадет. Это сразу дало возможность обдумать положение.

Не может быть, чтобы не было выхода! Не висеть же вот так над рекой на цепи, как бы крепка она ни была! Ведь вот дополз же он, и бандаж наложен, и дефект устранен, и ток, наверное, давать уже можно.

Эти мысли окончательно привели его в себя. Но как же быть? Если он будет так вот висеть, начнут опускать провод. Обязательно опустят! Вот уже и сейчас лезут на мачту... Огромная работа... А главное, поднять провод снова смогут не скоро, на это нужны недели. Как же, как же быть?

Он не слышал, что кричал ему с катера мастер Захаров. Ветер срывал с губ и уносил все, что тот силился сообщить ученику. Но недаром мастер славился умением учить молодых: Петр сам сообразил, что нужно делать.

На несколько томительных минут он затих, вися над бездной в полном покое, если, конечно, можно говорить о покое в его положении. Копил силы. Отдохнув, принялся раскачиваться на цепи. Он раскачивался все шире, шире... Вот нога его уже коснулась провода. Еще, еще! Ах, как кружится голова!.. Еще немного... Провод неясно мелькает рядом... Верхолаз весь напрягся, сжался в комок и, сжавшись, зацепился за провод сплетенными ногами.

Теперь он перестал быть игрушкой ветра. Он может сознательно управлять движениями. Это уже хорошо. Еще некоторое время он отдыхал, цепляясь ногами за провода, вися вниз головой. Теперь он даже не боится, он уверен в себе. Провод не придется опускать. Перехватываясь руками по цепочке, которая спасла его, он дотягивается до провода. Рывок — и он уже снова на проводе.

Нет, он не слышал восторженных криков, прокатившихся по реке. Он ничего не видит и не слышит: он отды-

хает, выключив все органы чувств, экономя каждое движение.

Потом, собрав силы, уже уверенно, балансируя, цепко перехватываясь руками, он движется обратно к мачте.

Те, кто внимательно следит за ним снизу, поражаются, как быстро он на этот раз проходит расстояние до твердой опоры. Ему же, наоборот, путь этот кажется мучительно медленным, и каждое свое перемещение он отмечает, как маленькую победу.

Петр устал. Порой движется как бы механически, но движется... Воля и вера в себя, только что выдержавшие такую проверку, безошибочно ведут и поддерживают его. Вот рука касается наконец металла мачты.

Все чувства, приглушенные усталостью, вспыхивают с новой силой. Радость распирает грудь: кажется, будто и сердцу становится тесно. Это не только радость спасения, нет, это радость неизмеримо большая.

«И моя копеечка не щербата»,— удивленно цедит он сквозь зубы любимую поговорку Захарыча, медленно и осторожно, очень медленно и очень осторожно слезая с мачты.

Впрочем, когда на земле Петра Синицына обступают товарищи и мастер Захаров, глядящий теперь на него не с обычной своей снисходительностью, а с почтением, когда все наперебой начинают его хвалить, поздравлять, он только хрипло, с трудом произносит:

— Попить бы, а?.. Водички холодненькой... Дайте попить!

1955

ЛЮБОВЬ

— Посмотрите вон на эту пару, что обедает там в углу. Хорошенько посмотрите. Здесь неудобно, но потом у себя я расскажу вам про них любопытную историю...

У Ивана Федоровича Кузьмичева, секретаря партбюро строительного района, удивительный нюх на людей. В каждом, казалось бы самом обыкновенном, человеке он умеет подсмотреть что-нибудь интересное. Эту счастливую его особенность я уже знал и потому стал исподволь рассматривать мужчину и женщину, на которых указал Кузьмичев.

Он, сухощавый брюнет с шапкой курчавых седеющих волос, с резким профилем, завершающимся несколько тяжелым, выдающимся подбородком, с угловатыми скулами и глубокими складками у рта, молча, сосредоточенно действовал ножом и вилкой — ел, будто работу какую делал. Она высокая, полноватая, но подтянутая, складная блондинка, с крупным приятным лицом, которому темные, сросшиеся на переносье брови придавали выражение суровое и энергичное, внешне, пожалуй, выделялась только тем, что одета была в комбинезон.

Но во всем поведении этой женщины и в особенности в том, как заботливо придвигала она своему соседу то горчицу, то хрен, то перечницу, сквозило что-то покровительственное, материнское. И еще бросалось в глаза, что здесь, в столовой, полной строительного люда, женщина эта чувствовала себя как бы хозяйкой, чувствовалось, что ее тут уважают и что она к этому привыкла.

Вечером мы встретились с Иваном Федоровичем в небольшой комнате партбюро, которая была, впрочем, больше похожа на кабинет инженера-строителя. Всюду — на столе, на книжных шкафах, на подоконниках, даже на стальном ящике сейфа — лежали пробы грунтов, образцы каких-то инструментов, стояли баночки с цементом. Кузьмичев усадил меня на старом клеенчатом диване и, точно бы весь лучась хитроватой улыбкой, начал обещанный рассказ:

— Колоритная пара, не правда ли? Ну, теперь приготовьтесь выслушать историю, прямо скажу, необыкновенную... О человеке этом вы уже знаете. Я его вам называл, когда говорил о наших, так сказать, маяках. Это Егор Устинов, бригадир бетонщиков. Да и о ней вы тут наверняка уже слышали. Она у нас, как выражается один старичок десятник,— «заучная дамочка». Любовь Чабан тоже бригадир бетонщиков. В прошлом месяце ее бригада как раз переходящее знамя у Егора отобрала. Оба коммунисты.

Рассказчик со вкусом потер ладонь о ладонь.

— Ага, заинтересовались! Я же говорил вам: люди у нас такие — о них ни рассказывать, ни слушать не устанешь... Ну, так вот об этих двух. Егор Устинов сюда с первыми строителями прибыл. Прямо с Днепра. Днепрогэс восстанавливал, прославился там, орден получил и, закончив дела на Днепре,— к нам. Ну, мы ему и доверили честь начать бетонные работы — первые кубометры

бетона в основные плотины он клал... «Огонек» дал тогда на обложке фотографию Устинова. Вот со снимка с этого, можно сказать, все и началось. В нем ключ ко всей истории. Сегодня, скажем, номер с этим снимком вышел, а недели через две является ко мне сюда, в партбюро, незнакомая женщина. Рекомендуется: Любовь Чабан, член партии, направлена сюда на работу, на медпункт, в качестве медицинской сестры. Показывает, как положено, партбилет, документы, выписку из решения. «Берите,— говорит,— меня на партийный учет».

Потолковал я с ней. По всем данным, хорошая коммунистка. Среднее образование, фельдшерские курсы, была на войне, ранения и награды имеет, на фронте в партию и вступила. После войны, демобилизовавшись, у себя на Украине в большом колхозе всяческими детскими делами заворачивала. Словом, впечатление самое отрадное. Толкую я с ней, а у самого в голове вертится недавний мой разговор с начальником стройрайона насчет детских яслей. С яслями у нас тогда не ладилось, никак на ясли подходящего человека отыскать не могли.

Спрашиваю — не согласилась бы она и у нас пойти на детскую работу. «Что ж, пойду и на детскую, если нужно: не отдыхать приехала, куда нужней, туда и направьте. Лишь бы умения хватило, а сил хватит». Очень понравился мне ее ответ. Простились, и она совсем уже будто бы невзначай: «Скажите, у вас работает такой— Устинов, Егор Устинов? Его фотография недавно в «Огоньке» была». Отвечаю: точно, есть, мол, такой. Тут она шевельнула бровями, может быть, заметили сегодня, привычка у нее такая есть — бровями шевелить, и совсем тихо вдруг спрашивает: «Скажите, этот самый Устинов, он женат?» Признаюсь, озадачила она меня. «Он что вам, родственник?»— «Нет,— отвечает,— знакомый. Впрочем, он-то меня, может быть, и не помнит». И лицо у нее при этом краснеет, краснеет, да так, что даже пот на переносице пробрызнул.

Сказал я ей, что, насколько мне помнится, Устинов вдов и что могу я сейчас все это уточнить, но она не стала дожидаться и вон из комнаты. Что такое? Решил я при случае самого Устинова про Чабан расспросить. Да случая тогда не представилось. Ну, а Любовь Чабан себя на работе сразу же показала. Так в яслях все завертела, что, не похвастаюсь, за какой-нибудь месяц стали они у нас просто-таки образцовыми.

Только должен вам признаться, все это время никому из нас не было от нее житья. Два раза на бюро ее слушали, профсоюзников заставила комиссию по детским делам создать, жен инженеров в дело втянула, а хозяйственники, эти ее просто бояться стали. Услышат издали ее голос — и бежать. Да не очень-то от нее и убежишь, настигнет, обрушится, как коршун на куренка, и все, что ей положено, все вырвет.

И вот приехал к нам однажды министр. Может быть, слышали, быт строителей — это, так сказать, его пунктик. Работы осмотрит, и сейчас же показывай ему быт. Да как: воду сам из каждой колонки пробует. В столовых — прямо на кухню, и давай ему по ложке из каждого котла. На торговцев наших нагнал сраху за то, что в магазине в этот день хороших радиоприемников и мотоциклов не оказалось. Ну и, конечно, зашел в ясли. Тут у всех у нас от сердца отлегло. Все блестит, сверкает, ребятишки толстые, щеки у них, как клюква, налитые. Улыбается министр, говорит Любови Чабан: «Спасибо, тут у вас хорошо». И вы думаете, что она? Она ему как отрежет: «Мало вы с нас, товарищ министр, спрашиваете. Разве это хорошо? По плану я видала — двухэтажный дом для моих малышей полагается. Где он? Сад мы сами своими силами посадили, а где забор? Что ж, мои мамаши своими руками все эти деревца козам на закуску сажали?» То, другое — и начала... «Вот любят говорить: передовая стройка да передовая стройка. Стало быть, все должно быть передовое, добротное и красивое...» Ну, начальник района с опаской на министра посматривает: тот ничего, слушает. Серьезно слушает, а глаза смеются. «Правильный,— говорит,— разговор». Она и тут не угомонилась. «Это,— говорит,— я и сама знаю, что правильный. Вы скажите лучше, будет ли моим малышам все, о чем говорю?» — «Будет,— отвечает министр.— Все, что в плане намечено, должно быть, и вы мне лично пишите в случае, если задерживать будут...»

Вот она какая, Любовь-то Чабан. Женщины наши в ней души не чаяли. И мы радовались: лучше человека на детскую работу и не найти. Но раз вечером, я уж один в комнате партбюро остался, к докладу готовился, читал, материалы подбирал, вдруг стук: Любовь. «Извините, что поздно». И призналась: хотелось ей меня застать одного. Села вот тут на диване, где мы с вами сидим, и говорит: «Давайте условимся,— все, что я скажу,

это не бабий вздор, все мной обдумано». Отвечаю: «Понятно. В чем дело?» — «А в том: отпускайте меня с детской работы и помогите на курсы бетонщиков поступить, потому что я слышала, будто женщин туда не охотно принимают».

Принялся я ее уговаривать — тверда. «В чем дело,— спрашиваю я,— обидел кто вас, работа с детьми наскучила или, может быть, устали, отпуск дать, путевку на курорт выхлопотать?» Качает головой: «Кто это меня обидит! И детишек люблю, и уставать не умею, а только решила — уйду на бетон». И тут же резонно заявляет: «Дело в яслях налажено, персонал подготовлен, заместительницы лучшей не найдете»,— называет фамилию жены инженера, действительно весьма толковой тетки.

Что ей на это скажешь? Ну ладно, говорю, раз есть кому сдать дела и такое у вас горячее желание стать бетонщиком, поддержим вас перед начальником стройки. Поблагодарила, но не уходит. Еще есть что? «Есть,— говорит,— и еще. Неправильно, что Егор Устинов у вас до сих пор в общежитии живет, у него в Калуге у старой тетки трое детей растут. По такому случаю квартиру ему обязательно надо дать в тех домах, что сейчас сдаются. Подумайте-ка, каково отцу вдали от детей?» — «Что ж он сам об этом не позаботится?» — «А он,— говорит,— такой человек: для дела из горла вырвет, а для себя зимой снега не спросит. Такие дела и без заявления решать надо. Самим».

На следующий день толковал я с Егором, и, к стыду моему, насчет квартирных его дел Любовь оказалась права. Кстати, воспользовавшись случаем, переспросил я Устинова и про их знакомство. Человек он и без того молчаливый, а тут и вовсе замкнулся. Уставился глазами в пол и цедит сквозь зубы по фразе.

«Хороший,— говорю,— человек эта Любовь Чабан». А он: «Неплохая».— «Давно знакомы?» — «Восемь лет».— «Земляки?» — «В одном госпитале лежали».— «Роман, что ли, у вас был?» Усмехнулся невесело: «У меня тогда жена жива была, да и какие в госпитале романы. Так, по-солдатски о жизни с ней много беседовали».— «А теперь?» — «А теперь и вовсе здравствуй и прощай. Встречаемся на партсобраниях. Вон она теперь какая, чуть не первый человек в стройрайоне».— «На курсы бетонщиков вот просится, как думаешь, отпускать?» —

«Бетонщиков?» Показалось мне при этом вопросе, будто бы он встрепенулся. Но только на мгновение. А ответил он тем же тоном: «Это дело ваше, бетонщик из нее, могу сказать, выйдет. Она, чего захочет, всего добьется. Такая... Больше ничего у вас ко мне нет?»

И оказалось, Егор Устинов был прав. Полгода не прошло, стала Любовь Чабан бетонщиком. Да каким! Ее тут все привыкли видеть в накрахмаленном халате да в белой косынке. И когда она после курсов первый раз появилась в брезентовой робе, в рукавицах да в резиновых сапожищах, поначалу, ей-богу, странно было на нее и смотреть. Но и новое дело у нее тоже сразу пошло. Считаю, что, помимо среднего образования да природных способностей, помогала ей удивительная тяга к знаниям, этакое прямо-таки неистребимое желание узнать все новое, что появляется в ее профессии. Я как-то отчет о партийном просвещении составлял, ну и заглянул в библиотечные абонементы коммунистов. Так чего только она, эта самая Любовь, за год не прочитала!

Словом, и на новой работе Любовь Чабан уверенно пошла. Через несколько месяцев выдвинули ее в бригадиры, и тут-то вот и начались у них с Егором Устиновым распри. Как производственное совещание, так она на трибуну, всех расклюет, и Егору пуще всех достанется. И главное, не пустые слова говорит, от которых и отмахнуться можно и отмолчаться легко. Дело толкует. Вот они и схватятся. За ним — опыт бетонных работ многолетний — Днепрогэс, на нашей стройке с первых дней запевалой был. И бригада у него сколотилась ему под стать. Орлы! Вот и привык он, чтобы к каждому его слову прислушивались. А она — нет, для нее застывших авторитетов не существует. Она ему: «Много, Егор Иванович, имеешь, да не все отдаешь, резервы таишь для празничков, с запасцем работать привык». Он ее опытом, а она его наукой. Ведь вот человек, по собственному почину с Ленинградским домом техники в переписку вступила, все самое новое оттуда выцарапывает.

Поначалу-то она Егора только новинками атаковала, а потом стала и выработкой поджимать. Раньше, бывало, с Устиновым равных нет, сравнивать его не с кем. Дает всей бригадой полторы нормы, а перед праздниками и до двух доводит. Все ему спасибо говорят. А тут Любовь со своей бригадой за ним идет, на пятки ему насту-

пает, чуть он сдал — она уж тут как тут, того гляди перегонит.

Рассказывают мне коммунисты-бетонщики — здорово все это Устинов переживает. Имени ее слышать не может. И всегда-то был молчалив, а тут и вовсе слово из него вагой не вывернешь. До того дело дошло: она в дверь, он из двери. Видим, это уж выходит за рамки личного. Вызвали их обоих на бюро. Урезониваем: дескать, «коммунисты, а какой пример беспартийным подаете». Молчат. «Бригадиры лучших бригад, помогать друг другу должны, вперед дорогу прокладывать». Краснеют и молчат. Их критикуют, а они оба уставились глазами в пол и хоть бы слово. Требуем объяснить бюро, из-за чего хоть поссорились, не из-за паршивого же ружья, как тот Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Устинов усмехается: «Вот она скажет. Она у нас умнее всех, всех учит». А Чабан, не глядя на него: «Нет уж, пусть он, он самый опытный, у него опыта столько накопилось, что стал опыт от него все новое заслонять». И как тут на бюро схватятся!

Так мы тогда, признаюсь, ничего путного и не добились. То есть, если формально подходить, все вышло правильно, обещали они-таки в конце концов наладить деловые отношения. Устинов заявил, что будет, как положено коммунисту, реагировать на критику. Все это так. Но чувствую я, что ничего по существу не решено, что причина их распри не выяснена, а стало быть, и не устранена. Задержал я Устинова, с бюро пошли домой вместе, благо жили мы с ним теперь, после того, как он в новый дом переехал, почти что рядом. Ну, думаю, может быть, по дороге, один на один, его разговорю. Какое тут! Свернулся, как еж, иголки во все стороны торчат, цедит по одному слову сквозь зубы. «Оскорбили, может, невзначай друг друга?» — «Нет».— «Или какие-нибудь старые счеты?» — «Откуда?» — «Ну, может быть, ревность, черт вас подери?» Ничего не ответил он мне на это, только зубы сцепил, да так, что желваки на скулах заходили. И пришло мне тут вдруг на ум: не влюбился ли он, грешным делом, без взаимности в эту самую Любовь Чабан? Предположение, как видите, в этой ситуации странное. Однако ведь чего в жизни не бывает.

Принялся я ему будто невзначай рассказывать, как Чабан, приехав на стройку, первым делом о нем поинтересовалась, как квартиру для него хлопотала, как забоги-

лась о его детишках. Слушал он это молча и будто даже без особого внимания. Но чудилось мне, что все в нем натянуто, напряжено. Потом вдруг остановился. «Чего вы меня агитируете? С госпиталя знаю, какой она человек. Может, второй такой подобной и на свете нету, а только, эх!..» Зло так махнул рукой, свернул в первый попавшийся переулок, даже и не попрощался. Вот так...

Был этот разговор у нас с Устиновым, как сейчас помню, в четверг, а в понедельник иду утром по стройке, догоняет меня какой-то запыхавшийся человек, кричит: «На бетоне беда, арматурный блок с крюка сорвался, Егора Устинова пришибло». Случилось это не очень далеко, и я быстро оказался на месте происшествия.

Лежал Егор уже на брезенте, крови не видно, но глаза закрыты и неподвижны, как кукла восковая. Врач с сестрой возле него хлопочут, и, как водится в таких случаях, кругом люди, а тишина такая, что слышно, как тяжело, хрипло он дышит.

Вдруг крик, истошный такой бабий крик, от которого мороз по коже дерет. Какая-то женщина, вся растрепанная, растолкала всех, пробилась, упала возле Устинова: «Егорушка, что с тобой, милый, очнись». И плачет и разливается. Тут Устинов открыл глаза, смотрит на эту женщину, точно бы себе не веря, точно бы стараясь угадать, наяву это или в забытьи ему мерещится. И вдруг, меня это особенно поразило, вдруг вижу — в глазах этого человека, сильно помятого, только что очнувшегося, засветилось такое, чего, может быть, посторонним и видеть-то не полагается. А женщина обняла его, к себе прижимает, волосы гладит, шепчет: «Жив, жив, милый ты мой, любимый ты мой, столько лет тебя в сердце носила».

И тут, к удивлению своему, узнаю я в этой простоволосой, растрепанной женщине с мокрым лицом Любовь Чабан. Сам себе не поверил, мне даже неловко стало, будто в тайну какую чужую ненароком заглянул. Вижу — и остальные отвернулись, расходятся, врач инструмент свой в сумку собирает. Спрашиваю его — как? «Ничего ,— отвечает, — кости целы. Повезло». И к ней: «Гражданочка, оставьте его, ему сейчас покой нужен. Дома намилуетесь». Дома? При слове этом Любовь Чабан вскочила, ловким движением заправила под платок

растрепавшиеся волосы, и лицо у нее стало обычным, суровым, будто вовсе и не она только что обливалась утром бабьими слезами. Егор застонал. Она посмотрела в его сторону, взгляд ее опять потеплел, и почему-то понял я, что теперь вот уж не сойдет с этих ее губ улыбка, не погаснут ласковые огоньки в ее черных, как спелая вишня, глазах...

Так вот случай и помог ей с Устиновым прояснить свои отношения. И кто знает, не произойди этой беды, может быть, из-за неистовой гордости своей да из-за близорукости нас, окружающих, и разъехались бы они в разные стороны, ничего друг другу так и не сказав...

Вот, собственно, и вся история. Можете опубликовать, если покажется вам интересной. Только прошу при этом обязательно замените фамилии. Договорились?

1955

УЛЫБКА ДРУГА

Анне Зегерс с глубоким уважением
к ее проницательному таланту

В день, когда в газетах мелькнули сообщения, что в так называемой Казачьей балке у великой русской реки начато рытье котлована под плотину гидроэлектростанции, на северном участке, где на своем «Уральце» действовал Виктор Волнухин, неожиданно появились два незнакомца...

Настоящая работа еще только налаживалась. Введя свою огромную машину в забой, экскаваторщик все эти дни старался войти в творческий контакт с водителями закрепленной за ним автоколонны и вместе с ними наладить, как он любил выражаться, «поточную погрузку». И все не удавалось. Водители были новичками. Самосвалы то сразу сбегались в карьер и выстраивались перед экскаватором в длинную очередь, то надолго пропадали, и, чтобы не простаивать попусту, Волнухин рыхлил ковшом сухую красноватую землю или ровнял откосы забоя, обчесывая их зубьями ковша.

Поиски контакта с водителями отняли немало энергии. И вот под вечер, когда все стало наконец налаживаться, экскаватор, размахивая стрелой, как бы уже на-

чал сопрягаться с ритмично двигавшейся к нему вереницей машин, а Виктор Волнухин снова почувствовал столь знакомую ему радость спорой, умно организованной работы, на откосе забоя возникли две незнакомые фигуры, и все, как говорится, полетело к чертям.

Эти двое шли, должно быть, не по дороге, а кратчайшим путем, через степь. Оба были в пыли, на черных лицах сверкали лишь глаза да зубы. Незнакомцы, неожиданно появившись над самым обрывом, что-то отчаянно закричали, делая руками запрещающие знаки. Отнеся в кузов очередного самосвала стальную пригоршню в три кубометра грунта, Виктор Волнухин остановил машину и, высунувшись в окно кабины, сердито спросил:

— Ну? Чего надо?

Что ему ответили, он не расслышал, но показалось, что он различает слова «стой», «нельзя», «опасно». Очередной самосвал уже стоял под стрелой, ожидая свои десять тонн грунта. Еще несколько машин, переваливаясь, осторожно входили в балку по извилистому, не утрамбованному еще спуску. Розовым облаком золотела в лучах заката поднятая колесами пыль. Экскаватор застыл, подняв стрелу, будто грозя огромным кулаком тем, кто мешал ему продолжать свое дело. Моторы, работая вхолостую, напряженно пели.

— Чего вы, какого дьявола? — закричал Волнухин, чувствуя такой прилив злости, что похолодели пальцы и задрожали углы губ.

Самосвалы снова выстраивались на спуске длинной нелепой очередью. Ритм их движения, налаженный с таким трудом, радостное чувство быстроты и слаженности — все это было скомкано. Экскаваторщик с нетерпеливой ненавистью следил, как двое запыленных людей, обойдя обрыв, спешат к машине, и наконец, не выдержав, спустился на землю и сам двинулся им навстречу.

— В чем дело? Ну!

— Останавливайте машину... Здесь копать нельзя,— сказал тот, что был повыше, худощавый человек в выгоревшей гимнастерке, с пустым рукавом, засунутым за старый офицерский пояс.

— Слава те, осподи, поспели! — бормотал другой, с трудом преодолевая одышку.— Я как прочел в перерыв в газете, что начали копать в Казачьей балке, так

и бросился к нему, к Вадим Михалычу: давайте с работы отпросимся, бежим туда... И всю дорогу под сердцем щемило: а вдруг опоздаем!.. Фу, весь мокрый стал, как суслик осенью.

Это был низенький, крепкий усатый человек. Держа в руках кепку, он старался вытереть пот, но только размазывал его по лицу, по лысому большелобому черепу. Его носовой платок уже стал не чище концов, что употребляют для обтирки машины.

— Да откуда вы сорвались? Почему тут нельзя копать? — крикнул Виктор Волнухин, хватая низенького за лацканы пропыленного пиджака и основательно встряхивая его.

Но тот и сам был не из слабых: он взял экскаваторщика за запястье, и руки, сразу разжавшись, отпустили пиджак.

— Не тряси, я не груша... А копать нельзя потому, что там,— он ткнул ногой сухую, будто каменную землю,— там смерть. Понятно это тебе?

— Да, да, товарищ механик. Как раз примерно в этом месте, где вы роете, невзорвавшаяся торпеда,— пояснил безрукий,— стоит ее задеть ковшом, и, наверное,— он, должно быть привыкший все подсчитывать, прикинул глазом простор забоя,— наверное, вон до той верхней машины все снесет...

— Откуда известно про торпеду? — мрачно спросил Волнухин, подозрительно вглядываясь в потные лица незнакомцев с тайной надеждой, что все это какая-то шутка, что торпеду они для чего-то придумали и что можно будет, еще до того как зажгут прожекторы, хотя бы кое-как восстановить погрузочный поток.

— Осподи, как же нам неизвестно, когда мы с Вадим Михалычем... Да что мы, весь полк наш видел, как он ее тут торнул. Вот такую.— Низенький широко развел руки.— Да нет, ширше... А она не взорвалась, в землю ушла, нору после себя оставила... Потом, ночью, мы из балки на переправу ушли, а она, торпеда, и сейчас там сидит, вас караулит.

— Это точно. Заряд, вероятно, огромной силы,— подтвердил безрукий.— Одна такая торпеда потом на окраине упала — целый квартал как бритвой срезало.

— И наш полк пришлось бы лопатами собирать, если б она, холера, ахнула... Мы в этой балке, как огурцы в кадке, теснились. А она нас помиловала. Должно, тебя

подождать решила... Я как давеча прочел, что вы тут ковыряться начали, волос на голове зашевелился, даром что я уж вот лет десять как лысый... Не веришь? Сомневаешься?.. Вот мой документ. Мы, друг, бывшие солдаты из знаменитой 13-й Гвардейской. А теперь я кузнец с того вон завода, видишь, что небо коптит? А это инженер наш, конструктор, товарищ Чижов Вадим Михалыч.

Огромный завод действительно дымил вдали за рекой, окрашивая блеклое степное небо в грязноватые тона. Документы подтвердили, что незнакомцы были действительно кузнецом и конструктором на этом заводе. Не верить им было нельзя. Посоветовавшись со сменным прорабом, Волнухин скрепя сердце остановил моторы. Пришедших отвезли на десятитонном самосвале в молодой городок, что рос на берегу реки, опережая стройку. Их доставили в управление, в тот его отдел, что занимался расчисткой фронта будущих работ.

Да, на стройке был такой отдел, и задачей его было находить, извлекать и обезвреживать мины, неразорвавшиеся снаряды, авиабомбы и иные сюрпризы, которые земля таила здесь с тех уже давних пор, когда рабочие площадки строительства были плацдармом гигантской битвы. Степь вокруг города была так густо начинена металлом, что саперам, действовавшим под началом инженер-полковника Соколова, дел хватало.

Полковник — высокий и нестарый еще человек, несколько оплывший и потучневший, как это часто бывало с военными, очутившимися после многих лет беспокойной боевой жизни в мирных условиях,— в этот день с утра пребывал в самом радужном настроении. Наконец-то он заживет настоящей, семейной жизнью! До сих пор он обитал в продолговатом, засыпном бараке, торжественно именовавшемся «домом приезжих», деля маленькую комнату со своим заместителем. А вот на днях в новом городе, что рос над самой рекой, сдали под заселение еще один квартал. Невдалеке была большая и тоже новенькая, с иголочки, школа. В одном из домов полковник получил квартиру, а его жене — учительнице по профессии — было обещано с осени место в школе. Как раз в это утро и пришла телеграмма. Жена извещала, что они уже уложились и вместе с дочкой выезжают к нему.

Телеграмма была самая обыкновенная, лаконичная.

Но всякий раз, когда полковнику удавалось остаться одному в своем наскоро сколоченном из неотесанных досок кабинетике, он доставал и рассматривал ее. Ему казалось даже, что пахнет она не клейстером, а духами, которые любила его жена, что скучные, считанные слова как бы излучают радость. Сквозь бумажные ленточки, наклеенные на бланк, на него смотрело круглое, полное лицо Липы-старшей и смуглая черноглазая рожица Липы-младшей, дочки, которую он представлял не особенно четко, ибо не видел их обеих два с лишним года, а дети так быстро растут!

Думая о них, сейчас уже, может быть, ехавших к нему, полковник то и дело посматривал на часы: скорей бы уж закончить дела да снова побывать в восточном секторе города, еще раз осмотреть светленькую, совсем пустую квартирку, ключ от которой лежал в кармане. Он уже запер стол, вызвал машину и потянулся к плащу, когда нетерпеливо зазвонил телефон и в трубке зазвучал взволнованный голос прораба с Казачьей балки. Весть была такая, что сразу как-то вылетели из головы, стали нереальными и приятные мечты о собственном гнезде, первом настоящем гнезде после войны, и думы о жене с дочкой... Торпеда! С этим шутить нельзя. Вестников так неожиданно надвинувшейся беды полковник встретил у порога. Он был сосредоточен, сух.

— ...Расскажите все подробно.

На столе уже лежала военная карта-километровка, сплошь исчерченная разноцветными знаками. Отыскав на ней круто изогнутое колено Казачьей балки, мысок под обрывистым берегом, где был забой, и ткнув в него кончик карандаша, полковник спросил:

— Здесь?

Конструктор, кузнец и приехавший с ними расстроенный Волнухин — все трое ветераны войны,— скользнув по карте опытным глазом, подтвердили:

— Да, тут...

Полковник поставил на карте красный вопросительный знак и попросил рассказать поточнее, как и с чего было сброшено то, что товарищи называли торпедой: день, час, марку самолета, примерную высоту выброса. Поинтересовался даже тем, как снаряд шел: отвесно или под углом, слышался ли при этом свист и какого тона? Слушая, полковник смотрел на карту и, точно бы позабыв, что он не один, напевал, насвистывал и вдруг вы-

пускал следующую очередь вопросов: как глубоко ушла торпеда? Не пытался ли кто-нибудь измерить глубину? Какой формы была яма, края ее? Крепок ли был грунт?

Еще не погасла над степью вечерняя заря, когда полковника известили, что его саперы, посланные к месту происшествия, с помощью приборов установили наличие значительной металлической массы, скрытой в земле в центре волнухинского забоя рядом с экскаватором. Последовало распоряжение немедленно вывести людей, оцепить это место канатом, выставить часового. К утру туда был вызван отряд с шанцевым инструментом.

Полковник уже понимал, что работа предстояла необыкновенная, исключительно сложная и очень опасная. Он решил сам руководить раскопкой и извлечением страшного сюрприза. Для этого нужны были спокойные нервы и ясная голова. Следовательно, необходимо выспаться. Он обтерся на ночь холодной водой, как это делал каждый вечер еще с фронтовых дней, и, пользуясь тем, что сожитель был на дежурстве, распахнув настежь окно, улегся в постель, натянул одеяло. Но он уже предвидел, что сегодня весь этот ритуал напрасен и заснуть ему не удастся. Торпеда не выходила из головы, оттесняя на второй план телеграмму, ключ от новой квартиры, раздумья о скорой встрече с двумя Липами.

Рассказы свидетелей совпали в мельчайших деталях. Предварительное обследование места подтвердило правильность сказанного: да, в земле сидел, затаясь, ожидая своего часа, неизвестный снаряд огромной взрывной силы. Его надо извлечь, обезопасить. Но во всей этой истории что-то шло вразрез с инженерными правилами. За мирные годы полковник успел систематизировать, обобщить опыт своего опасного ремесла. Казалось, не могло уже быть случая, который поставил бы его в тупик или даже хотя бы просто удивил. А тут вдруг появляются эти двое со своим рассказом... Новичок, быть может, не заметил бы в нем ничего особенного, не уловил бы противоречий. Ну, бросили какую-то большую бомбу, ну, не попали в цель, ну, бомба не взорвалась...

— ...Нет, черт возьми, все это не так просто! — сказал вслух полковник и, сев на кровати, принялся снова взвешивать известные ему данные.

Судя по тому, как глубоко ушел снаряд в сухую,

с трудом поддающуюся даже могучему ковшу экскаватора землю, он был самого большого калибра. Но это могла быть обычная авиационная бомба, скажем, в тонну весом. Те летели отвесно. А эта, как единодушно утверждали очевидцы, падала полого. Не могло это быть и «ФАУ», какие Гитлер кидал на Англию. Те толкал собственный двигатель, а этот был принесен самолетом... Морская торпеда? Не может быть... А если даже и допустить, что в горячке гигантского сражения немецкое командование решилось ударить по скоплению войск такой дорогостоящей штукой, она бы обязательно сработала, ибо все известные полковнику снаряды такого рода были оснащены исключительно чутким взрывателем. О технологическом браке и речи быть не может. Сложные, дорогостоящие механизмы торпед изготовляются с особой тщательностью. Такой снаряд не мог бы бесполезно уйти в землю.

— Что же это такое, что? — говорил вслух полковник, маясь от бессонницы.

Наконец он не выдержал, встал, набросил на плечи китель и, шлепая по дощатому полу босыми ногами, подошел к окну. Барак стоял на пригорке, и из окна была видна широкая панорама работ, намеченная в темноте пунктиром перемигивающихся огней. А за ними огромный город вытягивался вдоль реки, мерцая, как Млечный Путь, опрокинувшийся на землю... На заречном заводе выдавали стальную плавку. Багровое зарево, точно бы тяжело дыша, покачивалось над цехами, купалось в черной воде реки, подсвечивало облака трепетным полыханием.

И полковнику вдруг живо припомнилось, как такие вот зарева стояли когда-то над всем тем берегом, как на фоне их обломки домов глядели во тьму золотеющими провалами пустых окон, вспомнилось, как грохоты выстрелов и разрывов перекликались, сливаясь в немолчный гул. И еще вспомнилось, как ему, уже немолодому воину, становилось жутко, когда изредка в городе за рекой наступала тишина.

И вдруг давно уже притупившееся, почти позабытое чувство глухой ненависти проснулось в старом солдате, ненависти к тем, кто прорвался сюда, в центр России, кто калечил и жег этот славный город, кто оставил в земле занозу войны, которая сейчас вот, столько лет спустя, чуть не наделала бед. ...А может быть, еще

и наделает... Чтобы не видеть зарева, все еще мерцавшего на небе, полковник задернул штору и опять наклонился над рабочей картой. Он уставился в ту ее точку, где вчера у изгиба серой, вздутой вены балки рука его поставила красный вопросительный знак. Что же там таится?.. Что?

«Нет, надо забыть об этом и хотя бы подремать». Пытаясь отвлечься, он вертел в руках ключ от новой квартиры, снова и снова перечитывал телеграмму, пытался представить, как две Липы садятся в поезд, размещаются в купе, спят или тихо беседуют, как смотрят в окно на огоньки проносящихся мимо городов и поселков... Ничего не выходило. Диковинный, невиданный снаряд сковывал все мысли.

Изнемогая от чувства неопределенности, обостренного вынужденным бездействием, полковник едва дождался рассвета. На первом попутном грузовике он устремился в степь, на Казачью балку. Люди его были на месте. Они завтракали, стуча ложками о котелки. Вокруг обтянутого канатом квадрата земли часовой протоптал за ночь тропинку. Возле самой этой дорожки, присев на корточки, нервно курил экскаваторщик Волнухин. Кругом валялось несколько измятых, изжеванных окурков. Нетрудно было понять, что сидит он тут уже давно, может быть всю ночь, и тоже мается от нетерпения...

— Товарищ полковник, чего они тут столовку открыли? Копать же надо, время уходит,— сказал он, нехотя вставая, и зло бросил в сторону измятую папиросу...

Приняв все меры предосторожности, полковник сам нарисовал на земле линию разреза. Заработали лопаты. Примерно через час одна из них звякнула обо что-то твердое. Немедленно подняв людей наверх, полковник влез в яму и осторожно руками отгреб в сторонку развороченный грунт. Тревога оказалась напрасной. Это был всего лишь камень. Раскопки возобновились, но теперь уже копали осторожно, и, когда вскоре снова раздался металлический звук, все выпрямились, застыли. На этот раз, отгребая руками землю, полковник нащупал ржавый край массивного металлического цилиндра. Люди снова были подняты наверх.

По старой фронтовой привычке на опасное дело полковник всегда вызывал охотников. И на этот раз их ока-

залось немало. Из них он отобрал двух саперов-сверхсрочников из бывших своих боевых товарищей. Всем было приказано отойти от ямы на сто метров, под прикрытие откоса. Двое отобранных и сам полковник, как гимнасты, на руках осторожно опустились в разрез. Выкурили по папироске, посмотрели на небо и молча, как это всегда бывает во время самых опасных бед, стали окапывать снаряд.

В полдень полковник выбрался из раскопа, отряхнул с шаровар песок и приказал подвезти к яме уже прибывшую по вызову автомашину с подъемным краном. Кран опустил в яму крюк. Бурый от ржавчины цилиндр был обхвачен тросами, осторожно вывешен, поднят на цепях. Потом, взвыв мотором, машина начала пятиться. Огромный, в два человеческих роста снаряд, медленно покачивающийся на тросах, издали походил на сигару с обкушенным концом. Все со страхом смотрели на него. Конструкция была необычна, незнакома, но нетрудно было предположить, какая гигантская разрушительная сила таилась в этой ржавой стальной оболочке.

Теперь все заключалось в том, чтобы с предельной осторожностью отвезти снаряд подальше в степь, на безопасную дистанцию. Шофер сидел бледный, действовал как лунатик. Боясь, как бы он от страха не сделал глупость, полковник открыл дверцу, с подчеркнутой тщательностью оскреб о подножку землю с подошв, неторопливо разместился в кабине. Стальная сигара медленно раскачивалась взад и вперед. По мере высыхания ржавчина рыжела на ее боках.

— Ничего боровка откопали? — подмигнул полковник шоферу.

Шофер не ответил. Лицо его приняло землистый оттенок. Крупные капли пота сбегали по щекам, висели на подбородке, тяжело падали на грудь, оставляя темные пятна на рубашке. Но машину он вел, как надо, медленно-медленно, и эта медлительность движений напоминала полковнику кошмар, в котором неведомая, неотвратимая опасность настигает, неуклонно надвигается на тебя, и хочется бежать — и нет сил переставлять ноги.

Чтобы отделаться от этого томительного ощущения, полковник старался думать о стальном цилиндре, заключающем в себе смерть, с практической, с технической стороны. Ну ясно, громадина слишком дорога и сложна, чтобы применять ее против пехоты. Ясно, что они стали

бросать эти штуки в степи, по живым целям, не от хорошей жизни — ходили ва-банк в критические дни борьбы за город. Ну да, и эти двое сказали вчера: в январе. Как раз когда окруженная немецкая армия начинала агонизировать, устав и обескровев от безуспешных попыток вырваться из кольца... Но почему же эта штука не взорвалась? Что спасло полк от страшной силы, таящейся в ней?

Чем больше полковник над этим раздумывал, тем тверже приходил к убеждению, что он должен это выяснить. Обязательно. Непременно. Ему казалось, это вопрос офицерской чести, партийный долг. Почему? — он и не старался устанавливать. Стальной цилиндр, висевший на натянутых цепях, приковывал все его внимание, было не до раздумий.

Между тем машина выбралась из котлована на дорогу, потом, свернув с проторенной колеи, вышла в степь. Когда гребень откоса закрыл забой, полковник приказал шоферу остановиться и опустить груз на землю. Снаряд уже высох и был теперь огненно-рыж. Машина ушла, а он остался лежать, как огромная дохлая рыба, гипнотически притягивая к себе взгляд полковника. И опять, стараясь успокоиться, он заставлял себя думать о чем-то далеком. Близко был только он, этот снаряд, тайну которого предстояло разгадать. Полковник чувствовал, как все в нем точно бы обострилось. Он, например, сразу заметил, с каким облегчением шофер захлопывал дверь кабины и с какой стыдливой торопливостью посланные за слесарными инструментами люди бросились бегом подальше от смерти, заключенной вот в эту стальную оболочку.

Офицер присел на сухую седоватую траву. Вдруг кто-то, будто продолжая давно начатую беседу, спросил у него над самым ухом:

— Почему же она, холера, не взорвалась?

Возле стоял экскаваторщик Волнухин. Он вытирал концами масло с рук и, как казалось, был весь поглощен этим занятием. И оттого, что малознакомый человек этот мучился тем же вопросом, полковник вдруг почувствовал, как по всему телу его прошел хорошо знакомый покалывающий холодок, какой он ощущал на войне, выползая со своими саперами ночью на вражеское минное поле. Он как-то сразу успокоился и ответил, как будто говорил о чем-то давно уже решенном, неизбежном:

— Выясним... Эту штуку я сам сейчас разберу.

Произнеся это, он добавил ворчливым тоном:

— Уйдите-ка вы отсюда подобру-поздорову. Вам-то к чему рисковать? — И строже: — Ступайте. Ну!

Когда экскаваторщик скрылся за гребнем откоса, полковник по-деловому осмотрел находку. За годы пребывания в земле корпус снаряда покрылся толстым слоем ржавчины. Коррозия шла слоями и скрывала следы сочленений, по которым опытный глаз мог бы приблизительно установить схему незнакомой конструкции. Трудно было разгадать даже такие несложные для опытного человека вещи, как линии свинчивания, расположение взрывателя и второго, запасного взрывателя, так называемого ликвидатора, которым наци обычно снабжали свои наиболее ценные снаряды на тот случай, если они станут трофеем противника и тот попытается их разобрать.

Опыт настойчиво подсказывал: самое правильное — расстрелять или подорвать находку издали, как это чаще всего делалось с морскими минами, выуженными из воды тральщиками или выброшенными прибоем на побережье. Но что-то заставляло полковника действовать сегодня вопреки опыту. Когда прибыла походная мастерская, он, расширив зону оцепления, остался один на один со страшной загадкой и своей решимостью ее разгадать.

Он знал, на что идет. На миг мелькнула в уме картина: две Липы подъезжают к вокзалу, шарят глазами в толпе встречающих, и кто-то выходит им навстречу и говорит... Но только на миг. Как все много воевавшие люди, он не мог долго думать о смерти; но обычный ветреный степной денек казался ему особенно милым, ярким, горький запах подсыхающей полыни и чебреца был особенно вкусен, а ветерок, дувший с реки, казался необыкновенно ласковым. И, как в детстве, этому пожилому грузному человеку хотелось глубже вдыхать этот воздух, жмуриться, подставляя солнцу лицо, смотреть на искрящуюся реку, на зеленый остров, на зыбящийся в мареве горизонт...

Но, подавив в себе и эти желания, полковник деловито снял китель, засучил рукава сорочки. Сначала он облил стальной цилиндр керосином и принялся соскабливать ржавчину. Это было нелегким, хотя и чисто механическим делом. Мысль об опасности постепенно ушла,

и почти спокойно он думал, что вот бывает же в жизни: война давно кончилась, обвалились в балках старые блиндажи, оплыли, заросли полынью окопы, фронтовики вернулись к обычным делам, а вот ему, полковнику Соколову, которому, по сути дела, пора бы уже и в отставку, все еще приходится, как в боевые дни, разыскивать по степным балкам притаившуюся там смерть, поджидающую свои жертвы. Потом подумал он о том, как много неразорвавшихся снарядов, мин, бомб извлекли за эти годы его саперы, и почему эти снаряды, мины, бомбы не взорвались, и о чем это говорит: о торопливости ли военного производства, о несовершенстве ли технологического процесса, или о том, что люди, готовившие боеприпасы, не хотели питать смерть своим трудом, а может быть,— кто знает? — мечтали помочь советским воинам разбить Гитлера.

В некоторых из этих неразорвавшихся снарядов его саперы вместо взрывчатки обнаруживали песок, шлак или черную формовочную землю, какую употребляют в литейных. Ребята любили находить такие сюрпризы. Они называли их «улыбка друга» и хранили в особом чуланчике, мечтая даже когда-нибудь передать это в военный музей. И вот теперь, соскребая ржавчину со стальной туши, полковник думал: «Улыбка друга» — все это так, но все эти «улыбки» изготовлялись, как это легко было установить по клейму, на заводах Чехословакии, Франции, Бельгии — в оккупированных странах. А почему не разорвалось это чудовище? Вот на боку четко выбит распластанный орел, вцепившийся в свастику, и маленький якорек — клеймо известного гитлеровского морского арсенала, с продукцией которого саперам уже доводилось встречаться, когда они расчищали русло реки. На такое предприятие гитлеровцы остарбейтер или рабочих из европейских стран не допускали. На сборке, на выпуске огромных, может быть даже уникальных снарядов, несомненно, работали тщательно отобранные, проверенные люди, преданные нацистскому режиму. От таких не дождешься «улыбки»... Ну, а что же тогда?...»

Когда снаряд был раздет от ржавчины, полковник еще раз внимательно осмотрел его отливавшую теперь синевой поверхность, стараясь по рисунку сочленений угадать конструкцию. Нет, ничего подобного встречать ему не приходилось. Необычными, вероятно, были и взры-

ватель и ликвидатор, которым он должен был быть обязательно снабжен. В каком же месте подстерегает смерть того, кто приступит к разборке? Ничего угадать нельзя. Ясно только, что разряжать снаряд обычным путем не следует.

И тогда пришло необычное решение: распилить корпус посередине. Это, конечно, тоже опасно, но все-таки не так. Составив план действия, полковник пригласил двух саперов. Они вооружились пилой для металла и работали до заката. Потом поужинали и продолжали, когда уже стемнело, ночью. Устав, отдыхали, выкуривали по папироске, закусывали из котелка и снова принимались за дело. Полковник все время был рядом. Он лежал на земле, покусывая травинку, неотрывно следил за движением пилы, за тонкой струйкой серебристых опилок, сыпавшихся в сухую полынь то с одной, то с другой стороны. Иногда он поднимался и подменял того или другого.

Как в былые военные дни, в пору жаркого боя, три старых солдата трудились, позабыв о времени, не слыша ничего, кроме скрипа стали. Уже под утро полковник, следивший за линией разреза, предостерегающе поднял руку.

— Стойте! — сказал он с неестественным спокойствием. И с таким же неестественным спокойствием саперы разогнули спины и отерли ладонями вспотевшие лбы.

Действительно, разрез опоясал почти весь корпус. Концы его были готовы сомкнуться. Полковник приказал саперам поддерживать обе половинки, чтобы они не раскатились и не потревожили взрыватель, и сам взял пилу за еще теплые рукоятки. Ум предостерегал: вот сейчас может произойти взрыв. Страшный взрыв, который встряхнет всю окрестность до самого горизонта, уже розовеющего на востоке. Но сердце билось спокойно. Страх, нерешительность, напряжение — все будто перегорело за эти сутки. Перед полковником была просто работа, требовавшая точности, сосредоточенности. И все. Думая только о ней, об этой работе, он, потверже перехватив рукоятки, сделал рез, еще рез... Сквозь скрип металла слышалось тяжелое дыхание троих людей.

Где-то далеко, должно быть в поселке строителей, чуть слышно пиликала гармонь, совсем вдали хриплова-

то, точно бы спросонья, перекликались сирены пароходов. Из балки, где при свете прожекторов продолжались работы, доносился то металлический скрежет ковша, то грохот экскаваторной стрелы, то глухой, ухающий звук земли, падавшей в кузов самосвала. Да еще кузнечики неистово трещали кругом, точно бы совершенно охмелев от терпких запахов степи, увлажненной предутренним туманом.

И эти, такие мирные звуки, как бы подчеркивали, какая страшная опасность таится в утробе стального чудовища, холодного и влажного от росы. Так почувствовал бы каждый, кто подошел бы в это мгновение к месту необычайных работ. Но те, кто возился у снаряда, уже ничего не видели, кроме лезвия движущейся пилы, ничего не слышали, кроме скрипа металла. Чувствуя, что руки у него немеют, полковник, преодолевая растущее оцепенение, все решительнее и решительнее водил пилой... И вот части стального корпуса, точно ожив, вздрогнули. Из трех грудей разом вырвалось: «А-а-а!»

Но ничего страшного не произошло. Теперь нужно, не потревожив механизма, разъять две половинки. На это уходит еще сколько-то времени. Сколько — ни полковник, ни саперы не знают. Время для них не то остановилось, не то бежит с невероятной быстротой.

Нет, снаряд не взорвался. Его страшная разрушающая сила пленена. Открыт доступ к секретам механизмов. Дальнейшее — дело техники. Но трое людей обессиленно лежат на траве, ощущая тягучую, все подавляющую усталость.

Лишь когда разгорелась оранжевая заря и туманы, водившие в степи хороводы, растаяли в первых солнечных лучах, началась разборка обезвреженного механизма. Вот он весь лежит на брезенте. Почему же снаряд не взорвался?.. Взрыватель не очень сложен. Конструкция в общих чертах известна и не нова. Но это чуткий механизм, который мог бы сработать даже при ударе об воду... В чем дело?

Полковник достает мерительный инструмент. Ноздри у него раздуваются, как у охотника, который, вскинув ружье, взял на мушку тетерева... Может быть, вот эта деталь коротковата или длинна та, с которой она сопряжена?.. Может быть, ошибка в сборке?.. Нет, все точно. Немецкая точность... Так в чем же, черт возьми, дело?

Почему эта дьявольская штука дала себя разрезать и теперь валяется, как освежеванная кабанья туша?

— Товарищ полковник! Отдохнули бы вы,— советует один из саперов, а сам с той же нетерпеливой жадностью перебирает, примеривает, складывает детали.

— Да, поспать бы в самую пору,— говорит другой и тоже шарит, шарит в деталях.

Теперь, когда опасность миновала и утру вернулись его прелестные краски, воздуху — бодрящая влажность, степи — ее извечный горьковатый полынный запах, полковник вновь думает о ключе, лежащем в кармане, о телеграмме, которая совсем истерлась, о том, что где-то уже едут к нему две Липы... Конечно, надо бы подготовиться к их встрече, чего-то купить, как-то обставиться... Но нет, он не уйдет отсюда, пока не найдет разгадки. И полковник снова — в который уже раз! — тщательно рассматривает каждую мелочь распотрошенного снаряда.

Вдруг он слышит взволнованный голос:

— Товарищ начальник, гляньте-ка! — Один из сержантов тянет ему обрывок жесткой бумаги — так, пустяковый уголок, размером в половинку игральной карты, испачканный в ржавчине и вазелине.

Полковник, весь поглощенный созерцанием деталей, неохотно отрывает от них взгляд. Ничего особенного — обычная картонка. Подсунули, наверное, чтобы что-нибудь не болталось. Так и есть. Обрывок какого-то технического талона. И напечатано на нем что-то по-немецки...

— Нет, нет, не с этой, с другой стороны! Там от руки написано синим карандашом,— говорит сапер.

Полковник поворачивает обрывок и видит сделанную по-немецки надпись. Писали, должно быть, второпях, не очень четко, но все же можно разобрать.

— «Нихт алес дойче фольк ист наци»,— читает вслух полковник.

— Улыбка друга? — чуть ли не в один голос спрашивают оба сапера и улыбаются, показывая прокуренные зубы.

Полковник только кивает головой и бережно прячет кусок картона в книжечку удостоверения личности. Голод, слабость так дружно атакуют его, что он, еле передвигая ноги и пошатываясь, медленно бредет к косогору, волоча за собой китель. Там ждут его какие-то

люди, и среди них он видит черное, цыгановатое, заросшее густой щетиной лицо экскаваторщика Волнухина, и безрукого инженера, и приземистого кузнеца...

— Ну что, что там? — слышится со всех сторон.

Полковник неторопливо достает удостоверение, извлекает кусочек картона и слабым голосом переводит надпись на русский:

— «Не все немцы фашисты...» Понятно?..

— Видели! — восклицает кто-то.

— Но как они сделали, что он не взорвался? — спрашивает экскаваторщик.

Полковник пожимает плечами.

— Можно только строить догадки.

Обрывок картона переходит из рук в руки. Его передают бережно и смотрят на него подолгу, хотя никто не читает по-немецки. Полковник тем временем дрожащими руками надевает китель, сует палец за ворот — тот как хомут свободно болтается на похудевшей шее. Может быть, это чужой китель? Нет, вот и ключ от новой квартиры и телеграмма за подписью «Две Липы» в кармане.

Только тут полковник Соколов начинает понимать, чего стоила ему разгадка тайны необычной торпеды.

1956

ХРАБРОСТЬ

Старому другу,
ветерану калининской сцены
В. М. Брянскому

Клев прекратился, но летний вечер был так тих, так хорош, отблески заката так задумчиво багровели на потемневшей и точно бы загрустившей воде, а с соседнего луга так аппетитно потянуло терпкими запахами подсыхающего сена, что никому не хотелось уходить. Смотали удочки и улеглись на посеревшей от росы траве. Рыба судорожно всплескивала то в одном, то в другом ведерке. Ленивая волна тихо пошлепывала о днище полувытащенной на берег лодки, и только этот мелодичный звук перебивал надсадное верещание кузнечиков.

В такой вечер хорошо думается. Должно быть, по-

этому разговор и шел между рыболовами на темы отвлеченные.

Спорили о храбрости.

Маленький нервный человек с жесткими, точно проволочными, волосами цвета воронова крыла, подмастер с текстильной фабрики, у которого даже тут, на рыбалке, на выцветшей гимнастерке пестрели засаленные орденские ленточки, уверял, что храбрость — это от рождения, и все принимался рассказывать действительно необычайные боевые приключения какого-то своего приятеля-разведчика, о котором он повествовал с таким смаком, что собеседникам невольно думалось, не о нем ли самом и идет речь.

Другой рыболов, инженер с металлургического завода, человек грузный, малоподвижный, молчаливый, заявил, что думать так недиалектично, что храбрость — субстанция надстроечная и воспитывается она средой. В подтверждение он рассказал, как в дни войны понадобилось вдруг срочно произвести ремонт еще не вполне остывшего мартена, как ремонтники в страхе остановились у разверстого жерла, из которого несло обжигающим жаром, и как один коммунист, обмотавшись мокрым брезентом, полез в печь и, начав там работать, примером своим увлек остальных, даже того, кто вначале больше всего возражал против такого невероятного способа.

Третий собеседник, черный, как жук, с белками глаз кофейного оттенка и с резким ястребиным профилем, точно бы отлитым из темной бронзы, сказал, что все дело случая. Бывает, когда и смелый мужик «труса празднует», а когда и вовсе пустой человек храбрецом объявится. Похлопывая таловым прутом по голенищу сапога, он не без юмора вспомнил, как в позапрошлом году в их колхозе пожилая доярка, тетка сырая, рыхлая, боявшаяся лягушек и мышей, однажды, застав у телятника матерого волка, приняла его за собаку и так огрела подвернувшимся под руку ведром, что тот очумело вылетел из ворот и пустился наутек, разогнав по пути трех дюжих парней из плотничьей бригады...

— Ну, а вы что на сей счет скажете? — спросил инженер, обращаясь к четвертому рыболову, невысокому, крепко сбитому, русоголовому человеку в кожаной летной куртке, в синих военных шароварах и болотных сапогах, что лежал, по-богатырски развалясь на спине,

покусывая травинку, и, не вмешиваясь в беседу, следил, как в потемневшем небе одна за другой загораются колючие звезды.

— Кто-кто, а уж вы, товарищ полковник, толк в этом знаете,— поддержал ткацкий подмастер с орденскими ленточками на гимнастерке.

В голосе его вдруг зазвучала та дружеская официальность, с какой демобилизованные ветераны обращаются по старой памяти к офицерам.

— Верно, Андрей Ликсеич. Уж сколько рыбы с вами переловлено, сколько ухи вместе съели, и хоть бы раз вы что о себе рассказали! Эдакий выдающийся, можно сказать, человек, памятник вам живому где-то стоит, и ничегошеньки мы о вас не знаем.

Человек, которого называли «полковником», сел, скомкал и отбросил травинку, которую мгновение назад так безмятежно жевал. Чувствовалось, что уже много раз слышал он такие просьбы, что они ему неприятны то ли по свойству характера, то ли потому, что отвечать на них ему давно уже надоело.

— Вон, вон звезда красноватая. Марс. Предполагаем, что там живые существа есть. А один фантазер писал, будто оттуда снаряд с атомным двигателем до нас долетал... В Сибири упал. Тунгусский метеорит... А ведь, черт его знает, может быть! Во всяком случае, забавная гипотеза.

Он явно уводил разговор в сторону. Но не тут-то было. Никто и не взглянул на бархатное небо, где сверкала красноватая звезда, с которой летят атомные аппараты. Друзья по рыбалке сидели вокруг полковника, и все трое смотрели на него такими требовательными глазами, что отнекиваться стало уже просто неприлично. Полковник нахмурился, раза два прочесал пятерней русые волосы, торчащие в разные стороны, и, вздохнув, задумчиво начал, не изменяя и теперь своей обычной манеры говорить короткими фразами:

— Ладно. Теоретизировать не стану... Так, случай один расскажу. Любопытный. Мне и сейчас вот кажется: ничего более запоминающегося не видел за всю войну.

В воде, которая теперь совсем потемнела и над которой уже потянулись первые волокна тумана, всплеснула большая рыба. Полковник насторожился, в глазах мелькнул охотничий азарт, даже ноздри короткого, тупого носа раздулись.

— Щука! — почти вскрикнул он, напряженно глядя в воду.

— Пусть себе поживет, в другой раз выловим,— сказал колхозник.— А вы рассказывайте, рассказывайте, как у вас там все было, товарищ полковник.

— Не у меня. Я тогда был лейтенантиком. Прямо из Качинской школы — и на фронт. На свой истребитель поглядывал, как на девушку, влюбленно-боязливо: хорош, а какой характер, черт его знает!.. Ну и, как водится, страшно храбрился, мечтая о подвигах, рвался в бой. А командир полка, как назло, до поры до времени выпускал нас, юнцов, лишь на баражирование. Мы считали его перестраховщиком. Бюрократом. Ненавидели его как только могли. Ну как же: фашисты у Ржева, бои воздушные то здесь, то там, а он нас, как жеребят, гоняет на корде. Гуляем в воздухе, как в горсаду. Парочками. Словом, явный бюрократ, поклонник инструкций...

Однако я не об этом. Не о себе... Так вот, изнываем мы от тоски на своем аэродроме, и вдруг на исходе дня, за ужином, после того, как была принята «ворошиловская доза» и приспело время расходиться по палаткам, влетает в столовую мой друг Сашка Кравец. Такой же, как я, желторотый птенец. Влетает и кричит: «Ребята, тихо, потрясающая новость! Утром артисты прилетают. Из областного театра. В полдень будет концерт».

И верно. На следующий день комиссар полка вызывает к себе меня и этого самого распочтенного Сашку: встретить артистов, привезти их в балку. Весь народ, что будет свободен, туда созвать. И чтоб без гаму и беготни. Фронт-то, вон он, рукой подать, орудия целый день гудят, а в ясную ночь и пулеметы слышны.

Ну, мы с Сашкой, понятно, рады стараться! Грузовик, на котором горючее развозили, как кадку для огурцов, с хвощом вымыли. Для приличия обтянули плащпалаткой. Чистые подворотнички себе подшили. Побрились два раза. Даже полевых цветов нарвали. Ей-богу! Ходим по аэродрому с букетами, как женихи какие. Народ потешаем и все на небо глядим. И твердим: «По поручению командования части позвольте нам...» Ну, и так далее.

Наконец приземлился самолет с артистами.

Вылезают. Девять душ. Ну, мы с Сашкой, как поло-

жено, артисток во все глаза разглядываем, расшаркиваемся, цветы, всякие хорошие слова... Молодость! Из артистов, признаться, рассмотрели только одного. Старик уж. Толстый. Лицо в красных жилках. Сизый нос. Длинная такая косица, где-то сбоку начинающаяся, довольно ловко в два заворота к лысине примазана. Еле я его из самолета вытащил: укачало беднягу. И такая досада! Пока я этого почтенного дядю на землю извлекал, пока водой его отпаивал, Сашка мой со всеми артистками в боевое взаимодействие вошел, натаскал откуда-то из палаток стульев, расставил в кузове, как в гостиной, рассадил их и разливается соловьем о фронтовой жизни, о всяких летных боевых делах, разливается и па меня, подлец, поглядывает: как, мол, каков я?

Ну, а тем временем старикан мой немножечко отдышался, маскировочную косицу свою на лысине аккуратно разложил и от всего этого помолодел даже. Встал, отрекомендовался: такой-то, актер комедийного плана. Ну, сами понимаете, как только в кузове мы всех разместили, я об этом комедийном плане сразу и позабыл. Ну как же, судите сами, у Сашки шумный успех, такие мертвые петли и штопоры выкладывает, что артистки только жмурятся и ахают: «Ах, Александр Иванович, вы прелесть! Ох, товарищ лейтенант, как это безумно интересно...» Меня завидки берут... И вспомнил я об этом моем комедийном старикане, признаться, только когда он уже в костюме и гриме появился на сцене.

На сцене! Сейчас я вам скажу, какая это была сцена. Вот слушайте. Обстановочка следующая: на дне оврага, в кустах, грузовик. У одного из бортов на палках занавес из плащ-палаток. У занавеса Сашка Кравец сияет, будто его всего с ног до головы песком надраили. А на откосах оврага — зрители. Весь авиаполк. Все, кто свободен. А до фронта — рукой подать. Беспечные мы, надо сказать, тогда были, первый месяц войны... Так вот, Сашка наш, уже прочно прикомандировавшийся к искусству, объявляет, что будет показана сцена из комедии Островского «Лес». С одной стороны из-за плащ-палатки выходит здоровенный артистище с басом, как у нашего старшины,— Геннадий. С другой выскакивает этот самый комик. Сразу-то я его в гриме и не узнал. Преобразился совершенно. Где она, эта стариковская одышка, эта сипотца в голосе, этот рот, брызгающий слюной? Откуда что взялось! Подвижной, вертлявый, как бес, хитрый,

смешной, жалкий. Словом, Аркашка Счастливцев. Такой, каким ему быть положено.

Как уж они там гримируются — это мне неизвестно, никогда и в жизни за кулисы не ходил, только преобразился человек неузнаваемо. Рта не успел открыть, а по балке хохот... Так и пошло: тишина — хохот, тишина — хохот. На Геннадия, что как «ИЛ» на бреющем полете гудит, никто не смотрит. Все только на комика. И так это он за несколько минут всех захватил, что как-то даже удивило нас, когда вдруг рядом в рельсу ударили: пост ВНОЗ. Воздух! Только тогда на небо взглянули и замерли. На горизонте «Ю-87». Пикировщики. Колеса у них еще под брюхом не убирались, похоже было, будто ноги в лаптях торчат. Мы их «лаптежниками» звали. А под крыльями — сирены: когда идут в пике, ревут. Для паники... Очень с ними, с этими «лаптежниками», в первые месяцы войны считались: прицельно, дьяволы, пикировали.

Так вот, звено «лаптежников» на нас и идет. Высота — километра два. Облачка, но день ясный. Признаюсь, первый раз их с земли-то вблизи видел, и такой обуял меня страх, что я окаменел. Точно судорога свела. Это сначала. А потом захотелось бежать. Куда, зачем — все равно, только бежать. Прятаться. Закрыть руками голову. Словом, наделать кучу глупостей. Но прошу учесть: начало войны. А таких, как я, необстрелянных новичков в полку большинство. Не только обстреляться, многие даже и загореть не успели. Ну, наступает страшная тишина, и в ней этакий вибрирующий рев: «У-у, у-у, у-у!» И сквозь этот рев доносятся слова комика. Ну, там рассказывает он Геннадию что-то. Смешные такие слова. И оттого, что они простые и смешные, их тоже страшно слышать, когда это «у-у» все нарастает, а самолеты почти над головой. Комик, должно быть, так увлекся, так в роль вошел, что ничего не замечает, как тетерев на току.

И тут раздается голос комиссара:

— Слушать мою команду! Никто ни с места! Не шевелиться!

Только тогда, должно быть, актеры заметили и оценили опасность. Они замерли в самых неподходящих позах. Глядят на небо. А «лаптежники» меж облаками плывут: появятся — скроются, появятся — скроются. И уже хорошо видны эти их пресловутые «лапти», жел-

тые подкрылки, черные кресты. Снизу всегда кажется, будто самолет прямо на тебя летит, в тебя целит. И бежать такая охота, что все тело, точно крапивой обстреканное, зудит... Вы вот говорите, что храбрецами рождаются. А сами не испытывали такого? Ага, то-то вот... Я полагаю, дорогие товарищи, что нет человека, кто страха не знает. Разве больной какой. Или идиот... Так вот, страхом таким подстегнутые, сколько-то там человек с места срываются — и бежать.

— Продолжайте спектакль,— это комиссар просит.

И слышу я, как этот мой старый комик, тот, что своим фиолетовым носом да маскировочной косицей так меня удивил, этот больной, одышечный человек дрожащим голосом бросает какую-то реплику. Геннадий ему отвечает. Опять между ними завязывается разговор. Глазам не верю: играют! А между тем самолеты прошли, делают широкий разворот и опять к нам. То ли ищут, то ли уж нашли и на рубеж атаки выходят. Я это понимаю. И другие, что вокруг сидят, понимают. Но почему-то теперь уже не так страшно. На сцене звучат человеческие слова. Спокойные, обычные. Трагические и смешные. Все замерли. Слушают. Бледные, на висках пот, но слушают. Вот уже кто-то засмеялся. Послышались аплодисменты. А тишина такая, что в овраге эхо отзывается.

А тем временем «лаптежники» развернулись — и на нас. Ищут? Заметили? На бомбежку пошли? Кто ж знает! Но на сцене — Аркашка и Геннадий. Разговор. Игра. И какая игра! Может быть, конечно, мне так с перепугу показалось, но я и сейчас, спустя столько лет, уверен, что никогда еще не видел такой актерской игры, как в те минуты. В Малом бывал, в Художественном в прошлом году все постановки видел, а такой игры не помню... Да, да, да... Этот жалкий, смешной Аркашка и надутый, тоже смешной Геннадий точно сковали всех нас своей игрой. Бомбардировщики на нас идут, а мы, несколько сотен людей, сидим неподвижно. Будто одеревенели. Будто загипнотизировали нас не то эта самая игра, не то самоотверженность артистов. И мы смеялись, переживали, не меняя поз, аплодировали. Да, и аплодировали под это проклятое вибрирующее «у-у, у-у, у-у...».

Вот вы, товарищ инженер, говорили о влиянии среды на характер. Среда — это верно, конечно. Старая истина:

с кем поведешься, от того и наберешься. Но ведь за эти несколько минут среда не изменилась. Необстрелянный, зеленый полк остался таким же зеленым, необстрелянным. Но каждый из нас в эти мгновения точно бы обнаружил в себе какой-то непочатый запас храбрости, о котором он минуту назад и не догадывался. А почему? Вот вы и подумайте, почему...

Но продолжаю. Когда первый самолет, проревев сиренами, прошел над нами, артист, что изображал Аркашку, сделал жест, будто отмахивался от надоевшего комара. И так это вышло неожиданно и уморительно, что все покатились со смеху. Должно быть, поощренный этим, Аркашка повернулся в сторону двух других приближавшихся самолетов и захлопал в ладоши с сердитым видом хозяйки, отгоняющей ворон от куриного корма, и даже пропищал бабьим голосом: «Кыш, проклятые!»

Неостроумно? Может быть. Но в это мгновение нам всем показалось, что остроумней ничего и придумать нельзя. Видим, как на нас с ревом летят самолеты, и хохочем. Сотни хохочущих глоток! И не истерично, нет, а эдаким ядреным смехом, каким должны бы смеяться богатыри. Слов уже со сцены не слышно, но почему-то очень смешно было снова и снова видеть это мимическое «Кыш, проклятые!», видеть хладнокровного Аркашку, радостно ощущать собственную свою храбрость и — что там, хлопцы, греха таить! — маленечко любоваться самим собой перед хорошенькими, насмерть перепуганными артистками: вот, мол, я какой, под крылом «лаптежников» смеюсь и хоть бы что...

Когда бомбы падают, всегда кажется, будто они идут прямо тебе на макушку. И это мы видели. И слышали их сверлящий свист. Но никто не сдвинулся с места, не схватился бежать. Это просто никому и в голову как-то не пришло. Ведь там, на грузовике, актеры продолжали свою сцену. И кто мог в такой обстановке оказаться трусливее других?

«Лаптежники», должно быть, что-то все-таки знали о нашем аэродроме. Но он был хорошо замаскирован, так что, не разглядев в лесу ничего подозрительного, не заметив никакого движения, они так и ушли, опростав наобум одну-две кассеты. Никого не убило, не ранило. Разбило только бак с питьевой водой. Это была единственная наша потеря... Теперь подумайте, что было бы, если бы при первом их пролете поднялась паника и все

врассыпную?.. Артисты своим хладнокровием спасли десятки, может быть, сотни людей...

Случайность? Нет, дорогой ты мой колхозный скептик, не случайность... Как только «лаптежники» ушли и опасность миновала, а друг мой Сашка Кравец соединил плащ-палатки, выполнявшие роль занавеса, старому актеру сразу же стало худо. Он упал на руки товарищей. Мы втроем еле спустили его с машины и потом уже на носилках тащили в санчасть. Его лихорадило. Каждый выстрел далекой канонады заставлял его теперь вздрагивать. Вечером, когда гости покидали нас, мы еле уговорили его подняться в самолет. Он все с опаской смотрел на небо, все прислушивался и спрашивал, не могут ли опять налететь враги...

И все же, товарищи, храбрее этого человека я не видел. Да, да, да! Воевал много, два раза горел в воздухе. Бывал подбит. Раз спрыгнул с парашютом над самым вражеским передним краем и, направляя полет шнурками строп, тянул к своим. Всяко бывало. А вот подобного не доводилось видеть...

Полковник замолчал. Молчали и его собеседники.

Сгустившийся туман, будто снег, подгоняемый вьюгой, волочился над водой, посеребренный светом большой, ясной луны. Где-то очень далеко, должно быть, в колхозе, что был за горой, не очень умело наигрывали на балалайке незатейливую повторяющуюся мелодию. Она доносилась еле слышная и, вероятно, от этого казалась задумчивой, красивой.

Рассказчик зябко передернул плечами, пошарил в шароварах, достал коробку папирос, угостил собеседников. Одну взял сам. Когда он зажег спичку, все заметили, что пальцы его слегка дрожат.

И каждый из трех собеседников подумал: «Почему бы это?»

1956

СКАЗКА

Екатерина Федоровна Яковлева — научный работник одного из столичных институтов, получившая в последние годы широкую известность в связи со своими работами

в области онкологии, по дороге на курорт решила навестить дочь Женю.

Мать и дочь любили друг друга. Больше того, они были друзьями. Но, как это часто случается, занятые каждая своими делами, они не виделись иногда по несколько лет. Из писем Екатерина Федоровна знала все о жизни дочери; знала, что она с мужем, оба инженеры-гидрологи, находятся сейчас на одной из великих строек. Знала о волнениях, радостях и горестях Жениной работы. Но всякий раз, когда, получив письмо дочери, Екатерина Федоровна задумывалась над ним, она рисовала себе Женю ребенком, худенькой, шустрой длинноногой школьницей, красивой русоволосой студенткой, но никак не могла представить ее инженером на каком-то неизвестном ей огромном строительстве.

Семь лет назад у Жени родилась дочь. Она прислала матери фотографию голого, толстого несмышленыша, прядку черненьких, похожих на пух волос и сообщила, что девочку назвали Аленой. Фотография, переходя из рук в руки, долго путешествовала по клинике. Сама же Екатерина Федоровна была в этот день необыкновенно рассеянна, часто уходила в себя и среди своих дел вдруг, без всякого повода, произносила: «Внучка?», «Бабушка?»,— улыбалась и пожимала плечами.

Это было давно. А вот теперь, когда машина остановилась у маленького домика с ярко-красной черепичной крышей, низко, на южный манер, надвинутой на самые окна, Екатерина Федоровна испытывала новое для нее чувство смятения, ожидая встречи с малоизвестным ей существом, которое будет именовать ее бабушкой.

С шумом распахнулась дверь. С терраски, оплетенной яркой зеленью, одновременно скатились большая овчарка и маленькая чернявая девочка в пестром платье с красным бантом в пышных, вьющихся волосах. Они наперегонки понеслись по дорожке через палисадник, а у машины вдруг затихли, будто замерли. Огромный пес присел, ревниво кося глазом на девочку, а та, разгоряченная бегом, все еще тяжело дыша, уставилась на Екатерину Федоровну. Удивление, смешанное с недоверием, светилось в ее больших карих глазах.

— Это наша бабушка, ты что, ее не узнала?— сказала Женя, выходя из машины вслед за матерью.— Поцелуй, доченька, бабушку.

— Алена,— чинно представилась девочка и протянула Екатерине Федоровне ручку с тонкими, длинными и, как сейчас же определила про себя бабушка, «хирургическими» пальцами.

Потом, заговорщически взглянув на собаку, девочка вдруг фыркнула:

— Разве такие бабушки бывают?

Не зная, что ответить, Екатерина Федоровна оглянулась на дочь. Женя улыбнулась.

— Вот видишь, как мы выросли.

— Вы не бабушка, вы тетя,— рассудительно сказала маленькая Алена и добавила: — Вот у Тамары Зайцевой — бабушка. Она старенькая и в очках.

Вечером Женя с мужем, уходя на партсобрание, оставили Алену на попечение Екатерины Федоровны, и та совсем растерялась.

Алена же, привыкшая к тому, что к ним частенько заходят ночевать папины и мамины сослуживцы, наезжающие в командировку, чувствовала себя совсем свободно. Усевшись против Екатерины Федоровны, она принялась занимать ее разговором о стройке, которая «самая, самая, самая большая». Показала своих кукол и мишек. Все они, оказывается, тоже что-то такое сооружали из кирпичиков и пластилина. Убедившись, к удивлению своему, что странная бабушка в строительных делах ничего не понимает, и вспомнив, что мать говорила, будто она какой-то большой-большой доктор, девочка переменила тему и принялась рассказывать, как осенью она болела ангиной и как ее лечили.

Потом, должно быть неожиданно для самой себя, она влезла к бабушке на колени, охватила ее шею тоненькой смуглой ручкой и категорически потребовала:

— Бабушка, сказку!

— Какую же тебе сказку, деточка? — растерянно спросила Екатерина Федоровна.

— Все равно. Только интересную. Самую интересную.

Наступило неловкое молчание. «Что же рассказать ей?» — думала Екатерина Федоровна. Перед ней вдруг встало ее собственное, такое уже далекое, детство. Ее мать — прачка — целые дни поденно стирала белье у разных людей. Она так уставала, что, вернувшись домой, иногда засыпала у стола, пока дочь доставала из печки обед. Сама Екатерина Федоровна с шести лет уже помогала матери полоскать чужое белье. Окрики, подзатыльники,

вечно сосущая пустота в желудке — вот, что вспомнилось ей теперь. И ни одной, ни одной сказки.

А Женя? Ей, наверное, рассказывали сказки и в яслях, и в детском саду. Но Екатерина Федоровна работала и училась: сначала в вечерней школе, потом на рабфаке, наконец, в институте... Жениных сказок она не знала.

— Бабушка, бабушка же?— Алена нетерпеливо трясла Екатерину Федоровну за плечи.

«Как же быть?— думала между тем бабушка, все более и более смущаясь.— Может быть, призвать на помощь Пушкина?»

Память у нее была хорошая, и она довольно бодро начала.

— Жили-были старик со старухой...

Алена безжалостно опередила ее:

— У самого синего моря... Знаю, знаю! Это про золотую рыбку. Другую!

— Хорошо,— торопливо согласилась Екатерина Федоровна, испытывая непонятное, тягостное ощущение перед этим родным ей ребенком. Чувствовала, что внучка удивлена. У всех ребят бабушки как бабушки: носят очки, чулки вяжут, следят за тем, чтобы внучата побольше ели, и, конечно же, время от времени рассказывают интересные сказки,— а тут первый раз в жизни появилась бабушка и ничего не может, ничего не умеет, даже очков не носит. Екатерина Федоровна с грустью ощутила какую-то пустоту, пробел в своей жизни, которого раньше за многочисленными своими делами вовсе и не замечала. И вместе с этим пришло желание во что бы то ни стало завоевать это маленькое сердце, рассказать интересную сказку, быть не хуже других бабушек.

— Жил-был славный царь Додон,— начала она уже значительно менее уверенно.

— ...Смолоду был грозен он,— как эхо, отозвалась Алена и зевнула, вежливо прикрыв рот ладошкой.— Эту нам в детском садике читали. А новой сказки ты не знаешь? Ну хоть маленькую, хоть самую малюсенькую, ну вот такую!

Алена показала кончик мизинчика.

Теперь внучка уже не трясла бабушку. Она смотрела ей в глаза, и в ее взгляде было не удивление, не упрек, а откровенное разочарование. У Екатерины Федоровны тоскливо заныло сердце. В отчаянии, пропустив так и просившуюся на язык присказку: «В некотором царстве,

в некотором государстве», Екатерина Федоровна начала, еще не зная, о чем она будет говорить и чем кончит:

— Вот тут, Аленушка, где папа с мамой сейчас работают, когда-то проходил фронт...

Произнося это, Екатерина Федоровна волновалась даже больше, чем когда однажды поднималась на трибуну Международного конгресса.

— Когда воевали с фашистами?— тотчас же спросила Алена и заерзала, поудобнее усаживаясь на коленях.

— Нет, раньше. Давно, в гражданскую войну... Фашистов тогда еще не было. Были белые. По одну сторону фронта были красные, а по другую белые.

— А почему белые? Они в белом ходили?

— Нет, детка. Так называлась армия, которая воевала против народа, за царя.

— За царя Додона?

Екатерине Федоровне пришлось по возможности проще рассказать внучке, за что сражались красные, за что белые, и заодно, не без большого, правда, труда, объяснить, что такое не сказочный, а настоящий, «всамделишный» царь и кто такие были помещики, фабриканты, купцы.

В молодости Екатерина Федоровна слыла хорошим агитатором, и теперь она с радостью чувствовала, что ее слушают внимательно, но так, точно рассказывает она не то, что сама хорошо помнит, а будто ведет она внучку из мира реального в иной, сказочный, малопонятный и страшный. Не все доходило сразу. Узнав, например, что помещики и фабриканты присваивали себе то, что производили рабочие и крестьяне, Алена вдруг спросила, почему же тогда этих людей, берущих чужое, не взяли в милицию. Пришлось объяснить и это. Но главное было достигнуто: контакт установился, внучка слушала внимательно.

Теперь, когда она приоткрыла Аленушке дверь в мир прошлого и та притихла, бабушка усадила ее на коленках поудобнее и уже уверенно продолжала:

— Так вот, деточка, здесь проходил фронт. Белые наступали на красных, они хотели отнять у них вот эти края, где было много хлеба, чтобы рабочие в Москве и других городах умерли от голода. Красные знали этот их замысел и сражались тут изо всех сил. А рабочие в городах, занятых белыми, старались помочь красным. Большевистская партия имела там свои подпольные

группы... Ты, деточка, только не подумай, что они жили и работали под полом.

— Я так не думаю. Ведь Ленин тоже работал в подполье,— снисходительно заметила Алена.

— Вот-вот, — обрадовалась рассказчица.— И Владимир Ильич и его товарищи, когда они готовили революцию... Так вот, Аленушка, красным командирам однажды понадобилось доставить в один город, занятый белыми, пакет, а в пакете этом план. В нем было указано, как подпольщики и все рабочие должны помочь красным, когда те пойдут к городу. А доставить этот пакет было трудно — белые были настороже. И если кого из красных им удавалось поймать, они его жестоко мучили, а потом убивали.

— Как Гитлер?

— Ну хотя бы и так... А откуда ты, Аленушка, знаешь про Гитлера?

Внучка опять снисходительно посмотрела на бабушку.

— А нам еще в детском садике об этом говорили... И мы рисунки делали для детей немецких рабочих... Ты, бабушка, говорила про это письмо для подпольщиков, которое надо было к красным отнести.

— Да, да, деточка, письмо. Так вот, думал, думал красный командир, кого послать с этим письмом. Послать кого-нибудь из доблестных своих бойцов? Нельзя — обязательно его схватят, потому что белые всех, кто по возрасту должен находиться в армии, хватали. Как быть? Тогда один из командиров, молодой балтийский матрос, и говорит: «Пошлите, товарищ командующий, нашу Катю». А Катя была его жена. Удивился командующий: как, мол, так — у нее же ребенок грудной. А матрос говорит: «Вот и хорошо: женщину с маленьким никакой беляк не заподозрит».

— А эта Катя кто была, бабушка?

— Тоже красноармеец... ну, боец, что ли. Она фабричная была, как началась революция, пошла в Красную гвардию, потом медсестрой в отряд, замуж за этого матроса вышла, дочку ему родила. Так вот, Аленушка, зовет ее командарм: так, мол, и так, возьмешься, Катя, пакет этот наиважнейший доставить? И отвечает Катя: «Раз для революции надо — возьмусь». И вот сменила Катя свою гимнастерку и сапоги на дорогое платье, на боты, на шубку. Дали ей документы подложные: будто она жена белого офицера и едет к нему с ребенком в тот белыми

занятый город. Взяла она дочку на руки, отвезли их на большую станцию, что была уже за линией фронта, билет ей дорогой купили, в такой вагон, где раньше только помещики да фабриканты ездили.

— Ей не стыдно было ехать с помещиками?

— Это, внученька, для того, чтобы белых обмануть, чтобы они подумали: барыня это едет...

— А барыня — это что? Это пляшут которую?

Екатерина Федоровна засмеялась. Но теперь, уже как бы держа в руках ключ к детскому сердцу, она легко объяснила, кто были барыни. Внучка торопила:

— Ну-ну, а дальше? Села она в барынин вагон, а белые что?

— Так вот, села она, дочку свою на руках держит, и вдруг дверь отворяется и входит белый офицер.

— Ух ты!.. Белый? Настоящий белый?

— Да, белый. В чине штабс-капитана. И оказывается, его место напротив. Сидит Катя ни жива ни мертва. Была она у красных медицинской сестрой, и связисткой, и пулеметчицей, много видела белых, только те все были мертвые. А этот — живой, офицер сидит против нее на диване, папиросу курит, усики себе подкручивает, охорашивается, чтобы молоденькой барыне понравиться.

— Он не узнал, что она красная?

— Не узнал, Аленушка, не узнал, а только ей-то не легче. Сидит в углу, прижалась, чтобы не заметил он, как она вся дрожит. Вдруг угадает, обыщет и найдет пакет. А он уж приметил, что с ней неладно, и спрашивает: «Что с вами, сударыня, почему вы такая бледная?» Она ему: «Ах, господин штабс-капитан, голова кружится, это от табака, наверно, я не выношу дыма». Он извинился и вышел в коридор, а она рукой за пакет: тут ли?

— А он где, пакет-то, у нее был?

— Катя его хитро спрятала. На грудке у дочки, меж пеленкой и одеялом. Так что он у нее все время в руках, а если обыщут — не найдут.

— А если белые узнали бы?

— Убили бы и ее, и дочку... Так вот, ехали они, ехали и уж к городу подъезжать стали. Вдруг поезд на полустанке остановился! Слышно, кричат: «Из вагона никому не выходить! Проверка документов». Катя встревожилась: вдруг заметят, что документы поддельные? Не выдержала да как заплачет! А штабс-капитан, что напротив сидел...

— Этот белый?

— Ну, конечно, белый! Он успокаивать ее принялся: не плачьте, мол, мадам, это наши, они красных ловят, так что вы не бойтесь. Он успокаивает, а Кате оттого еще страшней. Слышит, кого-то уже из вагона волокут. Кто-то там бранится, кто-то кричит: «Да здравствует коммуна!» И уж по тому вагону, где Катя сидит, идут. Стучат в дверь: «Господа, без паники, красных ловим. Предъявляйте документы».

— А Катя, как девочка, что зашла в избушку к разбойникам да спряталась, все слышит, все видит?

— Вот-вот. Только Кате еще страшнее. Сидит она и о муже своем думает — не узнает он о ее гибели, не увидит больше своей дочки. Прижала к себе ребенка и решила: если уж судьба умирать, так умрет, как комсомолке положено. Плюнет этим белым в глаза и скажет: «Революция победит!» — или что-нибудь подобное, и ни себе, ни дочке пощады у них просить не будет. Сидит она так, с жизнью прощается, а офицер, что напротив, уже заметил, что с ней неладно, что побледнела она, так в нее глазами и впился...

Алена всем телом прижалась к бабушке. Впервые в жизни приходилось ей волноваться не за свою сказочную тезку, утопленную злой мачехой, не за какую-то там царевну, усыпленную недобрым волшебником, а за живую юную мать и ее крохотного ребенка.

Волнуется и сама рассказчица. На крупном полном лице, еще хранящем следы спокойной русской красоты, пятнами идет румянец. Голос у нее начинает дрожать.

— Ну-ну, и что? — торопит внучка.

Выдержав паузу, бабушка продолжает:

— Ну, и вошли они, белые, спросили документы. Пока штабс-капитан свои показывал, Катя едва сознания не лишилась. Вот, думает, и все, и конец, сейчас заметят ее волнение, поглядят попристальней на паспорт и арестуют. И кончится ее жизнь в самом начале, и не увидеть ей того, о чем мечтали они с мужем в редкие дни боевого отдыха, и никто на ее могилке слезы не уронит. И еще думала она: не передать ей подпольщикам плана, и не помогут они красным частям при наступлении, и много хороших людей может из-за этого зря погибнуть.

Думает она так и от мыслей этих словно новых сил набирается. И страх у нее проходит. И спокойно слушает она, как за окном гремят выстрелы. Между тем пат-

руль к ней: «Мадам, документы». Она дочку свою вместе с пакетом в одеяле офицеру передала: дескать, подержите, пока я бумаги достану,— неторопливо протянула свой фальшивый паспорт, даже спросила у патрулей: «Вы не знаете, я не достану на этой станции молока?»

— А для чего ей молоко?

— Ну, будто бы для ребенка. Обманывала она их, отвлекала, чтобы они не очень тщательно смотрели. И так уж, внученька, в жизни всегда и бывает: если человек к хорошему стремится и очень этого хочет, всегда он того достигает. Патруль ее пропустил. А на вокзале сам этот белый офицер чемодан ей до извозчика донес. Она красивая была, эта Катя. Очень она ему понравилась, говорит: рад был, мадам, знакомству, бога благодарю за то, что послал мне такую очаровательную спутницу.

— Ну, а подпольщики? Получили письмо?

— А как же! Катя за несколько кварталов до их квартиры с извозчиком рассчиталась. Вошла во двор и через двор — в другой двор, на соседнюю улицу, а потом уж отправилась, куда ей надо.

— А зачем она так ходила?

— Это чтобы белые ее не выследили. А потом, как добралась она до своих, как передала им все, так тут и упала.

— Почему же она упала?

— От страха, наверно, от всех переживаний.

— А подпольщики обрадовались?

— Конечно! Они готовиться стали. Тут вскоре красные войска подошли. С двух сторон они ка-ак по белым ударят! Ну, и освободили город.

— А Катя?

— Ну что ж Катя, она свое сделала. В городе муж-матрос отыскал ее, вместе с дочкой. Очень он обрадовался, что они живы-здоровы и так все хорошо выполнили...

— И сделали пир на весь мир? И я там был, мед-пиво пил? Да? Так? — лукаво спросила внучка, уверенно пристраивая к этой бабушкиной сказке привычное окончание.

— Нет, Аленушка, какие тогда пиры! Белые-то еще рядом были. Сколько после этого с ними воевать пришлось. Пир этот теперь, когда...

Екатерина Федоровна не договорила и, вздрогнув, замолкла. В комнату быстро вошла дочь.

— Мама, почему ты никогда не рассказывала мне эту сказку? — спросила она.

— Ты... слышала?

— Ну да. Мы полчаса назад вернулись. Я сидела в столовой у двери... Скажи, мама, эту маленькую девочку звали Женя, да? Ну, говори же скорей!

Екатерина Федоровна молча кивнула головой.

Маленькая Алена уже оправилась от впечатлений, произведенных необычной бабушкиной сказкой, и теперь вопросительно смотрела то на мать, то на бабушку, не понимая, почему они обе так волнуются.

Чудаки эти взрослые!

1952—1956

КОММЕНТАРИИ

Во втором томе представлены рассказы Полевого разных лет, объединенные автором под общим названием «Мы — советские люди».

Над циклом рассказов «Мы — советские люди» Борис Полевой работал с перерывами многие годы.

Первоначально в него входили только рассказы о войне. В предисловии к их первому книжному изданию автор сообщал: «В этой книге нет вымысла. Мне не приходилось искать сюжет, выдумывать характеры... Это невыдуманные герои... Большинство имен и названий в этой книге подлинные. Каждый действующий человек в ней живет или жил» (Б. Полевой. Мы — советские люди. М., «Советский писатель», 1948, с. 3).

В 1952 году в Детгизе вышла в свет книга Б. Полевого «Современники», где были собраны его послевоенные рассказы. Здесь же автор поместил и несколько рассказов, написанных им до войны. И снова во вступительном слове к этому изданию писатель подчеркнул: «В этой книге... рассказы о тех, чья жизнь, чей труд, чьи подвиги, простые и великие в своей повседневности, наиболее... отразили наш сегодняшний день».

В своем двухтомнике избранных произведений (ИХЛ, 1969) писатель объединил рассказы военных и послевоенных лет под одним названием «Мы — советские люди».

При подготовке к настоящему Собранию сочинений Полевой отобрал из этих рассказов наиболее значительные, на его взгляд, и поделил их на три раздела: I — довоенные, II — военные и III — послевоенные.

Рассказы всех трех разделов автор связал идейно-тематической задачей — показать жизнь советского человека, его труд

и борьбу на разных этапах развития страны, раскрыть такие понятия, как героика времени и советский патриотизм, на материале действительных человеческих судеб в дни мира и в дни войны. Иначе говоря, написать «без вымысла о героическом».

Рассказы в томе размещены по времени написания — для данного издания автор допустил некоторые отступления от традиционного их расположения в ранее выходивших книгах.

Библиографические данные источников, использованных комментатором, приводятся полностью лишь при первой отсылке на них, при повторных указывается автор, название труда и страница.

Авторские датировки уточнены и даются под текстом каждого произведения.

МЫ—СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ. Рассказы.

I. Рассказы, составившие первый раздел, написаны в 1938—1940 годах, когда автор работал корреспондентом и очеркистом в газете «Пролетарская правда» (ныне «Калининская правда»). В них ощутимо стремление воссоздать период становления молодой социалистической индустрии.

Ария Ленского (стр. 7).— По словам автора, публиковался в отрывках на страницах газеты «Пролетарская правда». Публикация не обнаружена. В новой авторской редакции опубликован в журн. «Огонек», 1953, № 48. После значительной стилистической правки включен в авторский сборник «Горячий цех». М., ГИХЛ, 1954.

Под вечным покоем (стр. 18).— Впервые под названием «Победа» опубликован в журн. «Октябрь», 1941, № 1. После значительной доработки включался в авторские сборники «Горячий цех».

Под названием «Под вечным покоем» впервые — «Избранные произведения» в 2-х томах, т. I.

Рассказ привлек внимание критики.

«Тут есть и противоборствующие, резко очерченные, беспокойные характеры и напряженный сюжет,— писал критик Б. Галанов, особо подчеркнув: — ...сравнивая этот рассказ с более ранними вещами Полевого, отчетливо видишь, что писатель, следуя совету Горького, настойчиво учился «владеть техникой литературной работы». У него уже меньше «промахов технических и в стиле, и в

композиции, и в языке» («Борис Полевой». М., «Советский писатель», 1957, с. 20).

М. С. Шагинян в 1955 году в рецензии на книгу повестей и рассказов Б. Полевого «Горячий цех» (М., «Советский писатель», 1954) отмечала удачное художественное воплощение образа главного героя рассказа: «Молодой советский инженер Кульков (рассказ «Победа»), «сутулый, угловатый, губы в ниточку и к тому же несколько хром»,— один из обаятельнейших образов книги Б. Полевого» (Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1974, с. 133).

Конфузное происшествие (стр. 37).— Впервые под названием «Дело чести» — в авторском сборнике «Горячий цех». Под названием «Конфузное происшествие» впервые в авторском сборнике «Самые близкие» (М. ГИХЛ, 1961).

Рассказ продолжает тему повести «Горячий цех» — «исследование нравственных аспектов производственной темы». Автор неоднократно подчеркивал, что и ее герои — люди реальные, конкретно «узнаваемые» в цехах Калининского вагоностроительного завода, где развивались события. Неслучайно один из персонажей рассказа носит имя Ильи Лузгина, героя повести «Горячий цех». Оценивая художественные достоинства рассказа «Дело чести», М. С. Шагинян подчеркивала: «Без единого слова «от автора», без малейшего нажима вводится читатель... в атмосферу настоящего рабочего понимания чести» (Собр. соч., т. 7, с. 134).

II. Рассказы второго раздела впервые опубликованы в первых двух номерах журнала «Октябрь» в 1948 году.

Первые книжные издания состоялись в том же году в девяти издательствах. Основные: «Мы — советские люди» («Были Великой Отечественной войны»). М., «Правда»; то же — М., Воениздат; то же — М., «Советский писатель».

Подзаголовок — «Были Великой Отечественной войны» — в последующих многочисленных изданиях был снят автором. Вначале Б. Полевой определял жанр своего повествования как «очерки-рассказы», затем — как рассказы. Композиция и состав книги «Мы — советские люди» не оставались неизменными. Автор также многократно перерабатывал фрагменты отдельных рассказов, обогащал повествование новыми деталями, осуществляя стилистическую правку.

Военный цикл рассказов «Мы — советские люди», вышедший спустя два года после «Повести о настоящем человеке», тематически и стилистически примыкает к ней и является своеобраз-

ным творческим итогом деятельности корреспондента «Правды» Б. Полевого в годы Великой Отечественной войны.

«В кипении этой нечеловечески трудной войны,— вспоминает Полевой,— военные корреспонденты писали первый, может быть, отрывочный, может быть, неуклюжий и топорный, но зато самый справедливый и неприкрашенный черновик военной истории» (см. наст. Собр. соч., т. 7).

В сорока фронтовых блокнотах Б. Полевого содержится шестьдесят пять удивительных историй, «...случаи выдающегося героизма, свидетелем которого мне посчастливилось стать, красочные сценки, встречи, беседы с интересными людьми — славными полководцами и солдатами...» — рассказывает писатель в предисловии к книге «Эти четыре года. Из записок военного корреспондента» (М., «Молодая гвардия», 1978, с. 3).

Большую часть этих историй — в форме очерков, корреспонденций, «писем с фронта» — Полевой публиковал в «Правде» в период 1942—1945 годов. Некоторые факты он использовал в серии военных очерков о Сталинграде (журн. «Октябрь», 1943, № 2) и в книге «От Белгорода до Карпат. Из дневников военного корреспондента» (М., «Советский писатель», 1946).

Двадцать четыре сюжета легли в основу рассказов, точнее — очерков-рассказов.

«Пишет очерки, похожие на рассказы, и рассказы, похожие на очерки. Его не интересует точность жанра». Эти слова Н. Тихонова, сказанные в адрес К. Симонова, можно полностью отнести и к Б. Полевому.

Значителен вклад Бориса Полевого в создание живой летописи Великой Отечественной войны. «Есть класс высшего пилотажа... есть класс и высшего репортажа. Полевой показал себя в качестве ас-репортера»,— отзывался о нем известный журналист Г. Рыклин (С. Гершберг. Завтра газета выходит. М., «Советская Россия», 1969, с. 127).

Ал. Сурков указывал на ощутимый рост в эти годы писательского мастерства Бориса Полевого. «...в его торопливых, продиктованных прямо по военному телеграфу в «Правду» заметках и очерках прорезывались зубы большого прозаика» («Страницы книг Бориса Полевого»; сценарий телевизионного фильма. Эфир 11 мая 1977 года).

21 июня 1944 года в редакции «Правды» была проведена летучка, посвященная военному корреспонденту газеты Б. Полевому. «Журналист, овладевший искусством построения сюжета и психологического портрета — так, что даже небольшие его корреспонденции приближаются по мастерству к рассказу; литератор, выработавший собственный стиль: ясную, четкую компози-

цию... хороший образный язык, длинную, но легкую фразу» — так характеризовали итоги трехлетних (1941—1944 гг.) творческих накоплений Полевого его коллеги (С. Гершберг. Завтра газета выходит, с. 128).

Книга «Мы — советские люди» была положительно оценена критикой.

Единодушно отмечалось, что несомненным достоинством сборника рассказов-былей является глубокий интерес автора к духовному миру человека в дни тягчайших испытаний, умение отбирать из массы жизненных явлений типическое.

Критик З. Кедрина в статье «Искусство простоты» (журн. «Новый мир», 1950, № 75, с. 246), указав на недостатки, присущие некоторым рассказам Полевого,— «стремление к литературному украшательству», «литературные орнаменты фактов», приобретающие «в иных случаях характер литературного подражания»,— писала, что «сила, покоряющая читателя, заключается в красоте и достоверности высокого жизненного примера, который раскрывает Б. Полевой в лучших своих произведениях.

Читателя привлекает положительный герой Б. Полевого... не исключительная личность, стоящая над уровнем нравственных возможностей рядового читателя, а человек обыкновенный, такой же, как все, и тем не менее совершающий высокий патриотический подвиг».

«Могут сказать, что это заслуга жизни, а не художника, что «Мы — советские люди» — зарисовки с натуры... Разумеется, творчество Бориса Полевого обусловлено самой советской действительностью: вне ее Мересьевы и другие... герои Полевого просто невообразимы» (там же).

В 1949 году книга «Мы — советские люди» («Были Великой Отечественной войны») удостоена Государственной премии СССР.

По данным на 1 января 1978 года, книга выдержала около сорока изданий в СССР — на русском языке и языках народов Советского Союза; переведена на многие языки мира.

В архиве писателя хранится уникальное рукописное издание книги рассказов «Мы — советские люди». В начале 50-х годов, в период борьбы народа Вьетнама за свое освобождение, эта книга Б. Полевого была послана солдатам армии Хо Ши Мина. Рассказы, переведенные на их родной язык, переписывались солдатами от руки на листках из школьных тетрадей и распространялись в частях освободительной армии. Впоследствии один из экземпляров такого самодельного издания, в тисненом кожаном переплете, был подарен вьетнамскими товарищами Борису Полевому.

П о с л е д н и й   д е н ь   М а т в е я   К у з ь м и н а (стр. 47).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1. Входил во все издания 1948 года книги «Мы — советские люди», в авторский сборник «Самые близкие».

О подвиге Матвея Кузьмина впервые сообщалось в корреспонденции Б. Полевого «Подвиг Матвея Кузьмина» на страницах «Правды» (1942, № 18). Материал был написан на узле связи фронта в день похорон героя-крестьянина. «Проделав всеми видами транспорта больше полутораста километров, я прибыл в колхоз «Рассвет», как раз когда гвардейцы, похоронив старого патриота на крутом берегу реки, давали траурные залпы»,— вспоминает Полевой в книге «Эти четыре года» (см. наст. Собр. соч., т. 7). Здесь же — подробности появления фронтовой корреспонденции: «...на саночках добрался я до штаба дивизии. Там командир расщедрился на вездеход. Он должен был довезти меня до штаба армии, но не довез — что-то случилось в моторе. Шел пешком, а остаток пути завершил в будке артиллерийского трактора... До узла связи все-таки в темноте добрел. Написал корреспонденцию. Через узел связи фронта передал в Москву. Получил извещение о получении. И вдруг почувствовал такую усталость, что тут же заснул за печкой в каморке дежурного. Он разбудил меня утром и сообщил, что утреннее радио в очередной сводке Совинформбюро передало о подвиге Матвея Кузьмина, а потом была прочтена из свежего номера «Правды» моя корреспонденция» (т а м   ж е).

Материал, написанный Полевым в 1942 году, впоследствии лег в основу его очерка «Бессмертие Матвея Кузьмина» («Правда», 1947, 21 февраля), значительно обогащенного подробностями жизни и подвига великолукского «Ивана Сусанина». В конце очерка автор приводит подлинный документ: письмо немецкого офицера. «Командир, руководивший похоронами Кузьмина, отдал мне неотправленное письмо, извлеченное из кармана убитого командира егерского батальона» (т а м   ж е). Смотри об этом в книге Б. Полевого «Самые памятные. История моих репортажей» (М., «Молодая гвардия», 1980, с. 177—178). Б. Полевой подробно воспроизводит разговор, по этому поводу происшедший зимой 1942 года в редакции «Правды» с главным редактором газеты П. Н. Поспеловым: «...заметил на редакторском столе газету с моей корреспонденцией... «Подвиг Матвея Кузьмина». Заметил. ...Даже взыграл духом: ну, будут хвалить. Ан вышло не так. Редактор взял газету...

— Интересная корреспонденция. ...На летучке высоко оценили и тему и оперативность. Но вы же, Борис Николаевич, не хроникер. Вы писатель. Разве так вы могли бы, вы обязаны бы-

ли... об этом рассказать?.. ведь Кузьмин не Сусанин. Он не за батюшку-царя... он за мать-Родину жизнь... отдал. ...Он от нацистского нашествия советскую власть спасал. ...Сколько таких нравственных богатств могут остаться незамеченными, затеряться, забыться в катаклизмах этой огромной, нечеловечески трудной войны!.. Записывайте, тщательно записывайте такие случаи. ...Записывайте впрок. Не войдет в корреспонденцию — пригодится потом. Для истории. Для ваших же собственных будущих рассказов, повестей...» (там же, с. 179).

Как пишет Б. Полевой, это «был урок, предметный урок», который он получил в «Правде». Редактор тогда словно бы провидел сквозь годы. Есть сейчас в старом городе Великие Луки улица Матвея Кузьмина, поставлен ему памятник. «И самодеятельный хор его земляков поет о нем сложенные местными сказителями песни...» (там же).

Критика отмечала, что в работе над разными редакциями «Последнего дня Матвея Кузьмина» проявилось своеобразие писательской манеры Бориса Полевого (В. Карпова. Облик советского человека.— Сб. статей «Новые успехи советской литературы». М., «Советский писатель», 1949, с. 107), в которой нет ничего бьющего на внешний эффект; что Полевой наибольшее внимание уделяет не описанию подвига своего героя, но его моральному поединку с гитлеровцами: «Роль художественного домысла в такой редакции, естественно, возросла, зато и конфликт усложнился, затронув также сферу духовную» (Б. Галанов. Борис Полевой, с. 63).

Гвардии рядовой (стр. 54).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1. После стилистической правки входил во все издания 1948 года книги «Мы — советские люди».

Сюжет записан Полевым на Калининском фронте, в партизанском соединении под Адрианополем.

Номер «Правды» (стр. 65).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1.

Входил во все издания 1948 года книги «Мы — советские люди»; включался в авторский сборник «Самые близкие». Сюжет рассказа записан Полевым в калининских лесах, где зимой 1942 года он жил и работал в течение месяца в соединении партизанских отрядов.

Ее семья (стр. 71).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1; включался в авторский сборник «Самые близкие». В основе — реальные события, о которых Полевой узнал в партизан-

ском отряде, в районе г. Торопца, сохранены подлинные имена и фамилии — героини рассказа Сары Файнштейн, комиссара партизанского соединения Чурилина.

На волжском берегу (стр. 80).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1.

Сюжет записан Полевым на Сталинградском фронте, в ноябре 1942 года, когда он, военкор «Правды», получил боевое задание — срочно доставить в Москву письма-клятвы защитников Сталинграда. О подробностях этой сложной командировки и встрече с реальным героем рассказа автор вспоминает в книге «Эти четыре года» (см. наст. Собр. соч., т. 7).

Редут Таракуля (стр. 86).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1.

В основе — эпизод, свидетелем которого Полевой был в Сталинграде в 1943 году и о котором он написал оперативную корреспонденцию в «Правду». После значительной стилистической переработки, с заново написанным финалом, автор включил очерк под тем же названием в сборник «Сталинград» (М., «Советский писатель», 1943).

В 1948 году при подготовке цикла рассказов «Мы — советские люди» к публикации Б. Полевой осуществил новую редакцию «Редута Таракуля», несколько изменив композицию и обогатив повествование подробностями биографии и подвига его героев.

М. А. Назарок («Борис Полевой. «Мы — советские люди». Ученые записки Черновицкого государственного университета, том XXXIX, выпуск 10-й, 1960, с. 143) отмечает, что при «переводе» очерка в жанр рассказа Б. Полевой решительно меняет интонацию повествования, приближая его к беседе, разговору, сохраняя рассказ от первого лица и добиваясь характерного звучания, индивидуализации речи героев. В качестве примера приводится и финал «Редута Таракуля». (Подробнее об этом: Н. Железнова. Настоящие люди Бориса Полевого. М., «Советский писатель», 1978, с. 83.)

Братья Волковы (стр. 98).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1. Входил во все издания книги «Мы — советские люди». Рассказ включался в авторский сборник «Самые близкие», в «Избранные произведения» в 2-х томах, т. 1.

Сюжет записан Полевым в период его работы на Курском направлении, под Орлом, после встречи с реальными героями, фамилии которых сохранены в рассказе. На страницах журнала

«Студенческий меридиан» (1975, № 8, с. 12) автор вспоминал: «Курская дуга. Госпиталь. Мне старик хирург показал двух ребят, братьев. Их схватили немцы с тем, чтобы отправить на работы в Германию. Ребята бежали. Их снова схватили. Тогда они в костре сожгли себе правые руки. Остались калеками, их немцы могли расстрелять как негодную рабочую силу. Но, оказывается, нет страха, который бы пересилил дух, живший в этих четырнадцатилетних подростках».

Мы — советские люди (стр. 106).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1.

В книге «Эти четыре года» Борис Полевой подчеркнул: «Военный корреспондент — глаза, уши народа на войне». В рассказе «Мы — советские люди» автор присутствует как действующее лицо. По мнению критики (В. Карпова, М. Назарок), этот прием сообщает повествованию эмоциональность и непосредственность только что записанного разговора.

Рассказ подвергался автором стилистической правке, направленной на освобождение текста от очевидной очерковости.

В основе сюжета — встреча Б. Полевого с советской разведчицей на Степном фронте после освобождения Советской Армией Харькова. Разведчица «Береза» — ныне кандидат филологических наук, специалист по немецкой литературе.

По мотивам рассказа создан телефильм «Я — «Береза» (режиссер Д. Вятич-Бережных).

Разведчики (стр. 122). — Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1. После стилистической правки включался во все издания 1948 года книги «Мы — советские люди».

Рождение эпоса (стр. 131).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1. Основой для написания рассказа послужил очерк Б. Полевого в «Правде» (1943, № 107, 25 апреля).

В центре рассказа — алма-атинский лингвист Малик Габдуллин, в годы войны — боец Коммунистической дивизии генерала Панфилова.

С Маликом Габдуллиным Полевой встречался в окопах, на передовой, на Калининском фронте, в конце 1941 — начале 1942 года, в дни наступления Советской Армии после разгрома немцев под Москвой.

Характерна для писательской манеры композиция рассказа, где в качестве одного из действующих лиц присутствует сам автор, а также продолжение контактов писателя с невымышленным героем. М. Габдуллин (1915—1973) стал известным лингви-

стом-филологом, автором ряда книг о взаимосвязях различных языковых культур. Некоторые из его книг хранятся в домашней библиотеке Полевого.

Знамя полка (стр. 149).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 1.

Ночь под Рождество. *Рассказ подпольщика* (стр. 158).— Впервые в журн. «Смена», 1948, № 1.

Мама Клава (стр. 171).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 2.

С героиней рассказа Полевой встретился в сентябре 1943 года в одном из сел Кобелякского района, в период его работы на 2-м Украинском фронте.

Могила неизвестного солдата (стр. 181).— Впервые в авторском сборнике «Рассказы» (М., ГИХЛ, 1952).

Пан Тюхин и пан Телеев (стр. 192).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 2.

Б. Галанов отмечает, что в образе Пантюхина есть черты, сближающие его с образом комиссара Воробьева из «Повести о настоящем человеке»: «Та же кипучая энергия, та же неиссякаемая душевная сила...» («Борис Полевой», с. 69). Критик высоко оценивает «свою, особенную манеру Полевого», которая «тесно связана с живыми интонациями устной речи, с прямой публицистичностью, с точным и веским языком фактов, наблюдений». «Когда, рисуя картину польской осени, он (Борис Полевой.— *Н. Ж.*) между прочим пишет, что курлыканье тянущихся на юг журавлей напоминает скрип длинной пароконной польской фуры, то это сравнение точно, потому что не раз, вероятно, проверялось на слух...» (там же, с. 70).

С советским летчиком Пантюхиным (события, факты, фамилии в рассказе воспроизведены документально точно) Б. Полевой встречался в Польше в районе города Кросно, в расположении польских партизан.

Земляк (стр. 209).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 2.

Свои (стр. 226).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 2.

Передовая на Эйзенштрассе (стр. 249).— Впервые в журн. «Огонек», 1948, № 25.

1 мая 1945 года в «Правде» была опубликована корреспонденция Б. Полевого из Берлина — «Передовая на Эйзенштрассе», где рассказывалось о подвиге советского солдата, который под шквальным огнем противника вынес из горящего подвала немецкую девочку, но сам при этом был тяжело ранен.

Б. Полевой был свидетелем подвига старшего сержанта Трифона Лукьяновича, но в момент работы над корреспонденцией не знал, что герой его умер от полученных ран в полевом госпитале. На основе фронтовой корреспонденции под тем же названием был написан рассказ.

Спустя много лет Б. Полевой, выступая по телевидению, сказал: «Я считал своим писательским и солдатским долгом продолжение поисков, связанных с обстоятельствами героической гибели солдата, потому что нет для писателя ничего более дорогого... чем сознание, что биография его героя, даже ушедшего из жизни, шагнувшего в бессмертие, продолжается сегодня в памяти людей...» («Страницы книг Бориса Полевого», сценарий телевизионного фильма. М., ЦСТ, 1977).

Б. Полевому удалось разыскать сведения о погибшей семье Лукьяновича, выяснить, что герой его работал до войны на Минском радиозаводе; юные красные следопыты из ГДР помогли установить точное название места в Берлине, где был совершен подвиг старшего сержанта Трифона Лукьяновича. Там, на улице Эльзенштрассе, в Трептов-районе Берлина, установлен мемориал в память мужеству и благородству советского воина (см. подробнее об этом: наст. Собр. соч., т. 8).

Подвиг Трифона Лукьяновича в известной степени нашел свое образное отражение и в скульптурной композиции Е. Вучетича в Трептов-парке Берлина.

Герою рассказа Б. Полевого посвятил свою поэму Петрусь Бровка. У входа на Минский радиозавод намечается установить скульптурное изображение Трифона Лукьяновича, над которым работает советский скульптор З. Азгур.

Сапер Николай Харитонов (стр. 263).— Впервые в журн. «Октябрь», 1948, № 2. Под рассказом двойная дата написания — 1943—1947. Год встречи писателя с Николаем Харитоновым во время войны и год встречи в мирные дни на пуске третьей турбины гидроэлектростанции Кегуль на Даугаве.

Критик А. Кондратович в статье «Поэзия труда» (журн. «Октябрь», 1955, № 9, с. 174) писал: «Сама жизнь дорисовала

портрет (Николая Харитонова.— *Н. Ж.*). Конечно, вторая встреча писателя со своим героем была случайностью. Но без нее не было бы рассказа, остался бы интересно задуманный эскиз, набросок, требовавший продолжения, завершения в мирной жизни. Для Николая Харитонова... война была суровой необходимостью. К прежней жизни, к привычной, дорогой сердцу работе можно было вернуться только через войну... И победа распахнула необъятную ширь этой вновь обретенной жизни и труду... Главная, ведущая идея... рассказа: «человек создан для радостного, творческого, созидательного труда».

Критик подчеркнул: «И это не только идея одного рассказа Бориса Полевого — это ведущая тема ряда его произведений. Умение показать труд как смысл жизни человека... труд как страсть, умение раскрыть поэзию труда — отличительная черта таланта писателя» (т а м ж е).

См. также: Б Г а л а н о в. Борис Полевой, с. 92; Н. Ж е л е з н о в а. Настоящие люди Бориса Полевого, с. 123.

III. После Великой Отечественной войны по заданию редакции «Правды» Борис Полевой выезжал на строительство Волго-Донского канала, Братской ГЭС, на Цимлянское море, на Енисей в Дивногорск, в Саяны и т. д.

На страницах «Правды» в начале 50-х годов регулярно появлялись очерки Полевого.

После значительной авторской доработки «Очерки наших дней» (подзаголовок Б. Полевого) публиковались в периодике, в основном в журнале «Огонек», затем, стилистически и творчески переработанные, они и составили цикл рассказов «Современники», композиция и состав которого не оставались неизменными.

Анализируя жанр серии рассказов «Современники» — «книги, в которой авторский домысел воспринимается как естественное продолжение фактов, и это успех и заслуга художника»,— К. Симонов подчеркивал, что «половину этих рассказов можно рассматривать как документальные очерки... Однако думается, что Полевой... закономерно включает эти газетные очерки в книгу рассказов «Современники». Полевой рассказывает о стройке, видя там прежде всего людей, и в этом отличие того, что он написал, от многого другого, написанного о Волго-Доне» (К. С и м о н о в. Современники.— В сб.: «На литературные темы». М., ГИХЛ, 1956, с. 152).

Там же К. Симонов отметил: «С целым рядом своих очерков-рассказов Борис Полевой не проделал необходимой последующей

работы, в них не хватает живописи, не хватает психологической глубины, разнообразия в обрисовке характеров. В итоге оказывается, что на общем групповом портрете строителей Волго-Дона (а именно такой портрет Борис Полевой замыслил дать в своей книге) некоторые лица лишь слегка прорисованы карандашом и углем,— рядом с лицами соседствует эскиз лица, с фигурой — эскиз фигуры».

Сам Полевой определил жанр этих произведений как «рассказ-репортаж». Точнее, видимо, назвать их сегодня, когда репортажная скороговорка в новых редакциях автором устранена, портретами-очерками, портретами-рассказами.

Рассказы серии «Современники» — это, по словам Полевого, «второй том невыдуманных рассказов «Мы — советские люди». Только тут уже были «люди не в шинелях, а в робах строителей» (цит. по сценарию телепередачи «Страницы книг Бориса Полевого». М., ЦСТ, 1977).

Критика отмечала, что в характерах своих невыдуманных героев Б. Полевому удалось показать «саму поэзию творческого труда, творческой энергии рабочего человека — все то, что издавна составляло пафос его очерков, рассказов, повестей...» (Б. Галанов. Борис Полевой, с. 95).

Об этом же писали М. С. Шагинян: «Рабочий мир, рабочая психология встают в книге Полевого с такой задушевной и целостной силой, что вас неудержимо тянет стать частью этого мира, войти в него... словом — сделаться честнее, сильнее, проще...» (Собр. соч., т. 7. М., «Художественная литература», 1974, с. 136).

Практикант (стр. 273).— Впервые в журн. «Огонек», 1951, № 46.

Рассказ отмечался критикой неоднократно, как один из наиболее удачных в цикле «Современники» (З. Кедрина, Б. Галанов), подчеркивалась «психологическая точность характера героя» (З. Кедрина); «...в создании этого образа активно участвовали и зрение, и слух, и писательское воображение, помогавшее обобщить, осмыслить контрастные противоречивые черты» (Б. Галанов. Борис Полевой, с. 102).

Консультация (стр. 277).— Впервые в журн. «Огонек», 1951, № 46.

«С большим мастерством написан рассказ «Консультация». В нем превосходно построен пронизанный юмором диалог перебивающих друг друга рассказчиков... Рассказ о спасении ре-

бенка незаметно превращается в рассказ о любви двух людей друг к другу... Автор своим рассказом затрагивает сразу несколько струн в душе читателя... в нем существует жизнь, не разъятая на части и проблемы, а с душевной теплотой... и мастерством показанная в той естественной многогранности, какая присуща реальной жизни» (К. Симонов. Современники.— В сб.: «На литературные темы», с. 153—154).

Исторические шумы (стр. 284).— Впервые в журн. «Огонек», 1951, № 46.

Факты, изложенные в маленькой сценке с «натуры», Полевой использует позднее в одном из эпизодов «На диком бреге».

В основе «Исторических шумов» — реальные события. Главное действующее лицо рассказа — Герой Социалистического Труда А. Е. Бочкин, в то время начальник строительства Иркутской ГЭС.

«На единичном, частном примере писателю удалось показать высокую взволнованность тружеников своим делом...» — отметил А. Кондратович, называя «Исторические шумы» одним из лучших рассказов Полевого («Поэзия труда».— Журн. «Октябрь», 1955, № 9, с. 179).

Мамонт (стр. 287).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 4.

Посылка с объявленной ценностью (стр. 292).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 4.

Зайчик (стр. 297).— Впервые в журн. «Смена», 1952, № 19.

С героиней этого рассказа Борис Полевой встретился в 1952 году, когда приступил к сбору материала для будущего романа «На диком бреге». Рассказ — по сути — один из многочисленных эскизов, созданных Б. Полевым при подготовке к написанию романа. «...На Дону в еще не ясный авторский замысел вплелась смешная подслеповатая москвичка Валя, которая в жизни при скромной своей профессии библиотекаря сумела сделаться на большой стройке наинужнейшим человеком» (Б. Полевой. Саянские записи. М., Сов. Россия. 1964).

Запоздалое письмо (стр. 304).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 4.

Дефицитная бабушка (стр. 310).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 41.

В тумане (стр. 317).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 23.

Литературные достоинства рассказа, использование писателем приема полярных контрастов отмечали Б. Галанов, К. Симонов, А. Кондратович.

«...Там, где Полевой «впускал» в свою книгу и догадку и домысел, не боясь некоторых вольностей в изложении того, что пережито и перечувствовано его героями, он, как художник, добивался наибольшего успеха»,— суммировал мнение критики Б. Галанов («Борис Полевой», с. 99).

Необыкновенный концерт (стр. 323).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 41.

Вклад (стр. 330).— Впервые в журн. «Огонек», 1952, № 41.

Любовь (стр. 340).— Впервые в газете «Правда», 1952, 20 декабря; после незначительной авторской правки — в журн. «Советская женщина», 1953, № 2.

Улыбка друга (стр. 347).— Впервые в журн. «Огонек», 1954, № 21.

Входил в цикл «Далекие друзья».

Храбрость (стр. 363).— Впервые в журн. «Огонек», 1954, № 45.

Сказка (стр. 371).— Впервые в книге рассказов «Современники» (М., «Советский писатель», 1954). Работу над рассказом Б. Полевой начал еще до войны, обратившись к невыдуманной истории своей землячки — бывшей калининской ткачихи, позднее — секретаря Калининского горкома партии А. С. Калыгиной.

ОТ РЕДАКЦИИ

Это первое Собрание сочинений в девяти томах Бориса Николаевича Полевого (1908—1981), дважды Лауреата Государственных премий, было предпринято при жизни автора. Писатель увидел вышедшим в свет только первый том.

Борис Николаевич Полевой успел просмотреть и подготовить в набор первые пять из девяти томов.

Подготовка остальных томов будет осуществляться под наблюдением комиссии по литературному наследию писателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Полевой Б. Н.

П49 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.: Худож. лит., 1981

Т. 2. Мы — советские люди: Рассказы./Коммент. Н. Железновой. 1981. 398 с.

В том вошла книга рассказов «Мы — советские люди», удостоенная Государственной премии.

П $\frac{70302\text{-}217}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений
Том второй

Редактор **З. Батурина**

Художественный редактор
Е. Епенко

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректор
М. Макарова

ИБ № 2176

Сдано в набор 13.11.80. Подписано к печати А 06871 от 04.11.81. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 21,0 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 22,46 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-83. Зак. № 883. Цена 1 р. 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

